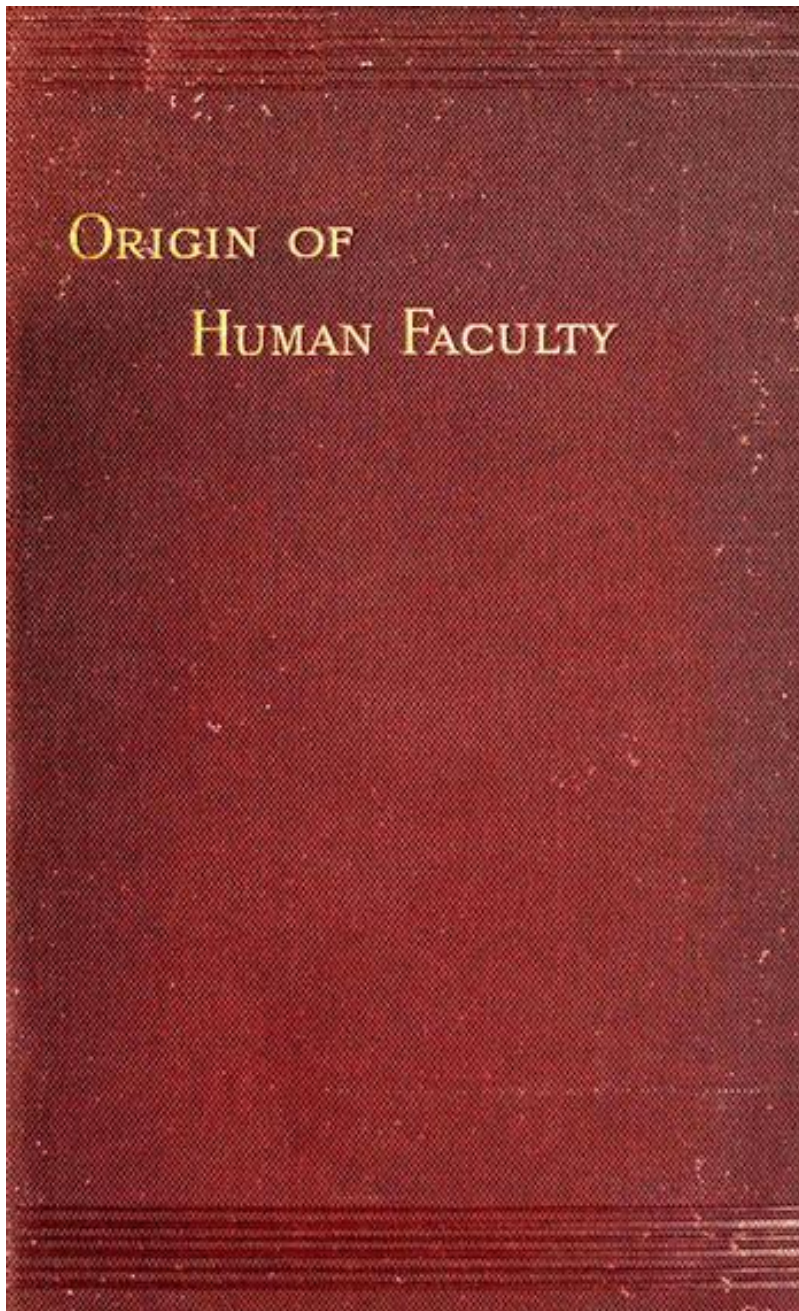


Ментальная эволюция человека: происхождение человеческих способностей

Джордж Джон Романес



Электронная книга проекта "Гутенберг" о психической эволюции человека: происхождение человеческих способностей

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Ментальная эволюция человека: происхождение человеческих способностей

Автор: Джордж Джон Романес

Дата выхода: 4 ноября 2015 г. [Электронная книга № 50382]

Последнее обновление: 22 октября 2024 г.

Язык: Английский

Титры: Продюсерами выступили Джованни Фини, Мэрилинда Фрейзер-Канлифф и команда онлайн-корректоров на <http://www.pgdp.net> (Этот файл был создан на основе изображений, щедро предоставленных интернет-архивом)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "МЕНТАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА: ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ" ***

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕПИСЧИКА:

— Исправлены очевидные печатные и пунктуационные ошибки.

МЕНТАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

Автор тот же.



Заводная головка 8в. 5с.

МЕДУЗЫ, МОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ И ЕЖИ.

Является исследованием примитивных нервных систем.

[Международная научная серия.

Заводная головка 8в. 5с.

ЖИВОТНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.

Четвертое издание.

[Международная научная серия.

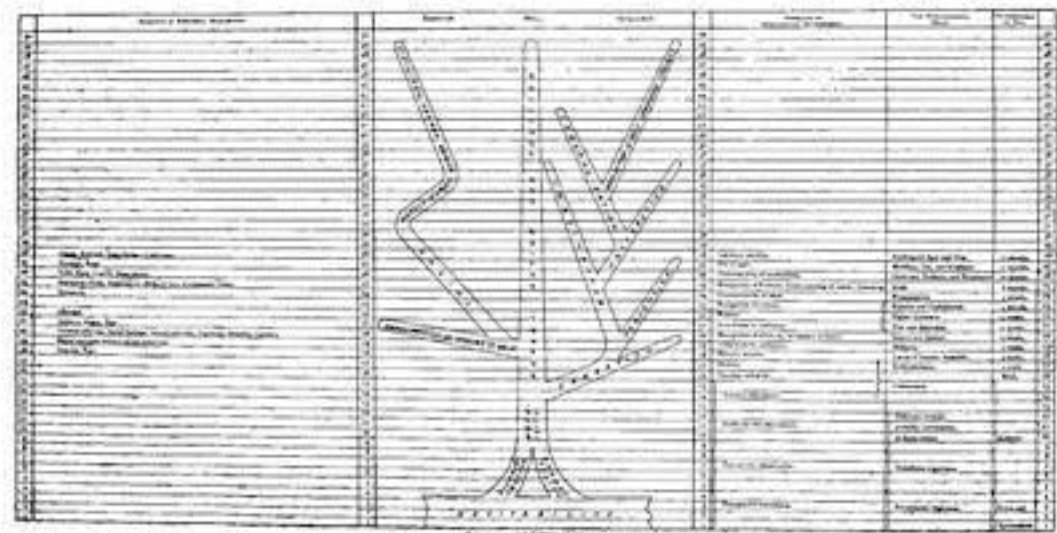
Дема 8в. 12с.

ЭВОЛЮЦИЯ ПСИХИКИ У ЖИВОТНЫХ.

Вторая тысяча.

С Посмертным эссе об инстинкте, написанным
Чарльзом Дарвином, Ф.Р.С.

Лондон: Киган Пол, Тренч и Ко.



Нажмите, чтобы увеличить

МЕНТАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

ДЖОРДЖ ДЖОН РОМАНЕС, магистр права, F.R.S.



ЛОНДОН

КИГАН ПОЛ, TRENCH & CO., ПАТЕРНОСТЕР-СКВЕР, 1,
1888

(Права на перевод и воспроизведение защищены.)

ПРЕДИСЛОВИЕ.



Перенося сейчас свое исследование ментальной эволюции в область человеческой психологии, желательно, чтобы я сказал несколько слов, указывающих на масштаб и намерение этой основной части моей работы. Ибо очевидно, что “Ментальная эволюция человека” - это тема, охватывающая столь обширную область, что, если не провести некоторые границы, которыми должно быть ограничено ее обсуждение, ни один автор не мог бы взять на себя смелость заняться ею.

Итак, вот принципы, которые я наметил для своего собственного руководства. Моя цель состоит в том, чтобы найти принципы и причины ментальной эволюции в человеке, сначала в том, что касается происхождения человеческих способностей, а затем в том, что касается нескольких основных ветвей, на которые впоследствии разветвились и развились способности, присущие исключительно человеку. Чтобы, насколько это возможно, достичь этой цели, мне показалось желательным сделать большие или общие снимки как самого главного ствола, так и различных его ветвей. Поэтому я все время избегал соблазна проследить за какой-либо из ветвей до их более мелких разветвлений или вдаваться в подробности прогрессивного развития. Я чувствовал, что этими вопросами должны заниматься другие, которые несколько лучше

подготовлены для выполнения этой задачи, независимо от того, имеют ли их специальные исследования отношение к языку, археологии, технике, естественным наукам, литературе, искусству, политике, морали или религии. Но поскольку впоследствии мне придется заниматься этими предметами, я буду делать это с целью прийти к общим принципам, имеющим отношение к психической эволюции, а не с целью сбора фактов или мнений для удовлетворения их внутреннего интереса с чисто исторической точки зрения.

Обнаружив, что труд, необходимый для расследования, даже в таком ограниченном объеме, намного больше, чем я первоначально предполагал, мне кажется нежелательным откладывать публикацию до тех пор, пока не будет завершено все исследование. Поэтому я решил публиковать трактат последовательными частями, из которых настоящая является первой. Как следует из названия, она посвящена исключительно происхождению человеческих способностей. Будущие части будут посвящены Интеллекту, Эмоциям, Волеизъявлению, Морали и религии. Однако пройдет несколько лет, прежде чем я смогу опубликовать эти последующие части, несмотря на то, что некоторые из них уже далеко продвинулись вперед.

Касаясь настоящей части, необходимо лишь отметить, что с противоречивой точки зрения она, пожалуй, самая важная. Если однажды происхождение концептуального мышления от неконцептуальных предшественников станет очевидным, подавляющее большинство компетентных читателей в настоящее время будут готовы признать, что психологический барьер между животным и человеком был преодолен. Следовательно, я отвел то, что в противном случае могло бы показаться непропорционально большим пространством для моего рассмотрения этого вопроса о *происхождении* человеческих способностей — непропорционально, я имею в виду, по сравнению с тем, что будет сказано впоследствии относительно *развития* человеческих способностей в нескольких их уже названных областях. Более того, в настоящем трактате я буду заниматься главным образом психологией моего предмета, приберегая для моей следующей части полное рассмотрение света, который был пролит на умственное и социальное состояние древнего человека благодаря изучению его собственных останков, с одной стороны, и существующих дикарей - с другой. Однако, даже будучи таким ограниченным, предмет настоящего трактата окажется более обширным, чем большинство людей были бы готовы ожидать. Ибо мне не кажется, что этот предмет до сих пор получал от психологов какой-либо подход к тому объему анализа, которому он поддается и на который — с точки зрения общей теории эволюции — он, несомненно, имеет право. Но я везде старался избегать излишней пространности, полагая, что интеллект любого, кто, вероятно, прочтет эту книгу, сможет оценить значение важных моментов без необходимости в пространных высказываниях со стороны автора. Поэтому единственные места, где, по моему мнению, я могу быть вполне готов к обвинению в ненужном повторении, - это те, в которых я пытаюсь сделать полностью понятными новые аспекты моего анализа. Но даже здесь я не ожидаю, что читатели любого класса будут жаловаться на усилия, которые таким образом прилагаются, чтобы помочь им понять несколько сложный вопрос.

Поскольку никто ранее не углублялся в этот вопрос, я обнаружил, что вынужден ввести определенное количество новых терминов с целью одновременно избежать постоянных околичностей и оказать помощь аналитическому исследованию. Со своей стороны, я сожалею об этой необходимости и поэтому прибегал к ней только в тех случаях, когда считал это необходимым в силу обстоятельств. В результате я не думаю, что какая-либо из этих новых терминов будет подвергнута негативной критике как ненужная для целей моего исследования.

Каждый рабочий волен выбирать свои собственные инструменты; и когда ни один из них не готов удовлетворить его требованиям, у него нет альтернативы, кроме как изготовить те, которые могут.

Любому, кто уже принимает общую теорию эволюции применительно к человеческому разуму, вполне может показаться, что настоящая часть моей работы излишне подробна. Так вот, я могу вполне посочувствовать любому эволюционисту, который может таким образом почувствовать, что я создал паровые машины для уничтожения бабочек; но я должен попросить такого человека помнить две вещи. Во-первых, какой бы простой и очевидной ни казалась ему истина, это, тем не менее, истина, которая очень далека от всеобщего признания даже среди более интеллигентных членов сообщества: видя, следовательно, насколько важно установить эту истину как неотъемлемую часть доктрины происхождения, я не могу думать, что время или энергия тратятся впустую на серьезные попытки сделать это, даже если уже убежденным умам может показаться ненужным убивать наших противников столь безжалостно мелким способом. Во-вторых, я должен попросить этих дружелюбных критиков принять к сведению, что, хотя дискуссия повсюду была облечена в форму ответа на возражения, на самом деле она имеет гораздо более широкий размах: она направлена не только на свержение противников, но также, и даже больше, на изложение принципов, которые, вероятно, были затронуты в “Происхождении человеческих способностей”.

Диаграмма, которая воспроизведена из моей предыдущей работы “Ментальная эволюция у животных” и которая служит для представления ведущих черт психогенеза во всем животном царстве, вновь появится также в последующих частях работы, когда она будет продолжена, чтобы представить основные этапы “Ментальной эволюции у человека”.

18, Корнуолл-Террас, Риджентс-парк,
июль 1888 года.

Содержание.



ГЛАВА	СТРАНИЦА
I. Человек и животное	1
II. Идеи	20
III. Логика рецептов	40
IV. Логика концепций	70
V. Язык	85
VI. Тон и жестикуляция	104
VII. Артикуляция	121

VIII.	Отношение тона и жеста к словам	145
IX.	Речь	163
X.	Самосознание	194
XI.	Переход в личности	213
XII.	Сравнительная филология	238
XIII.	Корни языка	264
XIV.	Свидетель филологии	294
XV.	Свидетель филологии— <i>продолжение</i>	326
XVI.	Переходный период в расе	360
XVII.	Общее резюме и заключительные замечания	390

МЕНТАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА.



ГЛАВА I.

ЧЕЛОВЕК И СКОТИНА.

Возвращаясь к проблемам психогенеза там, где они были оставлены в моей предыдущей работе, я должен в настоящем трактате рассмотреть весь масштаб психической эволюции человека. Очевидно, что представленная таким образом тема настолько обширна, что в той или иной из ее ветвей можно было бы рассматривать всю историю нашего вида вместе с нашим доисторическим развитием от низших форм жизни, как уже указывалось в Предисловии. Однако в мои намерения не входит писать историю цивилизации, тем более разрабатывать какую-либо сложную гипотезу антропогенеза. Моя цель состоит всего лишь в том, чтобы внести в исследование человеческой психологии продолжение принципов, которые я уже применил к попытке прояснения психологии животных. Я хочу показать, что как в одной, так и в другой области свет, пролитый доктриной эволюции, имеет масштабы, которые мы только сейчас начинаем осознавать; и что, принимая теорию непрерывного развития от одного типа разума к другому, мы способны научно объяснить всю психическую структуру человека, даже в тех ее частях, которые прежним поколениям казались необъяснимыми.

Для достижения этой цели нет необходимости вдаваться в подробности применения этих принципов к фактам истории. Напротив, я думаю, что любая подобная попытка — даже если бы я был достаточно квалифицирован для ее осуществления — привела бы лишь к затуманиванию моего изложения самих этих принципов. Достаточно того, что я прослежу действие таких принципов, так сказать, в общих чертах, и оставляю на усмотрение профессионального историка задачу применения их в особых случаях.

Таким образом, настоящая работа является трактатом по психологии человека в связи с теорией происхождения, и первый вопрос, на который она должна попытаться ответить, - это, очевидно, вопрос о доказательстве того, что разум человека произошел от разума, с которым мы встречаемся у низших животных. И здесь, я думаю, не будет преувеличением сказать, что мы подходим к проблеме, которая является не просто самой интересной из тех, что попадали в сферу моих собственных работ; но, возможно, и самой интересной, которая когда-либо была представлена на рассмотрение нашей расы. Если верно, что “надлежащее изучение человечества - это человек”, то, несомненно, изучение природы никогда прежде не достигало столь важной во всех ее аспектах области мысли, как та, к которой наше собственное поколение приближается впервые. После столетий интеллектуальных завоеваний во всех областях феноменальной вселенной человек, наконец, начал обнаруживать, что он может новым и самым неожиданным образом применять древнее изречение — *Познай самого себя*. Ибо он начал осознавать сильную вероятность, если не действительную уверенность, того, что его собственная живая природа идентична природе всей другой жизни, и что даже самая удивительная сторона этой его собственной природы — нет, самая удивительная из всех вещей, доступных его знанию, — сам человеческий разум, является всего лишь верхушечным соцветием одного могучего растения, чьи корни, стебель и множество ветвей погружены в бездну планетарного времени. Поэтому вместе с профессором Хаксли мы можем сказать: “Важность такого исследования действительно интуитивно очевидна. Оказавшись лицом к лицу с этими размытыми копиями самого себя, наименее вдумчивый из людей испытывает определенный шок, вызванный, возможно, не столько отвращением к тому, что выглядит как оскорбительная карикатура, сколько внезапным пробуждением глубокого недоверия к проверенным временем теориям и прочно укоренившимся предрассудкам относительно своего собственного положения в природе и своих отношений с более широким миром жизни; в то время как то, что остается смутным подозрением для бездумного человека, становится обширным аргументом, чреватый глубочайшими последствиями, для всех, кто знаком с недавним прогрессом анатомических и физиологических исследований. наук”. [1]

Таким образом, проблема, которая в этом поколении впервые была поставлена перед человеческой мыслью, заключается в том, как возникла сама эта мысль. Изучение биологии подняло вопрос глубочайшей важности для каждой философской системы; и это вопрос о том, является ли разум человека по существу таким же, как разум низших животных, или, имея, полностью или частично, какой-то другой способ происхождения, существенно отличается — отличаясь не только по степени, но и по характеру от всех других типов психических существ. И поскольку по этому великому и глубоко интересному вопросу мнения все еще сильно расходятся — даже среди самых выдающихся представителей науки, которые согласны с принятием принципов эволюции применительно к объяснению психического строения низших животных, — очевидно, что вопрос не является ни поверхностным, ни легким. Я, однако, постараюсь изучить его с как можно меньшим количеством неясностей, а также, едва ли нужно говорить, со всей беспристрастностью, на которую я способен, [2]

Следует помнить, что во вводной главе моей предыдущей работы я уже вкратце обрисовал способ, которым я предлагаю рассматривать этот вопрос. Здесь, следовательно, достаточно отметить, что я начал с допущения истинности общей теории происхождения в том, что касается животного царства, как в отношении телесной, так и в отношении психической организации; но при этом я явно исключил психическую организацию человека как раздел сравнительной психологии, в отношении которого я не чувствовал себя вправе предполагать

принципы эволюции. Причину, по которой я сделал это особое исключение, я достаточно объяснил; и поэтому сейчас я без дальнейших предисловий перейду к полному рассмотрению стоящей перед нами проблемы.

Сначала давайте рассмотрим вопрос с чисто*априорной* точки зрения. В соответствии с нашей первоначальной гипотезой, с которой в настоящее время согласны все натуралисты любого уровня, процесс органической и ментальной эволюции был непрерывным во всей области жизни и разума, за единственным исключением разума человека. Следовательно, на основании аналогии мы должны считать изначально невероятным, чтобы процесс эволюции, столь однородный и повсеместный в других местах, был прерван на своей конечной фазе. И, рассматривая очень обширные масштабы этой аналогии, исходное предположение, которое она выдвигает, настолько значительно, что, на мой взгляд, его можно было бы уравновесить только некоторыми очень убедительными и безошибочными фактами, демонстрирующими разницу между психологией животных и человека, настолько значительную, что в силу природы данного случая практически невозможно, чтобы одно когда-либо перешло в другое. Это я выдвигаю в качестве первого соображения.

Далее, по-прежнему ограничиваясь *априорным* взглядом, бесспорно, что человеческая психология в случае каждого отдельного человека представляет для реального наблюдения процесс постепенного развития, или эволюции, простирающийся от младенчества до зрелости; и что в этом процессе, который начинается с нулевого уровня психической жизни и может завершиться гениальностью, нигде и никогда не наблюдается внезапного скачка прогресса, такого, какой можно было бы разумно ожидать при переходе от одного порядка психических существ к другому. Следовательно, очевидным фактом является то, что независимо от того, отличается ли человеческий интеллект от животного или нет, он, безусловно, допускает постепенное развитие с нулевого уровня. Это я рассматриваю как второе соображение.

Опять же, пока человеческий разум проходит низшие фазы своего развития, он, несомненно, поднимается по шкале ментальных способностей, параллельных тем, которые постоянно представлены психологическими видами животного царства. Беглый взгляд на Диаграмму, которую я поместил в начале моей предыдущей работы, поможет показать, каким поразительным образом количественное, а также качественное развитие индивидуального человеческого разума следует порядку ментальной эволюции в животном царстве. И когда мы вспоминаем, что, во всяком случае, до уровня, на котором заканчивается эта параллель, рассматриваемая диаграмма является выражением не какой-либо психологической теории, а хорошо наблюдаемого и неоспоримого психологического факта, я думаю, каждый разумный человек должен признать, что, каким бы ни было объяснение этого замечательного совпадения, оно, безусловно, должно допускать какое—то объяснение - т.е. не может быть приписано простой случайности. Но если это так, то единственное доступное объяснение - это то, которое дает теория нисхождения. Эти факты, которые я привожу в качестве третьего соображения, имеют еще большую тенденцию — и, я думаю, наиболее сильную — усиливать силу предшествующей презумпции против любой гипотезы, которая предполагает, что процесс эволюции мог быть прерывистым в области разума.

Наконец, это также является предметом наблюдения, как я полностью покажу в следующей части этой работы, что в истории нашей расы — как это зафиксировано в документах,

традициях, антикварных находках и кремневых орудиях — интеллект расы был подвержен постоянному процессу постепенного развития. Сила этого рассуждения заключается в его доказательстве того, что если процесс психической эволюции был приостановлен между человекообразными обезьянами и первобытным человеком, то с первобытным человеком он снова возобновился и с тех пор продолжался у человеческого вида так же непрерывно, как раньше у видов животных. Теперь, перед лицом этих фактов или просто с предшествующей точки зрения, такое предположение представляется мне, мягко говоря, в высшей степени невероятным. Во всяком случае, это определенно не то предположение, к которому люди науки склонны относиться с благосклонностью в других местах; ибо долгий и трудный опыт научил нас, что наиболее оправданное предположение, которое мы можем привнести в наше изучение природы, — это то, которое признает в природе принцип *непрерывности*.

Принимая, таким образом, эти несколько *априорных* соображений воедино, их следует, на мой взгляд, справедливо придерживаться, чтобы представить очень веские *первичные* аргументы в пользу точки зрения, что в ходе психологической истории не было прерывания процесса развития; но что разум человека, подобно разуму животных — и, действительно, подобно всему остальному в области живой природы — эволюционировал. Ибо эти соображения показывают не только то, что на аналогичных основаниях любое такое прерывание должно рассматриваться как маловероятное само по себе; но также и то, что в строении человеческого разума нет ничего несовместимого с предположением о том, что он развивался медленно, учитывая, что не только в случае каждой индивидуальной жизни, но также и в течение всей истории нашего вида человеческий разум действительно претерпевает и уже претерпел рассматриваемый процесс.

Чтобы опровергнуть столь грандиозную презумпцию, которая таким образом возводится на *априорных* основаниях, психологу, по справедливости, следует обратиться к некоторым очень весомым соображениям *апостериорного* рода, стремящимся показать, что в строении человеческого разума есть нечто такое, что делает практически невозможным — или, во всяком случае, чрезвычайно трудным вообразить, — что он мог возникнуть путем генетического происхождения от разума низших порядков. Поэтому я продолжу рассматривать, настолько тщательно и беспристрастно, насколько смогу, аргументы, которые были приведены в поддержку этого тезиса.

Во вводной главе моей предыдущей работы я заметил, что вопрос о том, развился ли человеческий интеллект из интеллекта животных, может быть решен с научной точки зрения только путем сравнения одного с другим, чтобы установить, в чем они совпадают, и в чем они различаются. Поэтому я начну здесь с краткого изложения точек соприкосновения, а затем перейду более тщательно к рассмотрению всех наиболее важных точек зрения, которые до сих пор были высказаны относительно спорных моментов.

Если мы рассматриваем Эмоции в том виде, в каком они проявляются у животных, нас не может не поражать тот факт, что область психологии, которую они охватывают, почти совпадает по объему с областью, охватываемой эмоциональными способностями человека. В своих предыдущих работах я привел то, что считаю неоспоримым доказательством всех следующих эмоций, которые я здесь называю в порядке их появления по психологической шкале, — страх, удивление, привязанность, драчливость, любопытство, ревность, гнев, игра, сочувствие, соперничество, гордость, негодование, эмоция прекрасного, горе, ненависть, жестокость, доброжелательность, месть, ярость, стыд, сожаление, лживость, эмоция смешного. [3]

Итак, этот список исчерпывает все человеческие эмоции, за исключением тех, которые относятся к религии, нравственному чувству и восприятию возвышенного. Поэтому я думаю, что мы имеем полное право заключить, что в том, что касается эмоций, нельзя сказать, что факты психологии животных создают какие-либо трудности против теории происхождения. Напротив, эмоциональная жизнь животных настолько поразительно похожа на эмоциональную жизнь человека — и особенно маленьких детей, — что я думаю, это сходство справедливо следует рассматривать как прямое доказательство генетической преемственности между ними.

Так же обстоит дело и с Инстинктом. Понимая этот термин в ранее определенном смысле, [4] несомненно, что у человека — особенно в периоды младенчества и юности — представлены различные хорошо выраженные инстинкты, которые относятся главным образом к питанию, самосохранению, размножению и выращиванию потомства. Никто не осмеливался оспаривать, что все эти инстинкты идентичны тем, которые мы наблюдаем у низших животных; и, с другой стороны, никто не осмеливался предполагать, что существует какой-либо инстинкт, о котором можно сказать, что он присущ человеку, если только моральные и религиозные чувства не принимать за природу инстинктов. И хотя верно, что инстинкт играет большую роль в психологии многих животных, чем в психологии человека, этот факт явно не имеет значения в данной связи, где нас интересует только принципиальная идентичность. Если бы кто-нибудь был достаточно наивен, чтобы утверждать, что разум человека отличается от разума животного, потому что в нем нет какого-либо особого инстинкта — такого, например, как плетение паутины, строительство гнезд или высиживание яиц, — ответ, конечно, был бы таким, что при равенстве рассуждений разум паука должен отличаться от разума птицы. Итак, что касается инстинктов и эмоций, то проводимая нами параллель слишком близка, чтобы допускать какие-либо аргументы противоположной стороны.

Что касается Воли, то больше будет сказано в одной из будущих частей этой работы. Здесь, следовательно, достаточно сказать в общих чертах, что никто всерьез не подвергал сомнению тождество воли животного и человеческой воли вплоть до того момента, когда некоторые несогласные предполагают, что так называемая свобода является следствием и характеристикой последней. Теперь, конечно, если воля человека отличается от воли животного какой-либо важной чертой или атрибутом, подобным этому, этот факт должен быть должным образом принят во внимание в ходе нашего последующего анализа. В настоящее время, однако, мы занимаемся лишь предварительным наброском точек сходства между психологией животных и человека. Следовательно, поскольку мы сейчас занимаемся волей, нам остается только отметить, что до того момента, когда воля человека начинает превосходить волю животного в отношении сложности, утонченности и дальновидности, никто не оспаривает идентичность вида.

Наконец, то же самое замечание применимо и к Интеллектуальным способностям. [5] Поскольку разница между этими способностями, несомненно, огромна в двух случаях, признается, что разница не является единственной в своем роде *ab initio*. Напротив, признается, что до определенного момента, а именно до высшей степени интеллекта, которой достигает животное, существует не просто видовое сходство, но и идентичное соответствие. Другими словами, параллель между интеллектом животных и человека, которая представлена на моей Диаграмме и на которую уже делался намек, не оспаривается. Следовательно, вопрос возникает только в отношении тех дополнительных способностей, которые представлены выше уровня, отмеченного 28, где заканчивается восходящий рост интеллекта животных и начинается

рост явно человеческого интеллекта. Но даже на 28-м уровне человеческий разум уже обладает многими из своих наиболее полезных способностей, и впоследствии он не теряет их, а поднимает вместе с собой в ходе своего дальнейшего развития — как мы хорошо знаем, наблюдая за психогенезом каждого ребенка. Итак, к самой сути эволюции, рассматриваемой как процесс, относится то, что когда один порядок существования переходит к более высоким ступеням совершенства, он делает это на фундаменте, уже заложенном предыдущим ходом его развития; так что при сравнении с любым родственным порядком существования, который не был продвинут так далеко в этом восходящем направлении, между ними можно провести более или менее тесную параллель вплоть до точки, в которой один начинает отдалять другой, где, по общему признанию, заканчивается всякое дальнейшее сравнение. Поэтому, на первый взгляд, факты сравнительной психологии, которые сейчас находятся перед нами, мягко говоря, наводят на мысль о том, что повышенные способности человеческого интеллекта были обусловлены процессом эволюции.

Чтобы не подумали, что в этом предварительном наброске сходств между психологией человека и животного я пытался подвести черту предвзято, я процитирую здесь короткий отрывок, чтобы показать, что я не искажил степень, в которой согласие преобладает среди приверженцев противоположных мнений. И для этой цели я выбираю в качестве представителя выдающегося натуралиста, который также является способным психологом, и к которому, следовательно, впоследствии у меня будет возможность часто обращаться, как к наиболее компетентному и наиболее представительному из моих оппонентов по обоим этим вопросам. Сообщается, что в своем Президентском обращении к Биологической секции Британской ассоциации в 1879 году мистер Майварт сказал:

“Я не хочу игнорировать удивительные способности животных или сходство их действий с действиями человека. Никто не может разумно отрицать, что многие из них обладают чувствами, эмоциями и чувственным восприятием, подобными нашим собственным; что они осуществляют произвольные движения и выполняют действия, сгруппированные сложным образом для достижения определенных целей; что они в определенной степени учатся на опыте и комбинируют восприятия и воспоминания, чтобы делать практические выводы, непосредственно воспринимая объекты, находящиеся в различных отношениях друг к другу, так что, в некотором смысле, можно сказать, что они воспринимают отношения. Они будут проявлять нерешительность, которая, по-видимому, закончится после конфликта желаний тем, что выглядит как выбор или волеизъявление; и такие животные, как собака, не только проявят самую удивительную верность и привязанность, но также проявят явные признаки стыда, которые могут показаться результатом зарождающегося морального восприятия. Поэтому нет ничего удивительного в том, что так много людей, мало склонных к терпеливому и тщательному самоанализу, не могут уловить какого-либо радикального различия между природой, одаренной таким образом, и интеллектуальной природой человека”.

Теперь мы можем перейти к рассмотрению моментов, в которых психология человека и животного, по утверждению различных авторов, расходятся.

Теория о том, что животные - это неразумные машины, не должна нас задерживать, поскольку в настоящее время вряд ли кто-то станет ее защищать. [6] Опять же, различие между человеческой и грубой психологией, которое всегда считалось более или менее само собой разумеющимся, а именно, что одна рациональна, а другая иррациональна, также может быть

опущено после того, что было сказано в главе о разуме в моей предыдущей работе. Ибо там показано, что если мы используем термин "Разум" в его истинном значении, в отличие от его традиционного смысла, то в психозе животных нет более очевидного факта, чем то, что этот психоз способен в немалой степени к *логическому рассуждению*. Источник весьма распространенной доктрины о том, что у животных нет зародышей разума, я думаю, следует искать в том факте, что разум достигает гораздо более высокого уровня развития у человека, чем у животных, в то время как инстинкт достигает более высокого развития у животных, чем у человека: следовательно, популярная фразеология, игнорируя моменты сходства и преувеличивая более заметные моменты различия, определяет все умственные способности животного инстинктивными в отличие от способностей человека, которые называются рациональными. Но если мы не посвятим себя очевидному рассуждению по кругу, мы должны избегать предположения, что все действия животных инстинктивны, а затем утверждать, что, поскольку они инстинктивны, следовательно, они отличаются по своему характеру от тех действий человека, которые являются рациональными. Вопрос действительно заключается в том, что здесь предполагается, и ответить на него можно, только изучив, в каком существенном отношении инстинкт отличается от разума. Это я постарался сделать в моей предыдущей работе со всей точностью, насколько позволяет природа предмета; и я думаю, что сделал очевидным, во—первых, то, что нет такого огромного различия между инстинктом и разумом, как обычно предполагается - первый часто смешивается со вторым, а последний столь же часто превращается в первый, — и, во-вторых, что все высшие животные проявляют в различной степени способность к умозаключениям. Итак, *это способность разума, собственно так и называемая*; и хотя верно, что ни в коем случае она не достигает в психологии животных более чем рудиментарной фазы развития по сравнению со своим поразительным ростом у человека, это, очевидно, совсем другое дело, когда перед нами стоит вопрос о различии видов. [7]

Опять же, теологическое различие между людьми и животными можно обойти стороной, поскольку оно основывается на догме, с которой наука психология не имеет законной точки соприкосновения. Независимо от того, отличается ли сознательная часть человека от сознательной части животных бессмертием, и отличается ли "дух" человека от "души" животных другими особенностями вида, сама догма утверждала бы, что наука не имеет права голоса ни в утверждении, ни в отрицании. Ибо, исходя из природы данного случая, можно ожидать, что любая информация позитивного характера, касающаяся этих вопросов, придет только путем Откровения; и, следовательно, как бы сильно догма и наука ни расходились по другим пунктам, они, по крайней мере, согласны в этом, а именно, если сознательная жизнь человека таким образом отличается от сознательной жизни животных, христианство и философия одинаково провозглашают, что только Евангелие могло выявить его дар бессмертия. [8]

Другое различие между человеком и животным, которое мы часто встречаем, заключается в том, что последнее не проявляет признаков умственного прогресса в последующих поколениях. По поводу этого предполагаемого различия я могу заметить, прежде всего, что оно затрагивает весь вопрос о психической эволюции у животных и, следовательно, прямо противоречит всей совокупности фактов, представленных в моей работе по этому предмету. Далее, я могу отметить, что предполагаемое различие неуместно со стороны противников эволюции, поскольку оно зависит от признания принципов эволюции в истории человечества. Но, оставляя в стороне эти соображения, я встречаю предполагаемое различие прямым отрицанием обоих утверждений о факте, на которых оно основывается. Иными словами, я отрицаю, с одной стороны, что умственный прогресс от поколения к поколению является неизменной особенностью

человеческого интеллекта; и, с другой стороны, я отрицаю, что такого прогресса никогда не наблюдается в случае интеллекта животных.

Принимая эти два пункта по отдельности, я считаю, что утверждение или намек на то, что все существующие дикари, когда они не вступают в контакт с цивилизованным человеком, подвергаются интеллектуальному развитию из поколения в поколение, противоречит факту. Напротив, одно из наиболее общеприменимых утверждений, которые мы можем сделать применительно к психологии нецивилизованного человека, состоит в том, что она в значительной степени демонстрирует то, что мы можем назвать *инерцией* в отношении движения вверх. Даже такой высокоразвитый тип ума, как негритянский, — к тому же подверженный, как это было в миллионах отдельных случаев, тесному контакту с умами самого прогрессивного типа и пользующийся, как это было во многих тысячах отдельных случаев, всеми преимуществами гуманитарного образования, — никогда, насколько я могу установить, не выполнил ни одного оригинального штриха ни в одной области интеллектуальной деятельности.

Опять же, если мы обратимся ко всей истории человека на этой планете, описанной по его останкам, то особенностью, которая, на мой взгляд, выделяется наиболее ярко, является почти невероятная медлительность его интеллектуального развития на протяжении всех предыдущих тысячелетий его существования. Придавая большое значение соображению о том, что “эпоха палеолита, относящаяся в соответствии с этой фразой к стадии культуры, а не к какому-либо хронологическому периоду, является чем-то, что приходило и уходило в очень разные даты в разных частях света”; [9] и что то же замечание может быть использовано, возможно, в меньшей степени, для применения к эпохе неолита; и все же, когда мы вспоминаем, какими огромными промежутками времени можно грубо считать эти эпохи, я думаю, что наиболее примечательным фактом является то, что в течение многих тысяч лет, занятых первой, человеческий разум практически не продвинулся в своих примитивных методах обтесывания кремней; или что в течение времени, занятого второй, тот же самый разум так медленно приходил, например, даже к такому простому изобретению, как замена кремней рогами при изготовлении оружия. В моем следующем томе, где я буду иметь дело с доказательствами интеллектуальной эволюции, мне придется привести множество примеров, все из которых демонстрируют ее чрезвычайно медленный прогресс в течение этих эонов доисторического времени. Действительно, только после того, как был сделан великий шаг по замене металлов как на камни, так и на рога, ментальная эволюция начала развиваться с сколько-нибудь заметной скоростью. Однако это было, так сказать, всего лишь делом вчерашнего дня. Таким образом, в целом, если мы рассматриваем человеческий род в целом — будь то на поверхности земли в настоящее время или в записях геологической истории, — мы больше не можем утверждать, что тенденция к совершенствованию в последующих поколениях является здесь ведущей характеристикой. Напротив, любое улучшение такого быстрого и непрерывного рода, как то, которое действительно предполагается, характерно только для небольшой части человеческой расы в течение, так сказать, последних часов ее существования.

С другой стороны, как я уже говорил, неправда, что виды животных никогда не демонстрируют никаких следов интеллектуального совершенствования от поколения к поколению. Если бы это было так, как уже отмечалось, ментальная эволюция никогда не смогла бы произойти в животном мире, и поэтому феномены разума были бы полностью ограничены человеком: от всех животных требовалось бы вести лишь растительную форму жизни. Но, помимо этого общего

соображения, мы встречаемся со многими частными примерами умственного совершенствования у последовательных поколений животных, происходящими даже в течение ограниченных периодов, на которые могут распространяться наблюдения человека. В моей предыдущей работе можно найти множество примеров (особенно в главах о пластичности и смешанном происхождении инстинктов), показывающих, что для птиц и млекопитающих вполне обычно изменять даже наиболее сильно унаследованные инстинктивные привычки, чтобы улучшить условия своей жизни в связи с некоторыми изменениями, произошедшими в их среде обитания. И если следует сказать, что в таком случае “животное все еще не поднимается выше уровня птичьего или звериного”, ответ, конечно, таков: ни Шекспир, ни Ньютон не поднимаются выше уровня мужского.

Таким образом, в целом я не вижу, чтобы можно было проводить какое-либо обоснованное различие между психологией человека и животного в отношении совершенствования от поколения к поколению. В самом деле, я счел бы едва ли не более философским любого оппонента теории эволюции, который случайно был знаком с фактами, имеющими отношение к предмету, если бы он занял обратную позицию и утверждал, что для целей этой теории в этом отношении *недостаточно* различия между психологией человека и животных. Ибо, когда мы вспоминаем о том огромном прогрессе, которого, согласно теории эволюции, разум человека эпохи палеолита должен был уже достичь по сравнению с разумом высших обезьян, и когда мы вспоминаем, что все существующие человеческие расы обладают огромным преимуществом той или иной формы языка, с помощью которой можно передавать потомству результаты индивидуального опыта, — когда мы вспоминаем об этих вещах, мне кажется, трудность заключается в объяснении того, почему с такого начала и с такими преимуществами человеческий род, как тогда, когда он впервые появляется на страницах геологической истории, так и в том виде, в каком он проявляется сейчас у подавляющего большинства составляющих его рас, возник в результате, должны пока напоминать виды животных в период длительного застоя их интеллектуальной жизни.

Теперь я перейду к рассмотрению взглядов м-ра Уоллеса и м-ра Майварта на различие между умственными способностями человека и животного. Оба этих автора являются опытными натуралистами, а также признанными эволюционистами в том, что касается животного мира: более того, они также сходятся во мнении, что принципы эволюции нельзя применять к человеку. Но любопытно, что в том, что касается психологии, они основывают свои аргументы в поддержку своего общего вывода на прямо противоположных посылках. Ибо, в то время как м-р Майварт утверждает, что человеческий интеллект не может быть таким же, как у животных, потому что ум низшего дикаря несравненно выше, чем у высшей обезьяны; м-р Уоллес приводит доводы в пользу того же вывода на том основании, что интеллект дикарей так мало отличается от интеллекта высших обезьян, что факт пропорционального увеличения их мозга должен рассматриваться как перспективное указание на потребности цивилизованной жизни. “Мозга, - говорит он, - немного большего, чем у гориллы, согласно имеющимся у нас свидетельствам, было бы вполне достаточно для ограниченного умственного развития дикаря; и поэтому мы должны признать, что большой мозг, которым он действительно обладает, никогда не мог быть развит исключительно в соответствии с каким-либо из законов эволюции”. [10]

Теперь я представил эти два мнения рядом, потому что считаю интересным, если не наводящим на размышления тот факт, что два ведущих диссидента в этой стране из общей школы эволюционистов, хотя оба придерживаются доктрины о том, что человек должен быть отделен от остального животного царства по психологическим причинам, тем не менее пришли к своей общей доктрине по прямо противоположным причинам.

Выдающийся французский натуралист, профессор Катрефаж, также придерживается мнения, что человека следует отделить от остального животного царства как существо, которое, по психологическим соображениям, должно иметь какой-то иной способ происхождения. Но он отличается от обоих английских эволюционистов тем, что проводит свое различие несколько более тонко. Ибо, в то время как Майварт и Уоллес основывали свои аргументы на разуме человека, рассматриваемом в целом, Катрефаж явно ограничивает свои доводы способностями совести и религии. Другими словами, он допускает — нет, настаивает, — что нельзя проводить никакого обоснованного различия между человеком и животным в отношении рациональности или интеллекта. Например, если взять только один отрывок из его сочинений, он замечает: “Во имя философии и психологии меня обвинят в смешении определенных интеллектуальных атрибутов человеческого разума с исключительно чувствительными способностями животных. Сейчас я попытаюсь ответить на эту критику с точки зрения, с которой никогда не должен покидать натуралист, а именно с точки зрения эксперимента и наблюдения. Здесь я ограничусь утверждением, что, по моему мнению, животное разумно и, хотя является (интеллектуально) рудиментарным существом, его интеллект, тем не менее, имеет ту же природу, что и у человека”. Позже он говорит: “Психологи относят религию и мораль к разуму и делают последний атрибутом человека (исключая животных). Но с разумом они связывают высшие явления интеллекта. На мой взгляд, при этом они смешивают и ссылаются на общее происхождение совершенно разных фактов. Таким образом, поскольку они не способны признать ни мораль, ни религию в животных, которые в действительности не обладают этими двумя способностями, они вынуждены отказать им также в разуме, хотя те же самые животные, по моему мнению, ежеминутно дают решающие доказательства своего обладания этой способностью”. [11]

Касаясь этих взглядов, я должен отметить только две вещи. Во-первых, они отличаются *тото чело* от работ обоих м-ра Уоллеса и м-ра Майварта; и, таким образом, теперь мы обнаруживаем, что *три* главных авторитета, которые все еще выступают за видовое различие между человеком и животным на психологических основаниях, далеки от согласия, на самом деле находятся в фундаментальной оппозиции, поскольку они основывают свой общий вывод на предпосылках, которые все взаимоисключают друг друга. Далее, даже если бы мы были полностью согласны с мнением французского антрополога или считали, что различие видов должно проводиться только в религии и морали, мы все равно были бы вынуждены допустить — хотя сам он, по—видимому, этого не осознает, — что превосходство человеческого интеллекта является необходимым *условием* для обоих этих атрибутов человеческого разума. Другими словами, независимо от того, прав Катрефаж или нет в своем мнении, что религия и мораль указывают на видовое различие в единственном виде животных, который их представляет, по крайней мере, несомненно, что ни одна из этих способностей не могла бы проявиться у этого вида, если бы он также не был одарен интеллектом значительно более высокого порядка. Ибо даже самые элементарные формы религии и морали зависят от идей гораздо более абстрактной, или интеллектуальной, природы, чем те, которые можно встретить у любого животного. Следовательно, очевидно, что первое различие, которое следует рассмотреть, — это интеллектуальное различие. Если анализ покажет, что школа, представленная Катрефажем,

права, рассматривая это различие как одно из степеней — и, следовательно, что школа, представленная Майвартом, ошибается, считая его единственным в своем роде, — тогда придет время рассмотреть в той же связи эти особые способности морали и религии. Таким образом, таков метод, который я намерен применить. Весь настоящий том будет посвящен рассмотрению "происхождения человеческих способностей" в более широком смысле этого термина или в соответствии с точкой зрения, что исконно человеческие способности начинаются с исконно человеческого мышления. Когда этот вопрос будет тщательно обсужден, будет подготовлена почва для рассмотрения в последующих томах более специальных аспектов морали и религии. [12]

ГЛАВА II.

ИДЕИ. [13]

Теперь я перехожу к рассмотрению единственного различия, которое, по моему мнению, можно правильно провести между психологией человека и животного. Это великое различие, которое дает полное психологическое объяснение всех многочисленных и необъятных различий, которые, несомненно, существуют между разумом высшей обезьяны и разумом низшего дикаря. Более того, это различие в настоящее время повсеместно признано психологами всех школ, от романиста до агностика в религии и от идеалиста до материалиста в философии.

Это различие было четко сформулировано многими авторами, начиная с Аристотеля, но лучше всего я могу передать его словами Локка:

“Если можно усомниться в том, что животные до какой-либо степени таким образом соединяют и расширяют свои идеи, то я думаю, что могу быть уверен в том, что в них вовсе нет способности к абстрагированию; и что обладание общими идеями - это то, что проводит совершенное различие между человеком и животными, и это превосходство, которого способности животных никоим образом не достигают. Ибо очевидно, что мы не наблюдаем у них никаких признаков использования общих знаков для обозначения универсальных идей; из чего у нас есть основания предполагать, что они не обладают способностью абстрагироваться или создавать общие идеи, поскольку они не пользуются словами или какими-либо другими общими знаками.

Нельзя также приписать недостатку у них подходящих органов для образования членораздельных звуков то, что они не пользуются общими словами или не знают их; поскольку мы обнаруживаем, что многие из них могут образовывать такие звуки и произносить слова достаточно отчетливо, но никогда с таким применением; и, с другой стороны, люди, которым из-за какого-то дефекта органов не хватает слов, все же не упускают возможности выражать свои универсальные идеи знаками, которые служат им вместо общих слов; способность, которой, как мы видим, недостает животным. И поэтому, я думаю, мы можем предположить, что именно этим виды животных отличаются от людей; и это то истинное различие, в котором они полностью разделены и которое в конце концов расширяется до такого огромного расстояния; ибо, если у них вообще есть какие-либо идеи и они не являются голыми машинами (как некоторые хотели

бы их представить), мы не можем отрицать, что у них есть какой-то разум. Мне кажется очевидным, что они рассуждают о некоторых из них в определенных случаях, поскольку они обладают смыслом; но это касается только определенных идей, точно так же, как они получали их от своих органов чувств. Они - лучшие из них, заключенные в эти узкие рамки, и у них нет (как я думаю) способности расширять их с помощью какой-либо абстракции ”. [14]

Итак, здесь мы изложили со всей ясностью здравого смысла этого великого писателя то, что мы можем назвать начальным или базисным различием, которое мы ищем: это то “собственное различие”, которое, поначалу сужаясь, как пространство, включенное между двумя линиями рельсов в точке их расхождения, “в конце концов расширяется до такого огромного расстояния”, что заканчивается почти на противоположных полюсах сознания. Ибо, непрерывно продвигаясь по той же линии развития, человеческий разум получает возможность думать об абстракциях собственного изготовления, которые все более и более удаляются от чувственного восприятия конкретных объектов; он может объединять эти абстракции в бесконечное разнообразие идеальных комбинаций; они, в свою очередь, могут превращаться в идеальные конструкции все более и более сложного характера; и так далее, пока мы не достигнем полной способности к интроспективному мышлению, с которой каждый из нас непосредственно знаком.

Теперь мы подходим к тому, что одновременно является предметом тщательного анализа и набором вопросов, имеющих фундаментальное значение для всей структуры настоящей работы. Я имею в виду природу абстракции и классификацию идей. В отношении этих важных тем все еще существует немалая двусмысленность, и при их рассмотрении невозможно использовать термины, значения которых согласованы всеми психологами. Но я тщательно определяю значения, которые я сам придаю этим терминам и которые, по моему мнению, они должны нести. Более того, в заключение я приму классификацию, которая в некоторой степени нова, и полностью изложу свои доводы в пользу этого.

Психологи согласны с тем, что то, что они называют конкретными идеями или представлениями об определенных объектах, имеет природу ментальных образов или воспоминаний о таких объектах — например, когда звук голоса друга вызывает в моем сознании представление об этом конкретном человеке. Психологи далее согласны с тем, что то, что они называют общими идеями, возникает из совокупности частных идей, например, когда из моих повторяющихся наблюдений за многочисленными отдельными людьми я формирую идею Человека или абстрактного существа, которое включает в себя сходство между всеми этими отдельными людьми, независимо от их индивидуальных различий. Следовательно, частные идеи соответствуют восприятиям, в то время как общие идеи соответствуют концепциям: индивидуальное предписание (или его повторение) порождает свой мнемонический эквивалент в виде особой идеи; в то время как группа сходных, хотя и не совсем сходных восприятий порождает свой мнемонический эквивалент в виде концепции, которая, следовательно, является всего лишь другим названием общей идеи, таким образом, порожденной совокупностью частных идей. Точно так же, как метод мистера Гальтона по наложению на одну и ту же чувствительную пластинку ряда отдельных изображений приводит к созданию смешанной фотографии, в которой каждая из отдельных составляющих представлена частично и пропорционально; так и в чувствительной табличке памяти

многочисленные образы предыдущих восприятий объединяются в единую концепцию, которая затем представляет собой составную картину, или классовое представление, этих составляющих ее образов. Более того, в случае с чувствительной пластинкой только те частные изображения, которые представляют более или менее многочисленные точки сходства, допускают слияние таким образом в отчетливую фотографию; и, таким образом, в случае с разумом только те частные идеи, которые допускают объединение в класс, могут составить четкое понятие. [15]

Итак, вот и все об идеях как частных, так и общих. Далее, термин "абстрактный" использовался разными психологами в разных смыслах. Со своей стороны, я буду придерживаться использования Локка в процитированном выше отрывке, которое используется большинством современных авторов по этим темам. Согласно этому употреблению, термин "абстрактная идея" практически синонимичен термину "общая идея". Ибо процесс абстрагирования состоит в мысленном анализе комплекса, представленного любым данным объектом восприятия, и в идеале выделении тех черт или качеств, на которые в данный момент направлено внимание. Даже самый индивидуальный объект не может не представлять собой совокупность качеств, и хотя верно, что такой объект на самом деле не может быть разделен на все составляющие его качества, он допускает такое разделение в идеале. Отдельный человек, которого я знаю как Джона Смита, не мог бы распасться на столько тепла, плоти, костей, крови, цвета и т. Д., Не переставая быть человеком вообще; но это не мешает мне идеально абстрагироваться от его тепла (думая о нем как о трупе), его плоти, костей и крови (думая о нем как о препарированном "предмете"), его белого цвета кожи, его черных волос и так далее. Теперь очевидно, что в конечном итоге наша способность формировать общие идеи, или концепты, зависит от этой способности абстрагирования, или способности идеально отделять одно или более качеств, представленных восприятиями, т.е. объектами конкретных идей. Мое общее представление о теплоте стало возможным только благодаря тому, что я идеально абстрагировал качество тепла от различных нагретых тел, в большинстве из которых оно сосуществовало с бесчисленными различными ассоциациями других качеств. Но это не мешает тому, что везде, где я встречаюсь с этим одним качеством, я признаю его одним и тем же; и, следовательно, я прихожу к общей или абстрактной идее тепла, независимо от любого другого качества, с которым в частных случаях оно может быть связано. [16]

Этот факультет подходит абстракция дает *обязательным quâ номера* для всех классов в развитии мысли, ибо только она может сравнивать идеи с идеей, и таким образом все вперед и вперед, все выше и выше уровней, а также более сложные структуры мысли. Что касается истории этого развития, то сейчас нам будет что сказать подробнее. Пока я хочу только отметить две вещи в связи с этим. Первое заключается в том, что на протяжении всей этой истории развитие есть *развитие*: способность к абстракции везде одинакова в *виде*. И следующее, что это развитие везде зависит от способности к *языку*. Многое потребует сказать по обоим этим пунктам в последующих главах; но необходимо изложить факты таким образом заранее — и это факты, которые сейчас принимают психологи всех школ, — чтобы сделать понятным следующий шаг, который я собираюсь сделать в своей классификации идей. Этот шаг состоит в том, чтобы провести различие между способностью к абстракции там, где она не зависит от языка, и там, где она настолько зависима. Я только что сказал, что способность к абстрагированию *везде* одинакова по своему характеру; но поскольку я сразу же перешел к утверждению, что *развитие* абстракции зависит от языка, я пока оставил открытым вопрос о том, может ли существовать

какая-либо рудиментарная абстракция без языка. Следовательно, именно к этому вопросу мы должны обратиться в следующий раз.

С одной стороны, можно утверждать, что, ограничивая термин "абстрактный" идеями, которые могут быть сформированы только с помощью языка, мы проводим произвольную черту, фиксируясь на одной ступени непрерывной шкалы способности, которая во всем одинакова по своему характеру. Ибо, говорят некоторые психологи, очевидно, что в нашем собственном случае большинство наших более простых абстрактных или общих идей не зависят в своем существовании от слов. Или, если это оспаривается, эти психологи могут указать на младенцев и даже на низших животных в доказательство своего утверждения. Ибо младенец, несомненно, демонстрирует обладание простыми общими идеями до овладения каким-либо членораздельным языком; и после того, как он начинает использовать такой язык, он делает это путем спонтанного расширения общности значений, присущих его исходным словам. В доказательство обоих этих утверждений можно было бы привести бесчисленные наблюдения, и они будут приведены далее; но здесь мне нужно только подождать, чтобы привести по одному в доказательство каждого из них. Что касается первого, профессор Прейер сообщает нам, что в возрасте восьми месяцев, [17] и, следовательно, задолго до того, как он смог говорить, его ребенок смог классифицировать все стеклянные бутылочки как похожие на бутылочку для кормления или принадлежащие к порядку бутылочек для кормления. [18] Что касается второго, М. Тэн рассказывает нам о маленькой девочке полутора лет, которую забавляло, что ее мать, играя, пряталась за предметом мебели и говорила "Куку". Опять же, когда ее еда была слишком горячей, когда она подходила слишком близко к огню или свече, и когда солнце пригревало, ей говорили "чабреле". Однажды, увидев, как солнце скрывается за холмом, она воскликнула: "A b'ûle soucou", показывая тем самым как формирование, так и сочетание общих идей, "не только выражаемых словами, которые мы не используем (и, следовательно, не какими-либо другими словами, которые она могла использовать ранее), но также соответствующих идеям, следовательно, классам объектов и общим признакам, которые в наших случаях исчезли". Горячий суп, огонь в очаге, пламя свечи, полуденная жара в саду и, наконец, солнце составляют один из этих классов. Фигура медсестры или матери, исчезающая за холмом, относится к другому классу". [19]

Переходя к случаю с животными и начиная с простейших иллюстраций, отметим, что все высшие животные имеют общие представления о "Годных для употребления в пищу" и "негодных для употребления в пищу", совершенно независимо от каких-либо конкретных объектов, для которых характерно любое из этих качеств. Ибо, если мы дадим какому-либо из высших животных кусочек пищи, которого оно никогда прежде не пробовало, животное не схватит его немедленно и не отвергнет немедленно наше предложение; но оно подвергает кусочек тщательному исследованию, прежде чем отправить его в рот. Это доказывает, если вообще что-либо может быть, что у такого животного есть общее или абстрактное представление о сладком, горьком, остром или, в целом, о том, что Годно для употребления в пищу и что не годно для употребления в пищу - мотивы исследования явно заключаются в том, чтобы установить, какое из этих двух общих представлений о виде подходит для конкретного исследуемого объекта. Когда мы сами выбираем что-то, что, по нашему мнению, окажется полезным для употребления в пищу, нам не нужно привлекать на помощь какие-либо из того высшего класса абстрактных идей, которыми мы обязаны нашим языковым способностям:

достаточно определить наше решение, если конкретный вид, запах или вкус пищи заставляют нас почувствовать, что она, вероятно, соответствует нашему общему представлению о полезности в пищу. И, следовательно, когда мы видим животных, выбирающих между сходными альтернативами точно сходными методами, мы не можем обоснованно сомневаться в том, что психологические процессы сходны; ибо, поскольку мы знаем, что эти процессы в нас самих не задействуют какие-либо высшие силы нашего разума, нет причин сомневаться в том, что процессы, которые в своих проявлениях кажутся такими похожими, на самом деле являются тем, чем кажутся, — одним и тем же. Опять же, если я вижу лису, крадущуюся по двору фермы, я делаю вывод, что голод побудил ее пойти туда, где, как у нее есть общее представление о том, что там можно найти много съедобных вещей - точно так же, как меня самого подобный импульс побудил посетить ресторан. Точно так же, если я говорю своей собаке слово “Кошка”, я пробуждаю в ее сознании представление не о какой—либо кошке в частности - ведь она видит так много кошек, — а о Кошке в целом. Или когда эта же собака случайно пересекает след незнакомой собаки, запах этой незнакомой собаки заставляет ее поджать хвост и встряхнуть шерсть на спине, готовясь к драке; однако запах незнакомой собаки должен вызывать в ее сознании не представление о какой-либо собаке в частности, а представление о собаке-животном в целом.

Следует помнить, что до сих пор я приводил доказательства в пользу точки зрения, что как младенцы, так и животные проявляют способность формировать общие идеи простого порядка и, следовательно, что для формирования таких идей использование языка не является существенным. Далее я рассмотрю, что следует сказать по другой стороне вопроса; ибо, как отмечалось ранее, многие — я бы сказал, большинство — психологов отвергают такого рода доказательства *in toto*, как не относящиеся к предмету обсуждения. Поэтому сначала я рассмотрю их возражения против такого рода доказательств; затем я подведу итог всему вопросу; и, наконец, я предложу классификацию идей, которые, по моему мнению, должны быть приняты обеими сторонами как составляющие общую основу примирения.

Начнем с другой цитаты из Локка: “Нелегко определить, насколько животные обладают этой способностью [*т.е.* Способностью сравнивать идеи]; я полагаю, что они обладают ею не в какой-либо большой степени: ибо, хотя у них, вероятно, есть несколько идей, достаточно отличных друг от друга, все же мне кажется, что это прерогатива человеческого разума, когда он достаточно различил какие-либо идеи, чтобы воспринимать их как совершенно разные и, следовательно, как две, рассматривать, при каких обстоятельствах их можно сравнивать: и поэтому я думаю, что животные сравнивают свои идеи не дальше некоторых разумных обстоятельств”. прилагается к самим объектам. Мы, вероятно, можем предположить, что животные не обладают другой способностью к сравнению, которую можно наблюдать у людей, относящейся к общим идеям и полезной только для абстрактных рассуждений.

“Следующая операция, которую мы можем наблюдать в уме по отношению к его идеям, - это композиция; посредством этого он объединяет несколько из тех простых идей, которые он получил от ощущения и рефлексии, и объединяет их в сложные. К этому виду композиции можно отнести также расширение; при этом, хотя композиция проявляется не так сильно, как в более сложных произведениях, все же это, тем не менее, соединение нескольких идей, хотя и одного рода. Таким образом, складывая несколько единиц вместе, мы получаем идею дюжины; а объединяя повторяющиеся идеи нескольких насестов, мы формируем идею фарлонга.

И в этом, я полагаю, животные далеко отстают от людей; ибо, хотя они воспринимают и сохраняют вместе несколько комбинаций простых идей, как, возможно, форма, запах и голос своего хозяина, составляющие сложное представление собаки о нем, или, скорее, представляют собой множество отчетливых признаков, по которым она его узнает; все же я не думаю, что они сами по себе когда-либо соединяют их и создают сложные идеи. И, возможно, даже там, где мы думаем, что у них сложные идеи, есть только одна простая идея, которая направляет их к знанию нескольких вещей, которые, возможно, они различают на глаз меньше, чем мы себе представляем; ибо мне достоверно сообщили, что сука будет нянчиться, играть с молодыми лисицами и любить их так же сильно, как и своих щенков, и вместо них; если вы только сможете заставить их один раз сосать ее так долго, чтобы через них прошло ее молоко. И те животные, у которых сразу появляется многочисленный выводок детенышей, по-видимому, не имеют никакого представления об их количестве: ибо, хотя они сильно беспокоятся о любом из своих детенышей, которых у них отнимают, пока они находятся в поле зрения или слуха; все же, если у них крадут одного или двух в их отсутствие или без шума, они, по-видимому, не скучают по ним или чувствуют, что их количество уменьшается”. [20]

Итак, из всего этого отрывка очевидно, что “сравнение”, “компаундирование” и “расширение” идей, которые Локк имеет в виду, - это *сознательное* или *намеренное* сравнение, компаундирование и расширение, которые относятся только к сфере рефлексии, или мышления. Он никоим образом не заботится о себе таких способностях “сравнивать и комбинировать идеи”, поскольку допускает присутствие животных, если только не будет показано, что животные способны “поразмьшлять и рассмотреть, при каких обстоятельствах их можно сравнивать”. И затем он добавляет: “Поэтому, я думаю, животные сравнивают свои идеи не *дальше некоторых чувственных обстоятельств, связанных с самими объектами. Другой способности к сравнению, которую можно наблюдать у людей, принадлежащей общим идеям и полезной только для абстрактных рассуждений*, мы, вероятно, можем предположить, что животные не обладают”. Таким образом, пока что кажется совершенно очевидным, что Локк считал, что животные обладают способностью “сравнивать и комбинировать” “простые идеи”, вплоть до того момента, когда такому сравнению и составлению начинает помогать сила рефлексивного мышления. Поэтому, когда он сразу после этого переходит к объяснению абстракции следующим образом: “Тот же самый цвет, наблюдаемый сегодня в мелу или снегу, который ум вчера воспринял от молока, он рассматривает только это явление, делает его представителем всего этого вида; и, дав ему название белизны, оно этим звуком обозначает одно и то же качество, где бы его ни воображали или с чем бы ни встречались; и, таким образом, образуются универсалии, будь то идеи или термины” - когда он таким образом переходит к объяснению абстракции, мы можем не сомневаться, что под абстракцией он подразумевает способность *идеально рассматривать качества как отделенный от объектов*, или, как он выражается, “*рассматривающий* только внешние проявления”. Поэтому я заключаю, без дальнейшего обсуждения, что в терминологии Локка слово “абстракция” применяется только к тем высшим проявлениям способности, которые становятся возможными благодаря рефлексии.

Итак, от чего зависит эта способность к отражению? Как мы увидим более подробно позже, это зависит от языка или от способности присваивать имена абстрактным и общим идеям. Насколько мне известно, психологи всех существующих школ согласны с этим пунктом или придерживаются мнения, что способность присваивать имена абстракциям является

одновременно условием рефлексивного мышления и объяснением разницы между человеком и животным в отношении формирования идей.

Кажется излишним останавливаться на вопросе, в котором все согласны и о котором потребуются сказать гораздо больше в последующих главах. В настоящее время я лишь пытаюсь установить основу различия между теми психологами, которые приписывают животным способность к абстрагированию, и теми, кто отрицает ее. И я думаю, что теперь я в состоянии совершенно ясно изложить этот момент. Как мы уже видели и будем часто видеть снова, всеми признано, что животные в своем мышлении не ограничены особым представлением (или запоминанием) конкретных восприятий; но что они действительно обладают способностью, как выразился Локк, “воспринимать и удерживать вместе несколько комбинаций простых идей”. [21] Тогда единственный вопрос, действительно ли эта сила является силой абстракции. По мнению некоторых психологов, это так, по мнению других психологов, это не так. Итак, от чего зависит ответ на этот вопрос? Очевидно, это зависит от того, считаем ли мы необходимым для абстрактной или общей идеи то, что она должна быть воплощена в виде слова. С одной точки зрения, “принять и сохранить вместе несколько комбинаций простых идей” означает сформировать общую концепцию из стольких восприятий. Но, с другой точки зрения, такая комбинация простых идей только тогда имеет право рассматриваться как концепция, когда она была постигнута умом как концепция, или когда в силу того, что она была воплощена в имени, она предстает перед умом как отдельное и органическое порождение разума — таким образом, становясь объектом, а также продуктом мышления. Ибо только тогда абстрактная идея может быть известна как абстрактная, и только тогда она может быть доступна как определенное творение мысли, способное быть встроенным в любую дальнейшую и более сложную структуру мышления. Или, цитируя М. Тэна, который с большой ясностью отстаивает эту точку зрения: “Из наших многочисленных переживаний [*т.е.* индивидуальных восприятий выставки араукарий] на следующий день остаются четыре или пять более или менее отчетливых воспоминаний, которые сами по себе стерлись, оставив после себя простое, бесцветное, расплывчатое представление, в которое входят в качестве компонентов различные оживляющие ощущения в крайне слабом, неполном и прерывистом состоянии. Но это представление не является общей или абстрактной идеей. Это всего лишь ее сопровождение и, если можно так выразиться, то, из чего она извлечена. Ибо изображение, хотя и плохо набросанное, является эскизом, чувственным наброском отдельного индивидуума; фактически, если я заставляю его сохраняться и останавливаться на нем, оно повторяет какое-то особое зрительное ощущение; я вижу мысленно некоторый контур, который соответствует только некоторой конкретной араукарии и, следовательно, не может соответствовать всему классу: итак, моя абстрактная идея соответствует всему классу; следовательно, она отличается от представления отдельного индивидуума. Более того, моя абстрактная идея совершенно ясна и определена; теперь, когда я обладаю ею, я всегда узнаю араукарию среди различных растений, которые мне могут показать; таким образом, она отличается от моего путаного и плавающего представления о какой-то конкретной араукарии. Что же тогда есть во мне такого ясного и определенного, соответствующего абстрактному характеру, соответствующего всем араукариям и соответствующего ему одному? Название класса, название араукария.... Таким образом, мы постигаем абстрактные свойства вещей посредством абстрактных имен, которые являются нашими абстрактными идеями, а образование наших абстрактных идей есть не что иное, как образование имен”. [22]

Таким образом, реальный вопрос заключается в том, что мы должны понимать под этим термином "абстракция" или его эквивалентами. Если мы хотим ограничить этот термин способностью "воспринимать и сохранять вместе несколько комбинаций простых идей", *плюс* способность давать название результирующему соединению, то, несомненно, животные отличаются от людей отсутствием способности к абстрагированию; ибо это не более чем сказать, что животные не обладают способностью к речи. Но если рассматриваемый термин не быть таким ограниченным — если его понимать как обозначающий первый из вышеназванных процессов независимо от второго, — то, не менее несомненно, животные напоминают людей в проявлении способности к абстрагированию. В соответствии с первым определением с необходимостью следует, что "мы постигаем абстрактные свойства вещей *посредством абстрактных имен, которые ЯВЛЯЮТСЯ нашими абстрактными идеями*"; и, следовательно, что "формирование наших абстрактных идей есть не что иное, как образование имен". Но, в соответствии с последней точкой зрения, как ни велико значение присвоения названия соединению простых идей с целью придания этому соединению большей ясности и устойчивости, сущность абстракции состоит в акте компаундирования или в смешении частных идей в общую идею класса, к которому принадлежат отдельные вещи. Акт присвоения этой сложной идее классового названия является совершенно отдельным актом, который обязательно следует за предыдущим актом компаундирования: почему же тогда, могут спросить, мы должны отрицать, что такая сложная идея является общей или абстрактной идеей, только потому, что за ней не следует хитрость с присвоением ей имени?

По моему мнению, так много нужно сказать в пользу обеих этих точек зрения, что я не собираюсь высказываться ни против одной из них. То, что я до сих пор пытался сделать, - это ясно показать, что вопрос о том, есть ли какая-либо разница между животным и человеком в отношении абстракции, является не более чем вопросом терминологии. Настоящий вопрос возникнет только тогда, когда мы перейдем к рассмотрению способности к языку: вопрос, стоящий перед нами сейчас, - это просто вопрос психологической классификации или номенклатуры идей. Теперь мне кажется, что этот вопрос может быть окончательно урегулирован и устранено множество ненужных недоразумений путем небольшой корректировки и более точного определения терминов. Ибо все должны признать, что, независимо от того, хотим мы обозначать словом "абстракция" способность составлять простые идеи без способности называть составные части, в том месте, где возникает эта дополнительная способность называть, обеспечивается столь огромное присоединение к предыдущей способности, что любая система психологической номенклатуры должна быть в высшей степени несовершенной, если в ней нет терминов, позволяющих распознать разницу. Ибо, даже если бы психологи противоположной школы признали, что сущность абстракции состоит в составлении простых идей, а вовсе не в последующем процессе наименования составных частей, все равно эффект этого последующего процесса — или дополнительной способности — настолько поразителен, что более высокие степени абстракции, которые благодаря ему становятся возможными, несомненно, требуют выделения или отличия от более низких степеней. Поэтому, никоим образом не предвешая вопроса о том, имеем ли мы здесь различие в степени или в роде, я представлю классификацию идей, которая, хотя и не вызывает возражений ни с одной из сторон этого вопроса, в значительной степени поможет нам в нашем последующем рассмотрении самого вопроса.

Слово “Идея” я буду использовать в смысле, определенном в моей предыдущей работе, а именно как общий термин для обозначения любого продукта воображения, от простого воспоминания о чувственном впечатлении до результата самого сложного обобщения. [23]

Под “Простой идеей”, “Особой идеей” или “Конкретной идеей” я понимаю простое воспоминание об определенном чувственном восприятии.

Под “Составной идеей”, “Сложной идеей” или “Смешанной идеей” я понимаю объединение простых, частных или конкретизированных идей в такого рода составную идею, которая возможна без помощи языка.

Наконец, под “Общей идеей”, “Абстрактной идеей”, “Концепцией” или “Понятием” я понимаю такого рода составную идею, которая становится возможной только с помощью языка или процесса наименования абстракций абстракциями.

Теперь в этой классификации, несмотря на то, что необходимо привести по крайней мере десять различных терминов, которые либо сейчас используются психологами, либо использовались классическими английскими авторами по этим темам, мы можем заметить, что на самом деле следует различать всего три отдельных класса. Более того, следует заметить, что ради определения я ограничиваю первые три термина обозначением воспоминаний о конкретных чувственных восприятиях, отказываясь, следовательно, применять их к тем смешанным воспоминаниям о многих чувственных восприятиях, которые позволяют животным и младенцам (а также нам самим) формировать сложные представления о роде или классе без помощи языка. Опять же, первое подразделение этой тройственной классификации имеет дело только с тем, что называется восприятиями, в то время как последнее имеет дело только с тем, что называется понятиями. В настоящее время не существует эквивалентного слова, соответствующего среднему подразделению. И этот факт сам по себе наиболее убедительно показывает состояние двусмысленной путаницы, в которую была повергнута классификация идей. Психологи обеих школ, которые мы рассматриваем, а именно те, кто утверждает, и те, кто отрицает, что существует какая—либо видовая разница между мышлением людей и животных, в равной степени вынуждены признать, что существует огромная разница между тем, что я назвал простой идеей, и тем, что я назвал сложной идеей. Другими словами, очевидным фактом является то, что единственное различие между идеями - это различие между воспоминанием об определенном восприятии и образованием названного понятия; ибо между этими двумя классами идей, очевидно, лежит другой класс, в силу которого даже животные и младенцы способны различать индивидуальные объекты как принадлежащие к роду. Однако эта большая и важная территория мышления, лежащая между двумя другими, является, так сказать, безымянной территорией. Даже слова “сложная идея”, “комплексная идея” и “смешанная идея” я ограничиваю этим без санкции предыдущего употребления; ибо, как было отмечено выше, существование этой промежуточной страны игнорировалось настолько полно, что у нас вообще нет слова, которое было бы применимо к ней так же, как Восприятие и Концепция применимы к землям по обе стороны от нее. Следствием этого является то, что психологи одной школы вторгаются в эту промежуточную область мышления с терминами, которые применимы только к низшей области, в то время как психологи другой школы вторгаются в нее с терминами, которые применимы только к высшей: единственное, в чем все они, по—видимому, согласны, это игнорирование широкой области, которую охватывает эта промежуточная территория, и,

следовательно, также игнорирование большого расстояния, на которое разделены территории по обе стороны от нее.

Таким образом, в дополнение к терминам "Восприятие" и "Концепция" я использую слово "*Восприятие*". Это термин, который, по-видимому, в точности соответствует требованиям данного дела. Ибо поскольку восприятие буквально означает *принятие целиком*, а представление - *принятие вместе*, восприятие означает *повторное* принятие. Следовательно, повторное восприятие - это то, что принимается повторно, или *узнавание* ранее *познанных* вещей. Итак, суть того, что я определил как составные идеи (recepts), заключается в том, что они возникают в уме в результате повторения более или менее сходных восприятий. Увидев некоторое количество араукарий, ум *получает* от всей массы особей, которую он *воспринимает*, составную идею араукарии или класса, включающего всех особей этого вида, — идею, которая отличается от общей или абстрактной идеи только тем, что не фиксируется сознательно и не подписывается как идея посредством абстрактного названия. Сложные идеи, следовательно, могут возникать только в результате *повторения* более или менее сходных восприятий; и отсюда уместность обозначения их рецептами. Более того, все ассоциации, которые у нас возникают с родственными словами "Получать", "Reception" и т. Д., Относятся к *пассивному* типу, в то время как ассоциации, которые у нас возникают со словами "Постигать", "Зачатие" и т. Д., Относятся к *активному* типу. И здесь снова использование слова "восприятие" представляется подходящим для рассматриваемого класса идей, потому что при получении таких идей ум пассивен, так же как при постижении абстрактных идей ум активен. Чтобы сформировать концепцию, разум должен намеренно свести воедино свои восприятия (или воспоминания о них), с целью связать их в виде пучка сходств и пометить этот пучок именем. Но для того, чтобы сформировать восприятие, уму не нужно совершать таких преднамеренных действий: сходства между восприятиями, с которыми связан только этот порядок мышлеобразования, настолько заметны и так часто *повторяются* при наблюдении, что в самый момент восприятия они сортируются сами по себе и, так сказать, попадают в соответствующие классы спонтанно или без каких-либо сознательных усилий со стороны воспринимающего. Мы не требуем давать названия камням, чтобы отличить их от хлебов, или рыбам, чтобы отличить их от скорпионов. Классовые различия такого рода передаются в самом акте восприятия — *например*, случай с младенцем со стеклянными бутылочками — и, как мы впоследствии увидим, в случае с высшими животными допускают доведение их до поразительной степени различающего совершенства. Таким образом, рецепты - это *спонтанные ассоциации, сформированные непреднамеренно* как то, что можно назвать *невоспринимаемыми абстракциями*. [24]

Остается добавить еще одно замечание, прежде чем нашу номенклатуру идей можно будет считать полной. Следует отметить, что термин "общая идея" в равной степени подходит к идеям класса или вида, независимо от того, названы такие идеи или нет. Представления о том, что полезно для употребления в пищу, и о том, что не годится для употребления в пищу, являются такими же общими для животного, как и для человека, и в каждом случае были сформированы одинаковым образом, а именно, путем накопления конкретных переживаний, спонтанно сортируемых в сознании. Общие идеи такого рода, однако, не рассматривались предыдущими авторами при рассмотрении психологии обобщения: следовательно, термин "общий", как и термин "абстрактный", в силу своего употребления стал применяться только к тем высшим

продуктам мышления, которые зависят от способности языка. И единственными словами, которые я могу найти, которые использовались кем—либо из предыдущих авторов для обозначения идей, относящихся к тому низшему виду обобщения, который не зависит от языка, являются приведенные выше слова, а именно: Сложный, Составное соединение и Смешанный. И так, ни одно из этих слов не подходит так хорошо, как слово "Общее", потому что ни одно из них не выражает понятия *рода* или *класса*; и большое различие между идеей, которую имеет животное или младенец, скажем, об отдельном человеке и о людях в целом, заключается не в том, что одна идея проста, а другая сложна, составна или смешана; но в том, что одна идея является *частной* а другая - *общей*. Следовательно, последовательность диктует, что термин "общее" следует применять к *всем* идеям класса или вида, в отличие от идей частных лиц — независимо от *степени* общности и, следовательно, независимо от того, зависят ли такие идеи от языка, *как* общие, или нет. Тем не менее, поскольку в предыдущем употреблении этот термин ограничивался идеями более высокого порядка общности, я не буду вносить путаницу, распространяя его использование на более низкий порядок или говоря о животном как о способном к обобщению. Однако необходим параллельный термин; и поэтому я буду говорить об общих или классовых идеях, которые формируются без помощи языка, как о *родовых*. Это слово обладает двойным преимуществом, поскольку сохраняет словесную, а также содержательную аналогию с союзным термином *general*. Это также указывает на то, что общие идеи, или рецепты, являются не только идеями класса или вида, но и были *порождены* из смешения индивидуальных идей — *т.е.* из смешанных воспоминаний о конкретных восприятиях.

Следовательно, моя номенклатура идей может быть представлена в табличной форме следующим образом:—

ИДЕИ

{

Общие, абстрактные или
умозрительные = Концепции.
Сложные, составные или
Смешанные = Рекомендации
или общие идеи.
Простое, Частное или
Конкретизированное =
Воспоминания о Восприятиях.

[25]

ГЛАВА III.

ЛОГИКА РЕЦЕПТОВ.

Мы видели, что великая пограничная земля, или *terra media*, лежащая между частными и общими идеями, была странным образом проигнорирована психологами, и теперь мы можем быть готовы обнаружить, что тщательное исследование этой пограничной земли является вопросом высочайшей важности для целей нашего исследования. Поэтому я посвящу

настоящую главу всестороннему рассмотрению того, что я назвал общими идеями, или рецептами.

Уже отмечалось, что для формирования любой из этих общих идей разуму не требуется *намеренно* комбинировать конкретные идеи, которые используются для ее построения: полученное представление отличается от концепции тем, что оно *получено*, а не *задумано*. Восприятия, из которых состоит восприятие, носят столь сравнительно *простой* характер, так часто *повторяются* при наблюдении и обнаруживают между собой столь *очевидные* сходства или аналогии, что их ментальные образы возникают как бы спонтанно или в соответствии с первичными законами чисто чувственной ассоциации, не требуя какого-либо сознательного акта сравнения. Это истина, которая была замечена несколькими предыдущими авторами. Например, я в этой связи уже цитировал отрывок из М. Тэна и, при необходимости, мог бы процитировать другой, где он очень точно сравнивает то, что я назвал рецептами, с необработанной рудой, из которой впоследствии выплавляется металл концепции. И еще более соответствует цели следующий отрывок, который я позаимствовал у м—ра Салли:

“Более *конкретные* концепции, или *общие* образы, формируются в значительной степени в результате *пассивного* процесса *ассимиляции*. Сходство между собаками, например, настолько велико и поразительно, что когда ребенок, уже знакомый с одним из этих животных, видит второго, он признает его идентичным первому в некоторых очевидных отношениях. Изображение первого сочетается с изображением второго, отчетливо выделяя общие черты собаки, в частности собачью форму. Таким образом, образы разных собак, так сказать, накладываются друг на друга, создавая типичный образ собаки. Здесь очень мало *активного* направления ума от одной вещи к другой с целью обнаружить, в чем заключается сходство: *сходство само воздействует на ум*. Когда, однако, сходство менее разительное, как в случае с более абстрактными понятиями, *задействована особая операция активного сравнения*.” [26]

Точно так же М. Перес замечает: “необходимость, с которой сталкиваются дети, видеть отстраненно и отрывочно, чтобы хорошо видеть, заставляет их постоянно практиковать тот вид абстракции, с помощью которого мы отделяем качества от объектов. От тех предметов, которые ребенок уже выделил как индивидуальные, к нему в разные моменты приходят особенно яркие впечатления.... Доминирующие ощущения такого рода по своей энергии или частоте имеют тенденцию стирать представление об объектах, от которых они происходят, *отделяться или абстрагироваться*.... Пламя свечи не всегда одинаково яркое или мерцающее; тактильные, сочные, обонятельные и слуховые впечатления не всегда воздействуют на сенсорику ребенка с одинаковой интенсивностью и в течение одинакового промежутка времени. Вот почему воспоминания об отдельных формах, хотя и сильно отпечатываются в их разуме, постепенно теряют свою первоначальную точность, так что идея дерева, например, представленная прямыми и совершенно отчетливыми воспоминаниями, возвращается в ум в смутной и нечеткой форме, которую можно было бы принять за общую идею ”. [27]

Опять же, по мнению Джона Стюарта Милля, “Согласно доктрине одного из самых плодотворных мыслителей современности, Огюста Конта, помимо логики знаков, существует логика образов и логика чувств. Во многих привычных процессах мышления, и особенно в некультурных умах, визуальный образ служит вместо слова. Наши зрительные ощущения, возможно, только потому, что они почти всегда присутствуют вместе с впечатлениями других наших органов чувств, имеют свойство ассоциироваться с ними. Следовательно, характерный визуальный облик объекта легко собирает вокруг себя по ассоциации идеи всех других

особенностей, которые в частом опыте сосуществовали с этим обликом; и, вызывая их с силой и достоверностью, намного превосходящими силу и достоверность просто случайных ассоциаций, которые он также может вызвать, он концентрирует на них внимание. Это образ, служащий знаком — логикой образов. Ту же функцию может выполнять чувство. Любое сильное и в высшей степени интересное чувство, связанное с каким-либо атрибутом группы, спонтанно классифицирует все объекты в соответствии с тем, обладают они этим атрибутом или нет. Мы можем быть с достаточной долей уверенности уверены, что предметы, способные утолять голод, образуют совершенно отдельный класс в сознании любого из наиболее разумных животных; точно так же, как если бы они были способны использовать или понимать слово "пища". Здесь мы видим в ярком свете важную истину о том, что вряд ли в психологии может быть подтверждено что-либо универсальное, кроме законов ассоциации ". [28]

Более того, Мэнсел кратко передает истину, которую я пытаюсь представить, следующим образом: "Разум распознает впечатление, которое дерево производит на сетчатку глаза: это презентативное сознание. Затем он изображает это. Из множества подобных картинок он формирует общее представление, и этому понятию он, наконец, присваивает название ". [29] Почти идентичным языком то же различие передается Нуаре следующим образом: "Все деревья, которые я до сих пор видел, могут оставить в моем воображении смешанный образ, своего рода идеальное представление деревьев. Совершенно отличной от этого является концепция, которая никогда не является образом". [30]

И, чтобы не перегружать аргументацию цитатами, я приведу еще одну, которая поможет, по возможности, с еще большей ясностью передать именно то, что я подразумеваю под повторением. Профессор Хаксли пишет: "Анатом, который сосредоточенно занимается исследованием нескольких образцов какого-нибудь нового вида животных, со временем приобретает настолько яркое представление о его форме и строении, что идея может принять видимые очертания и превратиться в своего рода сон наяву". [31]

Хотя использование здесь слова "концепция" неудачно с одной стороны, я считаю его удачным с другой: оно показывает, насколько отчаянна потребность в слове, которое я придумал.

Таким образом, приведенные выше цитаты можно считать достаточными, чтобы показать, что различие, которое я провел, было придумано не только для того, чтобы соответствовать моим собственным целям. Все, что я до сих пор пытался сделать, - это сделать это различие более четким, присвоив каждой из его частей отдельное название. И при этом я не предполагал, что два порядка обобщения, входящие в состав рецептов и концепций, одинаковы по своему характеру. До сих пор я оставлял открытым вопрос о том, отличается ли разум, способный постигать только предписания, по степени или виду от интеллекта, способного переходить к формированию концепций. Если бы я сказал вместе с Салли: "Когда сходство менее разительно, как в случае с более абстрактными понятиями, задействована отчетливая операция активного сравнения", я бы предположил, что между восприятием и концептом существует только разница в степени: обозначая их одним и тем же термином и, следовательно, подразумевая, что они различаются только уровнем абстракции, я бы предположил, что то, что он называет "пассивным процессом ассимиляции", посредством которого младенец или животное распознает отдельного человека как принадлежащего к классу, на самом деле является тем же видом психологического процесса, что и то, что имеет место "в случае с более абстрактными понятиями", когда отдельный человек обозначается именем собственным, в то

время как класс, к которому он принадлежит, обозначается общим именем. Точно так же, если бы я сказал вместе с Томасом Брауном, что в процессе обобщения происходит “во-первых, восприятие двух или более объектов [percept]; во-вторых, ощущение их сходства [recept]; и, наконец, выражение этого общего относительного чувства именем, впоследствии используемым в качестве общего названия [concept]”; — если бы я сказал так, я фактически поставил бы вопрос об универсальной непрерывности мышления, как у животных, так и у людей. Конечно, это вывод, к которому я стремлюсь; но мое стремление при этом состоит в том, чтобы продвигаться к доказательству шаг за шагом, нигде заранее не оценивая мое дело. Следовательно, эти отрывки я процитировал просто потому, что в них яснее, чем в других, с которыми мне довелось встретиться, раскрывается то, что я считаю истинной психологической классификацией идей; и хотя, за исключением процитированного у Милля, ни один из отрывков не показывает, что его автор имел в виду случай интеллекта животных — или осознавал огромную важность своих утверждений в связи с вопросом, который нам предстоит рассмотреть, — это только придает большую ценность их независимому свидетельству о правильности моей классификации. [32]

Таким образом, вопрос, который мы должны рассмотреть, заключается в том, существует ли различие рода или только различие степени между получением и концептом. Именно этому вопросу будет посвящен весь настоящий том, и поскольку его адекватное рассмотрение потребует несколько трудоемких исследований в нескольких направлениях, я постараюсь разграничить различные вопросы, полностью проработав каждую ветвь предмета, прежде чем перейти к следующей.

Прежде всего, я покажу с помощью иллюстраций высшие уровни мышления, которые достигаются в области рецептов; и, чтобы сделать это, я приведу свои свидетельства только на животных, поскольку здесь не может быть никаких подозрений — как могло бы быть в случае с младенцами, — что логике рецептов способствует какой-либо зарождающийся рост концепций. Но, прежде чем продолжить излагать это доказательство, представляется желательным сказать несколько слов о том, что я подразумеваю под только что использованным термином, а именно о Логике рецептов.

Как утверждалось в моей предыдущей работе, все психические процессы адаптивного типа в своей последней инстанции являются процессами классификации: они состоят в различении различий и сходств. Акт простого восприятия — это акт наблюдения сходств и различий между объектами такого восприятия; и, аналогично, акт зачатия — это объединение - или намеренное *сложение* воедино - идей, которые распознаются как аналогичные. Следовательно, абстракция имеет дело с абстрагированием аналогичных качеств; разум - это рассуждение, или сравнение соотношений; и, таким образом, высшие операции мышления, подобно простейшим актам восприятия, связаны с группировкой или координацией сходств, ранее отличенных от различий. [33] Следовательно, промежуточная площадка мышления, или территория, занимаемая рецептами, связана с этим же процессом на плане более высоком, чем тот, который занимают перцепты, хотя и более низком, чем тот, который занимают концепции. Короче говоря, цель или использование, а следовательно, и метод или *логика* всех идей одинаковы. Действительно, принято ограничивать последний термин более высоким уровнем мышления или тем, что имеет отношение к концепциям. Но, как показал Конт, нет никаких

причин, по которым в целях специального изложения этот термин не следует расширить, чтобы охватить все операции ума, в той мере, в какой это операции упорядоченного рода. Ибо в той мере, в какой они упорядоченны или адаптивны, а не просто разумны или индифферентны, все такие операции состоят, как мы только что видели, в процессах идеальной группировки или *связывания воедино*. [34] И поэтому я не вижу ничего неуместного в использовании слова "Логика" со специальной целью подчеркнуть фундаментальную идентичность всех идей — то есть в том, что касается их метода. Однако я возражаю против терминов "Логика чувств" и "Логика знаков". Ибо, с одной стороны, "Чувства" имеют отношение в первую очередь к чувственной и эмоциональной стороне ментальной жизни, в отличие от интеллектуальной или идейной. И, с другой стороны, "Знаки" - это *выражения* идей, а не сами идеи. Следовательно, какой бы метод или значение они ни представляли, это всего лишь отражение порядка или группировки идей, для выражения которых они используются. Следовательно, логика кроется не в чувствах и не в знаках, а в идеях. В связи с этим я заменил приведенные выше термины тем, что считаю более точными обозначениями, а именно Логикой рецептов и Логикой концепций. [35]

В настоящей главе нам остается только рассмотреть логику рецептов, и, чтобы сделать это эффективно, мы можем прежде всего кратко отметить, что даже в области восприятий мы сталкиваемся с процессом спонтанного объединения подобного с подобным, который, в свою очередь, ведет нас вниз, к чисто бессознательному или механическому объединению стимулов в низших нервных центрах. Таким образом, как полностью доказано в моей предыдущей работе, с объективной точки зрения метод везде был одним и тем же: будь то в случае рефлекторного действия, ощущения, восприятия, рецепции, зачатия или отражения, со стороны нервной системы метод эволюции был единообразным: "он везде заключался в прогрессивном развитии способности различать стимулы в сочетании с дополнительной способностью адаптивного реагирования". [36] Но, хотя это наиболее важная истина для признания (поскольку она, по—видимому, была неявно признана — или, скорее, случайно подразумевалась - использованием варианта того же термина для обозначения низших и высших представителей вышеназванного ряда способностей), для целей психологического исследования, в отличие от физиологического, удобно пренебречь объективной стороной этого непрерывного процесса и, следовательно, продолжить наш анализ там, где это необходимо. у него есть субъективный аналог, то есть при Восприятии.

Так много уже написано о том, что называется "бессознательными суждениями" или "интуитивными суждениями", сопутствующими всем нашим актам восприятия, что я считаю излишним занимать место сколь-либо подробным обсуждением этого предмета. Знакомой иллюстрации взгляда прямо в полированную чашу и попеременного восприятия ее то как чаши, то как сферы достаточно, чтобы показать, что здесь мы *действительно* имеем дело с логикой чувств: без какого—либо акта мышления, а просто в силу автоматической группировки прежних восприятий разум спонтанно делает вывод — или бессознательно судит, - что объект, который *должен* быть либо чашей, либо сферой, является то одним, то другим. [37], Из которой мы заключаем, что все наши зрительные восприятия, таким образом, носят характер автоматических выводов, основанных на предыдущих соответствиях между ними и восприятием прикосновения. Из чего, опять же, мы заключаем, что восприятия любого рода зависят от предыдущей группировки, будь то между восприятиями, получаемыми только одним и тем же чувством, или также в сочетании с восприятиями, получаемыми другими чувствами.

Теперь, если это так хорошо известно в случае с восприятиями, очевидно, то же самое должно быть и в случае с рецептами. Если мы, таким образом, экспериментально обнаружим, что все наши восприятия зависят от подсознательной координации, полностью автоматической, то тем более мы можем быть готовы обнаружить, что простейшие из наших идей зависят от спонтанной координации, почти столь же автоматической. Соответственно, требуется лишь небольшой анализ наших обычных ментальных процессов, чтобы доказать, что все наши более простые идеи представляют собой групповые схемы, которые сформировались, как я уже сказал, спонтанно или без какого-либо из тех намеренных процессов сравнения, просеивания и комбинирования, которые требуются в высших отделах мыслительной деятельности. Сравнение, просеивание и объединение здесь осуществляется, так сказать, *для* сознательного агента, а не *им*. Рекомендации *получены*: это всего лишь концепции, которые требуют *осмысления*. Ибо рецептация — это такого рода идея, составные части которой — будь то всего лишь воспоминания о восприятиях или уже более или менее разработанные как рецепты - спонтанно объединяются, как только их сводят воедино. Не имеет значения, объясняется ли эта готовность к объединению очевидным сходством или частым повторением: дело в том, что между элементарными составляющими существует настолько сильное *сродство*, что соединение образуется как следствие простого их сочетания в сознании. Если я пересекаю улицу и слышу позади себя внезапный крик, мне не нужно ждать, чтобы предположить про себя, что, вероятно, меня вот-вот переедет кеб: крик такого рода и при таких обстоятельствах настолько тесно связан в моем сознании с его целью, что идея, которую он вызывает, не должна подниматься выше уровня восприятия; и адаптивные движения с моей стороны, которые немедленно вызывает эта идея, выполняются без какого-либо разумного размышления. Однако, с другой стороны, они не являются ни рефлекторными, ни инстинктивными действиями: это то, что можно назвать рецептивными действиями или действиями, зависящими от рецептов.

Это, конечно, чрезвычайно простая иллюстрация, и я воспользовался ею, чтобы сделать дальнейшее замечание о том, что действия, зависящие от рецептов, хотя они часто таким образом близки к рефлекторным действиям, никоим образом не связаны с ними. Напротив, как мы сразу же обнаружим, действия, зависящие от рецептов, часто настолько “разумны”, что в нашем собственном случае невозможно провести грань между ними и действиями, зависящими от концепций. Иными словами, в нашем собственном случае существует обширная граница, где интроспекция неспособна определить, обусловлено ли вспомогательное действие рецептами или концепциями; и, следовательно, только в случае с животными мы можем быть уверены в пределах разумной адаптации, которые возможны при действии только рецептов. Следовательно, теперь возникает вопрос — как далеко может зайти этот процесс спонтанного или непреднамеренного сравнения, просеивания и комбинирования без преднамеренного сотрудничества сознательного агента? До какого уровня мышления могут дойти рекомендации без помощи концепций? В предыдущей главе мы видели, что животные демонстрируют общие или рецептивные представления о том, что полезно для употребления в пищу, что не годится для употребления в пищу и т.д.; и мы знаем, что в нашем собственном случае мы “инстинктивно” избегаем совать руки в пламя, не требуя формулировать какое-либо предположение о свойствах пламени. Как далеко, в таком случае, могут простираться такого рода безымянные или неконцептуальные идеи? Или, другими словами, как далеко может продвинуться разум без носителя языка? По уже приведенным причинам я отвечу на этот вопрос, сосредоточив внимание исключительно на разуме животных.

Для начала приведу несколько примеров, которые уже были отобраны по существу с той же целью мистером Дарвином:

“Узо рассказывает, что, пересекая широкую и засушливую равнину в Техасе, две его собаки сильно страдали от жажды и что от тридцати до сорока раз они бросались в лощины в поисках воды. Эти впадины не были долинами, и в них не было ни деревьев, ни какой-либо другой растительности; а так как они были абсолютно сухими, то не могло быть запаха влажной земли. Собаки вели себя так, как будто знали, что углубление в земле дает им наилучшие шансы найти воду, и Хузо часто был свидетелем такого же поведения у других животных ”.

Я сам часто наблюдал эту ассоциацию идей между выемкой грунта и вероятностью нахождения воды у собак-сеттеров, которым требуется много воды во время работы; и очевидно, что связанные с этим идеи носят характер в высшей степени общий.

Далее мистер Дарвин пишет: “Я видел, как, смею сказать, видели и другие, что, когда маленький предмет бросают на землю вне досягаемости одного из слонов в Зоологическом саду, он дует хоботом по земле за пределами объекта, так что ток, отраженный со всех сторон, может привести предмет в действие в пределах его досягаемости. Опять же, хорошо известный этнолог мистер Вестропп сообщает мне, что он наблюдал в Вене медведя, намеренно создающего лапой ток в воде, которая была близко к прутьям его клетки, чтобы вытащить кусок плавающего хлеба в пределах его досягаемости”. [38]

В *"Интеллекте животных"* будет видно, что оба эти наблюдения независимо подтверждаются письмами, которые я получил от корреспондентов; так что факты должны быть приняты. И они подразумевают способность формировать общие идеи высокого порядка сложности. Действительно, это мало чем отличается от общих идей разумных водяных собак относительно водных течений, которые побуждают животных учитывать силу течения, бегая в направлении, противоположном его течению, прежде чем войти в воду. Собаки, привыкшие к приливным течениям в реках или к плаванию в море, приобретают еще более общее представление о неопределенности направления течения в любой данный момент времени; и поэтому некоторые из наиболее сообразительных из этих собак сначала определяют направление течения, опуская передние лапы в поток, а затем, соответственно, принимают во внимание направление течения. [39]

Наконец, мистер Дарвин пишет: “Когда я нетерпеливо спрашиваю своего терьера (а я много раз пробовал): ‘Привет, привет, где это?’ - она сразу же принимает это за знак того, что на кого-то предстоит охота, и обычно сначала быстро оглядывается по сторонам, а затем бросается в ближайшую чащу, чтобы высмотреть какую-нибудь дичь, но, ничего не найдя, она ищет белку на любом соседнем дереве. Итак, разве эти действия ясно не показывают, что у нее в голове была общая идея или концепт о том, что необходимо обнаружить какое-то животное и охотиться на него?” [40]

Из множества примеров, которые я уже приводил в *"Интеллекте животных"*, свидетельствующих о высоких рецептивных способностях муравьев, здесь будет достаточно повторить следующее, процитированное м-ром Белтом, компетентность которого как наблюдателя никто не может оспорить.

“Возле одного из наших трамвайных путей было устроено гнездо, и, чтобы добраться до деревьев, муравьям приходилось перебираться через рельсы, по которым постоянно

проезжали вагоны. Каждый раз, когда они проходили мимо, несколько муравьев были раздавлены насмерть. Некоторое время они упорно переправлялись, но, наконец, принялись за работу и проложили туннель под каждым рельсом. Однажды, когда вагоны не ходили, я заделал туннели камнями; но хотя большое количество листьев, перевозимых таким образом, было отрезано от гнезда, они не стали перебираться через рельсы, а принялись прокладывать под ними новые туннели ”.

Эти факты нельзя приписать "инстинкту", поскольку трамвайные вагоны не могли быть объектами предшествующего опыта для предков муравьев; и поэтому степень восприимчивого интеллекта, или ”практического вывода”, которая была продемонстрирована, в высшей степени примечательна. Очевидно, насекомые должны были оценить природу этих повторяющихся катастроф и правильно рассудить единственный способ, которым их можно было избежать.

Поскольку это важная ветвь моей темы, я добавлю еще несколько иллюстраций, взятых из позвоночных животных, начиная с некоторых из работ Лероя, у которого было больше возможностей, чем у большинства людей, изучать повадки животных в естественном состоянии. [41]

Он говорит о волке: “Когда он чует стадо в его загоне, память вызывает у него впечатление от пастуха и его собаки и уравнивает впечатление от непосредственной близости овец; он измеряет высоту изгороди, сравнивает ее со своими собственными силами, принимает во внимание дополнительную трудность перепрыгнуть ее, когда обременен своей добычей, и отсюда делает вывод о бесполезности попытки. И все же он схватит одного из стада, разбросанного по полю, прямо на глазах у пастуха, особенно если поблизости есть лес, дающий ему надежду на укрытие. Он устоит перед самым соблазнительным кусочком, когда его сопровождает этот тревожный аксессуар [запах человека]; и даже когда его лишат, он долго не сможет преодолеть свои подозрения. В этом случае у волка может быть только абстрактное представление об опасности — точная природа расставленной для него ловушки неизвестна.... Несколько ночей вряд ли достаточно, чтобы придать ему уверенности. Хотя причины его подозрений, возможно, больше не существует, она воспроизводится памятью, и подозрение остается неизменным. Представление о человеке связано с представлением о неведомой опасности и заставляет его не доверять самой прекрасной видимости”. [42]

Лерой также хорошо подмечает: “Животные, как и мы, *forced* делать абстракции. Собака, потерявшая своего хозяина, бежит к группе людей в силу общей абстрактной идеи, которая представляет ей качества, общие для ее хозяина с этими людьми. Затем он последовательно переживает несколько менее общих, но все же абстрактных идей ощущения, пока не встретит конкретное ощущение, которое он ищет”. [43]

Опять же, что касается оленя, этот автор пишет: “Он исчерпывает все разновидности и каждый замысел, из которых состоит действие полета. Он заметил, что в зарослях, где прохождение его тела оставляет сильный след, собаки следуют за ним яро и без всяких остановок; поэтому он покидает заросли и углубляется в леса, где нет подлеска, или же огибает большую дорогу. Иногда он вообще покидает эту часть страны и полностью зависит от своей скорости побега. Но даже когда он не слышит собак, он знает, что они скоро догонят его; и вместо того, чтобы предаваться ложной уверенности, он пользуется этой передышкой, чтобы изобретать новые

уловки, чтобы вышвырнуть их вон. Он берет прямой курс, возвращается по своим следам и, много раз подряд отскакивая от земли, лишает собак проницательности.... Когда на него сильно давят, он часто опускается на землю в надежде, что их пыл унесет их с пути, и если это произойдет, он возвращается по своим следам. Часто он ищет общества представителей своего вида, и когда его друг достаточно разгорячен, чтобы разделить с ним опасность, он бросает его на произвол судьбы и спасается быстрым бегством. Часто добычу таким образом меняют, и успех этой уловки наиболее вероятен”. [44]

Часто (когда на него вообще не охотятся), вместо того, чтобы уверенно вернуться домой и сразу же лечь отдохнуть, он будет бродить по этому месту; он входит в лес, покидает его, уходит и возвращается по своим следам много раз. Не имея никакой непосредственной причины для своего беспокойства, он прибегает к тем же уловкам, к которым прибегнул бы, чтобы прогнать собак, если бы они преследовали его. Это предвидение является свидетельством запомнившихся фактов и ряда идей и предположений, вытекающих из этих фактов ”. [45]

Достаточно примечательно, что животное стремится запутать свой след с помощью таких приспособлений, даже когда оно знает, что гончие на самом деле преследуют его; но это еще более примечательно, когда к этим приспособлениям прибегают для того, чтобы сбить с толку *воображаемых* гончих, которые *возможно* идут по следу. Возможно, некоторым людям может показаться, что такие факты свидетельствуют о том, что животные демонстрируют им некоторую способность к репрезентативному мышлению или о каком-то размышлении, проводимом без помощи языка. Поэтому следует помнить, что я не утверждаю, что они этого не делают: я просто допускаю, что доказательств недостаточно для обоснования вывода, который они делают; и все, что меня сейчас интересует, - это убедиться, что у животных существует *логика*, будь то логика только рецептов, или аналогично тому, что я позже объясню как логику *предконцепций*.

Снова Лерой говорит о лисе: “Он чувствует запах железа капкана, и это ощущение стало для него настолько ужасным, что превалирует над всеми остальными. Если он замечает, что ловушек становится все больше, он уходит в поисках безопасного района. Но иногда, осмелев после более тщательного и часто повторяющегося осмотра и руководствуясь своим безошибочным нюхом, он ухитряется, не причинив себе вреда, ловко вытащить наживку из ловушки.... Если все выходы из его логова охраняются ловушками, животное учует их, узнает и скорее будет испытывать самый острый голод, чем попытается пройти мимо них. Я знал, что лисы прячутся в своих норах целых две недели и только потом решаются выйти, потому что голод не оставляет им иного выбора, кроме как умереть.... Нет ничего, чего бы он не предпринял, чтобы спасти себя. Он будет копать до тех пор, пока не сотрет свои когти, чтобы осуществить свой выход через свежее отверстие, и таким образом нередко ускользает из ловушек охотника. Если кролик, заключенный вместе с ним, попадает в одну из ловушек или если каким-либо другим способом кто-то должен вырваться, он делает вывод, что машина выполнила свой долг, и смело и надежно переступает через него ”. [46]

Наконец, этот автор приводит случай, который с тех пор часто цитировался — хотя его источник редко указывается, — о воронах, которых желательно подстрелить к их гнездам, чтобы уничтожить птиц и яйца одновременно. Вороны не вернутся в свои гнезда днем, если увидят, что кто-то поджидает их, чтобы застрелить. Если, чтобы усыпить подозрения, под лежбищем устроят хижину и человек спрячется в ней с ружьем, он напрасно будет ждать, стреляли ли в

птицу когда-либо прежде подобным образом. “Она знает, что огонь выйдет из пещеры, в которую, как она видела, вошел мужчина”. Далее Лерой говорит: “Чтобы обмануть эту подозрительную птицу, был придуман план послать в сторожку двух человек, один из которых ушел, а другой остался; но ворона считала и держалась на расстоянии. На следующий день ушли трое, и снова она увидела, что вернулись только двое. В конце концов, было сочтено необходимым послать пять или шесть человек в сторожку, чтобы сбить ее с толку”.

Теперь, поскольку Леруа - писатель не случайный, и поскольку делом его жизни был роман “Рейнджер в Версале”, мы не должны легкомысленно отбрасывать это утверждение как невероятное, тем более что он добавляет, что “феномен всегда повторяется, когда предпринимается попытка”, и поэтому его следует рассматривать как “один из самых распространенных примеров проницательности животных”. [47] Если однажды допустить, что птица обладает достаточной проницательностью, чтобы сделать вывод, что там, где она наблюдала, как двое мужчин вошли и только один вышел, следовательно, второй человек остался позади, это всего лишь вопрос степени, насколько далеко может простираться различное восприятие. Конечно, было бы абсурдно предполагать, что птица подсчитывает людей с помощью какого-либо процесса счисления, но мы знаем, что для простых представлений о числе никакой символики в виде цифр не требуется. Если бы мы увидели, как трое мужчин входят в здание и только двое выходят, нам не потребовалось бы вычислять $3-2 = 1$; контраст между одновременным чувственным восприятием $A + B + C$ при рецептивном сравнении с последующими последовательными восприятиями A и B был бы достаточным для спонтанного вывода о том, что C должен все еще находиться в здании. И этот процесс в нашем собственном случае мог бы продолжаться до того момента, когда одновременное восприятие не состояло бы из слишком большого количества частей, чтобы впоследствии быть рецептивно проанализированным на составляющие. [48]

В этой связи я также могу заявить, что с помощью смотрителя мне удалось научить шимпанзе, находящегося сейчас в Зоологическом саду, правильно считать до пяти. Принятый метод заключается в том, чтобы попросить у нее одну соломинку, две соломинки, три соломинки, четыре соломинки или пять соломинок — конечно, без соблюдения какого-либо порядка в последовательности таких просьб. Если просят больше одной соломинки, обезьяну научили держать остальные во рту до тех пор, пока сумма не будет исчерпана, чтобы она могла взять все соломинки одновременно. Например, если у нее просят четыре соломинки, она последовательно берет три соломинки и кладет их в рот; затем она берет четвертую и протягивает все четыре вместе. Этот метод предотвращает любую возможную ошибку, возникающую при ее интерпретации вокальных тонов, которая вполне могла бы возникнуть, если бы каждую соломинку запрашивали отдельно. Таким образом, не может быть никаких сомнений в том, что животное способно воспринимать числа 1, 2, 3, 4, 5, и понимает название каждого из них. Дальше этого я не пытался ее вести. Я могу добавить, что ее поведение было засвидетельствовано сотрудниками Зоологического общества, а также другими натуралистами, которые будут удовлетворены точностью приведенного выше отчета. Но обезьяна капризна, и, если только она не находится в благоприятном настроении в данный момент, посетители не должны расстраиваться, если им не удастся развлечься демонстрацией ее учености.

Великий физиолог Мюллер и великий философ Гегель цитируются мистером Майвартом как утверждающие, что “сформировать абстрактные концепции таких операций как чего-то общего для многих в рамках понятия причины и следствия для них совершенно невозможно” (animals [49]); и, без сомнения, многие другие известные имена могут быть приведены в поддержку того же утверждения. Но мне кажется, что в этот вопрос привносится ненужная неясность из-за того, что мы не рассматриваем, в чем состоит наша собственная идея причинности. Ясно, что для достижения *общей* идеи причинности как универсальной и т. Д. Требуются более высокие способности абстрактного мышления, чем те, которыми обладают любые животные или даже подавляющее большинство людей; но не менее ясно, что все люди и большинство животных имеют *общую* идею причинности в смысле ожидания единообразного опыта в единообразных условиях. Кошка видит, как мужчина стучит в дверь молотком, и замечает, что после этого дверь открывается: помня об этом, когда она сама хочет войти в эту дверь, она прыгает на дверной молоток и ждет, когда дверь откроют. [50] Теперь, можно ли отрицать, что в этом акте умозаключения, или имитации, или как бы мы это ни называли, кошка воспринимает такую связь между стуком и открытием, что первое как предшествующее было каким-то образом необходимо для определения последнего как последующего? И что это, как не такое восприятие причинно-следственной связи, какое демонстрирует ребенок, который дует в часы— чтобы открыть футляр, думая, что причиной открытия является единообразный обман, практикуемый его родителями, или дикарь, который подбрасывает гвозди и порох, чтобы заставить их расти? И бесконечные иллюстрации такого восприятия причинности можно было бы почерпнуть из повседневной жизни цивилизованного человека: в самом деле, как редко кто-либо из нас дожидается, чтобы сформулировать абстрактное общее суждение о причинности, прежде чем действовать на основе нашего практического знания о ней. И то, что это практическое знание в случае с животными позволяет им сформировать общее представление или рецепцию о *эквивалентности* между причинами и следствиями — так, что воспринимаемая эквивалентность признается ими как *объяснение*, — по-видимому, становится очевидным из следующего факта, который я тщательно изучил специально для проверки вопроса. Я цитирую этот случай из уже опубликованной лекции, которая была прочитана перед Британской ассоциацией в Дублине в 1878 году.

“У меня была собака-сеттер, которая очень боялась грома. Однажды на деревянном полу яблочной комнаты было сбито несколько яблок, и когда стреляли по каждому мешку яблок, по всему дому разносился шум, напоминающий отдаленный гром. Моя собака пришла в ужас от этого звука, но как только я привела ее в яблочную комнату и показала ей истинную *причину* шума, она снова стала жизнерадостной, как обычно”. [51]

Важность четкого осознания того, что животные обладают общей идеей причинности, в отличие от абстрактной, — и, действительно, *должны* иметь такую идею, если они вообще хотят каким-либо образом приспособить свои действия к обстоятельствам, - важность четкого осознания этого заключается в том, что это несет в себе доказательство того, что логика рецептов способна достигать общих идей о *принципах*, а также об объектах, качествах и действиях. Чтобы еще более убедительно доказать этот важный факт, я процитирую здесь отрывок из биографии себуса, который я сохранил специально для наблюдения за его умом.

“Сегодня он приобрел щетку для чистки очага, одну из тех, у которых ручка ввинчена в щетку. Вскоре он нашел способ отвинтить ручку, и, сделав это, сразу же начал пытаться найти способ снова ее ввернуть. Со временем он этого добился. Сначала он вставил не тот конец ручки в

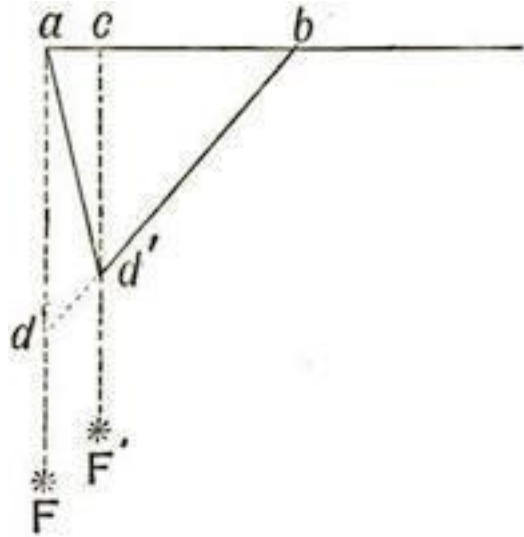
отверстие, но все время поворачивал ее так, как нужно для завинчивания. Обнаружив, что она не держится, он повернул другой конец ручки, осторожно просунул его в отверстие и снова начал поворачивать в нужную сторону. Конечно, ему было очень трудно выполнить этот подвиг, потому что ему требовались обе руки, чтобы удерживать ручку в нужном положении и поворачивать ее между ладонями, чтобы ввернуть; а длинные щетинки щетки мешали ей оставаться неподвижной или обращенной правой стороной вверх. Он держал щетку задними лапами, но даже в этом случае ему было очень трудно вставить первый оборот винта в резьбу; однако он работал над этим с самым неутомимым упорством, пока не зацепил первый оборот винта, а затем быстро поворачивал его круг за кругом, пока он не был завинчен до конца. Самым примечательным было то, что, как бы часто он ни разочаровывался поначалу, его никогда не заставляли пытаться повернуть ручку не в ту сторону; он всегда завинчивал ее справа налево. Как только он исполнил свое желание, он снова отвинтил его, а затем снова привинтил во второй раз гораздо легче, чем в первый, и так много раз”.

Все вышесказанное взято из дневника, который вела моя сестра. Я сам не был свидетелем хода этого исследования с помощью каминной щетки, как и многих других исследований, успешно проведенных этим замечательным животным. Но я совершенно уверен в точности наблюдения моей сестры, а также в достоверности ее рассказа; и, более того, пункт, которым я собираюсь заняться, имеет отношение к тому, что последовало впоследствии, относительно чего у меня было множество возможностей для подробных и повторных наблюдений. Дело в том, что, обнаружив таким образом механический *принцип* работы винта в том единственном частном случае, обезьяна немедленно приступила к *обобщению* или применению своих недавно полученных знаний ко всем другим случаям, где было вообще возможно, что рассматриваемый механический принцип должен был быть применен. Следствием этого было то, что животное стало досадной помехой в доме, постоянно отвинчивая крышки каминных щипцов, ручки звонков и т. Д., Которые оно отнюдь не всегда старалось заменять. Таким образом, я думаю, что здесь мы имеем неоспоримое свидетельство разумного распознавания принципа, который в первую очередь был обнаружен “с самым неутомимым упорством” путем эксперимента, а затем отыскивался во множестве совершенно непохожих объектов. [52]

К этим многочисленным фактам я сейчас добавлю еще один, который достаточно примечателен, чтобы заслуживать переиздания сам по себе. Я цитирую отчет из журнала *Science*, в котором он появился анонимно. Но выяснив в результате запроса, что наблюдателем был мистер С. П. Лэнгли, хорошо известный астроном, и получив от него личные заверения в том, что он уверен в отсутствии ошибки в наблюдении, я сейчас передам последнее его собственными словами.

“Интересное описание мистером Ларкином (*Наука*, № 58) подъема пауком крупного жука к его гнезду напоминает мне о совсем другом устройстве, с помощью которого я однажды видел, как крошечный паучок (размером едва ли больше булавочной головки) поднимал комнатную муху, которая, должно быть, была более чем в двадцать раз тяжелее его, на расстояние более фута. Мушка свисала на одной нити с перекладины оконной рамы, и, когда она впервые привлекла мое внимание, ее поднимали последовательно на небольшие расстояния, примерно в десятую долю дюйма каждое; подъемы следовали друг за другом так быстро, что подъем казался почти непрерывным. Было очевидно, что пауку, должно быть, не под силу сдвинуть этот вес с места

"мертвой хваткой"; но его движения были такими быстрыми, что поначалу было трудно понять, как выполняется эта, казалось бы, невыполнимая задача. Мне придется прибегнуть к иллюстрации, чтобы объяснить это, поскольку сложность схемы, по-видимому, относится не столько к тому, что мы обычно называем инстинктом, сколько к интеллекту, и в какой-то степени мы все не можем этим похвастаться.



Маленький паучок поступил следующим образом:—

“а b - это часть оконной перекладины, до уровня которой должна была подняться муха, из его первоначального положения в точке F вертикально под a ; первым действием паука было спуститься на полпути к мушке (до d) и закрепить там один конец почти невидимой нити; вторым - подняться на перекладину и выбежать к b , где он закрепил другой конец и изо всех сил потянул за поводок. Очевидно, что ранее прямая линия должна несколько отклоняться в середине, независимо от веса мухи, которая, фактически, таким образом оказалась в положении F , справа от первой и немного выше. Могло показаться, что дальше этой точки его поднять было невозможно; но поскольку парень был быстро оставлен в b , паук теперь перешел в промежуточную точку с прямо над новым положением своей жертвы и, таким образом, провел новую вертикальную линию от c , которая была закреплена на изгибе в d , после чего d была отброшена, так что муха теперь висела вертикально ниже c , как раньше ниже a , но немного выше”.

“Одна и та же операция повторялась снова и снова, время от времени раскручивался новый шнур, но паук никогда не опускался ниже, чем примерно на половину шнура, эластичность которого никоим образом не участвовала в процессе. Все было сделано с удивительной быстротой. Я наблюдал за этим около пяти минут (в течение которых муха приподнялась примерно на шесть дюймов), а затем меня отозвали”.

Не отягощая далее аргументацию иллюстративными доказательствами, теперь должно быть очевидно, что “руда”, из которой формируются понятия, в высшей степени богата металлами: это не просто тусклая почва, которая не имеет никакого сходства с блестящим веществом, выплавляемым из нее в горниле Языка; она уже искрится до такой степени, что мы вполне можем почувствовать, что нет необходимости в анализе, чтобы показать, что она заряжена этим веществом в его чистом виде — что то, что мы видим в руде, является тем же самым

материалом, который мы берем из плавильного котла, и отличается от него только степенью его насыщенности. агломерация. Тем не менее, я пока не буду предполагать, что это так. Прежде чем мы сможем быть полностью уверены, что две вещи, которые кажутся столь похожими с точки зрения здравого смысла, на самом деле являются одним и тем же, мы должны подвергнуть их научному анализу. Даже при том, что можно быть уверенным в том, что одно было извлечено из другого, все еще остается вероятность того, что в плавильный котел могли добавить какой-то дополнительный ингредиент. Человеческий интеллект, несомненно, проистекает из человеческого опыта точно так же, как интеллект животных проистекает из опыта животных; но это не доказывает, что представление, которое у нас общее с животными, не дополняется представлением какого-либо другого порядка или вида. Сейчас я рассмотрю аргументы, которые приводятся в доказательство того, что это было, и тогда станет очевидным, что дополнение, если таковое вообще было, должно было быть добавлено в процессе плавки языка — факт, который признают все современные авторы, отрицающие генетическую преемственность разума в интеллекте животных и человека. Итак, до сих пор я пытался не более чем предварительно расчистить почву — сначала тщательно определив свои термины и беспристрастно объяснив психологию формирования идей; затем указав на природу вопроса, который в настоящее время подлежит рассмотрению; и, наконец, показав уровень, которого достигает интеллект в соответствии с логикой рецептов, без какой-либо возможности помощи со стороны логики понятий.

В настоящей главе остается рассмотреть еще только одну тему. Мы постоянно обнаруживаем, что предполагается и уверенно утверждается, как будто это утверждение не допускает сомнений, что простейший или наиболее примитивный порядок мышления - это тот, который связан только с частностями или с особыми объектами восприятия. Предполагается, что зарождающиеся идеи младенца кристаллизуются вокруг зародышей индивидуальных восприятий; предполагается, что менее разумные животные — если, конечно, это не животные вообще — как говорит Локк, имеют дело “только с определенными идеями, точно так же, как они получают их от органов чувств”. Теперь я полностью согласен с этим, если только имеется в виду (как я понимаю, что имел в виду Локк), что младенцы и животные не способны сознательно, намеренно или, как он говорит, “*сами по себе* составлять сложные идеи”. Таким образом, чтобы намеренно или сами по себе составить свои идеи, им потребовалось бы думать о своих идеях как об идеях или сознательно ставить одну идею выше другой как два различных объекта мышления, *и для известной цели композиции*. Для этого требуются способности к интроспективному размышлению; следовательно, это вид умственной деятельности, невозможный для младенцев или животных, поскольку он имеет дело с концепциями в отличие от рецептов. Но, как мы теперь убедились, из этого не следует, что из того, что идеи не могут быть таким образом составлены младенцами или животными *намеренно*, следовательно, они не могут быть составлены *вообще*. Локк очень ясно признает, что животные действительно “воспринимают и сохраняют вместе несколько комбинаций простых идей, образуя сложную идею”: он отрицает только, что животные “*сами по себе* когда-либо соединяют их и создают сложные идеи”. Таким образом, Локк ясно излагает мою доктрину о рецептах в отличие от концепций; и я не думаю, что какой-либо современный психолог - особенно с учетом приведенных выше доказательств — будет до сих пор оспаривать эту доктрину. Но сейчас дело в том, что, по моему мнению, многие психологи сбились с пути, предположив, что самый примитивный порядок формирования идей связан только с частностями или что в хронологическом порядке запоминание восприятий предшествует возникновению рецептов.

Мне кажется, что очень небольшого размышления, с одной стороны, и очень небольшого наблюдения, с другой, достаточно, чтобы убедиться в том, что, как только идеи любого рода вообще начинают формироваться, они формируются не только как воспоминания о конкретных восприятиях, но также и как рудиментарные рецепты; и что в последующем развитии мышления генезис рецептов повсюду происходит *pari passu* с генезисом восприятий. Я говорю, что очень небольшого размышления достаточно, чтобы показать, что это *должно* быть так, в то время как очень небольшого наблюдения достаточно, чтобы показать, что это *так* и есть. Ибо, *априори*, чем более несформированы способности восприятия, тем менее способными они должны быть к осознанию частностей. Развитие этих способностей заключается во все возрастающей эффективности их анализа, или *познания* все меньших и меньших различий в деталях; и, следовательно, в их *распознавании* этих различий в различных комбинациях. Следовательно, чем слабее способности восприятия, тем больше они должны заниматься более крупными или классовыми различиями между объектами чувственного опыта и тем меньше - более мелкими или индивидуальными различиями. Или, если угодно, то, что впоследствии становится классовыми различиями, на более ранних стадиях мышления является *единственными* различиями; и, следовательно, все равно что то, что впоследствии становится индивидуальными различиями. Но что за этим следует? Несомненно, что — будь то в индивидууме или в расе — когда эти изначально индивидуальные различия начинают перерастать в классовые, они оставляют в сознании неизгладимый отпечаток своего первого рождения: они были первоначальными рецептами памяти, и если впоследствии они медленно дифференцируются по мере того, как они медленно организуются на множество отдельных частей, это не мешает тому, что на протяжении всего процесса они никогда не теряют своего органического единства: разум всегда должен продолжать осознавать, что части, которые он впоследствии воспринимал как последовательно разворачивающиеся из того, что сначала было известно только как целое, являются частями, принадлежащими этому целому — или, другими словами, , что более недавно наблюдаемые особенности являются членами того, что сейчас воспринимается как класс. Следовательно, говорю я, на чисто *априорных* основаниях мы могли бы отвергнуть необоснованное утверждение о том, что чем ниже порядок мышления, тем больше оно связано с частными различиями или тем меньше с классовыми различиями. Истина должна заключаться в том, что чем примитивнее рекомендации, тем значительнее классовые различия, с которыми они связаны, — при условии, конечно, что это утверждение не выходит за рамки чувственного восприятия.

Соответственно, на самом деле мы обнаруживаем, как у младенцев, так и у животных, что чем ниже уровень интеллекта, тем в большей степени этот интеллект ограничен восприятием классовых различий. “Мы произносим слово *Папа* перед ребенком в колыбели, одновременно указывая на его отца. Немного погодя он, в свою очередь, шепелявит слово, и мы воображаем, что он понимает его в том же смысле, что и мы, или что это слово вспомнится только в присутствии его отца. Вовсе нет. Когда в комнату входит другой человек, то есть похожий внешне, в длинном пальто, с бородой и громким голосом, он также называет его *папа*. Имя было индивидуальным; он сделал его общим. В нашем случае оно применимо только к одному человеку; в его случае - к классу.... Маленький годовалый мальчик много путешествовал по железной дороге. Паровоз с его шипением и дымом, а также сильный шум поезда привлекли его внимание, и первое слово, которое он научился произносить, было *Fefer* (чемин де фер). А потом пароход, кофейник со спиртовкой - все, что шипело или дымилось, было *Фефером*. [53]

“Итак, я процитировал такие известные примеры этого автора, потому что он приводит их в доказательство утверждения о том, что здесь проявляется деликатность впечатления, присущая только человеку”. Не дожидаясь выяснения, подтверждается ли это утверждение приведенными доказательствами или даже отличал ли младенец лично своего отца от других людей в то время, когда он впервые называл всех людей одним и тем же именем; для моих нынешних целей достаточно отметить единственный факт, что когда ребенок впервые способен показать нам природу своего представления посредством речи, это дает нам достаточно доказательств того, что это представление является тем, что я назвал общим. Одежда, борода и голос образуют представление, которому, как считается, соответствуют все мужчины: наиболее яркие особенности локомотива живо запечатлеваются в памяти, так что, когда что-либо похожее на них встречается в другом месте, оно воспринимается как принадлежащее объекту аналогичного характера. Только намного позже, когда аналитические способности восприятия значительно развиты, ребенок начинает проводить свои различия с достаточной “утонченностью”, чтобы понять, что эта классификация слишком груба - что сходства, которые больше всего поразили его детское воображение, были всего лишь случайными и что ими следует пренебречь в пользу менее разительных сходств, которые изначально были совершенно незамечены. Но хотя процесс классификации является тем самым постоянно происходят улучшения с развитием интеллекта, с первых была *классификация*, хотя, конечно, до сих пор только в области чувственного восприятия. И точно так же в отношении животных, из таких фактов, как уже приведенные, достаточно очевидно, что образы, от которых зависит их адаптивное действие, в значительной степени являются общими.

Следовательно, никоим образом не предвещая вопрос о том, существует ли какое-либо радикальное различие между умом, одаренным на данный момент, и концептуальным мышлением человека, я могу считать само собой разумеющимся, что мышление младенцев происходит из первого рода; и, следовательно, сильно ошибаются те психологи, которые бездумно предполагают, что формирование классовых идей является прерогативой более развитого интеллекта. Несомненно, их взгляд на этот вопрос на первый взгляд кажется правдоподобным, потому что в области концептуального мышления мы знаем, что прогресс отмечен возрастающими способностями *кобобщению* - что самые легкие шаги связаны с познанием частных; более трудные - с абстракциями. Но это означает путать рекомендации с концепциями и, таким образом, упускать из виду различие между двумя порядками обобщения, которое в первую очередь важно четко осознавать. *Родовая идея* является родовой, потому что частные идеи, из которых она состоит, представляют такие *очевидные* точки сходства, что они спонтанно сливаются воедино в сознании; но *общая идея* является общей по совершенно противоположной причине, а именно потому, что уловленные ею точки сходства *затемнены* от непосредственного восприятия и, следовательно, никогда не могли бы слиться воедино в сознании, если бы не помощь намеренной абстракции или способность ума сознательно обращаться со своими собственными идеями как с идеями. Другими словами, тип классификации, о которой идет речь в рецептах, наиболее близок к типу классификации, от которого зависят все процессы так называемого “интуитивного вывода” - например, принятие чаши за сферу. Но тот вид классификации, с которым связаны понятия, наиболее далек от этой чисто автоматической группировки восприятий. Классификация, несомненно, имеет место в обоих случаях; но один порядок обусловлен близостью сходств в акте восприятия, в то время как в другом порядке это выражение их удаленности от чисто перцептивных ассоциаций.

Или, чтобы представить дело в еще более ином свете, если мы считаем, что звучит менее парадоксально говорить о процессе классификации как о всюду одинаковом по своему характеру, мы должны заключить, что группировки рецептов находятся к группировкам понятий во многом в таком же отношении, в каком группировки восприятий находятся к группировкам рецептов. В каждом случае именно низший порядок группировки дает материал для более высокого: и целью этой главы было показать, во-первых, что непреднамеренная группировка, которая является отличительной чертой рецептов, может быть доведена до поразительной степени совершенства без какой-либо помощи со стороны преднамеренной группировки, которая является отличительной чертой концепций; и, во-вторых, что с самого начала сознательное формирование идей было связано с *группировкой*. Не только и даже не главным образом, это имело отношение к регистрации в памяти конкретных восприятий; но в гораздо большей степени это имело отношение к спонтанной сортировке таких восприятий, к спонтанному расположению их в идеальных (или образных) системах и, следовательно, к *спонтанному отражению в сознании* многих из менее сложных *отношений* — или менее запутанных *принципов*, — с которыми постоянно сталкивался разум в своем общении с упорядоченным миром.

ГЛАВА IV.

ЛОГИКА ПОНЯТИЙ.

Прием применения символов для обозначения идей, а затем использования символов в качестве идей приводит к формированию более абстрактных идей таким образом, что это легко увидеть. Например, поскольку мы наблюдаем, что очень многие объекты обладают определенным общим качеством, таким как краснота, мы находим удобным дать этому качеству название; и, сделав это, мы говорим о красноте абстрактно или как о чем-то отдельном от какого-либо конкретного объекта. Наше слово “краснота”, таким образом, служит знаком или символом качества, отдельно от любого конкретного объекта, качеством которого оно может оказаться; и, сделав эту символическую абстракцию в случае простого качества, такого как краснота, мы можем впоследствии соединить его с другими символическими абстракциями, и так далее, пока не придем к словесным символам все более и более абстрактных или общих качеств, а также качеств, все более и более удаленных от непосредственного восприятия. Таким образом, видя, что многие другие объекты сходятся в том, что они желтые, другие — синие и так далее, мы объединяем все эти абстракции в еще более общую концепцию Цвета, которая, *будучи* более абстрактной, еще дальше удалена от непосредственного восприятия - поскольку у нас никогда не может быть восприятия, соответствующего объединенному понятию *цвета*, хотя у нас есть много восприятий, соответствующих составляющим понятиям *цветов*.

То же самое и в аналогичном случае с объектами. Имена собственные Петр, Павел, Джон и т. Д. Остаются в моем сознании как обозначения моих индивидуальных концепций: термин "Человек" служит для суммирования всех точек соприкосновения между ними — а также между всеми другими особями их вида — без учета их разногласий; слово "Животное" охватывает еще

более широкий диапазон, и так почти со всеми словами, обозначающими объекты. Подобно словам, обозначающим качества, они могут располагаться рангом выше рангом в соответствии с диапазоном их общности: и очевидно, что чем шире этот диапазон, тем дальше их значение отходит от всего, что когда-либо могло быть объектом непосредственного восприятия.

Впоследствии мы обнаружим, что крайне важно отметить, что эти замечания применимы в такой же степени к действиям и состояниям, как и к объектам и качествам. Глаголы, как существительные и прилагательные, могут быть просто названиями простых понятий, или они могут быть составными частями других понятий - в любом случае, отличаясь от существительных и прилагательных только тем, что они имеют отношение к действиям и состояниям. Сеять, копать, пряхсть и т. Д. - Это названия конкретных действий; трудиться - это название более общего действия; жить - это символ концепции еще более общей. И очевидно, что здесь, как и ранее, более общие концепции строятся из более специальных.

Позже я приведу доказательства, показывающие, что независимо от того, смотрим ли мы на растущего младенца или на историю человечества, недавно обнаруженную исследованиями филологов, мы одинаково обнаруживаем, что ни одно из этих подразделений простых понятий, а именно существительные, прилагательные и глаголы, не имеет приоритета над другими. Или, если есть какие-либо свидетельства такого приоритета, он, по-видимому, склоняется в пользу существительных и глаголов. Но пункт, на котором я хотел бы сосредоточить внимание в настоящее время, - это огромный рычаг воздействия, который предоставляется способности мышлеобразования путем использования слов в качестве ментальных эквивалентов идей. Ибо с помощью этих символов мы поднимаемся во все более высокие области абстракции: мысля словесными знаками, мы мыслим, так сказать,, с подобием идей; мы совершенно избавляемся от необходимости в реальных образах, будь то предписания или рецептивности: мы покидаем сферу чувств и поднимаемся к сфере мысли.

Возьмем, к примеру, другой тип абстрактного мышления, который не только лучше других показывает важность знаков как заменителей идей, но и наилучшим образом иллюстрирует экстраординарные результаты, к которым может привести подобная символика при постоянном использовании. Я имею в виду математику. Конечно, прежде чем идея числа или отношения вообще могла возникнуть, способность представления должна была достичь больших успехов; но давайте рассмотрим эту способность на том этапе, когда искусство замены идей знаками зашло так далеко, что позволило уму считать с помощью простых обозначений. Очевидно, что было бы невозможно провести хотя бы самую сложную цепочку рассуждений, которые ссылались бы на какие-либо идеи числа или пропорции, если бы мы были лишены способности приписывать определенные знаки конкретным идеям числа. Мы даже не могли бы сказать, пробили часы одиннадцать или двенадцать, если бы не могли отмечать каждый последующий удар каким-нибудь отличительным знаком; так что, когда говорят, как это часто бывает, что животное не умеет считать, мы должны помнить, что и опытный философ не смог бы считать, если бы его лишили символов. "Человек начинает с подсчета вещей, группируя их зримо [т.е. по Логике Рецептов]. Затем он учится считать просто числа, при отсутствии вещей, используя свои пальцы рук и ног в качестве символов. Затем он заменяет их абстрактными знаками, и начинается арифметика. От этого он переходит к алгебре, знаки которой не просто абстрактны,

но и являются общими; и теперь он вычисляет числовые соотношения, а не числа. От этого он переходит к высшему исчислению отношений”.

И точно так же, как в математике используемые символы содержат в легко манипулируемой форме огромные массивы значений — возможно, даже весь смысл длинных вычислений, — так и во всех других видах абстрактного мышления символы, которые мы используем — будь то в жестах, речи или письме, — содержат более или менее сгущенные массы значений. Или, возьмем другую иллюстрацию, которую, как и предыдущий пример, я цитирую у Льюиса: “То же самое происходит и с развитием торговли. Люди начинают с обмена вещами. Они переходят к обмену ценностями. Сначала деньги, затем банкноты или векселя являются символом ценности. Наконец, люди просто списывают деньги и кредитуют друг друга, так что огромные транзакции осуществляются с помощью этого уравнивания уравнений. Сложные процессы посева, жатвы, сбора, отгрузки и доставки определенного количества пшеницы сведены к записи в нескольких словах в бухгалтерской книге”.

Таким образом, без дальнейшего рассмотрения должно быть очевидно, что для нас невозможно переоценить важность языка как служанки Мысли. “Знак,” как говорит сэр Уильям Гамильтон, - необходим, чтобы придать стабильность нашему интеллектуальному прогрессу - чтобы каждый шаг в нашем продвижении становился новой отправной точкой для нашего продвижения к другому запредельному.... Слова - это крепости мысли. Они позволяют нам превращать каждое интеллектуальное завоевание в основу действий для тех, кто еще находится за его пределами”. Более того, мысль и язык действуют и реагируют друг на друга; так что, пользуясь удачной метафорой профессора Макса Мюллера, рост мысли и языка подобен росту коралла. Каждая оболочка является продуктом жизни, но, в свою очередь, становится опорой новой жизни. Точно так же каждое слово является продуктом мысли, но, в свою очередь, становится новой опорой для роста мысли.

Кажется излишним говорить больше, чтобы показать огромную важность создания знаков для развития мышления — факт, получивший всеобщее признание писателей любой школы. Поэтому сейчас я перейду к теме настоящей главы, которая заключается в том, чтобы более подробно проследить логику этой способности или метод ее развития.

Из того, что я уже сказал, можно сделать вывод, что простейшие понятия - это просто названия рецептов; в то время как понятия более высокого порядка - это названия других понятий. Точно так же, как рецепты могут быть либо воспоминаниями об определенных рецептах, либо результатами многих рецептов (*т.е.* Различных других рецептов), сгруппированных в класс; так и понятия могут быть либо названиями конкретных рецептов, либо результатами многих названных рецептов (*т.е.* различных других концепций), сгруппированных в класс. Например, слово “красный” - это мое название для определенного рецепта; но слово “цвет” - это мое название для целой группы названных рецептов. И аналогично со словами, обозначающими объекты, состояния и действия. Следовательно, мы можем в общих чертах различать понятия двух порядков, а именно те, которые имеют отношение к рецептам, и те, которые имеют отношение к другим понятиям. Ибо концепция остается концепцией, даже если это не более чем именованное представление; и это все еще концепция, даже если она обозначает высшее обобщение мысли. Я сделаю это различие еще более ясным с помощью лучших иллюстраций.

Водоплавающие птицы используют несколько иной способ посадки на сушу или даже на лед, чем тот, который они используют при посадке на воду; а те виды, которые ныряют с высоты

(такие как крачки и олуши), никогда не делают этого на суше или на льду. Эти факты доказывают, что у животных один прием реагирует на твердое вещество, а другой - на жидкость. Точно так же человек не будет нырять с высоты по твердой земле или по льду, и он не будет прыгать в воду так же, как он прыгает по суше. Другими словами, подобно водоплавающей птице, у него есть два различных рецепта, один из которых соответствует твердой почве, а другой - неподатливой жидкости. Но, в отличие от водоплавающей птицы, он способен дать каждому из этих приемов название и таким образом поднять их обоих до уровня понятий. Что касается практических целей передвижения, то, конечно, несущественно, превращает ли он таким образом свои рекомендации в концепции или нет; но, как мы видели, для многих других целей чрезвычайно важно, чтобы он был способен это делать. Теперь, чтобы сделать это, он должен быть способен представить свое представление своему собственному разуму как объект своей собственной мысли: прежде чем он сможет присвоить этим общим идеям названия "твердое" и "текучее", он должен *осознать* их как идеи. До этого акта познания эти идеи ни в каком отношении не отличались от рецептов водоплавающей птицы; в них нет необходимости и для обычных потребностей его передвижения: следовательно, в той мере, в какой это касается этих требований, человек не прибегает к своим высшим способностям мышления. Но в силу этого акта познания, посредством которого он присваивает имя идее, известной как таковая, он создал для себя — и для целей, отличных от передвижения, — бесценное достояние: он сформировал концепцию.

Тем не менее, концепция, которую он сформировал, чрезвычайно проста и сводится, по сути, не более чем к названию одного из наиболее привычных его рецептов. Но природа понятий такова, что, будучи однажды сформированными, они допускают преднамеренное сравнение; и таким образом возникает новая возможность группирования идей, а именно, уже не посредством чувственных ассоциаций, а посредством символических представлений. Названия рецептов теперь служат символами самих рецептов и, таким образом, допускают группировку без привязки к чувственным восприятиям, из которых они первоначально возникли. Больше не ограниченные временем, местом, обстоятельствами или поводом, идеи теперь можно вызывать и манипулировать ими по своему усмотрению; ибо в этом новом методе формирования идей разум как бы приобрел *алгебру рецептов*: больше нет необходимости, чтобы сами фактические рецепты были доступны чувственному восприятию или даже репрезентативному воображению. И поскольку понятия, таким образом, являются символами рецептов, они допускают, как я уже сказал, сравнение и комбинирование без привязки к рецептам, которые они символизируют. Таким образом, мы становимся способными, так сказать, вычислять в понятиях таким образом и в такой степени, которые были бы совершенно невозможны в чисто перцептивной среде рецептов. Итак, именно в этой алгебре воображения совершается вся высшая работа по формированию идей; и в результате длительного и сложного синтеза концепций мы получаем ментальные продукты огромной сложности, которые, тем не менее, могут быть воплощены в отдельных словах. Такие слова, например, как Добродетель, Правительство, Механический эквивалент, обозначают гораздо более сложные концепции, чем слова "Твердый" или "Текучий", поскольку для первых нет возможных эквивалентов в виде рецептов.

Поэтому я говорю, что мы должны начать с признания огромного охвата интеллектуальной территории, которая охватывается тем, что называется концепциями. На низшем уровне они являются не более чем названными рецептами; за пределами этого уровня они становятся названиями других концепций; и в конечном итоге они становятся названными продуктами высочайшей и наиболее сложной координации концепций, которая была достигнута

человеческим разумом. Таким образом, под термином *Низшие концепции* я буду понимать те, которые являются не чем иным, как названными рецептами, в то время как под термином *Высшие концепции* я буду понимать те, которые составлены из других концепций.

Следующее, что я хочу прояснить, - это то, что концепции низшего порядка, о которых я говорю, несмотря на то, что они представляют собой простейший из возможных видов концепций, уже являются чем-то большим, чем названия *частных* идей: это названия того, что я назвал *общими* идеями, или рецептами. Мы можем просмотреть весь словарь любого языка и не найти ни единого слова, которое служило бы названием для действительно конкретной идеи — *т.е.* для воспоминания о конкретном восприятии. Имена собственные - это те, которые наиболее близко подходят к этому признаку; но даже имена собственные на самом деле являются названиями рецептов (в отличие от конкретных восприятий), поскольку каждый объект, к которому они применяются, является чрезвычайно сложным объектом, обладающим многими и разнообразными качествами, каждое из которых требует регистрации в памяти как принадлежащее этому объекту, если мы хотим снова распознать его как то же самое.

Таким образом, имена не связаны с конкретными идеями, строго так называемыми: понятия, даже самого низкого порядка, имеют дело с общими идеями. Более того, общие идеи, с которыми им приходится иметь дело, по большей части очень общие: даже до того, как последователь становится достаточно взрослым, чтобы креститься, — или достаточно развитым, чтобы быть принятым в качестве члена концептуального тела, — это уже высокоорганизованный продукт мышления. В предыдущей главе мы видели, как поразительно далеко способна зайти объединяющая способность воображения без помощи языка; и следствием этого является то, что еще до появления языка в уме уже было богатое накопление упорядоченных идей, сгруппированных во множество систем логической последовательности. Следовательно, когда появление языка действительно происходит, нет необходимости возобновлять эту работу по логической группировке *ab initio*. Что делает язык, так это берется за работу по группировке там, где она была оставлена общей идеей; и если будет сочтено целесообразным назвать какие-либо общие идеи, то для этой цели выбираются как более общие, так и менее общие. Короче говоря, какой бы огромной ни была организующая сила Логоса, он выходит на сцену своей творческой мощи не для того, чтобы обнаружить только то, что бесформенно и пусто: скорее, он обнаруживает справедливую структуру небанального порядка, сформированную предшествующими влияниями, и, поскольку она сформирована таким образом, настоящий космос.

Опять же, все концепции в их последней инстанции зависят от рецептов, точно так же, как, в свою очередь, рецепты зависят от восприятий. Этот факт вполне может быть доказан не только общими соображениями, но и этимологическим происхождением абстрактных терминов. Наиболее абстрактные термины происходят от менее абстрактных терминов, а эти — от других, еще менее абстрактных, пока, самое большее, двумя-тремя такими шагами, мы во всех случаях не возвращаемся непосредственно к их происхождению в “низшем понятии” — *т.е.* во имя рецепта. Как я докажу позже, ни в одном языке нет абстрактного слова или общего термина, корень которого, если вообще возможно проследить его происхождение, не был бы обнаружен в названии рецепта. Следовательно, понятия изначально являются не чем иным, как названными рецептами; и, следовательно, *априори* невозможно, чтобы какое-либо понятие могло быть сформировано, если оно в конечном счете не покоится на основе рецептов. Благодаря той разработке, которой оно впоследствии подвергается в области символизма, оно

действительно может настолько утратить какое-либо сходство со своим происхождением, что только филолог сможет проследить его происхождение. Когда мы говорим о Добродетели, нам больше не нужно думать о человеке, и нам не нужно делать никаких сознательных ссылок на управление кораблем, когда мы используем слово "Правительство". Но тем не менее очевидно, что оба этих в высшей степени абстрактных слова возникли при обозначении рецептов (одно - объекта, другое - действия); и что их последующее повышение по шкале общности было обусловлено постепенным расширением концептуального значения в руках символической мысли. Другими словами, возвращаясь к моей предыдущей терминологии, "высшие концепции" ни в коем случае не могут возникнуть *de novo*: они могут быть порождены только "низшими концепциями", которые, в свою очередь, являются потомками рецептов.

Теперь я должен вернуться к вопросу, которого мы касались в конце предыдущей главы. Я там показал, что вид классификации, или ментальной группировки идей, который составляет логику рецептов, отличается от ментальной группировки идей, которая составляет логику понятий, тем, что, в то время как первая имеет дело со сходствами, которые наиболее очевидны для восприятия, и, следовательно, с аналогиями, которые наиболее привлекают внимание, последняя имеет дело со сходствами, которые наименее очевидны для восприятия, и, следовательно, с аналогиями, которые наименее очевидны для органов чувств. Классификация имеет место в обоих случаях; но в то время как в первом она зависит от близости сходств в акте восприятия, в другом она выражает их отдаленность. Итак, из этого следует, что чем более концептуальна классификация, тем менее очевидными для непосредственного восприятия являются сходства между классифицируемыми вещами; и, следовательно, чем выше обобщение, тем больше должно быть расстояние, на которое оно удалено от чисто автоматических группировок воспринимаемых идей.

Например, самая ранняя классификация животного царства, с которой мы знакомы, сгруппировала под общим обозначением "ползучие твари" суставчатых, моллюсков, рептилий, амфибий и даже некоторых млекопитающих, таких как ласки и т. Д. Здесь очевидно, что классификация основывалась только на очень поверхностном сходстве, которое демонстрируют эти различные существа в своих способах передвижения. Концептуальная мысль еще не была направлена на анатомию животных; и поэтому, когда она взялась за классификацию животных, в первую очередь она не пошла дальше, чем отметила наиболее очевидные различия во внешней форме и движении. Другими словами, эта самая ранняя концептуальная классификация была немногим больше, чем словесное изложение рецептивной классификации. Но когда греки положили начало науке сравнительной анатомии, появилась гораздо более концептуальная классификация животных, хотя важность чего-либо вроде систематического расположения животного царства в целом была оценена так мало, что, по-видимому, даже Аристотель не пытался ее использовать. Ибо, каким бы удивительным ни был продемонстрированный им здесь прогресс в концептуальной группировке, он ограничился проведением анатомических сравнений между одной группой животных и другой; у него не было ни малейшего представления о группе, подчиненной группе, что впоследствии составило ведущий принцип таксономических исследований, и он нигде не приводит табличного изложения своих собственных результатов, такого, которое он вряд ли мог бы не привести, если бы осознавал важность классификации животного царства как систематического целого. Наконец, со времен Рэя лучшая мысль лучших естествоиспытателей была вложена в эту работу, в результате чего концептуальное мышление непрерывно развивалось посредством все более и более широких обобщений, или обобщений, все более и более сдерживаемых

преднамеренным и комбинированным накоплением знаний. Насколько же огромен контраст между первой простой попыткой классификации, предпринятой древними евреями, и сложной системой абстрактных размышлений, представленной современной таксономической наукой.

Аналогичные иллюстрации можно было бы почерпнуть из любого другого раздела концептуальной эволюции, потому что везде такая эволюция по существу заключается в достижении идеальных интеграций, все более и более удаляющихся от простых восприятий. Или, как выразился сэр У. Гамильтон, “путем первого обобщения мы получили ряд классов похожих особей. Но эти классы мы можем сравнить вместе, заметить их сходство, абстрагироваться от их различий и присвоить их общим обстоятельствам общее название. На вторых классах мы можем снова выполнить ту же операцию, и таким образом, поднимаясь по шкале общих понятий, отбрасывая из поля зрения всегда большее количество различий и всегда хватаясь за меньшее количество сходств в формировании наших классов, мы, наконец, достигаем предела нашего восхождения в понятии бытия”. [54]

Теперь, пункт, в отношении которого я хотел бы внести предельную ясность, заключается в том, что этот процесс концептуального формирования идей, посредством которого идеи становятся общими, следует тщательно отличать от процессов рецептивного формирования идей, посредством которых идеи становятся общими. Ибо эти последние процессы состоят в том, что особые идеи, которые непосредственно даются в чувственном восприятии, автоматически сливаются по ассоциации сходства или смежности; так что из ряда таких связанных восприятий образуется восприятие без необходимости какого-либо преднамеренного сотрудничества ума в этом вопросе. С другой стороны, общая идея, или концепт, может быть сформирован только самым разумом, намеренно классифицирующим свои известные рекомендации как таковые - или, в случае создания “высших концепций”, выполняющим тот же процесс со своими уже приобретенными общими идеями с целью построения идей еще более общих. Таким образом, общая идея является обобщенной в том смысле, что натуралист говорит о низшем организме как об обобщенном — *т.е.* как о еще не дифференцированном на группы более высоких и специализированных структур, которые впоследствии возникают из него. Но общая идея является обобщенной в смысле включения группы таких более высоких и специализированных структур, уже сформированных и названных под общим обозначением со ссылкой на их сходство. Классификация существует во всех случаях; но в рецептивном порядке она автоматическая, в то время как в концептуальном порядке она интроспективна.

Насколько я могу судить по моему анализу, я не ожидаю критики или несогласия ни от одного психолога, к какой бы школе он ни принадлежал. Но есть один вопрос второстепенной важности, которым я могу здесь наиболее удобно распорядиться, хотя мои взгляды на этот счет могут не вступить в всеобщее согласие.

Мне кажется очевидной чертой нашей интроспективной жизни то, что мы способны осуществлять сложные процессы формирования идей без помощи слов — или, парадоксально выражаясь, что мы способны постигать без концепций. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что эта, казалось бы, очевидная способность мыслить без какой-либо мысленной репетиции словесных знаков (*verbum mentale* схоластики) отрицается несколькими авторитетными авторами - особенно, например, профессором Максом Мюллером, который со многими подробностями пытается доказать, что “не только в значительной степени, но всегда и

полностью мы мыслим с помощью имен”. [55] Теперь это утверждение кажется мне либо трюизмом, либо неверным: оно либо тавтологично по выражению, либо ошибочно на самом деле. Если мы ограничим термин “мысль” операцией именованя, то будет просто трюизмом утверждать, что не может быть мысли без языка; ибо это всего лишь означает, что не может быть именованя без имен. Но если термин “мышление” используется для охвата всех процессов формирования идей, которые мы не разделяем с животными, я считаю, что это утверждение противоречит очевидному факту; и, следовательно, я согласен с длинным рядом логиков и философов, которых цитирует профессор Макс Мюллер, демонстрируя то, что он называет “колебаниями” в принятии доктрины, которая, по его мнению, является неизбежным выводом номинализма. Ибо мне кажется очевидным, что в области концепций частое обращение с теми, с которыми знаком ум, позволяет уму обращаться с ними примерно так же автоматически, как на более низком плане скоординированных действий пианист обращается со своими аккордами и фразами. В то время как поначалу выполнение этих многочисленных разнообразных и сложных настроек требовало преднамеренных и кропотливых усилий, с практикой их выполнение все больше и больше выходит за рамки сознательных усилий, пока не становится почти механическим. Так и в случае с чисто умственными операциями, даже самого высокого порядка. Сначала каждое звено в цепи идей требует отдельного привлечения внимания с помощью слова: каждый шаг в процессе рассуждения требует, чтобы он предпринимался на прочной основе предложения. Но благодаря постоянной привычке мыслительная способность перестает быть ограниченной таким образом: она переходит, так сказать, с одного конца цепи на другой, не останавливаясь у каждого звена: вместо своих первоначальных ступеней она заменила мост, по которому может переходить почти перескакивая. Или, опять же, меняя метафору, возникает метод кратковременного мышления, при котором даже символы идей (концепций) больше не должны появляться в сознании: суждение следует за суждением в логической последовательности, но без какого-либо членораздельного выражения с помощью *глагола мышления*. Это, говорю я, факт, для проверки которого, как мне кажется, достаточно очень небольшого самоанализа. Например, прочитав письмо, мы можем мгновенно определиться с нашим ответом, и все же нам придется сделать паузу, прежде чем мы сможем сформулировать предложения, необходимые для выражения этого ответа. Или, когда вы пишете эссе, как часто вы чувствуете, так сказать, что необходимо изложить определенную истину, хотя это истина, которую мы не можем сразу выразить словами? В общих чертах мы знаем, что истинанаходитсятам, *но мы не можем предложить средство, которое должно привести ее сюда*, к нам, и только после того, как мы испробуем множество приемов, каждый из которых включает длинные цепочки последовательных предложений, мы начинаем находить удовлетворение в том, чтобы выражать в языке то, что ранее подразумевалось в мышлении. Опять же, играя в шахматы, мы должны учитывать множество сложных отношений, реальных и случайных; так что, чтобы вести игру так, как она того заслуживает, мы должныпредъявлять высокие требования к нашей способности к абстрактному мышлению. Однако, делая это, нам не требуется произносить безмолвный монолог обо всем, что мы могли бы сделать, и обо всем, что может быть сделано нашим оппонентом. Наконец, чтобы привести еще одну иллюстрацию, при некоторых формах афазии пациент теряет все следы вербальной памяти, и все же его мыслительные способности для достижения всех практических целей жизни существенно не нарушены.

Таким образом, в целом, я прихожу к выводу, что, хотя язык является необходимым условием дляпервоначального построения концептуального мышления, когда здание завершено,

строительные леса могут быть убраны, и все же здание останется таким же стабильным, как и раньше. Таким образом, знакомые концепции как бы деградируют до рецептов, но рецептов такой степени сложности и организации, которая была бы невозможна, если бы не их концептуальное происхождение. With Geiger we may say, “So ist denn überall die Sprache primar, der Begriff entsteht durch das Wort.” [56] Однако это не мешает тому, что в отношении Фридриха Мюллера мы должны добавить: “Sprechen ist nicht Denken, sondern es ist nur Ausdruck des Denkens”. [57]

За исключением последнего абзаца, мой анализ, как уже отмечалось, вероятно, не будет оспорен ни одним из ныне живущих психологов, ни эволюционной, ни неэволюционной школ; ибо, за исключением этого абзаца, я намеренно выстроил свою аргументацию так, чтобы до сих пор избегать спорных вопросов. И следует заметить, что даже этот параграф на самом деле не имеет ничего общего с проблемой, которая стоит перед нами; поскольку вопрос, с которым он имеет дело, касается только интеллектуальных процессов, исключительно человеческих. Но теперь, после того, как мы таким образом полностью подготовили путь путем несколько продолжительной предварительной расчистки почвы, мы должны перейти к вопросу, мыслимо ли, чтобы способность речи со всей сложной структурой формирования идей, к которой она привела, могла возникнуть путем естественного происхождения из низших способностей ума. Как мы теперь видели, все согласны с тем, что единственное различие между психологией человека и психологии животных состоит в том, что первая представляет эту способность, которая, в противном случае, означает, как мы также видели, способность переводить идеи в символы и использовать эти символы вместо идей.

Это, говорю я, единственное различие, в отношении которого все согласны; вопрос только в том, является ли это различием рода или степени. С тех пор, как древние греки применяли одно и то же слово для обозначения способности к языку и способности к мышлению, философская уместность этого отождествления становилась все более и более очевидной. Какой бы затемненной ни была истина на какое-то время из-за тумана реализма, многовековая дискуссия полностью прояснила философскую атмосферу в том, что касается этого вопроса. Следовательно, в эти последние дни перед эволюционистом встает единственный вопрос— почему простое животное никогда не научилось общаться со своими собратьями? Почему человек единственный из животных был одарен Логосом? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны предпринять несколько трудоемкое исследование философии языка.

ГЛАВА V.

язык.

Этимологически слово "Язык" означает создание знаков с помощью языка, т.е. членораздельную речь. Но в более широком смысле это слово обычно используется для обозначения создания знаков в целом, например, когда мы говорим о “языке пальцев” глухонемых, “языке цветов” и т. Д. Или, как говорит профессор Брока, “существует несколько видов языка; каждая система знаков, которая выражает идеи более или менее понятным

образом, более или менее совершенным или более или менее быстрым, является языком в общем смысле этого слова. Таким образом, речь, жест, дактилология, письменность, как иероглифическая, так и фонетическая, - все это очень многие виды языка. Таким образом, существует общая способность языка, которая управляет всеми этими способами выражения и которая может быть определена — способность устанавливать постоянную связь между идеей и знаком, будь то звук, жест, фигура или рисунок любого рода”.

Лучшая классификация различных проявлений способности создавать знаки, с которой я встречался, дана мистером Майвартом в его *Уроках природы* (стр. 83). Поэтому эту классификацию я передам его собственными словами.

“В общей сложности мы можем выделить шесть различных видов языка:—

“1. Звуки, которые не являются ни членораздельными, ни рациональными, такие как крики боли или бормотание матери своему младенцу.

“2. Звуки, которые членораздельны, но не рациональны, такие как говор попугаев или некоторых идиотов, которые повторяют, не понимая, каждую фразу, которую они слышат.

“3. Звуки, которые являются рациональными, но не членораздельными, восклицания, с помощью которых мы иногда выражаем согласие с данными предложениями или несогласие с ними.

“4. Звуки, которые являются одновременно рациональными и членораздельными, составляющие истинную речь.

“5. Жесты, которые не соответствуют рациональным представлениям, а являются всего лишь проявлениями эмоций и переживаний.

“6. Жесты, которые соответствуют рациональным представлениям и, следовательно, являются “внешними”, а не устными проявлениями *глагола разума*.”

К этому списку “Категорий языка” необходимо добавить седьмой, содержащий все виды письменных знаков; но с таким очевидным дополнением я соглашаюсь с классификацией, как включающей все виды, которые возможно включить в род Language, и, следовательно, не исключающей ни одного.

Теперь первое, на что следует обратить внимание, это то, что создаваемые знаки могут быть созданы как намеренно, так и непреднамеренно; и следующее, что разделение интенциональных знаков может быть удобно разделено на два класса, а именно: интенциональные знаки, которые являются естественными, и интенциональные знаки, которые являются условными.

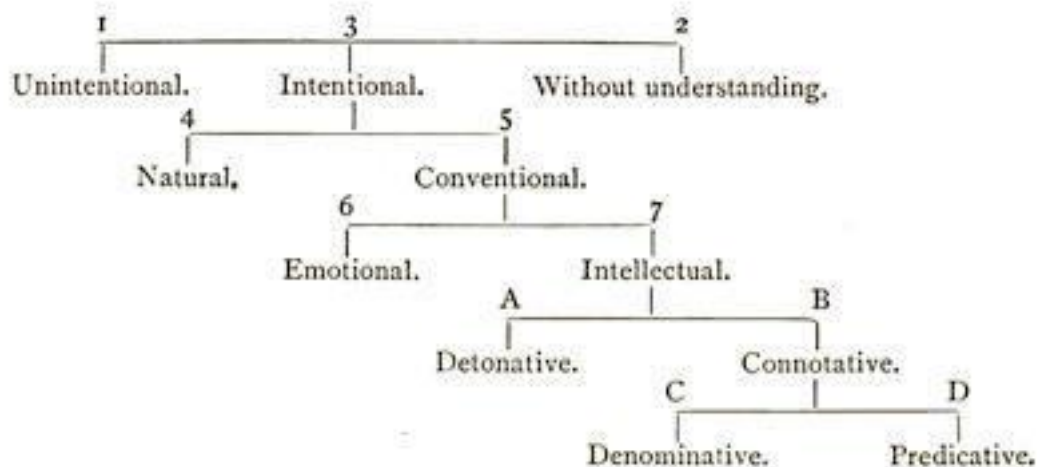
Подразделение условных знаков далее может быть разделено на те, которые обусловлены прошлыми ассоциациями, и те, которые обусловлены выводами из текущего опыта. Собака, которая “выпрашивает” еду, или попугай, который опускает голову, чтобы его почесали, могут делать это просто потому, что прошлый опыт научил животное, что, поступая таким образом, оно получает удовлетворение, которого желает; здесь нет необходимости в разуме —*m.e.*

умозаключении — вступать в игру. Но если у животного не было такого предыдущего опыта и, следовательно, оно не могло знать по специальной ассоциации, что такой—то конкретный жест или знак приведет к таким-то конкретным последствиям, и если при таких обстоятельствах собака должна увидеть, как другая собака просит милостыню, и должна имитировать этот жест, наблюдая результат, к которому он привел; или если при таких аналогичных обстоятельствах попугай должен спонтанно опустить голову с целью сделать выразительный жест, - тогда знак, строго говоря, можно назвать рациональным.

Но очевидно, что рациональные знаки допускают почти бесчисленные степени сложности и проработанности; так что сам разум в этом отношении не представляет большего разнообразия проявлений, чем символизм, посредством которого он выражается: алгебраическая формула включена в ту же категорию создания знаков, что и простейший жест, посредством которого мы намеренно сообщаем простейшую идею. Следовательно, рациональные знаки могут быть представлены жестом, тоном, артикуляцией или письмом — с использованием каждого из этих слов в самом широком смысле. [58]

Следующая схема может служить для представления этой классификации в схематической форме —т.е. классификации, к которой я пришел сам и которая близко следует той, которая дана м-ром Майвартом. На самом деле, между ними вообще нет разницы, за исключением того, что я попытался выразить различие между знаками как намеренными, непреднамеренными, естественными, конвенциональными, эмоциональными и интеллектуальными. Разделение последних на денотативные, коннотативные, обозначающие и предикативные будет объяснено в главе VIII.

ЯЗЫК, ИЛИ СОЗДАНИЕ ЗНАКОВ.

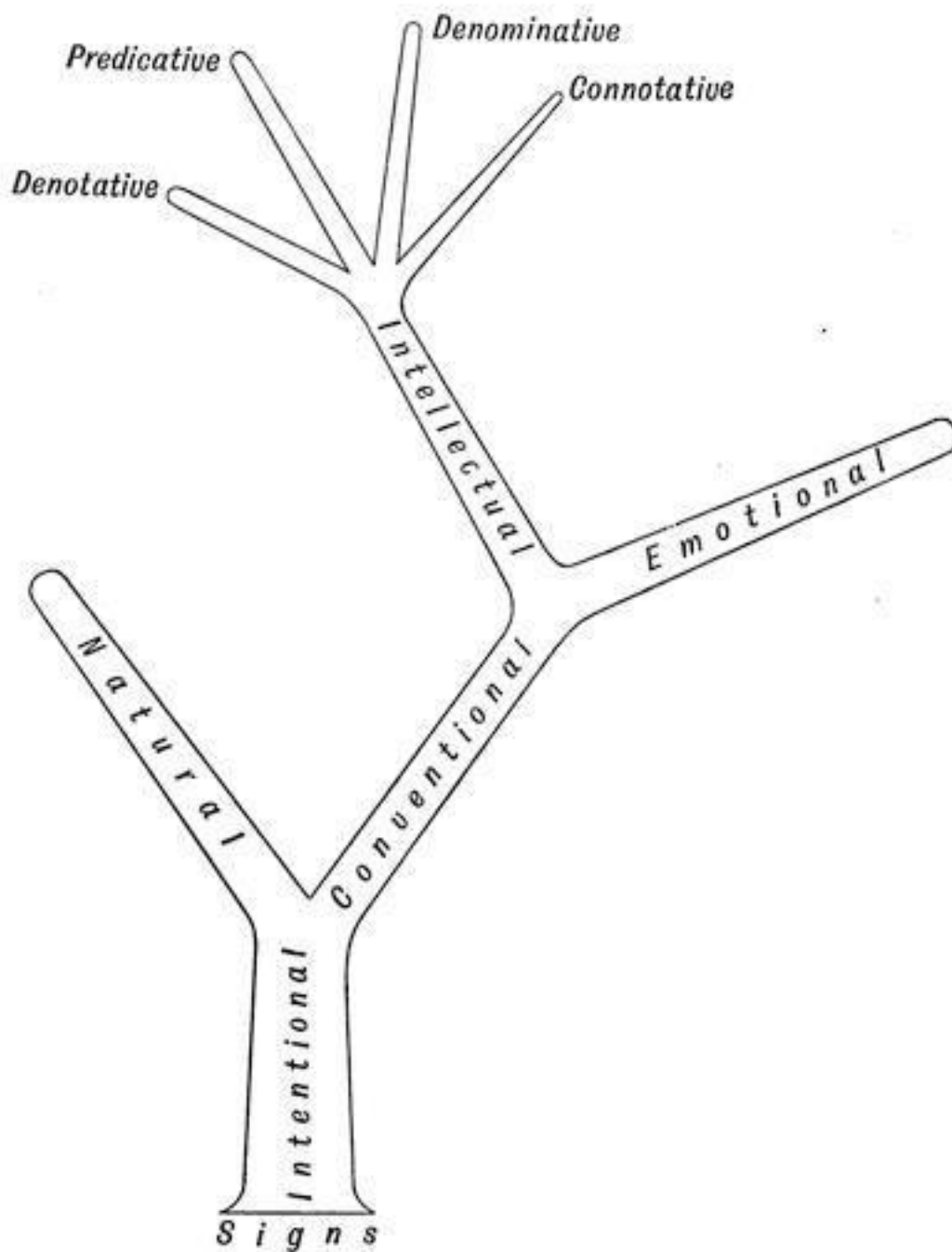


Или, пренебрегая непреднамеренными и просто инициативными знаками, которые, собственно говоря, вообще не являются знаками, каждый вид преднамеренного знака может быть представлен схематически, как на рисунке напротив.

Итак, до сих пор мы имели дело с фактами, относительно которых, я думаю, не может быть никаких сомнений. Иными словами, никто не может отрицать ни одно из утверждений, выражаемых этой схемой; расхождение во мнениях может возникнуть только тогда, когда спрашивается, являются ли различные способности (или случаи), представленные схемой, эволюционно непрерывными друг с другом. Поэтому к этой теме мы сейчас и обратимся.

Прежде всего следует отметить, что не может быть спора по одному пункту, а именно, что все способности или случаи, представленные схемой, за единственным исключением последней (№ 7), являются общими для животных и людей. Следовательно, мы можем начать с того, что примем за скобки тот важный факт, что животные безошибочно представляют *зародыш* способности создавать знаки. Но этот факт настолько важен в его отношении к нашему предмету, что я здесь остановлюсь, чтобы рассмотреть способы и степени проявления этой способности у животных.

Хубер говорит, что когда одна оса находит запас меда, “она возвращается в гнездо и за короткое время выводит сотню других ос”; и это утверждение подтверждает Дюжарден. Опять же, очень способный наблюдатель Ф. Мюллер пишет в одном из своих писем мистеру Дарвину, что он наблюдал пчелиную матку, откладывающую яйца в гнездо из 47 ячеек. В процессе она осмотрела четыре ячейки и, когда заполнила остальные 43, предположив, что ее работа завершена, приготовилась удалиться. “Но так как она проглядела четыре ячейки новой гребенки, рабочие нетерпеливо побежали от этой части к королеве, как-то странно толкая ее головами, как они делали и другие рабочие, с которыми они встречались. В результате королева снова начала обходить два старых сота; но так как она не обнаружила ни в одной ячейке недостатка в яйце, она попыталась спуститься, но везде ее отталкивали работники. Это состязание длилось довольно долго, пока королева не сбежала, так и не завершив свою работу. Таким образом, рабочие знали, как сообщить королеве, что еще предстоит что-то сделать, но они не знали, как показать ей, где это должно быть сделано”.



Согласно Де Фравьеру, Ландуа и некоторым другим наблюдателям, у пчел есть ряд различных нот, или тонов, посредством которых они передают информацию друг другу; [59] но, похоже, мало кто сомневается в том, что в основном используются жесты, производимые антеннами. Например, Хубер разделил улей на две камеры с помощью перегородки: в половине улья, лишенной матки, царил большое возбуждение, и пчелы принялись за строительство маточных ячеек для создания новой матки. Затем Хубер разделил улей точно таким же образом, с той лишь разницей, что экран, или перегородка, была сделана из шпалеры, через отверстия которой пчелы с обеих сторон могли просовывать свои антенны. При этих обстоятельствах

пчелы в оставшейся без матки половине улья не проявляли беспокойства и не строили никаких маточных ячеек: пчелы в другой, или отдельной, половине улья могли сообщить им, что матка в безопасности.

Обращаясь теперь к муравьям, степень, в которой здесь проявляется способность общаться знаками, не может не поражать нас как в высшей степени примечательная. В своей работе о *интеллекте животных* я привел множество наблюдений различных натуралистов по этому вопросу, общие результаты которых я здесь приведу.

Когда мы рассматриваем высокую степень, в которой муравьи придерживаются принципа сотрудничества, становится очевидным, что у них должны быть какие-то средства взаимодействия. Это особенно верно в отношении экитонов, которые так странно имитируют тактику военной организации. “Армия марширует в виде довольно широкой и правильной колонны длиной в сотни ярдов. Целью марша является захват и разграбление других насекомых и т. Д. В пищу; и по мере продвижения хорошо организованного воинства его опустошительные легионы бросают вызов всей остальной земной жизни. От основной колонны отходят меньшие боковые колонны, составляющие особи которых играют роль разведчиков, расходясь в различных направлениях и с предельной активностью выискивая насекомых, личинок и т. Д. На каждом бревне, под каждым опавшим листом и в каждом укромном уголке, где есть хоть какой-то шанс найти добычу. Когда их поручение выполнено, они возвращаются в основную колонну. Если найденная добыча достаточно мала, чтобы разведчики могли справиться сами, ее немедленно хватают и несут обратно в основную колонну; но если количество слишком велико, чтобы разведчики могли справиться в одиночку, гонцов отправляют обратно в основную колонну, откуда немедленно высылается отряд, достаточно большой, чтобы справиться с требованиями.... По обе стороны от основной колонны постоянно бегают вверх-вниз несколько особей меньшего размера и более светлой окраски, чем другие муравьи, которые, по-видимому, играют роль офицеров; поскольку они никогда не покидают своих постов, и, бегая вверх-вниз по внешней стороне колонны, они время от времени останавливаются, чтобы коснуться антеннами кого-нибудь из рядовых, как бы давая инструкции. Когда разведчики обнаруживают осиное гнездо на дереве, из основной армии высылается сильный отряд, гнездо разносится на куски, а все личинки уносятся в тыл армии, в то время как осы летают вокруг, беззащитные перед вторгшимся множеством. Или, если обнаружено гнездо какого-либо другого вида муравьев, к нему направляются такие же мощные силы — или, возможно, целая армия — и с предельной энергией бесчисленные насекомые принимаются за работу по проходке шахт, пока все гнездо не будет очищено от содержимого. При этих горных работах муравьи работают с необычайной организованностью; ибо те, кто находится внизу, в шахтах, не теряют времени даром, поднимая землю, которую они выкапывают, а передают гранулы тем, кто находится наверху; а муравьи на поверхности, когда они получают гранулы, уносят их — с видимостью предусмотрительности, которая совершенно ошеломила мистера Бейтса, — ровно настолько далеко, чтобы гарантировать, что они не скатятся обратно в шахту, и, после складирования их, немедленно спешат обратно за новыми. Но здесь нет жесткого (или просто механического) разделения труда: работа, по-видимому, выполняется разумным сотрудничеством множества нетерпеливых маленьких существ; ибо некоторые из них действуют в одно время как подносчики гранул, а в другое - как добытчики, в то время как все вскоре после этого берут на себя обязанности транспортировщиков добычи ”. [60]

М-р Белт пишет: “Экитоны и большинство других муравьев следуют друг за другом по запаху, и я полагаю, что они могут сообщать о присутствии опасности, добычи или другой информации на расстоянии по различной интенсивности или качеству испускаемых запахов. Однажды я увидел колонну, идущую вдоль подножия почти перпендикулярного трамвайного полотна, бортик которого был высотой около шести футов. В какой-то момент я заметил нечто вроде собрания примерно из дюжины человек, которые совещались. Внезапно один муравей покинул конклав и с огромной скоростью побежал вверх по перпендикулярной поверхности вырубki, не останавливаясь.... Достигнув вершины вырубki, муравьи вошли в кустарник, пригодный для охоты. За очень короткое время информация была передана муравьям внизу, и плотная колонна устремилась вверх в поисках добычи”.

И снова мистер Бейтс пишет: “Когда я мешал колонне или отвлекал от нее человека, известие о беспорядках быстро передавалось на расстояние нескольких ярдов в тыл, и колонна в этот момент начинала отступление”.

По прибытии к потоку воды марширующая колонна сначала пытается найти какой-нибудь естественный мост, по которому можно было бы его пересечь. Если такого моста не найти, “они путешествуют вдоль берега реки, пока не достигают плоского песчаного берега. Теперь каждый муравей хватается немного сухого дерева, стаскивает его в воду и взбирается на него. Задние ряды оттесняют передних еще дальше, держась за дерево ногами и за своих товарищей челюстями. За короткое время вода покрывается муравьями, и когда плот становится слишком большим, чтобы удерживаться вместе силами маленьких существ, часть отламывается сама по себе и начинает путешествие через реку, в то время как муравьи, оставшиеся на берегу, стаскивают куски дерева в воду и работают над расширением парома, пока он снова не сломается. Это повторяется до тех пор, пока муравей остается на берегу”. [61]

Итак, это все для того, чтобы дать общее представление о степени сотрудничества, проявляемой экитонами, — факт, который следует рассматривать как зависящий от некоторой системы знаков. Переходя далее к еще более определенному свидетельству общения, мистер Хейг, геолог, в письме мистеру Дарвину из Южной Америки сообщает, что на каминной полке в его гостиной стояли три вазы, обычно наполненные свежими цветами. Гнездо красных муравьев обнаружило эти цветы и выстроилось к ним в линию, постоянно проходя вверх и вниз между каминной полкой и полом, а также между каминной полкой и потолком. В течение нескольких дней подряд мистер Хейг часто смахивал муравьев в большом количестве со стены на пол, но, поскольку они не были убиты, линия снова восстановилась. Однако однажды он убил пальцем нескольких муравьев на каминной полке. “Эффект от этого был мгновенным и неожиданным. Как только те муравьи, которые приближались, оказывались рядом с тем местом, где лежали мертвые и страдающие их собратья, они поворачивались и убегали со всей возможной поспешностью. Через полчаса стена над каминной полкой была очищена от муравьев. В течение часа или двух колония снизу продолжала подниматься, пока не достигла нижнего скошенного края полки, и в этот момент более робкие особи, хотя и не могли видеть вазу, каким-то образом почувствовали проблему и повернули без дальнейших исследований; в то время как более смелые нерешительно приблизились к верхнему краю полки, когда, вытянув антенны и вытянув шеи, они, казалось, осторожно выглядывали за край, пока не увидели своих страдающих товарищей, после чего они тоже повернулись и последовали за остальными, выражая своим поведением большое волнение и ужас. Час или два спустя тропинка, ведущая от нижней колонии к вазе, была полностью очищена от муравьев.... Любопытной и неизменной

чертой их поведения было то, что когда муравей, возвращаясь в испуге, встречал приближающегося другого, эти двое всегда общались; но каждый шел своим путем, второй муравей продолжал свой путь к тому месту, где развернулся первый муравей, а затем следовал этому примеру. В течение нескольких дней после этого на стене, ни над, ни под полкой, не было видно муравьев. Затем несколько муравьев из нижней колонии начали появляться снова; но вместо того, чтобы посетить вазу, которая была местом катастрофы, они вообще избегали ее и, пройдя по нижнему переднему краю полки к стакану, стоящему примерно посередине, атаковали его с точно таким же результатом”.

Наконец, сэр Джон Лаббок провел несколько экспериментов с явной целью проверить способность муравьев к общению. Он обнаружил, что если муравей обнаруживал скопление личинок вне гнезда, он возвращался в гнездо и, даже если у него не было никаких личинок, которые можно было бы показать, мог сообщить о своей потребности в помощи — несколько друзей следовали за ней в качестве проводника к куче личинок, которую она нашла.

В одном очень поучительном эксперименте сэр Джон расположил три параллельных куска ленты, каждый длиной около двух с половиной футов: один конец каждого куса ленты прикрепил к гнезду, а другой опустил в стеклянный сосуд. В стакан на конце одной из лент он поместил значительное количество личинок (от 300 до 600): в стакан на конце другой из частей он положил только две или три личинки, в то время как третий стакан оставил пустым. Цель пустого стакана состояла в том, чтобы посмотреть, не доберется ли кто-нибудь из муравьев до стакана при таких обстоятельствах просто случайно. Затем он взял двух муравьев, одного из которых поместил в стакан со множеством личинок, а другого - в стакан с несколькими. Каждый муравей брал личинку, относил ее в гнездо, затем возвращался за добавкой и так далее. После каждого путешествия он помещал в стакан другую личинку вместе с несколькими личинками, чтобы заменить ту, которая была удалена. Результатом эксперимента было то, что в течение 47 с половиной часов муравьи, которые подошли к стакану с многочисленными личинками, привели к себе на помощь 257 друзей, в то время как в течение 53 часов муравьи, которые подошли к стакану с двумя или тремя личинками, привели только 82 друга; и ни один муравей не подошел к стакану, в котором не было личинок. Теперь, поскольку все стекла подвергались воздействию одинаковых условий и поскольку дороги, ведущие к первым двум, должны были, во всяком случае, в первую очередь, иметь одинаковый запах из-за прохождения по ним муравьев, эти результаты кажутся весьма убедительными как доказательство некоторой способности определенной коммуникации не только в том, что личинки должны быть найдены, но даже там, где должен быть самый большой запас.

Что касается средств коммуникации или метода создания знаков, то не может быть сомнений в том, что у муравьев, как и у пчел, это в основном жесты, производимые антеннами; но то, что используются также жесты других видов, достаточно хорошо доказывается следующим наблюдением преподобного доктора Мак-Кука. “Я видел, как муравей опускался на колени перед другим и вытягивал вперед голову, фактически совсем поникнув, и лежал там неподвижно, выражая таким образом настолько ясно, насколько мог язык жестов, свое желание очиститься. Я сразу понял этот жест, как и муравей с мольбой, потому что она сразу же принялась за работу”.

Итак, вот и все о силе создания знаков, проявляемой Перепончатокрылыми. Поскольку у меня мало свидетельств выработки знаков у других беспозвоночных, [62] Я сразу перейду к позвоночным.

Рэй наблюдал за различными тонами, используемыми обыкновенной курицей, и обнаружил, что они одинаково обозначают различные идеи или эмоциональные состояния; следовательно, мы можем правильно рассматривать это как систему языка, хотя и в очень зачаточной форме. Он различает в общей сложности девять или десять отчетливых тонов, которые по отдельности обозначают столько же различных эмоций и идей, а именно: вынашивание, выведение выводка, поиск пищи, тревога, поиск убежища, гнев, боль, страх, радость или гордость за то, что снес яйцо. Узо, который самостоятельно наблюдал за этим явлением, говорит, что курица издает по меньшей мере двенадцать значимых звуков. [63]

Можно было бы привести много других случаев среди птиц и еще большее число среди млекопитающих, когда голосовые интонации использовались как намеренное обозначение состояний чувств и определенных идей; но для экономии места я приведу лишь несколько фактов в сжатой форме.

“В Парагвае *Cebus azarae* при возбуждении издает по меньшей мере шесть отчетливых звуков, которые вызывают у других обезьян аналогичные эмоции (Ренггер).... Более примечательным фактом является то, что собака, будучи одомашненной, научилась лаять по крайней мере четырьмя или пятью отчетливыми тонами: ... лай нетерпения, как во время охоты; лай гнева, а также рычание; визг или вой отчаяния, когда его закрывают; лай по ночам; лай радости, когда он отправляется на прогулку со своим хозяином; и очень отчетливый лай требования или мольбы, например, когда он просит открыть дверь или окно”. [64]

Далее я могу кратко упомянуть о тех примерах использования знаков млекопитающими, которые полностью описаны в книге “Интеллект животных”.

Мистер С. Гудбир рассказывает мне о пони, который обычно отодвигал внутренний засов ворот в своем загоне и ржал, подзывая осла, который гулял на свободе во дворе за его пределами; затем осел подходил и отодвигал внешнюю защелку, открывая таким образом ворота и выпуская пони (стр. 333).

Что касается жестов, миссис К. Аддисон написала мне о своей галке, которая жила в саду и которую она обычно купала, которая напоминала ей, что она забыла поставить ванну, подходя к ней и совершая движения омовения на земле (стр. 316).

Юэтт приводит пример свиньи, которая была обучена указывать на дичь с большой точностью (стр. 339, 340), и это, как и в случае с собакой, подразумевает высокое развитие способности к созданию знаков. Каждый спортсмен должен знать, насколько хорошо сеттер понимает свои собственные жесты, а также жесты других собак. Что касается его собственного наведения, то, находясь на каком-либо расстоянии от спортсмена, животное оглянется назад, чтобы посмотреть, была ли замечена “точка”; и, если это так, то точка будет гораздо более “устойчивой” и продолжительной, чем если животное увидит, что ее не заметили. Что касается указания других собак, “поддержка” одной другой собакой означает, что как только одна собака видит, что другая указывает, она также встает и указывает, независимо от того, в

состоянии она учуять дичь или нет. В моей предыдущей работе, рассматривая искусственные инстинкты, я показал (как ранее заметил м-р Дарвин), что у хорошо воспитанных спортивных собак тенденция "отступать", более или менее выраженная, носит интуитивный характер. Но я также наблюдал среди моих собственных сеттеров, что даже в тех случаях, когда молодая собака не проявляет никакой врожденной склонности "отступать", при непродолжительной работе с другими собаками она вскоре приобретает привычку, без каких-либо других инструкций, кроме тех, которые дает ее собственное наблюдение. Я также заметил, что все охотничьи собаки склонны обманываться позой, которую принимают их товарищи при испражнении; но это, вероятно, связано с тем, что их угол обзора настолько ниже, чем у человека, что небольшие различия в позе не так заметны для них, как для нас.

Майор Скиннер пишет о большом диком слоне, которого он видел лунной ночью выходящим из леса, окружавшего водоем. Осторожно продвигаясь по открытой местности на расстояние ста ярдов от воды, животное стояло совершенно неподвижно — остальная часть стада, все еще скрытая в лесу, была все это время настолько тихой и неподвижной, что от них не исходило ни малейшего звука. Постепенно, после трех последовательных переходов, останавливаясь на несколько минут после каждого, он приблизился к кромке воды, где, однако, не счел нужным утолять жажду, а несколько минут оставался, прислушиваясь в полной тишине. Затем он осторожно и медленно вернулся к тому месту, откуда вышел из леса, откуда вернулся с пятью другими слонами, с которыми он проследовал, несколько менее медленно, чем раньше, на расстояние нескольких ярдов от резервуара, где расставил их в качестве патрулей. Затем он снова вошел в лес и собрал все стадо, которое, должно быть, насчитывало от восьмидесяти до ста человек, и повел их по открытому пространству с самым необычайным хладнокровием и тишиной, пока они не подошли к пятерым часовым, после чего он оставил их на мгновение и снова провел разведку на краю водоема. Наконец, по-видимому, убедившись, что все в безопасности, он повернул назад и, очевидно, отдал приказ наступать; "ибо в одно мгновение," говорит майор Скиннер, "все стадо ринулось к воде со степенью безоговорочной уверенности, столь противоположной осторожности и робости, которыми были отмечены их предыдущие передвижения, что ничто и никогда не убедит меня в том, что не было рационального и заранее оговоренного сотрудничества во всей группе" — и, следовательно, конечно, определенного общения знаками (стр. 401).

Что касается использования кошками жестовых знаков, я приводил такие случаи, как когда они имитировали попрошайничество терьера, заметив, что терьер получил еду в ответ на этот жест (стр. 414); издавали особый звук, требуя, чтобы открыли дверь, за чем, если на это не обращали внимания, следовало "дергать кого-то за платье когтями, а затем, преуспев в привлечении желаемого внимания, он шел к входной двери и останавливался там, издавая тот же крик, пока его не выпускали" (стр. 414); также кошка издавала странный звук, требуя, чтобы ей открыли дверь. которая, увидев своего друга попугая, "хлопающего крыльями и яростно барахтающегося по колена в тесте", побежала вверх вслед за кухаркой, чтобы сообщить ей о катастрофе, "мяукая и делая всевозможные знаки, чтобы она спустилась", пока, наконец, "она не вскочила, схватила свой фартук и попыталась стащить ее вниз", так что кухарка спустилась вовремя, чтобы спасти птицу от удушья. Этот жест - признак того, что человека тянут за одежду, чтобы побудить посетить место катастрофы, - часто встречается как у кошек, так и у собак. Также приводится несколько примеров, когда кошки прыгают на стулья и смотрят на колокольчики, когда хотят молока (это подразумевается как знак того, что они хотят, чтобы позвонили в

колокольчик, чтобы вызвать слугу, который приносит молоко), кладут лапы на колокольчик в качестве еще более выразительного знака или даже сами звонят в колокольчик (стр. 416).

Что касается жестовых знаков, подаваемых собаками (кроме указывания), я могу сослаться на терьера, который у меня был и который, испытывая жажду, обычно выражал свое желание воды, выпрашивая милостыню перед умывальником или любым другим предметом, где, как он знал, обычно хранится вода. А сэр Джон Лефрой, член Королевского королевского совета, рассказал мне похожий, хотя и еще более поразительный случай со своим терьером, которого горничная обязана была снабжать молоком. Однажды утром эта служанка была занята каким-то рукоделием и не принесла молока. “Собака всячески старалась привлечь ее внимание и увести ее вперед, и, наконец, отодвинула занавеску чулана и, хотя ее никогда не учили приносить, взяла зубами чашку, которой она обычно пользовалась, и поднесла к ее ногам” (стр. 466). Другой случай, несколько похожий, приведен на той же странице.

Опять же, мистер А. Х. Браунинг написал мне: “Мое внимание привлекло появление моей собаки в состоянии сильного возбуждения, не лающей (он лает редко), а скулящей и выделяющей всевозможные ужимки (в человеческом обличье я бы сказал, *жестикулирующей*). Пастухи и я вернулись в хлев; мы поймали только одну свинью и загнали ее обратно; не успели мы это сделать, как собака побежала за каждой свиньей по очереди, притащила ее обратно в хлев за ухо, а затем погналась за другой, пока все они снова не оказались в помещении” (стр. 450).

Далее я привожу свое собственное наблюдение (стр. 445) за тем, как один терьер делает жест-знак другому. Терьер А спал в моем доме, а терьер Б лежал на стене снаружи, незнакомая собака С бежала под стеной по дороге общего пользования вслед за собачьей повозкой. Сразу же, увидев С, Б спрыгнул со стены, побежал наверх, туда, где спал А, разбудил его, решительно и многозначительно ткнув его носом, что А сразу понял как знак: он перепрыгнул через стену и погнался за собакой С, хотя С к тому времени была уже далеко вне поля зрения, за поворотом дороги.

На странице 447 я привожу, опираясь на авторитет доктора Битти, случай с собакой, которая спасла жизнь своему хозяину (который провалился под лед и поддерживал себя ружьем, приставленным поперек отверстия), прибежав в соседнюю деревню и потянув мужчину за пальто таким выразительным образом, что он последовал за животным и спас джентльмена. Многие случаи, более или менее похожие на этот, описаны в сборниках анекдотов.

Что касается использования обезьянами жестовых знаков, я привожу на странице 472 примечательный случай, зафиксированный Джеймсом Форбсом из ФБР, когда самец обезьяны выпрашивал тело только что застреленной самки. “Животное,” рассказывает Форбс, “подошло к двери палатки и, убедившись, что угрозы бесполезны, начало жалобно стонать и самыми выразительными жестами, казалось, умоляло вернуть мертвое тело. Она была дана ему; он печально взял ее на руки и отнес своим ожидавшим товарищам. Те, кто был свидетелями этой необычной сцены, решили никогда больше не стрелять ни в кого из обезьяньего племени”.

Опять же, капитан Джонсон пишет об обезьяне, которую он застрелил на дереве, и которая затем, по его словам, “мгновенно побежала вниз к нижней ветке дерева, как будто собиралась броситься на меня, внезапно остановилась и хладнокровно приложила лапу к раненой части тела, покрытой кровью, и протянула ее, чтобы я посмотрел. В то время мне было так больно, что

это произвело неизгладимое впечатление, и с тех пор я ни разу не стрелял из ружья ни в кого из племени. Почти сразу после моего возвращения на вечеринку, еще до того, как я полностью описал, что произошло, к нам пришел санитар и сообщил, что обезьяна мертва. Мы приказали птице принести его нам; но к тому времени, как он вернулся, другие обезьяны унесли мертвую, и никого из них нигде не было видно” (стр. 475).

И сэр Уильям Хост описывает очень похожий случай. Один из его офицеров, возвращаясь домой после долгого дня охоты, увидел самку обезьяны, бегущую по скалам со своим детенышем на руках. Он немедленно выстрелил, и животное упало. Когда он подошел, она крепко прижала своего малыша к груди, а другой рукой указала на рану, которую сделал пуля и которая вошла у нее над грудью. Окунув палец в кровь и подняв его вверх, она, казалось, упрекала его в том, что он был причиной ее боли, а также боли молодого человека, на которого она часто указывала. “Я никогда, - говорит сэр Уильям, - не испытывал таких чувств, как когда услышал эту историю, и я решил никогда в жизни не стрелять ни в одно из этих животных” (стр. 476).

Наконец, в качестве доказательства того, что наиболее разумные из низших животных признают, что их *научили пользоваться знаками наиболее условного характера* (или наиболее далекими от любого естественного выражения их чувств и идей), я могу сослаться на недавние эксперименты сэра Джона Лаббока по “обучению животных разговору”. Эти эксперименты состояли в написании на отдельных и похожих карточках таких слов, как “кость”, “вода”, “на улицу”, “погладь меня” и т. Д., И обучении собаки приносить карточку со словом, выражающим ее потребность, в момент принесения. Таким образом, была установлена связь идей между появлением определенного количества и формы письменных знаков и значением, которое они по отдельности обозначали. Сэр Джон Лаббок обнаружил, что его собака научилась правильно использовать эти знаки. [65] Конечно, в этих экспериментах метки любого другого вида служили бы так же хорошо, как написанные слова; ибо явно было бы абсурдно предполагать, что собака могла читать буквы, чтобы мысленно сконструировать из них эквивалент произносимого слова, каким-либо образом, как ребенок произносит b-o-n-e, кость. Но, тем не менее, эти эксперименты представляют большой интерес, поскольку показывают, что ментальные способности более разумных животных позволяют оценить использование столь условных знаков, как те, которые составляют стадию письма, *выше* рисования картинок и *ниже* использования алфавита.

Теперь было сказано достаточно, чтобы неопровержимо доказать, что животные представляют то, что я назвал зародышем способности создавать знаки. Поскольку основная цель этих глав - оценить вероятность возникновения человеческого языка путем непрерывного развития из этого зародыша, мы можем затем обратиться к общему обзору человеческого языка в его самом широком смысле, или как включающего в себя все проявления способности создавать знаки.

Обращаясь снова к схеме (стр. 88), нет необходимости рассматривать случаи 1 и 2, поскольку очевидно, что они находятся на психологическом уровне у человека и животных. Случай 3, также, особенно в направлении его ответвления 4, в значительной степени психологически эквивалентен у людей и животных: насколько есть какое-либо различие, оно зависит от высшей психической природы человека, гораздо более богатой идеями, которые находят свое естественное выражение в жестах или интонации и которые, следовательно, невозможны у животных. Но следует признать, что здесь нечего объяснять. Тот факт, что человеческий разум

более богат идеями, влечет за собой, как само собой разумеющееся, тот факт, что их естественное выражение более многогранно.

Однако дело обстоит иначе, когда мы подходим к условным знакам; ибо они достигают у человека такого огромного развития по сравнению с животными, что вопрос о том, не зависят ли они на самом деле от какой-то дополнительной умственной способности, отличной от других по своему характеру, становится вполне допустимым.

Итак, первое, на что мы должны обратить внимание в отношении условных знаков, используемых человеком, - это то, что между ними и естественными знаками нельзя провести строгую демаркационную линию; последние переходят в первые посредством градаций, которые становится невозможным обнаружить в большом количестве индивидуальных случаев. Что касается тонов, например, во многих случаях нельзя сказать, всегда ли та или иная модуляция, которая в настоящее время признается выражающей определенное состояние чувства, была такой выразительной или стала таковой только в силу общепринятой привычки; хотя, если мы рассмотрим различные тона, с помощью которых различные расы человечества выражают некоторые из своих сходных чувств, мы можем быть уверены, что в этих случаях то или иное различие должно быть вызвано общепринятой привычкой — точно так же, как в обратных случаях, когда все человечество использует одни и те же тона для выражения одних и тех же чувств, мы можем быть уверены, что этот способ выражения является естественным. То же самое и с жестами. Многие из тех вещей, которые на первый взгляд мы должны были бы, исходя только из наших собственных чувств, считать естественными — такие, например, как поцелуи, — как показывают наблюдения за примитивными расами, являются обычными; в то время как другие, которые мы, вероятно, должны считать обычными — такие, например, как пожатие плечами, — как показывают те же средства, являются естественными. [66]

Но для наших нынешних целей явно не имеет значения, сможем ли мы классифицировать все знаки как естественные или условные. Ибо несомненно, что животные используют и то, и другое; и, следовательно, нельзя проводить различия между животным и человеком по вопросу о том, какого рода знаки, которые они по отдельности используют, являются естественными или условными. Следовательно, этим различием в будущем можно пренебречь, и естественные и условные знаки, *если они намеренно сделаны в качестве знаков*, я буду рассматривать как идентичные. Однако ради метода я буду рассматривать способность к созданию знаков, проявляемую человеком, в порядке ее вероятной эволюции; и это означает, что я начну с наиболее естественной или наименее общепринятой из систем. Это язык тона и жестов.

ГЛАВА VI.

ТОН И ЖЕСТ.

Тон и Жест, рассматриваемые как средства коммуникации, могут рассматриваться одновременно. Ибо, хотя нельзя сказать, что исторически или психологически одно предшествует другому, точно так же нельзя сказать, что на самых ранних фазах их развития

одно более выразительно, чем другое. Все наиболее разумные из низших животных используют и то, и другое; и шипение, плевки, рычание, визги, хрюканье, воркование и т. Д., Которые у разных видов сопровождают столько же различных видов жестов, несомненно, не менее выразительны для различных видов выражаемых чувств. Опять же, у нашего собственного вида тон является столь же общим и, в определенных пределах, столь же выразительным, как жест. Более того, даже в полностью развитой речи рациональный смысл в значительной степени зависит при его передаче от незначительных различий в интонации. Пятьсот слов, составляющих китайский язык, увеличиваются в три раза благодаря использованию многозначительной интонации; и даже в наиболее высокоразвитых языках таким способом могут быть переданы оттенки значения, которые не могут быть переданы никаким другим.

Тем не менее, язык тона, как и язык жестов, явно находится ближе к логике рецептов и более непосредственно выражает их, чем язык артикуляции. Это легко доказывается всеми имеющимися в нашем распоряжении фактами. Мы знаем, что младенец значительно осваивает язык интонации и жестов, прежде чем начинает говорить; и, по словам доктора Скотта, у которого был большой опыт обучения слабоумных детей, “те, кого нет надежды научить чему-то большему, чем простейшим зачаткам речи, все же способны получать значительный объем знаний с помощью знаков и выражать себя с их помощью”. [67] Наконец, среди дикарей общеизвестно, что тон, жестикуляция и гримаса играют гораздо большую роль в разговоре, чем между нами. В самом деле, у нас есть некоторые, хотя и не бесспорные, свидетельства того, что у многих дикарей жестикуляция является настолько необходимым вспомогательным средством для артикуляции, что последняя без первой разборчива очень несовершенно. Например, “те, кто, подобно арапах, обладают очень скудным словарным запасом, произносимым квазивразумительным образом, с трудом могут разговаривать друг с другом в темноте”. [68] И, как говорит г-н Тайлор, “множество свидетельств в пользу существования племен, язык которых неполн без помощи жестов-знаков, даже для обозначения предметов повседневного обихода”. обычный смысл, очень примечателен“. [С] Факт, который, как он очень правильно добавляет, “представляет собой убедительный аргумент в пользу теории о том, что язык жестов является изначальным средством выражения человечества [каким он является онтогенетически у отдельного человека], из которого более или менее полно развилась речь у разных племен”. [69]

В подтверждение тех же общих выводов я могу здесь также процитировать следующие превосходные замечания из кропотливой работы полковника Маллери по языку жестов:- [70]

“Желания и эмоции очень маленьких детей передаются небольшим количеством звуков, но большим разнообразием жестов и мимики. Жесты ребенка становятся осмысленными задолго до произнесения речи; хотя предпринимаются очень ранние и настойчивые попытки обучить его последнему, но ни одного - первому, с того момента, как он начинает *risu cognoscere matrem*. Он усваивает слова только так, как их учат, и усваивает их с помощью знаков, которым специально не учат. Долгое время спустя после знакомства с речью он прислушивается к жестам и мимике своих родителей и медсестер, словно пытаясь таким образом перевести или объяснить их слова. Эти факты важны в связи с биологическим законом, согласно которому порядок развития индивидуума такой же, как и у вида.... Безумные понимают жесты и повинуются им, хотя они совершенно не разбираются в словах. Также обнаружено, что полуидиотические дети, которых нельзя научить большему, чем элементарным основам речи, могут получать значительный объем информации с помощью знаков и могут выражать себя с их помощью. Страдающие афазией продолжают использовать соответствующие жесты. Заика

тоже двигает руками и чертами лица, как будто полон решимости высказать свои мысли, и это наводит на мысль не только о физической борьбе, но и об использовании жестов как наследственного средства ”.

Таким образом, слова, поскольку они не являются намеренным подражанием другим звукам и настолько приближены к жестам, по существу более условны, чем тона, непосредственно выражающие эмоции, или телесные действия, которые привлекательны для глаз и которые, поскольку они намеренно значимы, сделаны, насколько это возможно, намеренно изобразительными. Следовательно, для создания или понимания этих более условных знаков требуется ментальная эволюция более высокого порядка; и по этой причине мы повсюду находим язык тона и жестов, предшествующий языку членораздельной речи, как одновременно более простое, более естественное и, следовательно, более *примитивное* средство передачи воспринимаемых идей.

Мы находим ту же общую истину, иллюстрируемую тем фактом, что к языку тона и жестов всегда прибегают люди, которые не понимают членораздельную речь друг друга; и хотя среди рас, у которых язык жестов доведен до высшей степени развития, большинство используемых знаков стали более или менее условными, в основном они все еще являются изобразительными. Это прямо доказывается, без необходимости специального анализа, тем фактом, что представители таких рас способны общаться друг с другом способом, настолько необычайно совершенным, что стороннему наблюдателю результат кажется почти волшебным.

Таким образом, “индейцам, которых показали на цивилизованном Востоке, часто удавалось поддерживать общение посредством своего изобретения и применения принципов, которые можно назвать безмолвным материнским произношением, с белыми глухонемыми, у которых, несомненно, нет семиотического кода, более близкого к тому, что приписывается индейцам, чем вытекающий из их общей человечности. Они с величайшим удовольствием познакомились с глухонемыми, точно так же, как путешественники в чужой стране радуются встрече с людьми, говорящими на их языке”. [71]

Опять же, Тайлор говорит: “Язык жестов по существу одинаков во всем мире”, и Мэллери подтверждает это замечанием, что “исследование автора не только подтверждает это, но и показывает удивительное количество знаков, обозначающих одну и ту же идею, которые по существу идентичны не только среди диких племен, но и среди всех народов, которые используют жестовые знаки с какой-либо свободой. Люди, нащупывая способ общения друг с другом и используя одни и те же общие методы, оказывались во множестве различных условий и стечений обстоятельств, которые по-разному определяли многие концепции и их семиотическое воплощение, но также было много и того, и другого, которые были похожи ”.

В таком случае представляет интерес определить синтаксис этого языка; ибо мы можем быть уверены, что, поступая таким образом, мы воздействуем на коренные принципы способности создавать знаки там, где она возникает из логики рецептов, а не на развитые разветвления этой способности там, где мы обнаруживаем, что она преобразована в более общепринятую логику понятий, характерную для речи. Но прежде чем я перейду к этой части нашего предмета, я скажу несколько слов, чтобы показать, до какой высокой степени совершенства может быть развит язык жестов.

Тайлор замечает: “Как средство общения, нет сомнений в том, что индийская пантомима способна не только выразить несколько простых и обыденных понятий, но и в том, что для некультурного дикаря с его немногочисленными материальными идеями это очень хорошая замена его скудному словарному запасу”. [72] И полковник Мэллери в уже упомянутом замечательном трактате подробно показывает, до какой удивительной степени эта “индийская пантомима”, таким образом, доступна в качестве замены речи. Нижеследующее может быть выбрано из многочисленных диалогов и бесед, которые он приводит и которые все носят один и тот же общий характер. Это передано г-ном Иваном Пехоффом, который в то время записывал беседу. Двое собеседников были индейцами из разных племен.

“(1) *Кенайцзе*. — Левая рука поднята на уровень глаз, ладонью наружу, несколько раз быстро двигается справа налево; пальцы вытянуты и сомкнуты; левой рукой указывает на незнакомцев. Правая рука описывает кривую с севера на восток. — “Какое из северо-восточных племен ваше?”

“(2) *Теннанал*. — Правая рука, впалая, поднесена ко рту, затем вытянута и описывает волнообразную линию, постепенно опускающуюся справа налево. Левая рука описывает очертания гор, очевидно, одна вершина возвышается над другой. Чалидулты говорят, что это означает “Тенан-тну-кохтана, люди горной реки”.

“(3) *К*. — Левая рука поднята на уровень глаз, ладонью наружу, движется справа налево, пальцы растопырены. Указательный палец левой руки описывает кривую с востока на запад. Очертания горы и реки, как на предыдущем знаке. — “Сколько дней пути от Горной реки?”

“(4) *Т*. — Правая рука поднята в направлении указательного и большого пальцев, образующих сначала полумесяц, а затем кольцо. Это повторилось трижды. — “Луна, новолуние и три полнолуния”.

“(5) Правая рука поднята ладонью вперед, указательный палец поднят и опущен через равные промежутки времени — ‘Прошелся’. Обеими руками имитирую греблю на каноэ, попеременно правой и левой. — “Путешествовал три месяца пешком и на каноэ”.

“(6) Обе руки скрещены на груди, имитируя дрожь. — “Холодно, зима.”

“(7) Указательный палец правой руки направлен в сторону говорящего. — “Я”; левая рука указывает на запад — “путешествовал на запад”.

“(8) Правая рука поднесена в форме чашки ко рту — ‘Вода’. Правая рука описывает волнистую линию справа налево, постепенно опускаясь, указывая на запад. — “Река течет на запад”.

“(9) Правая рука постепенно выдвигается вперед, ладонью вверх, от высоты груди.левой рукой прикрываю глаза; смотрю вдаль. — “Очень широко”.

“(10) Левая и правая руки сложены вместе в виде наклонного укрытия. — “Домик, лагерь”.

“(11) Обе руки подняты на уровень глаз, ладонями внутрь, пальцы растопырены. — “Много раз”.

“(12) Обе руки сомкнуты, ладонями наружу, на высоте бедер. — “Удивлен”.

“(13) Указательный палец направлен от глаза вперед. — "Смотри".

“(14) Поднятая правая рука на уровне плеча, три вытянутых пальца, левая рука указывает на меня. — "Трое белых мужчин".

(15) К.— Правая рука указывает на меня, левая поднята, три пальца растопырены.— "Трое белых мужчин".

“(16) Русский крестный знак — "Русские". — "Были ли трое белых мужчин русскими?"

“(17) Т.— Левая рука поднята, ладонью внутрь, двумя вытянутыми пальцами правой руки изображен крест. — "Двое русских".

“(18) Правая рука вытянута на уровне глаз, ладонью наружу, немного смещена вправо. — "Нет".

(19) Один палец левой руки поднят. — "Один".

“(20) Крестное знамение правой рукой. — "Русский".

“(21) Правая рука, на уровне глаз, пальцы сомкнуты и вытянуты, ладонь немного повернута вправо. — "Да".

“(22) Правая рука прижата к груди, кисть вытянута ладонью вверх, пальцы сомкнуты, как будто что-то держишь. Левая рука в том же положении перекинута через правую, ладонью вниз. — "Обмен".

“(23) Левая рука поддерживает один палец, правая указывает на меня. — "Один белый человек".

“(24) Правая рука держится горизонтально, ладонью вниз, примерно в четырех футах от земли. — "Маленькая".

“(25) Образует указательным и большим пальцами кольца перед глазами. — "Очки".

(26) Правая рука сжата в кулак, ладонью вверх, перед грудью, большой палец направлен внутрь. — "Дал один".

“(27) Правой рукой формирую чашку, имитируя питье. — "Пей".

“(28) Правая рука несколько раз сжимает грудь, пальцы согнуты и растопырены. — "Сильный".

“(29) Обе руки прижаты к виску, голова мотается из стороны в сторону. — "Пьян, болит голова".

“(30) Оба указательных пальца, сложенных вместе, вытянуты, направлены вперед. — "Вместе".

“(31) Пальцы многократно переплетены. — "Построение".

“(32) Левая рука вытянута, пальцы сомкнуты, прижата наклонно к левой. — "Лагерь".

“(33) Оба запястья прижаты к вискам, кисти согнуты вверх и наружу, пальцы растопырены. — "Рога".

“(34) Обе руки горизонтально подняты на высоту плеча, правая рука постепенно вытягивается на всю длину, кисть немного опускается на конце. — "Длинная спина, лось".

(35) Обе руки выпрямлены, ладонями наружу, пальцы вытянуты и растопырены, поочередно располагая один перед другим. — “Деревья, густой лес”.

“(36) Крестное знамение. — "Русский".

“(37) Повторные движения при стрельбе. — "Выстрел".

“(38) Знак лося (№ 33, 34); показаны два пальца левой руки. — "Два".

“(39) Табличка для обозначения лагеря, как и раньше (№ 10). — "Лагерь".

“(40) Правая рука дважды описывает кривую с востока на запад.— "Два дня".

“(41) Левая рука поднята ко рту, тыльной стороной наружу, пальцы сомкнуты, как будто что—то держишь; правая рука имитирует движение отрывания и помещения в рот. - "Ем мясо лося".

“(42) Правая рука горизонтально прижата к сердцу; пальцы сомкнуты, немного выдвинуты вперед и несколько раз слегка приподняты. — "Рад в душе".

“(43) Пальцы левой руки и указательный палец правой руки вытянуты и сложены вместе горизонтально, указывая вперед на высоту груди. Руки разведены, правая указывает на восток, а левая — на запад. - "Трое мужчин и говоривший расстались, направляясь на запад и восток".

И так далее, разговор продолжается до 116 абзацев. Несомненно, некоторые из этих жестов кажутся условными, и так, несомненно, обстоит дело с огромным количеством жестов, которые полковник Мэллери приводит в своем *Словаре индийских знаков*. Но это только показывает, что никакая система знаков не может быть развита в сколь-нибудь высокой степени, не став более или менее условной. Момент, на который я хочу обратить внимание, заключается в том, что язык жестов продолжает, насколько это возможно — или как можно дольше, - быть естественным выражением логики рецептов. Как отмечает Мэллери в другом месте, “результатом исследований, насколько они представлены, является то, что то, что называется языком жестов индейцев, не является, собственно говоря, одним языком; но что он и жестовые системы глухонемых и всех народов вместе составляют один язык — жестовую речь человечества, — каждая система которого является диалектом”. Чтобы показать это и в то же время привести другие примеры совершенства языка жестов, я могу привести один пример использования такого языка другими народами и один пример его использования глухонемыми. Первая, которую я выбираю, записана Александром Дюма.

Через шесть недель после этого я увидел второй пример этой способности к безмолвному общению. Это было в Неаполе. Я гулял с молодым человеком из Сиракуз. Мы прошли мимо часового. Солдат и мой спутник обменялись двумя или тремя гримасами, которых в другое время я бы даже не заметил; но случаи, которые я видел раньше, заставили меня обратить на это внимание. ‘Бедняга! - вздохнул мой спутник. ‘Что он тебе сказал? - Спросил я. "Ну, - сказал он, - мне показалось, что я узнал в нем сицилийца, и я узнал от него, когда мы проходили мимо, откуда он родом; он сказал, что он из Сиракуз и что он хорошо знает меня. Затем я спросил его, нравится ли ему неаполитанская служба; он сказал, что она ему совсем не нравится, и если его офицеры не будут относиться к нему лучше, он, несомненно, в конце концов дезертирует. Затем

я дал ему понять, что, если он когда-нибудь дойдет до такой крайности, он может положиться на меня и что я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему. Бедняга поблагодарил меня от всего сердца, и я не сомневаюсь, что когда-нибудь увижу, как он придет. Через три дня после того, как я был в квартире моего друга из Сиракуз, ему сказали, что его хочет видеть человек, который не пожелал назвать своего имени; он вышел и оставил меня почти на десять минут. "Что ж, - сказал он, вернувшись, - все так, как я сказал". "Что?" - спросил я. "Что бедняга дезертирует".

Выбранный мною пример использования языка жестов глухонемым произошел в Национальном колледже глухонемых в Вашингтоне, куда полковник Маллери 6 марта 1880 года отвез семерых индейцев племени ута.

Другой глухонемой жестом рассказал нам, что, когда он был мальчиком, он пошел на бахчевое поле, сорвал несколько дынь, обнаружив, что они зеленые или незрелые: наконец, добравшись до хорошей, он взял нож, отрезал ломтик и съел его. Появился мужчина верхом на лошади, вошел на грядку пешком, нашел разрезанную дыню и, обнаружив вора, швырнул дыню в него, попав в спину, после чего он с плачем убежал. Мужчина вскочил в седло и ускорился в противоположном направлении.

"Все эти знаки были легко поняты, хотя некоторые индейцы очень незначительно отличались в их переводе. Когда индейцев спросили, будут ли с них скальпированы, если они (глухонемые) придут в страну ута, был дан следующий ответ: "С вами ничего не сделают, но мы будем друзьями":

"Ладонь правой руки была повернута вправо вверх ладони левой ("ничего"), а правая была прижата к ладони левой, большие пальцы вытянуты вперед и лежат на тыльной стороне противоположной руки ("друзья").

Это было легко понято глухонемыми. Глухонемой знак доения коровы и питья молока был полностью и быстро понят.

"Рассказ о мальчике, который подошел к яблоне, охотился за спелыми плодами и набивал карманы, когда хозяин застал его врасплох и ударил камнем по голове, был высоко оценен индейцами и полностью понят".

Можно было бы привести бесчисленное множество других примеров того же рода; [73] но сейчас я сказал достаточно, чтобы установить единственные моменты, которые меня здесь интересуют, а именно, что язык жестов допускает развитие до такой степени, которая делает его справедливой заменой разговорному языку, где передаваемые идеи не являются в высшей степени абстрактными; и что он допускает такое развитие, не отходя далее от общего языка. прямое или естественное выражение идеи (в отличие от общепринятого или искусственного) позволяет легко понимать ее говорящим на знаках без какого—либо предварительного соглашения относительно значений, которые следует придавать конкретным используемым знакам.

В таком случае важно отметить, что, поскольку все существующие расы человечества являются расой, говорящей словами, мы сейчас не в состоянии устранить этот фактор и сказать, насколько способность к созданию знаков, проявляющаяся в языке жестов человека, обязана развивающему влиянию, производимому постоянным и параллельным использованием

разговорного языка. Однако едва ли можно сомневаться в том, что рефлекторное влияние речи на жест должно было быть значительным, если не безмерным. Даже случай с глухонемыми ничего не доказывает обратного; ибо эти несчастные индивидуумы, хотя и не могут сами говорить, тем не менее наследуют в своем человеческом мозгу психологическую структуру, которая была сформирована с помощью речи; их *способность* к созданию знаков так же хорошо развита, как и у других людей, хотя по физиологической случайности они лишены обычных средств ее проявления. Следовательно, у нас нет никаких свидетельств, показывающих, какого уровня совершенства достигла бы способность человека создавать знаки, если бы раса была лишена способности речи. Мне придется вернуться к этому рассмотрению в следующей главе и упомянуть о нем здесь только для того, чтобы избежать преждевременного формирования необоснованной оценки важности жеста как средства формирования мысли или отличного от средства выражения мысли.

Теперь я перейду к некоторому подробному анализу синтаксиса языка жестов. И здесь я снова должен полагаться в своих фактах на двух авторов, которые лучше всех изучили этот вид языка должным научным образом.

Мистер Тайлор говорит: "Язык жестов не имеет грамматики в собственном смысле этого слова; он не знает никаких флексий, не больше, чем китайский. Этот же знак обозначает 'ходить', 'самый ходячий', 'идуший', 'прошагал', 'ходок'. Глухонемым нелегко различать прилагательные и глаголы. 'Конь, черный, красивый, рысью, легким галопом' - это грубый перевод знаков, с помощью которых глухонемой сказал бы, что черный красивый конь бежит рысью.

Действительно, наша тщательно разработанная система частей речи лишь в малой степени применима к языку жестов, хотя, как будет более полно сказано в другой главе, возможно, в разговорном языке можно проследить дуализм, в некоторой степени напоминающий дуализм языка жестов с его двумя составными частями: воспроизведением объектов и действий в действительности и простым внушением их путем подражания.... Однако у него есть синтаксис, который заслуживает тщательного изучения. Синтаксис говорящего человека различается в зависимости от языка, который он может выучить: 'equus niger', 'черный конь'; 'hominem amo', 'j'aime l'homme'. Но глухонемой связывает воедино знаки различных идей, которые он хочет связать, в том, что кажется естественным порядком, в котором они следуют друг за другом в его сознании, поскольку он одинаков у немых вразных странах и совершенно независим от синтаксиса, который может случайно принадлежать языку их говорящих друзей. Например, их обычная конструкция - не "Черная лошадь", а "Лошадь черная"; не "Принеси черную шляпу", а "Принеси черную шляпу"; не "Я голоден, дай мне хлеба", а "Я голоден, дай мне хлеба".

"Фундаментальный принцип, регулирующий порядок знаков глухонемых, по-видимому, сформулирован Шмальцем: то, что кажется ему наиболее важным, он всегда выполняет раньше остальных, а то, что кажется ему излишним, он опускает. Например, чтобы сказать: 'Мой отец дал мне яблоко', он делает знак "яблоко", затем знак "отец", а затем знак "я", не добавляя знак 'дай'. Следующие замечания, присланные мне доктором Скоттом, похоже, согласуются с этой точкой зрения: Что касается двух приведенных вами предложений (я ударил Тома палкой — Том ударил меня палкой), последовательность введения отдельных частей в некоторой степени зависела бы от той части, на которую хотелось привлечь наибольшее внимание. Если бы требовалось просто сообщить об этом факте, мое мнение таково, что это было бы устроено так: "Я-Том-ударил-палкой", и пассивная форма аналогичным образом с заменой сначала "Том".

Глухонемые обычно не произносят оба этих предложения без того, чтобы их не заинтересовал этот факт, и затем, приступая к рассказу о них, они сначала приводят ту часть, которую им больше всего хочется впечатлить в своего слушателя. Таким образом, если бы мальчик ударил другого мальчика, и пострадавшая сторона пришла бы сообщить нам, если бы он хотел познакомить нас с идеей, что это сделал конкретный мальчик, он бы сначала указал на мальчика. Но если он хотел привлечь внимание к своим собственным страданиям, а не к человеку, который их причинил, он указывал на себя и совершал акт нанесения удара, а затем указывал на мальчика; или, если он хотел привлечь внимание к причине своих страданий, он мог сначала подписать акт нанесения удара, а затем сказать нам, кем это было сделано.

“Доктор Скотт, насколько мне известно, единственный человек, который попытался сформулировать набор четких правил для синтаксиса языка жестов. ‘Субъект предшествует атрибуту, объект - действию’. Третья конструкция распространена, хотя и не обязательна: ‘модификатор после модифицированного’. Первая конструкция, с помощью которой “лошадь” ставится перед “вороным”, позволяет глухонемому сделать так, чтобы его синтаксис в некоторой степени обеспечивал различие между прилагательными и существительными, которое сами по себе его имитативные знаки не выражают.

“Два других примера хорошо иллюстрируются замечанием аббата Сикара: ученик, которому однажды задал этот вопрос: ‘Кто создал Бога?’ и который ответил: ‘Бог ничего не создал”, не оставил у меня сомнений относительно такого рода инверсии, обычной для глухонемых, когда я спросил его: ‘Кто сделал башмак?’ и он ответил: ‘Башмак создал сапожника’. Поэтому, когда Лора Бриджмен, которая была слепой и глухонемой, научилась передавать мысли, загибая слова на пальцах, она говорила: “Закрой дверь”, “Дай книгу”; без сомнения, потому, что она выучила эти предложения целиком, но когда она составляла предложения для себя, она возвращалась к естественному синтаксису глухонемых и произносила по буквам “Лора, дай хлеба”, чтобы попросить, чтобы ей дали хлеба, и “Воды, выпей, Лора”, чтобы выразить, что она хочет выпить воды

“Вопросительный взгляд превращает утверждение в вопрос и, кажется, полностью определяет разницу между ‘Мастер пришел” и “Пришел ли мастер?’ Вопросительные местоимения ‘Кто?’ ‘Что?’ выражаются вопросительным взглядом или указыванием по сторонам; фактически, рядом безуспешных попыток сказать ‘он”, “это”. Способ глухонемого ребенка спросить: ‘Кто тебя бил?’ был бы таким: ‘Ты бил; кто это был?’ Хотя можно передать большую массу простых утверждений и вопросов, почти заменяя жесты на слова, конкретность мышления, присущая глухонемому, чей ум не был сильно развит использованием письменного языка, и даже образованному человеку, когда он думает и произносит свои мысли знаками своего родного языка, обычно требует переделки более сложных фраз. На такой распространенный среди нас вопрос, как ‘Что с тобой?’, можно было бы ответить: ‘Ты плачешь? Тебя били?’ и так далее. Глухонемой ребенок спрашивает не ‘Что ты ел вчера на ужин?’, а ‘Ты ел суп?’ ‘Ты ел овсянку?’ и так далее. Союзное предложение, которое он выражает альтернативой или контрастом; “Я был бы наказан, если бы был ленивым и непослушным”, было бы сказано: “Я ленивый, непослушный, нет! — ленивый, непослушный, я наказан, да!” Обязательство может быть выражено подобным образом; ‘Я должен любить и почитать своего учителя’, может быть сказано: ‘Учитель, я бью, обманываю, ругаю, нет! — Я люблю, почитаю, да!’ Как говорит Стейнтал в своем замечательном эссе, только уверенность, которую речь придает разуму человека в устойчивом удержании идей во всех их взаимосвязях, подводит его к более

короткому пути выражения только положительной стороны идеи и отбрасывания отрицательной

“'Сделать' - слишком абстрактная идея для глухонемого; чтобы показать, что портной шьет пальто или что плотник делает стол, он изобразил бы портного, шьющего пальто, и плотника, распиливающего и строгаящего стол. Такое утверждение, как "Дождь делает землю плодородной", не пришло бы ему в голову: 'дождь идет, растения растут', - было бы его живописным выражением.... Порядок знаков, с помощью которых возносится Молитва Господня, во многом следующий: — "Отче наш, небеса во—имя Твое святое—царствие Твое грядет—воля Твоя исполнена —земля на, небеса во, как. Хлеб дай нам ежедневно—долги наши прости нам, они в долгу перед нами, прости как. Искушение не вводит, но зло избавляет от силы Царства, слава твоей вовеки". [74]

Теперь я добавлю несколько цитат полковника Маллери по тому же вопросу.

“Читатель поймет без объяснений, что в языке жестов нет организованного предложения, подобного тому, которое есть в языке цивилизации, и что он не должен искать артикли или частицы, или страдательный залог, или падеж, или грамматический род, или даже то, что фигурирует в этих языках как субстантив или глагол, как подлежащее или сказуемое, или как уточняющие слова или флексии. Знаковые радикалы, не являясь конкретно какой-либо из наших частей речи, могут быть ими всеми по очереди. Язык жестов не может показать с помощью флексии взаимную зависимость слов и предложений. Степени движения, соответствующие вокальным интонациям, используются только риторически, или для степеней сравнения. Таким образом, отношения идей и объектов выражаются размещением, а их связь устанавливается, когда это необходимо, путем абстрагирования идей. Говорящий по знакам - это художник, группирующий людей и вещи таким образом, чтобы показать отношения, и эффект - это то, что видно на картине. Но хотя у художника есть преимущество в том, что он представляет в постоянно связанной сцене результат нескольких преходящих знаков, он может представить ее такой, какой она предстает в один момент. Говорящий знаками имеет в своем распоряжении последовательность времени, и его сцены движутся и действуют, локализованы и оживлены, и поэтому их расположение более разнообразно и значимо”. [75]

Ниже приводится порядок, в котором притча о Блудном сыне была бы переведена образованным знатоком жестов с комментариями полковника Маллери по этому поводу:

“Однажды, человек один, сыновей двое. Сыну младшему скажи, Отец собственность твою раздели: часть моя, мне отдай. Отец так.—Сын друг, часть его отдай. Дней несколько прошло, сын младший деньги все забирает, страну далекую посещает, деньги тратит, вино пьет, еду вкусную ест. Деньги мало-помалу иссякли все. В стране везде еды мало: сын голоден очень. Пойди поищи человека какого-нибудь, меня найми. Джентльмена встретить. Джентльмен сына отправь кормить свиней. Сын свиную шелуху ест, видит—сам шелуху есть не хочет—не может—шелуху ему никто не дает. Сын думает, мол, отец мой, слуг много, хлеба вдоволь, часть раздать не могу—я никто—с голоду умру. Я решаю: к отцу я пойду, скажу, что я плохой, Богу не повинуюсь, ты не повинешься — назови меня в будущем *сыном*, нет — я недостойн. Ты мне работу даешь, слуги любят. Поэтому сын начинает идти. Отец куда смотрят: сына видят, жалеют, бегут, встречают, обнимают. Сын отцу скажет: я плохой, ты ослушаешься, Бог ослушается — назови меня в будущем *сыном*, нет—я недостойн. Но отец зовет слуг, велит халат лучший принести, сына надеть, безымянный палец надеть, обувь на ноги надеть, телячий жир принести,

зарезать. Мы все едим, мерри. Зачем? Сын мой, некогда мертвый, ныне живой; некогда потерянный, ныне обретенный: радуйся".

“Можно отметить, не только из этого примера, но и из общего исследования, что глаголу "быть" в качестве связки или предиканта нет места в языке жестов. Однако у глухонемых это проявляется как утверждение присутствия или экзистенции в виде вытягивания рук вперед и последующего добавления знака подтверждения. *Время*, указанное в союзах *когда* и *тогда*, не обозначается жестами. Вместо формы ‘Когда я выплыву, я пойду к реке’ или ‘После сна я пойду к реке’, как глухонемые, так и индейцы выражали свое намерение словами "Выспавшись, я иду к реке’. Хотя время настоящее, прошедшее и будущее легко выражается знаками, это делается раз и навсегда в той связи, к которой оно относится, и однажды установленное не повторяется никакими последующими намеками, как это обычно бывает в устной речи. Инверсия, при которой объект помещается перед действием, является поразительной чертой языка глухонемых, и она, по-видимому, следует естественному методу, с помощью которого объекты и действия входят в ментальную концепцию. Ударяя по камню, естественная концепция заключается прежде всего не в абстрактной идее нанести удар в пустоту, ничего не видя и не имея намерения нанести удар по чему-либо конкретному, когда внезапно перед мысленным взором возникает камень и получает удар; порядок таков, что человек видит камень, имеет намерение ударить по нему и делает это; поэтому он жестикулирует: ‘Я ударяю камнем’. Для дальнейшей иллюстрации этого предмета глухонемой мальчик, изображая знаками сложное действие человека, стреляющего в птицу с дерева, сначала изобразил дерево, затем птицу, садящуюся на него, затем охотника, приближающегося и смотрящего на нее, целящегося из ружья, затем звук выстрела, падение и предсмертные вздохи птицы. Несомненно, это последовательные шаги, которые художник предпринял бы, рисуя картину, или, скорее, последовательные рисунки, иллюстрирующие историю.... Степень сравнения часто выражается, как глухонемыми, так и индейцами, добавлением к общему или описательному знаку, обозначающему "большой" или "маленький". *Влажный* означал бы "немноговлажный"; *прохладный*, "немного холодный"; *горячий*, ‘сильно теплый’. Величина или сила движения также часто указывает на соответствующее уменьшение или увеличение, но иногда выражает другой оттенок значения, как сообщает доктор Мэтьюз со ссылкой на знак, обозначающий *плохое* и *презрение*. Это изменение степени движения, однако, часто используется только для выделения, как и повышение голоса в речи или выделение курсивом и заглавной буквой в печатном виде. Видский принц приводит пример сравнения в своем знаке для *чрезмерно жесткого*, сначала называя его *твердым*, а именно: Раскройте левую руку и несколько раз ударьте по ней правой (тыльными сторонами пальцев). После этого он делает *жесткое, чрезмерно* движение следующим образом: Подпишите *жесткое* движение, затем положите указательный палец левой руки на правое плечо, одновременно вытяните и высоко поднимите правую руку, вытянув указательный палец вверх, перпендикулярно”.

Таким образом, я довольно подробно остановился на синтаксисе языка жестов, потому что этот язык, как я уже отмечал ранее, является наиболее естественным или непосредственным способом выражения логики рецептов; это наименее символическая или конвенциональная фаза способности создавать знаки, и поэтому изучение его метода имеет важное значение в том общем обзоре этой способности, который мы пытаемся провести. Моменты в приведенном выше анализе, на которые я хотел бы обратить внимание как на наиболее важные, - это отсутствие связки и многих других "частей речи", порядок, в котором выражаются идеи, изобразительные приемы, с помощью которых идеи представлены в максимально конкретной

форме, и тот факт, что вообще никогда не выражаются идеи какой-либо высокой абстракции. [76]

ГЛАВА VII.

Артикуляция.

Моей целью в этой главе будет общий взгляд на артикуляцию как на особое развитие общей способности к созданию знаков, оставляя за последующими главами рассмотрение философии речи.

Таким образом, на пороге членораздельного языка нам следует различать четыре случая: во-первых, артикуляцию путем бессмысленного подражания; во-вторых, бессмысленную артикуляцию путем спонтанного или инстинктивного упражнения органов речи; в-третьих, понимание значения членораздельных звуков или слов; и, в-четвертых, артикуляцию с намеренным присвоением значения, понимаемого как придаваемое словам. Я рассмотрю каждый из этих случаев отдельно.

Бессмысленная имитация членораздельных звуков встречается у говорящих птиц, маленьких детей, нередко у дикарей, идиотов и душевнобольных. Способность к такому бессмысленному подражанию, однако, не должна нас задерживать; ибо очевидно, что простое повторение словесного звука имеет не большее психологическое значение, чем имитация любого другого звука.

Бессмысленная артикуляция спонтанного или инстинктивного характера встречается у маленьких детей, у необразованных глухонемых, а также у идиотов. [77] Младенцы обычно (хотя и не всегда) начинают с таких слогов, как “алла”, “тата”, “мама” и “папа” (с удвоением или без него), прежде чем они поймут значение какого-либо слова. Один из моих собственных детей мог очень отчетливо произносить все эти слоги в возрасте восьми с половиной месяцев; и в то время я не мог обнаружить никаких свидетельств того, что он понимал слова или выучил эти слоговые произношения путем подражания. Другой мой ребенок, который очень долго не начинал говорить, в четырнадцать с половиной месяцев произнес один-единственный раз, но очень отчетливо “Эго”. Это, конечно, было сказано не в подражание тому, что кто-то произнес это слово в ее присутствии, и поэтому я упоминаю этот случай, чтобы показать, что бессмысленная артикуляция у маленьких детей является спонтанной или инстинктивной, а также намеренно имитационной; поскольку в том возрасте единственными другими слогами, которые произносил этот ребенок, были те, которые имели долгий $[= a]$, как упоминалось выше. При необходимости я мог бы привести множество других примеров этого факта; но, поскольку это общепризнано авторами по детской психологии, мне не нужно ждать, чтобы сделать это.

Теперь мы переходим к третьему из наших разделов, или пониманию членораздельных звуков. И это важный вопрос для нас, потому что очевидно, что способность понимать значение слов свидетельствует о значительном прогрессе в общей языковой способности. Как мы видели

ранее, тон и жест, являясь естественным выражением логики рецептов — и поэтому даже в своих наиболее проработанных формах, намеренно изобразительных, — как можно менее условны; но слова, придуманные специально для подчинения концептам, всегда менее наглядны и обычно произвольны. Следовательно, хотя, конечно, было бы неправильно говорить, что для изучения произвольной ассоциации между конкретным словесным звуком и конкретным действием или явлением требуется более высокая способность, чем для изображения абстрактной идеи в жесте; это только показывает, что там, где присутствуют более высокие способности, они способны проявлять себя как в жесте, так и в речи. Соображение, которое я сейчас хочу представить, состоит в том, что понимание слова подразумевает (при прочих равных условиях или при предположении, что жест не является таким чисто условным, как слово) более высокое развитие способности к созданию знаков, чем понимание тона или жеста — так что, например, если бы животное поняло слово “Хлыст”, оно показало бы себя более разумным в оценке знаков, чем при понимании угрожающего жеста, например, с кнутом.

Итак, высшие животные, несомненно, понимают значения слов; идиоты, стоящие слишком низко, чтобы говорить, находятся в таком же положении; а младенцы усваивают значение многих членораздельных звуков задолго до того, как сами начинают их произносить. [78] Во всех этих случаях, конечно, важно проводить различие между пониманием слов и пониманием звуков; ибо, как уже отмечалось, как в животном мире, так и у растущего ребенка очевидно, что первое представляет собой гораздо более высокую ступень психической эволюции, чем последнее — факт настолько очевидный для обычного наблюдения, что мне нет необходимости ждать, пока приведу иллюстрации. Но хотя факт очевиден, в конкретных случаях нелегко различить, обусловлено ли понимание словами, интонацией или тем и другим вместе взятым. Однако мы можем быть уверены, что слова никогда не будут поняты, если не будут подобны им интонации, и что пониманию слов может способствовать понимание интонации, с которой они произносятся. Следовательно, единственный метод установления того, где слова как таковые понимаются впервые, состоит в том, чтобы определить, где они понимаются впервые, независимо от тона, которым они произносятся. Этот критерий — по крайней мере, пока, насколько позволяют мои доказательства, — исключает все случаи, когда животные подчинялись командам, отзывались на свои имена и т.д., за исключением высших млекопитающих. То есть, в то время как понимание определенных тонов человеческого голоса распространяется, по крайней мере, на весь ряд позвоночных, [79] и происходит у младенцев в возрасте всего нескольких недель; понимание слов без помощи тонов, по-видимому, происходит только у нескольких высших млекопитающих и впервые проявляется у растущего ребенка на втором году жизни. [80]

Тот факт, что более разумные млекопитающие способны понимать слова независимо от тона, как я уже говорил, важен; и поэтому я посвящу несколько предложений доказательству этого.

У моего друга профессора Джеральда Йео был терьер, которого научили держать кусочек пищи на морде до тех пор, пока он не получит словесный сигнал “Оплачено”; и не имело значения, каким тоном были произнесены эти слова. Ибо даже если они были представлены в обычном потоке разговора, собака различала их и немедленно забрасывала корм себе в рот. Видя это, я подумал, что стоит попробовать, сможет ли животное отличить слова “Оплачено” от других, имеющих близкое звучание; и, следовательно, пока оно ожидало сигнала, я сказал “Передник”; собака вздрогнула и чуть не выбросила корм из носа; но немедленно остановила движение, очевидно, поняв свою ошибку. Этот эксперимент повторялся много раз с этими двумя очень

похожими словесными звуками, и всегда с одним и тем же результатом: собака четко различала их. Совсем недавно я повторил этот эксперимент на другом терьере, которого обучили тому же трюку, и получил точно такие же результаты.

В этой связи уместно сослаться на хорошо известный анекдот, рассказанный о поэте Хогге. Шотландский колли был способен понимать многие вещи, которые говорил ему его хозяин, и, в доказательство своих способностей, его хозяин, находясь в пастушьем домике, сказал как можно более спокойным и естественным тоном: "Я думаю, что корова в картошке". Тотчас же собака, которая до этого полусонная лежала на полу, вскочила, побежала на картофельное поле, обогнула дом и взобралась на крышу, чтобы осмотреть его; но, не найдя коровы в картофеле, вернулась и снова улеглась. Некоторое время спустя его хозяин сказал так же спокойно, как и раньше: "Я уверен, что корова в картошке", когда повторилась та же сцена. Но когда он попробовал это в третий раз, собака только завиляла хвостом. Точно так же сэр Вальтер Скотт, среди других анекдотов о своем бультерьере, говорит: "Слуга в Ашестиле, накрывая скатерть к обеду, говорил собаке, лежащей на циновке у костра: "Привал, дружище, шериф возвращается домой вброд" или "по холму"; и бедное животное немедленно выходило приветствовать своего хозяина, продвигаясь так далеко и так быстро, как только было возможно, в направлении, указанном обращенными к нему словами". И можно было бы привести бесчисленное множество других анекдотов того же рода. . [81]

Но самое замечательное проявление рассматриваемых способностей со стороны животного, которое мне довелось наблюдать, - это то, что многие другие английские натуралисты, должно быть, заметили в случае с шимпанзе, находящимся сейчас в Зоологических садах. Эта обезьяна узнала от своего хозяина значения стольких слов и фраз, что в этом отношении она похожа на ребенка незадолго до того, как он начнет говорить. Более того, таким образом она научилась понимать не только определенные слова и фразы; она также в значительной степени понимает сочетание этих слов и фраз в предложениях, так что зритель может объяснить животному, о чем он просит ее. Например, она проталкивает соломинку через любые определенные ячейки в сетке своей клетки, которые он может последовательно выбрать для обозначения такими фразами, как "Та, что ближе к вашей ноге; теперь та, что рядом с замочной скважиной; теперь та, что над перекладиной", и т.д., и т.п. Конечно, нет указания на места, обозначенные таким образом вербально, и в обозначении не соблюдается какой-либо порядок. Животное понимает, что подразумевается под одними только словами, и это даже тогда, когда хранитель называет конкретную сетку, отмечая ей случайность того, что через нее уже просунут кусок соломы.

В связи с предметом настоящего трактата мне кажется трудным переоценить значение этих фактов. Чем больше мои оппоненты настаивают на фундаментальном характере связи между речью и мышлением, тем большее значение приобретает соображение о том, что высшие животные способны в столь удивительной степени участвовать вместе с нами в понимании слов. Из аналогии с растущим ребенком мы хорошо знаем, что понимание слов предшествует их произнесению, и, следовательно, что условие достижения концептуального мышления дано в этом высшем продукте восприятия мышления. Несомненно, тот факт, что немало представителей низших животных (особенно слонов, собак и обезьян) явно разделяют с человеческим младенцем это более высокое совершенствоспособности к восприятию, является фактом величайшей важности. Ибо это доказывает, по крайней мере, что эти животные разделяют с младенцем те качества разума, которые у последнего непосредственно предназначены служить средством для продвижения мышления от рецептивной сферы к

концептуальной: способность понимать слова в столь значительной степени подводит нас к самым границам способности использовать слова с разумным пониманием их значения.

Знакомство с фактами, которые сейчас находятся перед нами, способно затуманить их необычайное значение; и поэтому я предлагаю моим оппонентам поразмыслить, насколько иначе обстояло бы дело в моем случае, если предположить, что ни одно из низших животных не оказалось достаточно разумным, чтобы понимать значения слов. Насколько большим было бы тогда аргументационное преимущество любого, кто взялся бы доказать исконно человеческую прерогативу Логоса. Можно было бы утверждать, что ни одно простое животное никогда не проявляло ничего, кроме первого шага в приближении к этой способности: от начала и до конца эта способность принадлежит исключительно человечеству. Но при фактическом положении дел настаивать на этом нельзя: низшие животные разделяют с нами порядок мышления, связанный с пониманием слов — и слов, более того, столь определенных и специфичных по значению, как при объяснении особой сетки в большом куске проволочной сетки, через которую требуется просунуть соломинку. Наблюдая за этим самым замечательным выступлением шимпанзе, я как никогда был расположен согласиться с великим филологом Гейгером, который говорит, что “едва ли на земле существует более удивительная взаимосвязь, чем это присоединение [*т.е.* Понимания слов] интеллекта животных к интеллекту человека”.

[82]

Таким образом, я полагаю, что зародыш способности к созданию знаков, присутствующей у высших животных, развит настолько, что позволяет этим животным понимать не только условные жесты, но даже членораздельные звуки, независимо от тона, которым они произносятся. Следовательно, ввиду этого факта, вместе с ранее установленным фактом, что те же самые животные часто сами используют условные жестовые знаки, я думаю, мы вправе сделать вывод *априори*, что если бы эти животные были способны к артикуляции, они использовали бы простые слова для выражения простых идей. Я не говорю и не думаю, что они формировали бы предложения; но мне кажется немногим менее вероятным, что они использовали бы членораздельные звуки, как сейчас они используют естественные или общепринятые интонации и жесты, для выражения таких идей, которые они сейчас выражают любым из этих способов. Например, произнесение слова “Подойди” потребовало бы применения не более высоких психических способностей, чем дергание за платье или пальто, чтобы передать ту же идею; или произнесение слова “Откройся” вместо обычного мяуканья перед закрытой дверью; или, опять же, произнесение слова “Кость”, чем выбор и ношение карточки с написанным на ней словом. Если это так, мы должны заключить, что единственная причина, по которой высшие млекопитающие не используют простые слова для передачи простых идей, заключается в том, что мы можем назвать случайной причиной, поскольку это касается их психологии; это анатомическая причина, зависящая просто от строения их голосовых органов, не допускающих артикуляции. [83]

Конечно, на этом этапе мое внимание будет привлечено к случаю с говорящими птицами; ибо очевидно, что у них мы имеем анатомические условия, необходимые для речи, хотя, несомненно, встречающиеся в самом неожиданном месте в ряду животных; и поэтому эти животные могут быть должным образом приведены для проверки достоверности моего *априорного* вывода, а именно, что если бы более разумные животные могли артикулировать, они правильно использовали бы простые словесные знаки. Однако здесь следует помнить, что птицы стоят ниже по психологической шкале, чем собаки, или кошки, или обезьяны; и,

следовательно, вывод, который я сделал относительно последних, не обязательно должен рассматриваться как применимый также к первым. Тем не менее, так получилось, что даже в случае с этими психологически неполноценными животными свидетельства, такие, какие они есть, не противоречат моему заключению: напротив, существует немалая совокупность фактов, которые вполне удовлетворительно подтверждают его. Рассмотрение этого свидетельства теперь познакомит нас с четвертым и последним случаем, представленным в программе в начале этой главы, или случаем артикуляции с присвоением значения, понимаемого как придаваемое словам.

Если взять, во-первых, случай имен собственных, то несомненно, что многие попугаи прекрасно знают, что определенные имена принадлежат определенным людям, и что способ называть этих людей - называть их соответствующими именами. Я знал попугая, который таким образом звал свою хозяйку так же разумно, как и любой другой член семьи; и если она уходила из дома на день, птица становилась настоящей помехой из-за своих непрекращающихся призывов к ней прийти.

И подобным образом говорящие птицы часто учатся правильно называть имена других домашних животных, содержащихся в том же доме, или даже названия неодушевленных предметов. Таким образом, не может быть и речи об использовании говорящими птицами имен собственных и существительных-субстантивов.

Что касается прилагательных, Узо очень правильно замечает, что уместная манера, в которой некоторые попугаи обычно используют определенные слова, показывает способность правильно воспринимать и называть качества, а также объекты. И это не что иное, как то, чего мы могли бы ожидать, видя, с одной стороны, как уже было показано, что животные обладают общими представлениями о многих качествах, а с другой, что очевидное качество в такой же степени является предметом непосредственного наблюдения — и, следовательно, чувственной ассоциации, — как и объект, для которого оно может оказаться качеством.

Опять же, не менее очевидно, что многие попугаи поймут значение активных и пассивных глаголов, независимо от того, произносят ли их другие или они сами. Просьба “Почесать Полла” или объявление “Полл хочет пить”, намеренно используемые в качестве знаков, демонстрируют истинное понимание значения глаголов — или, скорее, скажем, словесных знаков, указывающих на действия и состояния, — как показано жестом собаки или кошки, когда она тянет человека за платье, чтобы показать “подойди”, или мяуканьем перед открытой дверью, означаящим “открой”.

Но говорящие птицы могут не только придавать существительным, прилагательным и глаголам соответствующие значения; они могут даже использовать короткие предложения таким образом, чтобы показать, что они ценят — на самом деле, не их грамматическую структуру, — а их применимость в целом к конкретным обстоятельствам. [84] Но это опять же не повод для удивления. Ибо все подобные случаи уместного употребления слов или фраз говорящими птицами, как выясняется при исследовании, обусловлены, как и следовало ожидать, принципом ассоциации. Птица слышит имя собственное, примененное к человеку, и поэтому, научившись произносить это имя, впредь ассоциирует его с этим человеком. И аналогично с фразами. Эти жесты с говорящими птицами являются простыми вокальными жестами, которые сами по себе имеют лишь немногим большее психологическое значение, чем мускульные жесты. Словесное прошение “Почеси бедного полла” само по себе не демонстрирует какого-

либо дальнейшего психологического развития, кроме уже упомянутого многозначительного жеста прижимания головы к прутьям клетки; и аналогично со всеми случаями соответствующего использования более длинных фраз. Таким образом, если предположить, что это происходит только благодаря ассоциации, вербальный знак любого рода не намного более примечателен или указывает на интеллект, чем жестовый знак или вокальный знак любого другого вида. Единственное, в чем он отличается от подобных других знаков, заключается в том факте, что он полностью произволен или условен; и хотя, как я уже говорил ранее, я считаю это важным отличительным моментом, я несколько не удивлен, что даже интеллект птицы допускает формирование таких особых ассоциаций или что здесь совершенно произвольный знак любого рода может быть приобретен таким образом и впоследствии использован в качестве знака.

А то, что словесные знаки, используемые говорящими птицами, возникают по ассоциации, и только по ассоциации, подтверждают все свидетельства, с которыми я встречался. Чтобы показать, как действует ассоциация в этом случае, я могу процитировать следующие замечания доктора Сэмюэля Уилкса, Ф.Р.С., о его собственном попугае, за которым он внимательно наблюдал. Он говорит, что в одиночестве эта птица обычно “произносила длинный перечень своих высказываний, особенно если слышала разговор на расстоянии, как будто желая присоединиться к разговору, но в других случаях определенное слово или фраза произносятся только по предложению человека или предмета. Таким образом, некоторые друзья, которые часто обращались к птице с каким—нибудь особенным выражением лица или свистом воздуха, всегда будут приветствоваться одними и теми же словами или мелодией, а что касается меня, то, когда я вхожу в дом — поскольку мои шаги узнаваемы, - птица повторяет одно из моих высказываний. Если в комнату войдут слуги, Полл будет наготове с одним из их выражений лица и в их собственном тоне голоса. Ясно, что в сознании птицы существует тесная ассоциация между определенными фразами и определенными людьми или предметами, поскольку их присутствие или голос сразу наводят на мысль о каком-то особом слове. Например, моему кучеру, приходящему за заказами, так часто говорили, что уже половина третьего, что, как только он подходит к двери, Полл восклицает: ‘Половина третьего’. Опять же, обнаружив ночью, что она не спит, и сказав: “Иди спать”, если я подходил к клетке после наступления темноты, повторялись те же слова. Затем, что касается предметов, то, если в связи с ними были произнесены определенные слова, они всегда впоследствии ассоциируются вместе. Например, во время ужина попугай, привыкший к тому, что ему дают вкусные кусочки, я научил его говорить: ‘Дай мне кусочек’. Теперь она постоянно повторяет это, но только во время обеда. Птица связывает это выражение с чем-нибудь съедобным, но, конечно, знает о происхождении слов, которые она использует, не больше, чем младенец. Опять же, будучи очень любительницей сыра, она легко подобрала это слово и всегда просит сыр ближе к концу ужина, и ни в какое другое время. Я не могу сказать, связывает ли птица это слово с истинной сущностью или нет, но время для просьбы об этом всегда выбрано правильно. Она также любит орехи, и когда они лежат на столе, она издает своеобразный писк; этому ее не учили, но это собственное название орехов Полл, потому что звук никогда не слышен, пока фрукт не окажется в поле зрения. Некоторые звуки, которые она издает, были получены от самих предметов, например, звук откручивающейся пробки при виде бутылки вина или шум воды, наливаемой в стакан при виде бутылки с водой. Прохождение слуги по коридору, чтобы открыть входную дверь, предполагает шумдвигающихся петель, за которым следует громкий свисток такси”. [85]

В точности этих наблюдений я не сомневаюсь и мог бы подтвердить большинство из них, если бы это было необходимо. Итак, во-первых, оказывается, что говорящие птицы могут научиться

ассоциировать определенные слова с определенными объектами и качествами, некоторые другие слова или фразы - с удовлетворением определенных желаний и наблюдением за определенными действиями; используемые таким образом слова мы можем назвать голосовыми жестами. Во-вторых, что они могут изобретать звуки собственного изобретения, которые будут использоваться таким же образом; и что эти звуки могут быть либо имитацией обозначаемых объектов, как звук текущей жидкости для обозначения "Воды", либо произвольными, как "особый скрип", обозначающий "Орехи". В-третьих, но в гораздо большем числе случаев звуки (вербальные или иные), издаваемые говорящими птицами, являются только имитационными, без того, чтобы животные придавали им какое-либо особое значение. Третьим подразделением, следовательно, мы можем пренебречь, поскольку оно не имеет психологического значения; но первое и второе подразделения требуют более пристального рассмотрения.

Обозначая "вокальные жесты" [86] правильное использование (приобретенное путем прямой ассоциации) имен собственных, существительных-субстантивов, прилагательных, глаголов и коротких фраз, я не имею в виду принижать демонстрируемые способности. Напротив, я думаю, что эта способность в точности такая же, как та, с помощью которой дети впервые учатся говорить; ибо, подобно попугаю, младенец усваивает путем прямой ассоциации значения определенных слов (или звуков) как обозначающих определенные объекты, коннотативных определенных качеств, выражающих определенные желания, действия и так далее.

Единственная разница заключается в том, что через несколько месяцев после своего первого появления у ребенка эта способность развивается в пропорциях, намного превосходящих те, которые она проявляет у птицы, так что словарный запас становится намного больше и разборчивее. Но важно обратить внимание на то, что вначале и в течение нескольких месяцев после начала обучения словарный запас ребенка всегда содержит обозначения определенных объектов, качеств, действий или желаний и усваивается путем прямых ассоциаций.

Отличительная особенность человеческой речи, которая возвышает ее над областью жестикуляции животных, развивается позже — я имею в виду особенность использования слов уже не как стереотипных в рамках специальной и прямой ассоциации, а как подвижных типов, которые можно расположить в любом порядке, который может продиктовать значение, находящееся перед умом. Когда эта стадия достигнута, мы обладаем способностью к предикации или грамматическому формированию предложений, которые больше не являются по своей природе речевыми жестами, обозначающими определенные объекты, качества, действия или состояния ума, а являются средствами для передачи постоянно меняющихся мыслей.

Вскоре мы увидим, что это различие между называющей и предиктирующей фазами языка имеет высочайшее значение по отношению к предмету настоящего трактата; но пока все, что нам нужно отметить, это то, что называющая фаза разговорного языка встречается — в рудиментарной форме, конечно, но все же бесспорно — в животном царстве; и этот факт неудивителен, если вспомнить, что на этой стадии язык представляет собой не что иное, как голосовую жестикуляцию. С психологической точки зрения, нет ничего более примечательного в том факте, что птица, способная издавать членораздельный звук, должна научиться ассоциативно использовать этот звук в качестве условного знака, чем то, что она должна научиться ассоциативно аналогичным образом использовать мышечное действие, как это происходит при опускании головы в знак того, что ее чешут. Следовательно, я думаю, теперь мы можем принять положение, установленное *апостериори*, а также *априори*, что это, так сказать,

простая анатомическая случайность, что все высшие животные до сих пор не способны говорить; и что, если бы собаки или обезьяны были способны к этому, у нас нет причин сомневаться, что использование ими слов и оборотов было бы еще более обширным и поразительным, чем то, которое встречается у птиц. Или, как замечает профессор Хаксли, “раса немых людей, лишенных всякого общения с теми, кто мог говорить, действительно мало чем отличалась бы от животных. Моральные и интеллектуальные различия между ними и нами были бы практически бесконечны, хотя натуралист не смог бы найти ни единой тени даже специфического структурного различия. [87]

Затем мы должны кратко рассмотреть оставшуюся особенность психологии говорящих птиц, на которую обратил внимание доктор Уилкс, а именно способность изобретать звуки собственного изобретения для обозначения объектов и качеств, или выражения желаний — звуки, которые могут быть либо имитирующими обозначаемые вещи, либо совершенно произвольными. И это, я думаю, наиболее важная черта; ибо она служит еще более тесной связи способности к голосовому обозначению у животных со способностью к речи у человека. Таким образом, обратившись сначала к случаю, когда ребенок начинает говорить, как указывает доктор Уилкс — и почти все авторы по философии языка отмечали это, — “детский лепет” в значительной степени звукоподражателен. И хотя отчасти это связано с наследованием “детского языка”, сам факт, что детский язык стал содержать такой большой элемент звукоподражания, является дополнительным доказательством, если таковое потребует, того, что такого рода словоизменение с легкостью доступно пониманию младенцев. Но, с другой стороны, никто не мог обратить внимания на ранний словарный запас какого-либо ребенка, не заметив плодотворной тенденции к совершенно произвольному изобретению слов. Поскольку это спонтанное изобретение произвольных слов маленькими детьми будет признано важным на более поздних этапах моего изложения, я завершу настоящую главу приведением доказательств, показывающих, до каких масштабов это может пойти при благоприятных обстоятельствах. Между тем, однако, я хочу указать, что все подобные случаи изобретения произвольных голосовых знаков маленькими детьми отличаются от аналогичных случаев, представляемых попугаями, только тем, что первые обычно членораздельны, в то время как вторые обычно таковыми не являются. Но это различие легко объясняется, если мы вспомним, что наследственная склонность у птицы проявляется так же сильно в направлении нечленораздельных звуков, как у младенца - в направлении членораздельных.

В психологии говорящих птиц все еще остается одна особенность, на которую я должен сейчас обратить особое внимание. Насколько я могу установить, это не упоминалось ни одним из предыдущих авторов, хотя я думаю, что это едва ли могло ускользнуть от внимания любого внимательного наблюдателя за этими животными. Я имею в виду способность, проявляемую разумными попугаями, переносить свои членораздельные знаки с одного объекта, качества или действия на другой, который оказывается поразительно похожим по виду. Например, один из попугаев, за которым я наблюдал в своем собственном доме, научился имитировать лай терьера, который тоже жил в доме. Через некоторое время этот лай был использован попугаем как обозначающий звук или имя собственное для терьера — *т.е.* всякий раз, когда птица видела собаку, она начинала лаять, независимо от того, делала это собака или нет. Затем попугай перестал применять это денотативное название к данной конкретной собаке, но неизменно делал это к любой другой или незнакомой собаке, которая посещала дом. Теперь,

тот факт, что попугай перестал лаять, когда увидел моего терьера, после того, как он начал лаять, когда увидел других собак, ясно показал, что он различал отдельных собак, в то же время воспринимая их классовое сходство. Другими словами, кличка попугая для отдельной собаки превратилась в общее название для всех собак. Наблюдений такого рода, без сомнения, могло бы быть значительно больше, если бы наблюдатели сочли нужным фиксировать такие, казалось бы, тривиальные факты.

Таким образом, в этом общем обзоре членораздельной речи мы пришли к следующим выводам, все из которых, как я полагаю, подтверждены данными прямого и адекватного наблюдения.

Следует различать четыре подразделения способности к созданию членораздельных знаков, а именно: бессмысленное подражание, инстинктивная артикуляция, понимание слов независимо от тона и намеренное использование слов в качестве знаков. Случаи, относящиеся к первому подразделению, не требуют рассмотрения. Случаи, относящиеся ко второму, обусловленные наследственным влиянием, встречаются только у младенцев, необразованных глухонемых и идиотов. Понимание слов демонстрируют животные и идиоты, а также младенцы, и это подразумевает, *само по себе*, более высокое развитие способности к созданию знаков, чем понимание интонации или жестов - если, конечно, последнее не носит такого же чисто условного характера, как слова. И, наконец, относительно намеренного использования слов в качестве знаков мы обратили внимание на следующие факты.

Говорящие птицы — единственные животные, голосовые органы которых позволяют произносить членораздельные звуки, — демонстрируют способность правильно использовать имена собственные, существительные-субstantивы, прилагательные, глаголы и соответствующие фразы, хотя они делают это только по ассоциации или без понимания грамматической структуры. Слова для них - это голосовые жесты, столь же непосредственно выражающие логику рецептов, как и любые другие знаки. Тем не менее, важно отметить, что эта способность к вокальной жестикуляции является первой фазой членораздельной речи у растущего ребенка, исчезает последней на нисходящей шкале идиотизма и проявляется у говорящих птиц в такой значительной степени, что животные даже придумывают названия (будь то путем издавания характерных звуков, например, особого писка для обозначения “орехов”, или путем применения слов для обозначения предметов, например, “половина третьего” для клички кучера) - такое изобретение часто явно имеет звукоподражательное происхождение, хотя также часто совершенно произвольное.

Теперь я завершу эту главу подробным изложением фактов, демонстрирующих степень, в которой при благоприятных обстоятельствах маленькие дети таким же образом изобретают произвольные знаки, которые, однако, по уже упомянутым причинам здесь почти всегда являются членораздельными. Было бы легко почерпнуть это свидетельство у разных авторов о психогенезе детей; но будет достаточно привести несколько цитат из талантливого писателя, который уже взял на себя труд собрать наиболее примечательные примеры, которые были зафиксированы относительно рассматриваемого факта. Автор, на которого я ссылаюсь, - мистер Горацио Хейл, а статья, из которой я цитирую, опубликована в *Трудах Американской ассоциации содействия развитию науки*, vol. xxxv., 1886.

“В 1860 году в респектабельной семье, проживавшей в пригороде Бостона, родились двое детей, мальчики-близнецы. Частично они были немцами по происхождению, отец их матери приехал из Германии в Америку в возрасте семнадцати лет; но, как нам сказали, в семье никогда не говорили на немецком языке. Дети были так похожи друг на друга, что их бабушка, которая часто приходила их навестить, могла различить их только по какому-нибудь цветному шнурку или ленте, повязанной вокруг руки. Как часто бывает в таких случаях, между ними существовала сильная привязанность, и они постоянно были вместе. Оставшуюся часть их интересной истории лучше всего пересказать словами автора, чьему просвещенному рвению к науке мы обязаны нашим знанием фактов.

“В обычном возрасте эти близнецы начали говорить, но, как ни странно, не на своем ‘родном языке’. У них был свой собственный язык, и никакие страдания не могли заставить их говорить на чем-то другом. Тщетно младшая сестра, на пять лет старше их, пыталась заставить их говорить на их родном языке — как это и было бы. Они упорно отказывались произнести хоть слог по-английски. Говорят, они никогда не произносили даже обычных первых слов: ‘папа’, ‘мама’, ‘папа’, ‘мама’; и, по словам леди, сообщившей эту информацию автору, которая была тетей детей и жила с ними дома, — за все это время они ни разу не называли свою мать этим именем. У них было для нее свое имя, но никогда не английское. На самом деле, хотя у них были обычные чувства, они радовались, видя своего отца, когда он возвращался домой каждый вечер, играли с ним и т.д., В остальном они, казалось бы, были полностью поглощены друг другом.... Дети еще не ходили в школу, потому что, поскольку они не могли говорить на своем ‘родном английском’, отправить их из дома казалось невозможным. Так они проводили дни, играя и разговаривая друг с другом на своем родном наречии, со всей живостью и словоохотливостью обычных детей. У них был немецкий акцент — так казалось семье. У них были обычные слова, некоторые из которых семья иногда училась различать; как, например, обозначение экипажа, который, заслышав, как кто-то проезжает по улице, они восклицали и подбегали к окну. Это слово, обозначающее повозку, как нам говорят в другом месте, было ‘ни-си-бу-а’, слоги которого, как добавляется, иногда так повторялись, что из них получалось гораздо более длинное слово”.

Следующий случай приводится мистером Хейлом от доктора Э. Р. Хана, который опубликовал его в *Ежемесячном журнале психологической медицины* за 1868 год.

“Объектом этого наблюдения является девочка в возрасте четырех с половиной лет, жизнерадостная, умная и в добром здравии. Когда ей было два года, мать заметила, что она плохо говорит и употребляет только слова ‘папа’ и ‘мама’. После этого она начала использовать слова собственного изобретения, и хотя она легко понимала то, что говорила, никогда не использовала слов, используемых другими. Постепенно она расширила свой словарный запас, пока он не достиг объема, описанного ниже. У нее есть брат на восемнадцать месяцев младше ее самой, который выучил ее язык, так что они могут свободно разговаривать друг с другом. Однако он, по-видимому, перенял это только потому, что общается с ней чаще, чем с другими; и в некоторых случаях он использует подходящее слово при обращении к своей матери и слово своей сестры при обращении к ней. Она, однако, упорно использует только свои собственные слова, хотя ее родители, которых беспокоят особенности ее речи, прилагают огромные усилия, чтобы побудить ее употреблять правильные слова. Что касается возможности того, что она выучила эти слова у других, уместно заявить, что ее родители - культурные люди, которые используют только английский язык. Мать выучила французский, но никогда не использует этот

язык в разговоре. Прислуга, так же как и медсестры, говорит по-английски без каких-либо особенностей, и ребенок слышал даже меньше, чем обычно, того, что называется детским лепетом. Некоторые слова и фразы имеют сходство с французскими; но совершенно очевидно, что ни один человек, говорящий на этом языке, не бывал в доме часто, и сомнительно, слышал ли ребенок когда-либо, как его произносят. С голосовыми органами, похоже, проблем нет. Она использует свой язык легко и свободно, и когда она со своим братом, они разговаривают с большой скоростью и беглостью.

“Доктор Затем Хун приводит словарный запас, который, по его словам, был таким, какой он "смог в разное время составить со слов самой девочки, и особенно со слов ее матери”. Из этого утверждения мы можем сделать вывод, что список, вероятно, включал не все количество слов в этом дочернем языке. На самом деле оно состоит всего из двадцати одного отдельного слова, хотя многие из них использовались в самых разных значениях, на что указывает порядок, в котором они были расположены, или их сочетание различными способами

“Три или четыре из этих слов, как отмечает доктор Хун, имеют очевидное сходство с французским, а другие, при незначительном изменении, могут быть отнесены к этому языку. Как видно, он не смог с уверенностью сказать, что девочка никогда не слышала, как говорят на этом языке; и не кажется маловероятным, что если не среди прислуги, то, по крайней мере, среди лиц, которые их навещали, могла найтись женщина, которая развлекалась, достаточно невинно, обучая девочку нескольким словам на этом языке. Действительно, ни в коем случае нельзя исключать, что своеобразный лингвистический инстинкт мог таким образом впервые пробудиться в сознании девушки, когда она только начинала говорить. Среди слов, демонстрирующих это сходство, есть *feu* (произносится, как нам прямо сказали, как французское слово), используемое для обозначения "огня, света, сигары, солнца"; *too* (французское "tout"), означающее "все, everything"; и *ne pa* (произносится как по-французски или как-то иначе, нам не сообщают), означающее 'нет'. *Пти-пти*, имя, данное мальчику его сестрой, по-видимому, от французского "petit", маленький; а *та*, 'я', возможно, происходит от французского 'moi', "я". Если бы, однако, ребенок действительно был способен так легко улавливать и запоминать эти иностранные звуки в столь раннем возрасте и вплетать их в свою собственную речь, это просто показало бы, насколько легко и сильно в его случае была развита способность к языкознанию.

“От слов, образованных имитацией звуков, в языке не осталось и следа. Мяуканье кошки, очевидно, навело на мысль о слове *теа*, которое означало и "кошка", и "меха". Что касается других звуков, составляющих эту речь, то происхождение их установить невозможно. Мы можем лишь заметить, что в некоторых словах проявляется любовь детей и некоторых человеческих рас к повторению звуков. Таким образом, у нас есть *migno-migno*, означающее "вода, мытье, баня"; *go-go*, "деликатесы, такие как сахар, конфеты или десерт", и *waia-waiar*, 'черный, тьма или негр'. Как будет видно из этих примеров, нет особой тенденции к односложной форме. *Мармелад*, как нам говорят, означает "все основные блюда стола, такие как хлеб, мясо, овощи и т.д."; и то же слово используется для обозначения повара. Добавляется, что мальчик не употребляет это слово, но использует *гна-igna*, что девочка считает ошибкой. Из чего мы можем заключить, что даже в их нежном возрасте форма их языка стала для них объектом размышлений; и более того, мы можем сделать вывод, что язык был изобретен не только девочкой, но что оба ребенка внесли свой вклад в его создание.

Из разных слов можно упомянуть *гар*, "лошадь"; *олень*, "деньги любого рода"; "*пиво*", "литература, книги или школа"; "*пэр*", "мяч"; "*бау*", "солдат, музыка"; "*одо*", "позвать, выйти, забрать"; "*ке*", "пачкать"; "*па-ма*", "ложиться спать, подушка, кровать". Разнообразие оценок, которые могло получить каждое слово, можно проиллюстрировать многими способами. Таким образом, *feu* могло стать прилагательным, как *ne-pa-feu*, "не теплый". Глагол *odo* имел много значений, в зависимости от его положения или слов, которые его сопровождали. *Ма одо*, "Я (хочу) выйти"; *гар одо*, "пошлите за лошадью"; *ту одо*, "все пропало". *Гаан* означал Бога; и нам рассказывают, что, когда идет дождь, дети часто подбегают к окну и кричат: *Гаан одо миньо—миньо*, *фе одо*, что означает "Боже, убери дождь и пошли солнце" - *одо* перед объектом, означающим "убрать", и после объекта, "послать". Из этого замечания и примера мы узнаем не только о том, что у языка были — как и должно быть у всех реальных языков — свои правила построения, но и о том, что они иногда отличались от правил английского языка. Это также проявляется в форме *теа waia-waiaw*, "темные меха" (буквально "меха темные"), где прилагательное следует за существительным.

"Странные и неожиданные ассоциации, которые во всех языках определяют значение слов, очевидны в этом кратком словаре. Из этого мы можем сделать вывод, что родители были католиками и пунктуальны в соблюдении церковных обрядов. Слова *папа* и *мама* употреблялись отдельно в их обычном значении; но когда они соединялись вместе в составном термине *папа-мама*, они означали (в зависимости от связи, мы можем предположить) 'церковь', 'молитвенник', 'крест', 'священник', 'читать свои молитвы'. *Бау* было "солдат"; но, как нам говорят, увидев епископа в митре и облачении, они подумали, что он солдат, и применили к нему слово *бау*. "*Гар одо*" на самом деле означало "послать за лошадью"; но поскольку дети часто видели, как их отец, когда требовался экипаж, писал заказ и отправлял его в конюшню, они привыкли использовать то же выражение ("*гар одо*") для обозначения карандаша и бумаги.

"В языке, собственно говоря, нет признаков флексии; и это единственное, чего можно было ожидать. Очень маленькие дети редко используют флективные формы в каком-либо языке. Английский ребенок трех-четырёх лет говорит "Мэри кап", что означает "чашка Мэри", а 'Собака укусила Гарри' будет обозначать любое напряжение и настроение. Ни в коем случае не исключено, что, если бы дети продолжали пользоваться своим родным языком еще на несколько лет, в нем развились бы флексии, поскольку мы видим, что особые формы построения и новые соединения, которые являются зародышами флексии, уже появились.

"Эти два зарегистрированных случая дочерних языков привели к дальнейшим исследованиям, которые, хотя и проводились лишь в течение короткого периода и в ограниченной области, показали, что случаи такого рода ни в коем случае не редкость".

Затем автор переходит к другим подтверждающим примерам; но приведенных выше цитат, я думаю, достаточно для моих целей. [88] Ибо они показывают (1), что спонтанное и, по всей видимости, произвольное словообразование, которое более или менее наблюдается у всех детей, когда они впервые начинают говорить, может при благоприятных обстоятельствах достигать поразительной полноты и эффективности; (2) что, хотя слова или членораздельные знаки, изобретенные таким образом, иногда имеют явно звукоподражательное происхождение, как правило, это не так; (3) что слова далеко не всегда односложны; (4) что они допускают, что становятся достаточно многочисленными и разнообразными, чтобы составлять не неэффективный язык, еще не достигнув флексивной стадии; и (5) что синтаксис этого языка

представляет очевидные черты сходства с синтаксисом языков жестов человечества, рассмотренных ранее.

ГЛАВА VIII.

ОТНОШЕНИЕ ТОНА И ЖЕСТА К СЛОВАМ.

Мы уже видели, что разговорный язык отличается от языка интонации и жестов тем, что как система знаков он является более чисто условным. Это означает, что для семиотических целей артикуляция является более высоким продуктом ментальной эволюции, чем жестикуляция или интонация. Это также означает, что как инструмент такой эволюции членораздельная речь более эффективна. Последний момент является важным, поэтому я продолжу рассматривать его более подробно.

Как отмечалось в предыдущей главе, наша система чеканки монет, банковских билетов и купчих - это более удобная система обозначения стоимости труда или собственности, чем более примитивная и менее традиционная система фактического обмена труда или меновой собственности; и наша система арифметики аналогичным образом более удобна для целей расчетов, чем более естественная система счета на пальцах. Но эти более традиционные системы не только более удобны; они также способствуют более высокому развитию деловых операций, с одной стороны, и расчетов - с другой. В отсутствие такой усовершенствованной системы знаков было бы невозможно проводить столько сложных операций и вычислений, сколько проводим мы. Аналогично и с речью в отличие от жестов. Слова, как и жесты, являются знаками мыслей и чувств; но, будучи более условными, они более чисты как знаки и, таким образом, допускают превращение в гораздо более удобную или эффективную систему, в то же время они становятся более конструктивными в своем влиянии на формирование идей. Огромное превосходство слов над жестами в обоих этих отношениях легче всего продемонстрировать на нескольких примерах.

Я открываю наугад книгу полковника Мэллери и нахожу следующее в качестве обозначения лающей собаки: —

“Проведите согнутой рукой вперед от нижней части лица, чтобы показать удлиненные нос и рот; затем, вытянув оба указательных пальца, сомкнув остальные пальцы и большие пальцы рук, положите их по обе стороны нижней челюсти, указывая вверх, чтобы показать нижние клыки, в то же время сопровождая жест выражением оттягивания губ, чтобы показать оскал зубов; затем, вытянув и разведя пальцы правой руки, быстро выбросьте их вперед и слегка вверх (озвучьте или разговаривая)”.

Здесь следует отметить, насколько сложен этот изобразительный метод обозначения лающей собаки по сравнению с использованием двух слов; и, в конце концов, он не так эффективен, поскольку индейцы, которым их показали, неправильно поняли знаки — им было присвоено значение рычащего медведя. Какие большие затраты мысли требуются для составления и

интерпретации таких идеограмм! и когда они сформированы и поняты, какими громоздкими они кажутся по сравнению со словами! Полковник Маллери, действительно, говорит о языке жестов, что “при высоком развитии его скорость передачи знакомых предметов превосходит скорость передачи речи и приближается к скорости самой мысли”; но, помимо важного ограничения “на знакомые предметы”, добавляет он, “в то же время следует признать, что значительное увеличение скорости достигается главным образом за счет системы заранее оговоренных сокращений, которые были объяснены ранее, и за счет принятия произвольных форм, в которых естественность приносится в жертву и устанавливается условность”. [89]

Но помимо того, что язык жестов громоздок, у него есть более серьезный недостаток, заключающийся в том, что он не так точен, и еще более серьезный недостаток, заключающийся в том, что он не так полезен для развития абстракции, как разговорный язык. Ранее мы видели, что слова, будучи более или менее чисто условными в качестве знаков, не привязаны, так сказать, к материальным объектам; хотя все они, несомненно, возникли как выражения чувственных восприятий, не будучи обязательно идеографическими, они могут легко перейти в знаки общих идей и в конце концов стать выражением высших абстракций. “Таким образом, слова - это легко манипулируемые счетчики мыслей”, и поэтому, если сменить метафору, они являются порождением обобщения. Но жесты, будучи всегда более или менее идеографическими, гораздо теснее связаны с чувственным восприятием; и, следовательно, только когда они используются на “знакомых предметах”, о них можно с полным основанием сказать, что они соперничают со словами как средством выражения, в то время как они никогда не могут воспарить в более тонкую среду высокой абстракции. Ни один говорящий жестами, имея в своем распоряжении сколько угодно времени, не смог бы перевести на язык жестов страницу Канта.

Позвольте заметить, что я здесь говорю о языке жестов в том виде, в каком мы его на самом деле находим. Каковы могут быть скрытые возможности такого языка - это другой вопрос, и спекуляции в отношении него вряд ли могут оказаться прибыльными. Тем не менее, поскольку этот предмет не совсем лишен важности в данной связи, я могу процитировать следующий краткий отрывок из недавнего эссе профессора Уитни. Отметив, что “голос завоевал себе главную и почти исключительную роль в общении”, он добавляет: —

“Это происходит ни в малейшей степени не из-за какой-либо более тесной связи мыслительного аппарата с мышцами, которые действуют для производства слышимых звуков, чем с мышцами, которые действуют для производства видимых движений; не потому, что для концепций существуют естественные произносимые названия, ничуть не более естественные, чем жестовые названия. Это просто случай “выживания наиболее приспособленных”, или аналогичный процессу, в результате которого железо стало эксклюзивным материалом для изготовления мечей, а золото и серебро - для денег: потому что, а именно, опыт показал, что это материал, наилучшим образом приспособленный для этого особого использования. Преимущества голоса многочисленны и очевидны. Во-первых, это его экономичность, поскольку используется механизм, который мало для чего другого доступен, и остаются свободными для других целей эти незаменимые инструменты - руки. Кроме того, есть его превосходная восприимчивость; его приятные различия впечатляются в органы чувств на расстоянии, на котором видимые движения становятся нечеткими; они не скрыты находящимися рядом предметами; они позволяют использовать глаза слушателей, а также руки говорящего, для другой полезной работы; они так же отчетливы в темноте, как и при свете; и они

способны привлечь и завладеть вниманием того, до кого невозможно добраться никаким другим способом ”. [90]

К этим преимуществам мы можем добавить, что слова, будучи, как мы видели, менее идеографичными по своей сути, чем жесты, всегда должны были быть более доступными для целей абстрактного выражения. Мы должны помнить, насколько сильно язык жестов, каким он сейчас предстает в своей наиболее развитой форме, обязан психологически конструирующему влиянию разговорной речи; и, рассматриваемый таким образом, является важным фактом то, что даже сейчас язык жестов не способен передавать идеи сколь-нибудь высокой степени абстракции. И все же я не сомневаюсь, что было бы возможно сконструировать полностью конвенциональную систему жестов, которая отвечала бы всем абстрактным словам и интонациям разговорного языка или соответствовала бы им; и что тогда одна знаковая система могла бы заменить другую - точно так же, как знаковая система письма способна аналогичным образом заменить знаковую систему речи. Это, однако, сильно отличается от предположения, что такая совершенная система жестовых знаков могла вырасти в процессе естественного развития; и, рассматривая по существу идеографический характер таких знаков, я сильно сомневаюсь, что даже при обстоятельствах крайней необходимости (таких, которые возникли бы, если бы человек или его прародители были неспособны к артикуляции) язык жестов мог развиваться в нечто, приближающееся к замене языка слов.

Возможно, это прольет некоторый свет на этот гипотетический вопрос, который имеет для нас некоторое значение, если мы кратко рассмотрим психологический *статус* совершенно необразованных глухонемых; ибо, хотя верно, что их случай не совсем аналогичен случаю человеческой расы, лишенной способности речи (учитывая, что отдельный глухонемой не обнаруживает никакой сложной системы знаков, подготовленной для него усилиями немых предков, как, несомненно, было бы в предполагаемых обстоятельствах), все же, с другой стороны, и в качестве компенсирующего соображения, мы должны помнить, что глухонемой индивид не только наследует человеческий мозг, структура которого была выработана речью его предков, но и окружен обществом, вся структура мышления которого зависит от речи. Следовательно, пока сложные условия вопроса допускают распутывание, случай с необразованными глухонемыми, живущими в обществе говорящих людей, предоставляет наилучший критерий, который мы можем получить, относительно перспективы, которую имел бы язык жестов как средство формирования мышления в человеческой расе, предполагая, что эта раса была лишена способности речи. Поэтому, чтобы показать психологическое состояние человека в таких обстоятельствах, я процитирую краткий отрывок из моей собственной лекции, которая была прочитана перед Британской ассоциацией в 1878 году.

“Часто случается, что глухонемыми детьми бедных родителей пренебрегают настолько, что их никогда не учат языку пальцев или какой-либо другой системе знаков, с помощью которой они могут общаться со своими братьями. Следствием этого, конечно, является то, что эти несчастные дети растут в состоянии интеллектуальной изоляции, почти такой же полной, как у любого из низших животных. Теперь, когда такой ребенок вырастает и попадает в руки какого-нибудь компетентного учителя, он, конечно, может получить образование и тогда сможет записывать свой опыт, находясь в состоянии интеллектуальной изоляции. Поэтому я получил все возможные доказательства относительно психического состояния таких людей и нахожу,

что их показания совершенно одинаковы. В отсутствие языка ум способен мыслить в логике чувств; но он никогда не сможет подняться ни до каких идей более высокой абстракции, чем те, которые дает логика чувств. Необразованные глухонемые обладают теми же представлениями о добре и зле, причине и следствии и так далее, какими, как мы уже видели, обладают животные и идиоты. Они всегда мыслят в самых конкретных формах, о чем свидетельствуют их рассказы нам (когда они были образованны), что до тех пор, пока они были необразованны, они всегда мыслили образами. Более того, о том, что они не могут достичь идей даже самой низкой степени абстракции, свидетельствует тот факт, что ни в одном случае я не смог найти свидетельств глухонемого, который до получения образования развил для себя какую-либо форму сверхъестественного. И это, я думаю, примечательно не только потому, что мы могли бы справедливо предположить, что какая-то грубая форма фетишизма или поклонения привидениям не была бы слишком абстрактной системой для разработки без посторонней помощи разума цивилизованного человека; но также и потому, что разум в данном случае *не* совсем без посторонней помощи. Напротив, друзья глухонемого обычно делают все возможное, чтобы донести до его сознания какое-то представление о какой бы форме религии они ни исповедовали. И все же повсеместно обнаруживается, что при отсутствии языка никакая идея такого рода не может быть передана. Например, преподобный С. Смит рассказывает мне, что один из его учеников, до получения образования, предположил, что Библия была напечатана на небесном печатном станке, на котором работали печатники огромной мощности - это единственное толкование, которое глухонемой мог дать жестам, с помощью которых его родители пытались дать ему понять, что они верят, что Библия содержит откровение от могущественного Бога, живущего на небесах. Точно так же мистер Грэм Белл сообщает мне о другом, хотя и похожем случае, в котором глухонемой предположил, что целью посещения церкви было поклонение духовенству”.

С той же целью мистер Тайлор говорит в уже процитированном отрывке, что глухонемые не могут формировать идеи ни о чем, кроме самой низкой степени абстракции, и далее он приводит несколько интересных иллюстраций этого факта. Так, например, глухонемой, получивший образование, сказал, что перед началом обучения его пальцы научили его считать, и что когда число перевалило за десять, он сделал зарубки на куске дерева. Здесь мы видим унаследованную способность к числовым вычислениям в сочетании с самой грубой формой числовых обозначений, или символизма. И так во всех других случаях с глухонемыми до обучения; они демонстрируют унаследованную способность к абстрактному мышлению, и все же их язык жестов не оказывает им большой помощи в развитии этой способности: он слишком нагляден по своей сути, чтобы выходить далеко за пределы области чувственного восприятия.

Таким образом, в целом, хотя я считаю бесполезным рассуждать о том, каким мог бы стать язык жестов при отсутствии речи, я думаю, что весьма сомнительно, достиг ли бы он какого-либо значительного уровня совершенства; и я думаю, что нелепо, что при отсутствии артикуляции человеческая раса не достигла бы значительного психологического прогресса по сравнению с человекообразными обезьянами. Ибо мы никогда не должны забывать тот важный факт, что мысль в такой же степени является следствием, как и причиной языка, будь то речь или жест; и, видя, насколько жест уступает речи как языковой системе, особенно в том, что касается точности и абстракции, я не думаю вероятным, что в отсутствие речи один только жест обеспечил бы точные и деликатные условия, необходимые для развития любой высокоразвитой идеи.

Следующий момент, который я хочу рассмотреть, заключается в том, что, хотя язык жестов, по моему мнению, не является столь эффективным средством развития абстрактного мышления, как разговорный язык, он, тем не менее, должен был оказать большую услугу в содействии развитию последнего, а значит, и в закладке фундамента всей ментальной структуры, созданной способностью речи. Смотрим ли мы на маленьких детей, на дикарей или, в меньшей степени, на идиотов, мы обнаруживаем, что жест играет важную роль в содействии речи; и во всех случаях, когда словарный запас скуден или несовершенен, жест обязательно используется как естественное средство дополнения речи. Следовательно, если предположить, что у речи был естественный способ зарождения, то, на мой взгляд, совершенно очевидно, что ее возникновению и развитию должны были в значительной степени способствовать жесты. В последующих главах я приведу прямые доказательства по этому поводу. Сейчас я хотел бы привлечь внимание к другому моменту. Это означает, что, хотя жест психологически предшествует речи, когда для выражения идей были изобретены членораздельные звуки, способность использовать эти членораздельные звуки в качестве знаков соответствующих идей не предполагает наличия более высокого психологического развития, чем способность использовать интонации и жесты для передачи аналогичных идей.

Как уже было показано, очевидным фактом является то, что единственные животные, способные к артикуляции, способны использовать существительные, прилагательные и глаголы для выражения конкретных идей; в то время как животные, не способные к артикуляции подобным образом, используют интонации и во многих случаях способны понимать слова. Следовательно, очевидным фактом является то, что психологический уровень, необходимый для использования тонов в качестве голосовых жестов, понимания слов как выражающих простые идеи и даже произнесения слов с правильным пониманием их значения, не выше того, который наблюдается у некоторых существующих животных.

Если мы обратимся от животных к человеку, то найдем подтверждение той же истины. Ибо в нисходящей ступени человеческого интеллекта, демонстрируемой идиотами, мы видим, что, хотя использование простых жестов в качестве знаков встречается у идиотов, стоящих слишком низко по шкале, чтобы произносить какие-либо членораздельные слова, тем не менее, интервал между таким идиотом и тем, кто способен произнести простейшие слова, невелик. Опять же, к возрастающей ступени человеческого интеллекта, проявляемой растущим ребенком, применимо то же наблюдение; хотя из-за того, что некоторым детям требуется больше времени, чем другим, для развития *механики* артикуляции, мы могли бы, рассматривая только их случаи, переоценить психологический интервал, отделяющий жестикуляцию от речи.

[91]

Таким образом, все имеющиеся в нашем распоряжении свидетельства показывают, что, хотя язык тона и жестов в своей наименее развитой форме является отличительным признаком сравнительно низкой ступени ментальной эволюции, во всех своих формах, кроме наименее развитых, он не является таким уж отличительным; ибо как только язык жестов становится в наименьшей степени конвенциональным, так скоропсихологический уровень становится достаточно высоким, чтобы допустить использование членораздельных звуков, вокальных жестов или слов, выражающих конкретные идеи, — всегда предполагая, что они уже

предоставлены психологическим окружением. Будут ли при этом действительно издаваться членораздельные звуки, зависит, конечно, от условий чисто анатомического характера.

И здесь, возможно, также полезно вспомнить упомянутый ранее момент, а именно, что, хотя ни одно существующее четвероногое животное не показало себя способным к артикуляции, мы можем быть совершенно уверены, что этот факт зависит от анатомических условий в отличие от психологических; ибо высшие обезьяны не только намного умнее говорящих птиц, но и гораздо лучше имитируют человеческие жесты; и по обеим этим причинам они являются животными, которые более, чем какие-либо другие, психологически были бы склонны учиться использованию слов у человека, если бы не некая анатомическая случайность, стоящая на пути их произнесения. И в этой связи стоит иметь в виду замечание профессора Хаксли о том, что незначительная разница в иннервации или другой анатомический характер соответствующих частей могут определять способность издавать членораздельные звуки или препятствовать ей.

Судя по направлению, в котором развивается моя аргументация, это представляется наиболее удобным местом для того, чтобы избавиться от критики, которая, скорее всего, возникнет. В качестве возражения против моих взглядов можно предположить, что если принять все предшествующее обсуждение как прокладывающее путь к выводу о том, что человеческий интеллект развился из интеллекта животных, то само обсуждение оказывается излишним. Ибо, если животные обладают в столь заметной степени зародышем способности создавать знаки, то почему, можно спросить, этот зародыш развился только у наших собственных предков?

Отвечая на этот вопрос, я должен начать с напоминания читателю, что в течение настоящей главы я пытался обосновать следующие положения. Во-первых, из-за отсутствия артикуляции или способности образовывать словесные знаки языковая способность, вероятно, не достигла большого прогресса в животном царстве. Во-вторых, учитывая, что слова по существу менее идеографичны, а также более точны, чем жесты, — и, следовательно, более доступны как для выражения, так и для конструирования абстрактных идей, — я не думаю, что при отсутствии артикуляции человеческая раса достигла бы значительного психологического прогресса по сравнению с человекообразными обезьянами. В-третьих, хотя язык жестов не является столь эффективным средством развития абстрактного мышления, как членораздельный язык, он, тем не менее, должен был оказать большую услугу развитию последнего; так что там, где присутствовала сила артикуляции, обе системы создания знаков сотрудничали бы в развитии абстрактного мышления: при наличии артикуляции жесты сами по себе приобрели бы дополнительное влияние в этом отношении.

Из этих данных следует важное следствие, что только от некоторых видов обезьян, обладавших необходимыми анатомическими условиями, мог произойти человеческий разум. Другими словами, приведенные выше соображения приведены для того, чтобы показать тщетность аргументации того, что, если человеческий разум был развит благодаря способности к созданию знаков, примером чего является речь, мы могли бы, следовательно, ожидать, что из той же отправной точки (а именно, у человекообразных обезьян) должен был развиваться сравнительно хорошо развитый разум благодаря способности к созданию знаков, примером чего является жест. Я утверждаю, что мы можем видеть очень вескую причину, по которой (даже если предположить, что все остальные условия параллельны) ветвь приматов, которая продемонстрировала силу — или потенциальность — артикуляции, должна была подняться по

психологической шкале, как мы, эволюционисты, полагаем, что она поднялась; в то время как все сопутствующие ветви, язык которых ограничен жестами, должны были остаться в своем первоначальном состоянии.

На это можно ответить, что говорящих птиц можно рассматривать как возможных — или даже вероятных —соперников артикулирующих млекопитающих в отношении потенциального интеллекта; и, следовательно, согласно взглядам, которые я отстаиваю, можно было бы ожидать, что сейчас на земле должна существовать некая раса птицеподобных существ, готовых оспаривать превосходство человека.

Это, однако, было бы очень поверхностной критикой. Даже самому опытному специалисту в области естествознания известно, что, если в общей теории происхождения вообще есть хоть капля истины, мы повсюду вынуждены видеть, что условия, определяющие развитие вида в любом направлении, всегда носят сложный характер. Почему одни виды должны оставаться неизменными на протяжении невообразимо огромных промежутков геологического времени, в то время как другие проходят через богатую и разнообразную историю восходящих изменений — почему это должно быть так, мы в любом случае сказать не можем. Мы можем только сказать в общих чертах, что условия, которые в любом случае определяют восходящий рост или стационарный тип, слишком многочисленны и сложны, чтобы позволить нам детально их разгадывать. Теперь, если это имеет место даже между структурами близких типов — где, возможно, нет ничего, что указывало бы на различие условий, которые привели к различию результатов, — то в гораздо большей степени это должно иметь место между животными, столь непохожими, как попугай и обезьяна. Я думаю, что он был бы смелым человеком, который утверждал бы, что даже если бы орангутанг был способен к артикуляции, эта обезьяна обязательно или, вероятно, стала бы прародительницей другой человеческой расы. Таким образом, абсурдно утверждать, что, если человеческая раса произошла от какого-то другого вида человекоподобных существ и стала человеком благодаря способности к артикуляции *плюс* все другие условия, внешние и внутренние, следовательно, говорящие птицы должны были произвести какое-то похожее потомство просто потому, что они случайно удовлетворяют одному из этих условий.

Приведем справедливую аналогию. Полет, без сомнения, является очень полезной способностью для всех животных, которые ее проявляют, и показано, что она механически возможна у животных, столь непохожих друг на друга, как насекомые, Рептилии, Птицы и Млекопитающие. Поэтому мы могли бы предположить, что, исходя из того факта, что летучие мыши умеют летать, многие другие млекопитающие должны были овладеть этим искусством. Но, поскольку они этого не сделали, мы можем только сказать, что причина в том, что сложные условия, приведшие к росту этой способности, были удовлетворены только у летучих мышей. Подобным же образом “полет мысли” является наиболее полезной способностью, и она была развита только у человека. Одно из условий, необходимых для ее развития, — артикуляционная способность — встречается также у некоторых птиц. Но утверждать на основании этого, что эти птицы должны были развить способность к мышлению, было бы столь же необоснованно, как утверждать, что некоторые другие млекопитающие должны были развить способность к полету, учитывая, что все они обладают наиболее важным из необходимых состояний, а именно костями и мышцами, приводимыми в действие нервами. На самом деле, аргумент был бы еще более необоснованным, чем этот; ибо мы можем достаточно ясно видеть, что наиболее важные условия, необходимые для развития мышления, имеют психологический и социальный характер

— те, которые являются чисто анатомическими, но имеют второстепенную ценность, хотя, как я пытался указать, они тем не менее необходимы.

Короче говоря, я не пытаюсь утверждать, что влияние артикуляции на развитие мышления каким-либо образом является *магическим*. Следовательно, сам по себе тот факт, что определенные птицы способны издавать членораздельные звуки, создает для моих аргументов не больше трудностей, чем тот факт, что они способны имитировать множество других звуков. Ибо *психологическое* использование членораздельных звуков может быть развито только при наличии многих других и очень сложных условий, можно показать, что лишь немногие из них, если вообще какие-либо, встречаются у птиц. Если бы какой-либо из существующих видов человекообразных обезьян доказал свою способность имитировать членораздельные звуки, очевидная трудность, возможно, была бы несколько более убедительной; хотя даже в этом случае аргумент не был бы таким убедительным, как в приведенной выше параллели относительно большого исключения, которое представляют собой летучие мыши в вопросе полета.

Итак, поскольку мы уже зашли так далеко, я не ожидаю, что оппоненты уолла сочтут благоразумным занимать определенную позицию. Видя, что обезьяны используют свои голоса более свободно, чем любые другие животные, в смысле намеренно выразительной интонации; что все высшие животные используют жестовые знаки; что денотативные слова являются (с психологической точки зрения) не более чем речевыми жестами; что, если существует какой-либо психологический интервал между простой жестикуляцией и денотативной артикуляцией, этот интервал явно преодолен в случае говорящих птиц, младенцев и идиотов; - видя все эти вещи, очевидно, что противники доктрины ментальной эволюции должны отстаивать свою позицию не на способности *картикуляции*, а на том, что они могут использовать. но об этом *речь*. Они должны утверждать, что простое умение использовать денотативные слова не подразумевает реального прогресса в умении использовать денотативные жесты; что, следовательно, это не устанавливает ничего для доказательства возможности или даже вероятности артикуляции, возникающей из жестикуляции; что их позицию можно подвергнуть нападкам, только показав, как способность к созданию знаков, выраженная в жестикуляции или в артикуляции, могла развиться в способность к предикации; что, короче говоря, крепость их аргументации состоит не в силе, которую человек демонстрирует при использовании денотативных слов, а в его способности конструировать предикативные предложения. . Следовательно, эту центральную позицию мы должны атаковать в следующий раз. Но прежде чем сделать это, я завершу настоящую главу четким определением точных значений некоторых терминов в том виде, в каком они будут использоваться мной впоследствии.

Под *индикативной* стадией языка, или созданием знаков, я буду понимать самую раннюю стадию, которая проявляется в преднамеренном создании знаков. Эта стадия соответствует подразделениям, отмеченным четырьмя и шестью в моей репрезентативной схеме (стр. 88), и, как мы теперь полностью убедились, является общей для животных и людей. Таким образом, указательные знаки, будь то в форме жестов, интонации или слов, намеренно значимы. По большей части они выражают эмоциональные состояния и простые желания. Когда, например, младенец протягивает руки, чтобы его взяла няня, или указывает на предметы, чтобы к ним отнесли, нельзя сказать, что он *называет* что-либо; однако он ясно *указывает* на свои желания. Младенцы также плачут *намеренно* или как частично условный знак, демонстрирующий дискомфорт, будь то физический или психический. [92] Они точно так же в

раннем возрасте научатся полностью условным знакам, с помощью которых можно обозначать — хотя еще и не называть — определенные чувства, объекты, качества и действия. Моего сына, например, няня научила его качать головой в знак “Нет”, кивать ею в знак “Да” и махать рукой в знак “Та-та” или прощания: все эти указательные жесты он выполнял хорошо и уместно, когда ему было восемь с половиной месяцев. Эта ориентировочная стадия языка, или выработки знаков, повсеместно проявляется у всех наиболее разумных животных, хотя и не в такой степени, как у младенцев. Попугай, который наклоняет голову, приглашая почесаться, собака, которая просит милостыню у умывальника, кошка, которая тянет за одежду, чтобы попросить помощи своим котяткам, попавшим в беду, — все эти животные подают то, что я называю *указательными* знаками.

За индикативной стадией языка следует то, что я назвал *денотативной* (7 А на схеме на стр. 88). Это аналогично происходит как у животных, так и у детей, когда они впервые начинают говорить — например, говорящие птицы способны запоминать и правильно использовать названия в качестве *обозначений* или знаков определенных объектов, качеств и действий. Однако такие *обозначения*, будь то словесные или иные, усвоенные таким образом посредством специальной ассоциации, не являются, строго говоря, *именами*. Используя такой знак, говорящая птица просто прикрепляет голосовой знак к определенному объекту, качеству или действию: она не *распространяет* этот знак на какие-либо другие подобные объекты, качества или действия того же класса; и, следовательно, использование этого знака на самом деле не *обозначает* ничего, относящегося к определенному объекту, качеству или действию, которые он *обозначает*.

Итак, вот и все о знаках как *денотативных*. Под знаками как *коннотативными* я подразумеваю знаки, которые в какой-либо мере *атрибутивны*. Если мы называем собаку Джек, это денотативное имя: оно не приписывает этой собаке никаких качеств. Но если мы называем животное “Грязнуля”, или “Стремительный”, или любым другим словом, служащим для обозначения какого-либо качества, отличительного от этой собаки, мы тем самым обозначаем факт проявления у собаки такого качества. Следовательно, коннотативные названия отличаются от денотативных тем, что они являются не просто *примечаниями* или обозначениями названных вещей, но также подразумевают некоторый символ или символы, принадлежащие этим вещам. И символ или символы, которые они, таким образом, подразумевают, самым фактом импликации относят названные вещи к *группе*: следовательно, эти коннотативные названия являются *коннотативными*, или обозначением одной вещи *наряду с другой* — т.е. выражают акт номинативной *классификации*. Это важный факт, который следует помнить, потому что, как мы впоследствии обнаружим, все коннотативные термины возникают из испытываемой нами потребности таким образом вербально классифицировать наше восприятие сходства или аналогии. Более того, еще более важно отметить, что такая вербальная классификация может быть либо рецептивной, либо концептуальной. Например, первым словом (после *мамы*, *папы* и т. Д.), Которое научился произносить один из моих детей, было слово *Звезда*. Вскоре после того, как она усвоила это слово, она распространила его значение на другие ярко сияющие объекты, такие как свечи, газовые фонари и т. Д. Здесь явно ощущалось сходство или аналогия, и, следовательно, термин *Звезда*, который изначально был денотативным, стал также иметь коннотативный характер. Но это коннотативное расширение термина, очевидно, должно было быть тем, что я называю рецептивным. Ибо невозможно предположить, что в том нежном возрасте ребенок был способен думать о термине как о термине или представлять термин перед умом как объект мысли, отличный от объекта, которому

он служил для обозначения. Следовательно, мы можем только предположить, что расширение этого первоначально денотативного названия (благодаря чему оно стало коннотативным) напоминало случай аналогичного расширения, упомянутого в предыдущей главе, где мой попугай повысил свой первоначально денотативный знак для конкретной собаки до изначально коннотативного значения, применив этот знак ко всем другим собакам. Иными словами, и в случае с ребенком, и в случае с птицей коннотация в этих умеренных пределах стала возможной только благодаря восприятию идей. Но с возрастом и развивающимися способностями человеческий разум достигает концептуального мышления; и тогда он оказывается в состоянии образовывать названия, которые он использует, *которые сами по себе являются объектами мышления*. Следствием этого является то, что коннотация может тогда больше не представлять собой просто спонтанное выражение сходства, воспринимаемого рецептивно: она может стать интенциональным выражением сходства, концептуально продуманного. В сознании астронома слово *Звезда* имеет совершенно иной коннотативный смысл, чем тот, который оно имело для ребенка, который впервые перенес его с яркой точки на небе на свечу, сияющую в комнате. И причина этого большого различия в том, что концептуальная мысль астронома, помимо того, что значительно *добавила* к коннотации, также значительно *улучшила* ее. Единственным общим качеством, для обозначения которого служило это название, когда оно использовалось ребенком, была яркость; но, хотя астроном не слеп к этому моменту сходства между звездой и свечой, он пренебрегает им при наличии более полных знаний и не будет применять этот термин даже к объектам, гораздо более похожим на звезду, чем комета или метеор. Так вот, эта *большая точность* обозначения, равно как и его *большая масса*, были достигнуты астрономом благодаря его способности к концептуальному мышлению. Именно потому, что он думал о своих именах *как* об именах, он, таким образом, смог с такой точностью определить их значения — *т.е.* ограничить их коннотации в одних направлениях, а также расширить их в других.

Следовательно, очевидно, что мы находимся здесь перед большим различием, которое само по себе нуждается в каком-то обозначении. Это, действительно, всего лишь специальная демонстрация одного великого различия, которое я проводил на протяжении всей этой работы, а именно различия между представлением как восприимчивым и концептуальным. Но тем не менее важно обозначить это особое проявление этого посредством четко определенных терминов; и я могу только выразить удивление, что логики еще не сделали этого. Термины, которые я буду использовать, следующие.

Под коннотативным именем я буду понимать коннотативное расширение денотативного имени, независимо от того, будет ли такое расширение большим или малым, и, следовательно, будет ли оно расширено рецептивно или концептуально. Но для *исключительно концептуального* расширения названия я оставлю за собой удобный термин *деноминация*. Этот термин, как и ранее определенные, был введен схоластами и использовался ими как синоним коннотации. Но очевидно, что они (и все последующие авторы) имели в виду только случай концептуальной коннотации, и, следовательно, они не чувствовали необходимости в различии, которое для настоящих целей, очевидно, необходимо провести. Теперь, я не думаю, что можно было бы найти какие-либо два более подходящих слова для выражения этого различия, чем эти слова *коннотация* и *обозначение*, если для целей моего собственного последующего анализа мне будет позволено определить их в соответствии с их этимологией. Ибо, при таком определении, коннотативный знак будет означать *классификационный* знак, передаваемый рецептивно или концептуально; в то время как знаменательный знак будет означать коннотативный знак, который был передан как таковой *с истинно концептуальным*

намерением—т.е. с интроспективной оценкой его функции как всего того, что логики понимают под именем.

Теперь я подведу итог этим различным определениям.

Под *указательным* знаком я буду понимать многозначительный тон или жест, намеренно выражающий психическое состояние; но все же не в каком-либо смысле слова знаменательный.

Под *денотативным* знаком я буду понимать рецептивную маркировку определенных объектов, качеств, действий и т.д.

Под *коннотативным* знаком я буду понимать классификационное приписывание качеств объектам, названным знаком, независимо от того, обусловлено ли такое приписывание рецептивными или концептуальными операциями разума.

Под *знаменательным* знаком я буду понимать коннотативный знак, сознательно присвоенный как таковой или с полным концептуальным пониманием его функции и назначения как имени.

Под *предикативным* знаком я буду подразумевать пропозицию или концептуальное сочетание двух знаменательных терминов, выражающее намерение говорящего обозначить что-либо из одного посредством другого.

ГЛАВА IX.

РЕЧЬ.

Теперь мы вплотную подходим к нашей теме. Все предыдущие главы были составлены с целью подготовить почву для того, что последует дальше; и, следовательно, как уже отмечалось, я пока представил материал, по поводу которого, как мне кажется, не может возникнуть никаких споров. Но теперь мы подходим к тому конкретному проявлению способности создавать знаки, которое не только кажется присущим человеку, но и, очевидно, представляет собой настолько значительный прогресс во всех рассмотренных до сих пор низших фазах, что это место, которое выбрали для своей позиции мои оппоненты. Когда человек утверждает, что существует видовое различие между интеллектом животных и человека, он, естественно, чувствует себя в некоторой степени обязанным указать точку, в которой возникает это различие. Сказать, что это происходит с появлением языка в смысле создания знаков, очевидно, слишком широкое утверждение; ибо, как мы теперь полностью убедились, язык в этом самом широком смысле явно присутствует у низших животных. Следовательно, граница должна быть проведена не по языку или созданию знаков, а по тому конкретному виду создания знаков, который мы понимаем под Речью. Итак, отличительная особенность этого вида создания знаков — и, следовательно, такого, который не встречается ни в каком другом виде, — состоит в предикации, или использовании знаков как подвижных типов с целью составления предложений. Это не имеет значения, являются ли используемые таким образом знаки словами

или нет. Жесты индейцев и глухонемых, как мы видели, допускают превращение в механизм предикации, который для всех целей практической жизни почти так же эффективен, как речь. Следовательно, различие заключается в интеллектуальных способностях, а не в их символах. Так что то, что человек *имеет в виду*, не имеет значения, с помощью какой системы знаков он выражает свое значение: различие между ним и животным состоит в том, что он способен *иметь в виду пропозицию*. Итак, вид ментального акта, посредством которого человек таким образом получает возможность понимать пропозицию, психологи называют актом суждения. Предикация, или составление пропозиции, есть не что иное, как выражение суждения; а суждение - это не что иное, как понимание любого значения, которое может быть выражено пропозицией. Следовательно, к самой сущности предикации относится то, что она должна включать суждение; и к самой сущности суждения относится то, что оно должно допускать формулирование в форме пропозиции. [93]

Наконец, точно так же, как это место, где занимают позицию мои оппоненты, так и, поскольку они свободно позволяют, это единственное место, где они *могут* занять позицию. Если бы однажды через эту пропасть речи был наведен мост, то больше не было бы никакой пропасти, которую нужно было бы пересекать. Исходя из простейшего суждения, которое только возможно вынести, и, следовательно, из простейшего предложения, которое только возможно сконструировать, все признают, что человеческий интеллект демонстрирует в остальном равномерное или непрерывное восхождение по всем ступеням совершенства, которые он впоследствии представляет. Таким образом, здесь, и только здесь, мы имеем то, что профессор Макс Мюллер называет Рубиконом Разума, который отделяет животное от человека и который, как утверждается, армия Науки никогда не сможет преодолеть.

Чтобы представить всю трудность, с которой здесь приходится сталкиваться, я позволю изложить ее наиболее способному из моих оппонентов. Будучи президентом Биологической секции Британской ассоциации в 1879 году, мистер Майварт выразил свою зрелую мысль по этому вопросу следующим образом:

“Простейшим элементом мышления, как мне кажется, является ‘суждение’ с интуицией реальности относительно некоторого ‘факта’, рассматриваемого как факт реальный или идеальный. Более того, это суждение само по себе не является модифицированным воображением, потому что представления, которые могут дать повод к нему, сохраняются в уме неизменными бок о бок с вызванным ими суждением. Давайте возьмем в качестве примеров суждения “Эта вещь хороша для употребления в пищу” и “Ничто не может быть и не быть одновременно и в одном и том же смысле”. Что касается первого, мы смутно представляем себе “вещи, которые хороши для употребления в пищу”; но они должны существовать *рядом* с этим суждением, а не *в* нем. Их можно вспомнить, сравнить и увидеть, как они сосуществуют. Так и с другим суждением, ум занят определенными абстрактными идеями, хотя воображение имеет определенные смутные “образы”, соответствующие соответственно “вещи, являющейся” и “вещи, не являющейся”, а также “в то же время” и “в том же смысле”; но образы не *составляют* само суждение, так же как человеческое “плавание” состоит из конечностей и жидкости, хотя без таких необходимых элементов такое плавание не могло бы иметь места. [94]

Это различие также проявляется в том факте, что одна и та же идея может быть внушена разуму и поддерживаться в нем с помощью самых несообразных образов и очень разных идей с

помощью одного и того же образа; мы можем видеть, что это имеет место в случае с такими идеями, как “число”, “цель”, “движение”, “идентичность” и т.д.

Но отличие “мысли” от “воображения”, возможно, станет яснее, если мы полностью представим, что мы на самом деле делаем, когда выносим какое-нибудь простое суждение, как, *например*,: ‘Негр - это черный’. Здесь, во-первых, мы прямо и недвусмысленно утверждаем, что существует соответствие между внешней вещью, ‘негром”, и внешним качеством “чернота” — негр, обладающий этим качеством. Вторично и неявно мы подтверждаем соответствие между двумя внешними сущностями и двумя соответствующими внутренними концепциями. И, в-третьих, и наконец, мы также неявно подтверждаем существование соответствия между субъективным суждением и объективным существованием”. [95]

Далее я позволю изложить этот вопрос словами другого оппонента, которого одобрительно цитирует мистер Майварт.

Вопрос в том, может ли смысл что—либо сказать - вообще вынести суждение? Может ли он предоставить пустую формулу суждения — ‘есть’ в ‘А есть В’? Трава на поле боя была зеленой, и смысл придавали и трава, и зелень; но утверждало ли это, что ‘трава зеленая’? Можно предположить, что ‘трава’ и ‘зеленый’ вместе образуют один сложный объект, который является объектом в пространстве и времени и, следовательно, имеет смысл. Но против этого сразу же возникает возражение, что чувство действительно может воспринимать и сообщать (так сказать) о сложном объекте, но что в данном случае речь идет не о сложном объекте, а о *сложности* объекта. Одно дело видеть зеленую траву, и, очевидно, совсем другое - утверждать о *зелености* травы. Разница заключается в том, чтобы видеть две вещи объединенными и видеть их *как объединенные*.... Если бы животное могло мыслить ‘есть’, животное и человек были бы братьями. “Есть” как связка суждения подразумевает мысленное разделение и рекомбинацию двух терминов, которые существуют только объединенными в природе и, следовательно, никогда не могли запечатлеть смысл, кроме как как нечто одно. [96] И ‘есть’, рассматриваемое как субстантивный глагол, как в примере ‘Этот человек есть”, содержит в себе применение связки суждений к самой элементарной из всех абстракций — ‘вещи’ или “нечто”. И все же, если существо обладает способностью мыслить как “вещь”, оно обладает способностью выходить за пределы пространства и времени, разделяя или разлагая феноменально единое. Вот точка, где заканчивается инстинкт и начинается разум”. [97]

Было бы легко добавить цитаты из других авторов с тем же эффектом, что и приведенные выше; [98] но их может оказаться достаточно, чтобы дать материал для первого этапа моей критики, который носит чисто технический характер. Я утверждаю, что все писатели, которые таким образом отстаивают свою позицию относительно присущей исключительно человеку способности предикации, занимают свою позицию не в том месте. Другими словами, не оспаривая в настоящее время, имеем ли мы дело с различием вида или степени, я утверждаю, и заявляю уверенно, что рассматриваемое различие — *т.е.* между интеллектом животных и человека — может быть легко доказано, что оно имеет более отдаленное происхождение, чем способность к предикации или формирование пропозиции. Различие происходит по признаку деноминации или дарования имени, известного как таковое. “Простейший элемент мысли” - это *не суждение*: “простейшим элементом мысли является *концепция*. То, что это так, легко продемонстрировать несколькими различными способами.

Во-первых, очевидно, что не могло бы быть суждений без понятий, точно так же, как не могло бы быть пропозиций без терминов. Суждение является результатом сравнения понятий, и именно по этой причине оно может найти выражение только в предложении, которое устанавливает отношение между понятиями путем сопоставления их соответствующих терминов. Суждения, следовательно, являются *составными* частями мысли: *элементами* являются понятия.

Во-вторых, учитывая способность к постижению, подразумевается и зародыш суждения, хотя и не развернутый в расцвет формальной предикации. Ибо всякий раз, когда мы присваиваем имя, мы неявно судим о том, что вещь, к которой мы применяем это имя, обладает атрибутами, обозначаемыми этим именем, и, таким образом, мы фактически предсказываем этот факт. Например, когда я называю человека “Негром”, сам термин утверждает черноту как отличительное качество этого индивида — точно так же, как и эквивалентный детский термин “Черный человек”. Следовательно, произнести имя Негр или имя Черный человек - значит сформировать и произнести по крайней мере два суждения, касающиеся индивидуального объекта чувственного восприятия, а именно, что это человек и что он черный. Сформированные и произносимые таким образом суждения, несомненно, не столь эксплицитны, как в случае, когда и подлежащее, и предикат связаны в полном предложении — “Негр черный”; но в одном термине “Негр”, или “Черный человек”, оба эти элемента уже присутствовали, и *должны* были таковыми, если название было в какой-либо степени концептуальным — *т.е. знаменательным* в отличие от *деноминативного*. На иллюстрации “Негр” или “Черный человек” так получилось, что коннотация имени напрямую определяется этимологией имени; но это обстоятельство несущественно. Независимо от того, соответствует ли этимология коннотативного названия конкретному предмету, к которому оно применяется, для любого его надлежащего применения требуется одно и то же классификационное суждение. Если, как и Блюменбах, я привык называть негра эфиопом, то, применяя это имя к любому представителю этой расы, я совершаю тот же мысленный акт, что и мой сосед, который называет его негром, или мой ребенок, который называет его чернокожим. Если бы следовало сказать, что во всех подобных случаях акт присвоения имени настолько непосредственно обусловлен ассоциацией, что не предъявляется никаких требований к способности суждения, то для моих оппонентов было бы опасным делать такое признание, поскольку то же самое замечание было бы применимо ко всей пропозиции “Этот человек черный”. Более того, предполагается, что от возражения легко избавиться, выбрав примеры присвоения имени, где ассоциации еще не были окончательно установлены. Если я путешествую по незнакомому континенту и среди всей встречающейся там незнакомой флоры я внезапно замечаю растение, которое, как мне кажется, мне знакомо, то, прежде чем назвать его своему другу в качестве этого растения, я бы подвергла его тщательному изучению — *т.е. Тщательно оцениваю* его сходство с известными или знакомыми видами. Короче говоря, все коннотативные названия, применяемые в деноминации, обозначают акты суждения, которые отличаются от тех, о которых идет речь в полной предикации, только формой их выражения. Или, как очень лаконично замечает Милль, “всякий раз, когда названия, данные объектам, передают какую-либо информацию, то есть когда они действительно имеют какое-либо значение, значение заключается не в том, что они обозначают, а в том, что они означают”. И хотя в своей сложной трактовке Имен и Пропозиций он прямо не обращает внимания на то, что сейчас находится перед нами, это ясно подразумевается в приведенной выше цитате. Дело в том, что коннотативные имена (или деноминативные термины) [99] часто сами по себе имеют предикативную ценность; и этот момент явно подразумевается в приведенной выше цитате, потому что всякий раз, когда “имена, данные объектам, передают какую-либо информацию”,

передаваемая таким образом информация фактически является предикативной: “значение”, заключенное в имени, подтверждается простым актом присвоения имени, которое, таким образом, в само по себе становится сжатым предложением. “Это трюизм психологии, что члены предложения при тщательном рассмотрении оказываются не чем иным, как сокращенными суждениями”. [100]

Таким образом, этот взгляд на дело - единственный, который может быть одобрен психологией. Это также единственное, что может быть поддержано филологией, или изучением языка в процессе становления. Я приведу множество доказательств этого факта в следующей главе, где будет показано, как говорит профессор Макс Мюллер, что “каждое имя изначально было предложением”. Но в настоящее время меня интересует только один из самых элементарных моментов чисто психологического анализа, и поэтому я отложу независимое освещение всей философии предикации, которая в последние годы была так великолепно представлена сравнительным изучением языков.

Следовательно, с какой бы точки зрения мы ни смотрели на этот вопрос, мы вынуждены прийти к выводу, что термин “суждение” должен применяться безразлично к акту обозначения и к акту предсказания, или же, если он ограничивается последним, что его не следует рассматривать как “простейший элемент мышления”. И таким образом, мы возвращаемся к позиции, ранее достигнутой при рассмотрении Логике Понятий. Ибо затем мы обнаружили, что имена - это ступени интеллектуальной лестницы, по которым мы взбираемся во все более высокие области мышления; и хотя нашему продвижению способствует формальное предикирование, или дискурсивное мышление, это, так сказать, всего лишь мускульная энергия, которая сама по себе была бы бесполезна, если бы не уже поставленные ступени, и только на которые эта энергия может быть израсходована. Или, варьируя метафору, концептуальные имена являются ингредиентами, из которых формируется структура предложений; и для того, чтобы это формирование имело место, в ингредиентах уже должен присутствовать тот элемент жизненности, который составляет *формативный* вид. Итак, этот элемент жизненности является элементом концептуального мышления, который уже проявляется в каждом знаменательном термине.

Поэтому, ради ясности и краткости одновременно, я буду далее говорить о предикации как о *материальной* и *формальной*. Под материальной предикацией я буду подразумевать концептуальное обозначение, посредством которого простым актом присвоения коннотативного термина мы фактически предсказываем о обозначаемой таким образом вещи какой-либо факт, качество или отношение, на которые должно указывать присвоенное название. Под формальной предикацией я буду подразумевать наложение знаменательных терминов с намерением установить некоторое отношение, которое таким образом выражается как существующее между ними. Но, как уже отмечалось, я считаю это различие искусственным. С психологической точки зрения, нет никакой демаркационной линии между этими двумя видами предикации. Говорю ли я “Дурак” или “Ты дурак”, я точно так же отношу предмет моего замечания к определенной категории людей: я точно так же выражаю свое суждение относительно качеств, представленных одним конкретным человеком. Таким образом, различие между тем, что я называю материальной и формальной предикацией, является просто различием в риторике: с точки зрения психологии здесь вообще нет различия.

Если на все это следует возразить, в соответствии с психологическими доктринами, изложенными м-ром Майвартом, процитированными выше, что суждение, воплощенное в предложении, отличается от понятия, воплощенного в имени, в отношении связки и, следовательно, в представлении идеи существования как существования; я отвечаю, во-первых, что каждое понятие обязательно должно представлять эту идею, однако *имплицитно*; и, во-вторых, что, как бы *явно* оно ни было сформулировано как суждение, оно не имеет большей концептуальной ценности, чем любое другое качество, принадлежащее данному понятию. субъект. Что касается первого пункта, когда объекту, качеству, действию и т. Д. Присваивается имя, оно, таким образом, абстрагируется как отдельное творение мысли, отделяется от других вещей и предстает перед разумом как отдельная сущность (см. Главу IV). Следовательно, в самом акте присвоения имени мы фактически предсказываем существование названной вещи: способность “думать есть” - это способность, связанная с *формированием concept, not in the apposing of concepts сформированных концепций*. Все, что делается в акте такого сопоставления, - это сведение воедино двух идей о двух вещах, которые уже воспринимаются как существующие: если бы это было не так, не было бы *ничего*, что можно было бы сравнивать. [101]

А теперь, что касается второго пункта, то утверждение о том, что предикация существования является существенной или наиболее важной характеристикой даже полного или формального предложения, настолько далеко от истины, что на самом деле оно наименее существенно. Ибо существование - это категория, к которой должно принадлежать все, если о нем вообще можно судить, и, следовательно, просто судить о том, что *А есть*, а *В есть*, значит формировать самое бесплодное (или наименее значимое) суждение, которое можно сформировать относительно А или В; и когда мы объединяем эти два суждения (концепции) в предложении *А есть В*, новое суждение, которое мы выносим, не имеет ничего общего ни с существованием А, ни с В, ни на самом деле не имеет ничего общего с существованием как таковым. Существование как А, так и В уже было заранее предположено в этих двух концепциях, и когда эти две существующие вещи приводятся в соответствие, таким образом, предполагается, что никакое третье существование не было создано. Таким образом, связка действительно выступает не как символ *существования*, а как символ *отношения*, и с таким же успехом ее можно заменить любым другим знаком (таким как =) или, действительно, вообще обойтись без него. “Как мы используем глагол *is*, так и латиняне используют свой глагол *est*, а греки - свой [греческое: *esti*] во всех его склонениях. Есть ли в языках всех других народов мира слово, соответствующее этому, или нет, я не могу сказать; но я уверен, что они в этом не нуждаются. Ибо расположение двух имен по порядку [*т.е. в приложении*] может служить для обозначения их последствий, если бы это было принято, а также слов “*есть*”, “*быть*” и тому подобного. И если бы это было так, что существовал язык без какого-либо глагола, отвечающего на *est*, или *is*, или *be*, все же люди, которые им пользовались, были бы ни на йоту не менее способны к умозаключениям и всякого рода рассуждениям, чем греки и латиняне”. Милль справедливо назвал этот пронизывающий анализ Гоббса “единственным анализом пропозиции, который строго верен для всех пропозиций без исключения”; и профессор Макс Мюллер говорит о нем: “Гоббс, хотя и совершенно незнаком с историческими предпосылками языка, соглашается с нами самым замечательным образом”. [102]

Таким образом, в целом и без дальнейшего рассмотрения можно заключить, что независимо от того, обращаемся ли мы к его простейшим проявлениям или к наиболее сложным, мы должны одинаково заключить, что именно способность к представлению, а не к суждению -

способность обозначения, а не к предикации — мы должны рассматривать как “простейший элемент мышления”. Конечно, если бы было сказано, что эти две способности едины в своем роде — что для того, чтобы постичь, мы должны судить, а для того, чтобы назвать, мы должны предикатить, — у меня не было бы никаких возражений. Все, чем я сейчас занят, - это прояснить, что различие между человеком и животным в отношении Логоса должно быть проведено в том месте, где это различие возникает впервые; и это место - то, где суждение касается концепции или присвоения имен в смысле, ранее объясненном как *знаменательный*. Последующее превращение имен в предложения - это просто дальнейшее проявление той же самой способности. Это так же верно для суждения, когда оно проявляется в обозначении, как и для суждения, когда оно проявляется в предикации, что “само по себе оно не является модифицированным воображением, потому что воображения, которые могут его породить, сохраняются в уме неизменными бок о бок с ним”. Ибо, как мы видели, акт обозначения (в отличие от денотации) сам по себе является актом предсказания. Когда натуралист дает название новому виду растений или животных, *оценивает* сходство и *утверждает* факт — *т.е.* то, что до сих пор безымянная форма принадлежит к определенному *роду* или *разновидности*. И так же обстоит дело со всеми другими именами, когда они присваиваются концептуально, потому что везде такие имена являются выражением концептуальной *классификации* — объединения сходных вещей или разделения непохожих. Короче говоря, все имена, которые имеют какое-либо концептуальное значение, сами по себе являются сокращенными предложениями, или “материальными предикациями”; и только как таковые они впоследствии могут стать *терминами*, *т.е.* составлять существенные элементы любого более расширенного предложения, или “формальной предикации”. Следовательно, именно способность к именованию проявляется первой — и, согласно доктрине номинализма, *посредством чего достигается первая* — та великая и отличительная характеристика человеческого разума, которую имеют в виду м—р Майварт и те, кто мыслит вместе с ним; и, если мы не поддерживаем доктрину реализма, которую ни эти, ни какие—либо другие психологи, с которыми мне приходится иметь дело, вероятно, в настоящее время не одобряют, - ясно, что “простейшим элементом мышления” является понятие.

Если я не приношу извинений за то, что занял так много места по столь очевидному вопросу, то это только потому, что я верю, что любой, кто прочтет эти страницы, проникнется сочувствием к моему желанию избежать двусмысленности и таким образом свести стоящий перед нами вопрос к его обнаженной реальности. Пока, надо заметить, этот вопрос не затрагивался. Я не оспариваю, что возникает огромное и экстраординарное различие, и я не ожидаю, что м-р Майварт или кто-либо другой станет возражать против этой предварительной расчистки почвы, которая была необходима только из-за того, что мои оппоненты были достаточно неосторожны, чтобы представить это Предложение как простейшее проявление Логоса. Но теперь пришло время, когда мы должны подойти к этому различию со всей серьезностью.

В чем же на самом деле заключается это различие? Она состоит, как, я полагаю, согласятся все мои оппоненты, в способности, которую проявляет человеческое существо, *объективировать идеи* или ставить одно состояние ума выше другого состояния и созерцать связь между ними. Способность “мыслить есть” — или, как я бы предпочел это сформулировать, способность мыслить вообще — *это сила, которая дается интроспективной рефлексией в свете самосознания*. Именно потому, что человеческий разум способен, так сказать, стоять вне самого себя и таким образом делать свои собственные идеи предметом своего собственного мышления, он способен к суждению в техническом смысле, объясненном выше, будь то в акте

зачатия или в акте предикации. Ибо, таким образом, эти идеи получают возможность “существовать *рядом* с суждением, а не *в* нем”; таким образом, они сами могут стать объектами мышления. У нас нет доказательств того, что какое-либо животное способно таким образом объективировать свои собственные идеи; и, следовательно, у нас нет доказательств того, что какое-либо животное способно к суждению. На самом деле, я пойду дальше и утверждаю, что у нас есть наилучшие доказательства, которые можно извлечь из того, что обязательно является выбросными источниками, чтобы доказать, что ни одно животное не *может* достичь этих совершенств субъективной жизни. Эти доказательства будут постепенно раскрываться по мере нашего продвижения, поэтому сейчас достаточно сказать в общих чертах, что они состоят в наиболее убедительном доказательстве отсутствия у животных необходимых *условий* для проявления этих превосходств в том виде, в каком они проявляются сами по себе. Из чего следует, что огромное различие между животным и человеком действительно лежит за способностями как к представлению, так и к предикации: оно заключается в условиях возникновения того и другого. Что это за условия, я рассмотрю позже. Между тем, и для того, чтобы нам было совершенно ясно, какое важнейшее различие стоит перед нами, я переформулирую его в других терминах.

В чем разница между рецептом и концепцией? Я не могу ответить на этот вопрос более четко или сжато, чем словами автора в *Dublin Review*, процитированными ранее. “Разница заключается в том, чтобы видеть две вещи объединенными и видеть их *как объединенные*”. Разница - это вся разница между восприятием отношений и восприятием отношений *как связанных*, или между познанием истины и признанием этой истины *как истинной*. Ныряющая птица, которая избегает скалы и бесстрашно ныряет в море, несомненно, демонстрирует восприимчивое знание определенных “вещей”, “отношений” и “истин”; но она не знает ни одной из них *как таковых*: хотя она знает их, она не *сознает, что знает их*: как бы хорошо она их ни знала, она *не думает* о них и не рассматривает вещи, отношения и истины, которые она воспринимает, как *сами объекты восприятия*. Теперь, помимо этого чисто восприимчивого знания, человек проявляет концептуальное, что означает, что он *is able to do all these things that the bird cannot do: in other words, he is able to set before his mind all the receipts which he has in common with the bird, to think about them as*, и простым фактом или в самом акте этого преобразования преобразовать их в концепции. Концепции, таким образом, отличаются от рецептов тем, что они являются рецептами, которые сами стали объектами познания, и условием для того, чтобы они приобрели этот важный характер, является наличие самосознания в воспринимающем уме. [103]

Я дважды изложил различие настолько ясно, насколько смог; но, чтобы отдать ему наиболее полную справедливость, я сейчас передам его в третий раз словами м—ра Майварта, некоторые термины которого я позаимствовал в предыдущем абзаце, и поэтому нет необходимости сейчас повторять. Он начинает с того, что передает различие в том виде, в каком оно было сформулировано Буффеном, следующим образом: —

“Я далек от того, чтобы отрицать чувства животных, я признаю за ними все, кроме мышления и рефлексии.... У них есть ощущения, но нет способности сравнивать их друг с другом, то есть они не обладают способностью производить идеи” —*то есть* продукты рефлексии. Затем, сославшись на взгляды Бюффона на различие между “автоматической памятью” и “интеллектуальной памятью” (*т.е.* Различие, которое я распознал на диаграмме, приложенной к моей предыдущей работе, назвав первую “памятью”, а вторую “воспоминанием”), м-р

Майварт добавляет: “Это различие довольно легко уловить. То, что у нас есть автоматическая память, такая же, как у животных, очевидно: но наличие интеллектуальной памяти может стать очевидным, если мы, так сказать, поищем в своем уме что-то, что мы полностью помнили раньше, и, таким образом, интеллектуально помним, что знали, хотя сейчас мы не можем представить это в воображении. И как в случае с памятью, так и в случае с другими нашими ментальными способностями, мы можем, я думаю, различать высшую и низшую способность каждой из них; между нашими высшими, самосознательными, рефлексивными ментальными актами — актами нашей интеллектуальной способности — и действиями нашей чисто чувственной способности. Это различие я считаю одним из самых фундаментальных из всех биологических различий, понимание которого является необходимой предпосылкой для успешного исследования психологии животных ”. [104]

Если бы это было необходимо, я мог бы процитировать из его работы, озаглавленной *Уроки природы*, еще несколько отрывков, выражающих то же различие другими словами; но я уже был осторожен, вплоть до избыточности, в представлении этого различия, не только потому, что это различие, на котором м-р Майварт основывает весь свой аргумент в пользу отделения человека от остального животного царства как уникального в своем роде существа; но еще больше потому, что это, как он тщательно подчеркивает, единственное реальное различие, которое до сих пор всегда проводилось философами со времен Аристотеля. И, как я уже отмечал, это различие я сам полностью признаю и считаю наиболее важным из всех различий в психологии. Следовательно, единственное различие между моим мнением и мнением — я не буду говорить о м-ре Майварте, но — любого другого или возможного оппонента, понимающего психологию этого предмета, заключается в вопросе, следует ли, ввиду света, который теперь пролил на психологию теория эволюции, рассматривать это важное различие как различие степени или как одно из разновидностей. Теперь я перейду к изложению причин, которые заставляют меня расходиться в этом вопросе с м-ром Майвартом и, следовательно, со всей все еще обширной школой, наиболее способным представителем которой он, по моему мнению, является.

Мы видели, что рассматриваемое различие заключается в наличии или отсутствии способности, теперь полностью объясненной, рефлексивного мышления, и что простейшим проявлением этой способности является, как утверждают мои оппоненты, то, что обеспечивается “суждением”. Но мы также видели, что эта способность суждения впервые не проявляется в предикации, если только мы не расширим этот термин таким образом, чтобы охватить все акты обозначения. Другими словами, мы видели, что суждение сначала возникает вместе с концепцией — и это необходимо, поскольку ни одна из этих вещей не может происходить без другой, но обе возникают как прямые проявления той способности самосознательного или рефлексивного мышления, непосредственным выражением которой они повсюду являются. Поэтому я начну с тщательного анализа концептуальных суждений.

Сначала мы должны вернуться к различиям, изложенным в конце предыдущей главы, где было показано, что, без какого-либо ущерба для вопроса, касающегося различия между человеком и животным, необходимо различать пять различных стадий интенционального создания знаков, а именно: указательную, денотативную, коннотативную, знаменательную и предикативную. Исходя из того, что сейчас было сказано относительно существенно предикативной природы всех концептуальных названий, мы можем пренебречь последним из этих различий и рассматривать знаменательную фазу языка как психологически идентичную предикативной. Точно так же мы можем теперь пренебречь ориентировочной фазой, поскольку она не имеет

никакого отношения к рассматриваемым нами в настоящее время вопросам. Таким образом, мы должны сосредоточить внимание только на различиях между денотативной, коннотативной и деноминативной фазами языка. Это уже было сделано в общих чертах, но теперь должно быть сделано более подробно. И ради ясности, даже рискуя показаться утомительным, я начну с повторения уже объясненных важных различий.

Когда попугай называет собаку *Боу-вау* (чему попугая, как и ребенка, можно легко научить), можно сказать, что в определенном смысле этого слова попугай *называет* собаку; но это не *предсказание* того, что какие-либо признаки принадлежат собаке, или совершение какого-либо акта *суждения* по отношению к собаке. Хотя птица может никогда (или крайне редко) не произносить это имя, за исключением случаев, когда она видит собаку, этот факт объясняется законами ассоциации, действующими только в сфере восприятия: это не дает ни тени основания предполагать, что птица *думает* о собаке *как о собаке*, или ставит понятие Собаки перед своим умом как отдельный объект мышления. Следовательно, все мои оппоненты должны допустить, что в каком-то смысле слова могут существовать имена без понятий: будь то в виде жестов или в виде слов (вокальные жесты), могут существовать знаки вещей без каких-либо признаков предикативного значения. Имена такого рода я назвал *денотативными*: это знаки, прикрепляемые к объектам, качествам, действиям и т. Д. Исключительно посредством рецептивной ассоциации.

Далее, когда денотативное название сформировано и применяется как обозначение одной вещи, его использование может быть расширено для обозначения также другой вещи, которая, как считается, принадлежит к тому же классу или виду. Когда денотативные имена расширяются таким образом, они становятся тем, что я назвал *коннотативными*. Степень, до которой может иметь место такое классификационное расширение денотативного имени, зависит, конечно, от степени, в которой разум способен осознавать сходства или аналогии. Так вот, эти степени столь же разнообразны, как и степени самого интеллекта. Задолго до того, как дифференциальный механизм Представления пришел на помощь Разуму, как животные, так и люди (как было показано ранее) способны пройти долгий путь в различении сходств или аналогий только посредством восприятия идей. Когда такое рецептивное различение выражается соответствующим расширением денотативных имен, степень коннотации, которую, таким образом, могут приобретать такие имена, зависит от степени этого рецептивного различения. Даже мой попугай был способен распространить свое денотативное название для конкретной собаки на любую другую собаку, которую ему довелось увидеть, — таким образом, в точности напоминая моего ребенка, который применил свое первое денотативное слово *Звезда* к свече. Таким образом, коннотация начинается в чисто рецептивной сфере идеации; и хотя у человека она впоследствии переносится в концептуальную сферу, очевидно, что для целей данного анализа наиболее важно провести различие между коннотацией как рецептивной и как концептуальной.

Это различие я провел, приписав слову *деноминация* все коннотации, которые имеют действительно концептуальную природу, или присвоение имен, *сознательно признаваемых таковыми*. И я только что показал, что когда коннотация является таким образом деноминативной или концептуальной, это психологически то же самое, что и предикация. Следовательно, только в этом знаменательном смысле слова или в тех случаях, когда речь идет о концептуальном формировании идей, акт наименования включает в себя акт суждения, строго так называемый.

Учитывая психологическую подоплеку вопроса, очевидно, что весь стоящий перед нами вопрос сводится к выяснению отношений, которые возникают между коннотацией как рецептивной и концептуальной — или между коннотацией, которая есть, и коннотацией, которая не является деноминационной. Чтобы сделать это, я начну с цитаты примера неденоминативной или восприимчивой коннотации в случае с маленьким ребенком.

“Человеку свойственно следующее: звук, который в его случае ассоциировался с восприятием какого—то конкретного индивидуума, вызывается снова не только при виде абсолютно похожих индивидуумов, но и в присутствии индивидуумов, разительно отличающихся друг от друга, хотя в некоторых отношениях относящихся к одному классу. Другими словами, аналогии, которые не приходят в голову животным, приходят в голову людям. Ребенок говорит *гав-гав* сначала домашней собаке, затем, немного погодя, он говорит *гав-гав* терьерам, мастифам и ньюфаундлендам, которых видит на улице. Чуть позже он делает то, чего никогда не делают животные, он говорит *Поклон-вау* картонной собачке, которая лает, когда ее сжимают, затем картонной собачке, которая не лает, а бегает на колесиках, затем молчаливой неподвижной бронзовой собачке, украшающей гостиную, затем своему маленькому кузену, который бегают по комнате на четвереньках, и, наконец, картине, изображающей собаку”. [105]

Итак, в этой небольшой, но типичной истории мы имеем наглядную демонстрацию, в простой форме, развития коннотативного имени в чисто рецептивной сфере. Сначала слово *Wow-wow* было просто денотативным названием - или знаком, прикрепленным к определенному объекту восприятия. Но когда детский ум осознал сходство между домашней собакой, терьерами, мастифами и ньюфаундлендами, он выразил этот факт, распространив название *Боу-вау* на всех этих собак. Таким образом, название из частного превратилось в общее, или указывающее на *сходство*; и, следовательно, из простого денотативного стало по-настоящему коннотативным: теперь оно служило для выражения *общих атрибутов*. Затем эта рецептивная коннотация имени была еще более расширена, чтобы включить — или обозначить — сходство между собаками и их изображениями, картинками и т. Д. Теперь, в этих нескольких и последовательных актах коннотативного именования, ребенок, очевидно, продвигался ко все более высоким уровням рецептивной классификации; но, не менее очевидно, было бы абсурдно предполагать, что ребенок таким образом повышал значение клички *Боу-вау* до какого-либо *концептуального* значения. Все, что делает любой ребенок в таком случае, - это расширяет свою рецептивную оценку сходства посредством расширения кругов родовой группировки и, соответственно, расширяет рецептивную коннотацию денотативного имени. Для того чтобы сделать это (в пределах, которые мы сейчас рассматриваем), нет необходимости в каком-либо интроспективном рассмотрении имени как имени: нет необходимости размышлять о расширяющемся значении имени: нет необходимости *судить, определять, обозначать*. Произведенная здесь классификация может быть произведена только в области рецептивного сознания (как мы хорошо знаем из аналогичного случая с попугаем и “практических выводов” о низших животных в целом); следовательно, если денотативное название, первоначально присвоенное конкретной собаке, допускало, что оно было присвоено просто как обозначение этого конкретного рецепта, нет оснований предполагать, что его последующее распространение на более общие рецепты, испытанные впоследствии, влечет за собой какое-либо требование к концептуальной способности или подразумевает, что ребенок мог распространить это название от домашней собаки до терьера, только сначала совершив акт манипулирования. интроспективное мышление, на которое, действительно, как мы увидим позже, явно неспособен ребенок этого возраста.

Тем не менее, очевидно, что ребенок уже сделал больше, чем попугай. Ибо попугай никогда не распространит свое денотативное название конкретной собаки на картинку или даже на изображение собаки. Максимум, на что способен попугай, - это распространить денотативное название от одной конкретной собаки к другой конкретной собаке, которая, однако, может значительно отличаться от первой по размеру, окрасу и общему виду. И все же, я полагаю, никто не станет утверждать, что до сих пор существуют малейшие свидетельства какого-либо различия между коннотативными способностями птицы и ребенка. Все, что могут показать эти факты, — это то, что, по словам уже процитированного М. Тэна при изложении этих фактов, “анalogии, которые не поражают животных, поражают людей”. Или, выражаясь моим собственным языком, рецептивные способности попугая не идут дальше рецептивных способностей очень маленького ребенка: следовательно, денотативное название в случае с попугаем проходит только первый этап в процессе расширения рецепции, а именно, от домашней собаки к терьеру, сеттеру, мастифу, ньюфаундленду и т. Д. Но в случае с ребенком, *после достижения этой стадии* процесс расширения продолжается, чтобы охватить образы и, в конечном итоге, изображения собак. Это различие, однако, свидетельствует лишь о развитии чисто рецептивных способностей: оно не предполагает, что для прохождения расширения имени через эти вторую и третью стадии еще требовались присущие исключительно человеку способности концептуального мышления — не больше, чем такие силы потребовались для прохождения первой стадии в случае с попугаем.

Следовательно, мы снова видим, что различие, уже проведенное между денотативными и коннотативными именами, не совпадает с различием между идеями как рецептивными и концептуальными. Или, другими словами, имена могут быть в какой-то мере коннотативными даже при отсутствии самосознания. Ибо, если мы говорим, что ребенок подразумевает сходство, распространяя кличку *Боу-вау* с конкретной собаки на собак в целом, очевидно, что мы должны сказать то же самое о попугае, когда обнаруживаем, что до сих пор это соответствует ребенку. Следовательно, я различаю коннотацию как рецептивную и концептуальную — *т.е.*, называя последнюю *деноминацией*. Рецептивная коннотация представляет собой более высокий уровень мыслительной способности, чем простое обозначение; но более низкий уровень, чем концептуальная коннотация, или обозначение. Более того, рецептивная коннотация допускает множество степеней, прежде чем мы сможем различить малейшую причину для предположения, что она даже в самой низкой степени концептуальна. Коннотация всех степеней зависит от восприятия сходства или аналогий, чем выше уровень восприятия и, следовательно, чем выше способность к рецептивной классификации, тем больше такая классификация будет отражаться в коннотативном выражении. Следовательно, ребенок не только превзойдет попугая в его восприятии коннотации от собак к изображениям собак; но, как мы увидим впоследствии, пойдет гораздо дальше, прежде чем он вообще даст какие-либо признаки концептуальной коннотации или истинного обозначения. Таким образом, мы видим, что между самой рудиментарной рецептивной коннотацией, которую очень маленький ребенок разделяет с попугаем, и полностью концептуальной коннотацией, которую он впоследствии приобретает, существует большая промежуточная область из-за приобретения более высокой рецептивной жизни. Или, выражая то же самое другими словами, существует обширная область мышления, лежащая между высшей рецептивной жизнью животного и низшей концептуальной жизнью человека: эта область занята растущим ребенком с того момента, когда его мышление превосходит мышление животного, до тех пор, пока оно не начнет приобретать способность

самосознательной рефлексии. Следовательно, этот промежуточный путь мышления можно назвать “высшим рецептивным” в отличие от низшего рецептивного мышления, которое ребенок младшего возраста разделяет с низшими животными.

На этом этапе я должен попросить читателя внимательно запомнить эти различные различия. Это будет нетрудно сделать после небольшого внимания. Следует помнить, что в главе IV. Я установил различие между понятиями высшего и низшего, которое было методически аналогично тому, которое я должен сейчас установить между рецептами. “Низшая концепция” была определена как не что иное, как “именованное представление”, [106] в то время как под “высшей концепцией” понималась та, которая “составлена из других концепций” — т.е. Названный результат группировки концепций, например, когда мы говорим о “механическом эквиваленте тепла”. Так что в общей сложности нам нужно распознать четыре стадии формирования идей, каждая из которых занимает безмерно большая территория разума. Эти четыре этапа я представляю в последовательном порядке.

(1) *Низшие рецепты*, составляющие ментальную жизнь всех низших животных и, таким образом, включающие в себя такие способности восприятия, которыми ребенок, впервые выходящий из младенчества, делится с попугаем.

(2) *Высшие рекомендации*, включающие в себя весь обширный круг представлений, который принадлежит ребенку с момента, когда его способности воспринимать коннотации впервые превосходят способности попугая, до возраста, в котором коннотация как просто денотативная начинает становиться также деноминационной.

(3) *Низшие концепции*, включающие область концептуального мышления, где оно впервые возникает из более высокого восприятия, вплоть до того момента, когда деноминативная коннотация имеет отношение не только к наименованию рецептов, но и к ассоциированным концептам.

(4) *Высшие Концепции*, заключающие в себе все дальнейшие совершенства человеческой мысли.

Таким образом, высшие рецепты - это то, что удобно назвать предконцептами: [107] они занимают промежуток между восприимчивой жизнью животного и самым ранним зарождением концептуальной жизни человека. Следовательно, предконцепция - это тот вид высшего восприятия, которого нельзя встретить ни у одного животного, но которое возникает у человека после того, как он превзошел животное и до достижения самосознания. Следует отметить, что, употребляя таким образом слова "высшие рекомендации" или "предконцепции", я ни в коей мере не наношу ущерба аргументации моих оппонентов; я просто отмечаю определенную территорию мышления, которая сейчас впервые была обозначена. Конечно, моя цель в конечном итоге состоит в том, чтобы показать, что в истории растущего ребенка точно так же, как ощущения порождают восприятия, а восприятия - рецепции (как это происходит у животных), так и рецепты порождают предконцепции, предконцепции - концепции, концепции - утверждения, а предложения - силлогизмы. Но сейчас, предлагая это промежуточное звено предварительных концепций, я никоим образом не предрешаю проблему заранее: я просто намечаю почву для обсуждения. Никто из моих оппонентов не может оспорить мои факты, которые слишком очевидны, чтобы подвергать их сомнению. Следовательно, если они возражают против моей классификации их в той мере, в какой это касается нового разделения

предконцепций, то, должно быть, потому, что они думают, что, вводя это разделение, я незаметно приближаю разум ребенка к разуму животного, чем они считают совершенно безопасным. Что же тогда, спрашиваю я, они хотели бы, чтобы я сделал? Если мне не удастся учредить это разделение, мне действительно придется предвзято отнестись к вопросу. Либо есть какое-то различие между дарованием имен попугаю и маленькому ребенку, либо его нет. Если различия нет, тем лучше для целей моей аргументации. Но я допускаю, что существует различие, и я провожу его в первую очередь там, где, возможно, можно сказать, что интеллект ребенка вообще каким—либо образом отличается от интеллекта попугая - *то есть* там, где способности ребенка к называнию явно превосходят способности попугая или любого другого животного. Если так случилось, что это произошло до возникновения концептуальных способностей, я не несу ответственности за этот факт; и, заявляя об этом, я вовсе не принижаю позицию любого оппонента, который придерживается своей позиции по поводу этих способностей как отличительных черт человека. Если бы его позиция раньше чего-то стоила, на нее не могло бы повлиять мое привлечение внимания к тому факту, что, хотя попугай расширяет свое денотативное название собаки от терьера до сеттера, оно не последует дальше за ребенком в процессе восприятия коннотации.

Или, другими словами, когда ребенок говорит *гав-гав* сеттеру, выучив это название для терьера, он либо оценивает сходство и предсказывает факт, либо не делает ни того, ни другого. Если мои оппоненты решат сказать, что ребенок делает обе эти вещи, то это положит конец единственному спору между нами; ибо в этом случае попугай также способен как судить, так и предикатировать. С другой стороны, если мои оппоненты изберут более мудрый курс и примут мое различие между именами как рецептивными и концептуальными, они также должны последовать за мной в признании границы предконцептов, лежащей между рецептами птицы и концептами человека, - *то есть* территории, которая сначала занята высшей рецептивной жизнью ребенка, прежде чем она перейдет в концептуальную жизнь мужчины, — поскольку то, что такая граница действительно существует, я докажу еще более неоспоримо позже. Таким образом, существует, как очевидный факт, территория мышления, которая отделяет высшие представления животного от низших представлений человека; и все, для чего предназначен мой термин "предконцепция", - это дать название этой промежуточной территории.

Теперь, если это имеет место в отношении наименования, очевидно, что это также должно иметь место и в отношении суждения: если есть стадия предварительного зачатия, то должна быть и стадия предварительного суждения. Ибо мы видели, что суть суждения в том, что оно должно быть связано с понятиями: если ум занят только рецептами, нельзя сказать, что был совершен акт истинного суждения. Когда ребенок говорит *Вау* изображению собаки, никто не может утверждать, что он на самом деле оценивает сходство изображения с собакой, если только не предположить, что для этого акта рецептивной классификации требуются явно человеческие способности концептуального мышления. Но, как только что было показано, ни один мой оппонент не может позволить себе принять это предположение, потому что за случаем с ребенком стоит случай с попугаем. Правда, в своей рецептивной классификации попугай не идет дальше распространения названия конкретной собаки на других ныне живущих собак; но если бы кто—нибудь был настолько глуп, чтобы основывать весь свой аргумент на таком слабом различии, как это, — утверждать, что в том месте, где коннотация "ребенок" впервые превосходит коннотацию "попугай", мы имеем свидетельство психологического

различия рода, *на том единственном основании, что ребенок начал превосходить попугая* - мне было бы достаточно заметить, что не *каждый* попугай таким образом распространит свой денотативный знак от одной собаки к другой того же рода. сильно непохожий внешний вид. Разные птицы проявляют разную степень интеллекта в этом отношении. Большинство из них скажет *Боу-вау*, залает или произнесет любой другой денотативный знак, который они, возможно, выучили или изобрели, когда увидят собак, более или менее похожих на ту, к которой этот денотативный знак был первоначально применен; но не каждый попугай таким образом распространит этот знак с терьера на мастифа или ньюфаундленда. Следовательно, если бы кто-нибудь утверждал, что разница между интеллектом, который может различить, и тем, который не может различить сходство собаки с изображением собаки, является разницей рода, последовательность должна побудить его провести аналогичное различие между интеллектом, который может различить, и тем, который не может различить сходство терьера с мастифом. Но если бы это было так, то интеллект одного попугая отличался бы по своему характеру от интеллекта другого попугая; и интеллект ребенка в одном возрасте отличался бы по своему характеру от интеллекта того же ребенка, когда он на неделю или две старше — оба этих утверждения были бы явно абсурдными. Истина может заключаться только в том, что до того момента, когда интеллект ребенка превосходит интеллект птицы, они оба находятся на стадии восприятия создания знаков; и что единственная причина, по которой ребенок действительно превосходит птицу, заключается, в первую очередь, не в том, что ребенок там внезапно обретает силу концептуального мышления, а в том, что он постепенно достигает более высокого уровня восприятия. Это является прямым доказательством того факта, что животные, более разумные, чем попугаи, несомненно, способны распознавать скульптурные и даже графические изображения: следовательно, не может быть никаких сомнений в том, что если бы говорящие птицы достигли аналогичного уровня интеллекта — или если бы другие, более разумные животные были способны, подобно говорящим птицам, использовать обозначающие знаки, — ребенок не расстался бы с животным на столь ранней стадии восприятия номенклатуры. [108]

Что же тогда мы должны сказать о способности суждения в связи с этими тремя стадиями формирования идей, а именно рецептивной, предконцептуальной и концептуальной? Мы можем только установить параллельное и вытекающее из этого различие между суждением как рецептивным, доконцептуальным и концептуальным. [109] Как теперь часто утверждается, отличительными чертами суждения, полностью проявляющегося в любом акте формальной предикации, являются сведение воедино в самосознательном мышлении двух концепций и выделение некоторого отношения между ними как такового. Следовательно, мы не говорим, что животное судит, когда без какой-либо самосознательной мысли оно объединяет определенные воспоминания о своем прошлом опыте в форме рецептов и транслирует для нас результаты своих размышлений посредством выполнения того, что м-р Майварт называет “практическими выводами”. Следовательно, также, если бы животное, способное назвать каждое из двух предписаний по отдельности (как это делает говорящая птица), назвало бы два предписания одновременно, когда таким образом объединяется в акте “практического вывода”, хотя тогда было бы внешнее подобие пропозиции, мы были бы не совсем правы, называя это пропозицией. Это действительно было бы утверждением истины, *воспринимаемой*; но не утверждением истины, *воспринимаемой как истинная*. [110]

Итак, если все это допустить в отношении животного — как это должно быть сделано любым человеком, отстаивающим свою позицию на способности истинного или концептуального суждения, — очевидно, это также должно быть признано и в отношении растущего ребенка. Другими словами, если можно доказать, что ребенок способен сформулировать истину до того, как он сможет сформулировать истину как истинную, то тем самым будет доказано, что в психологической истории каждого человека сначала существует незавершенный вид суждения, необходимый для работы с рецептивным знанием и, следовательно, для констатации воспринимаемых истин, а затем завершенное суждение, которое имеет дело с концептуальным знанием и, таким образом, позволяет констатировать истины, воспринимаемые как истинные. Конечно, условие для возвышения этого низшего вида суждения (если для удобства мы согласимся так его называть) до высшего задается появлением самосознания; и поэтому место, где *утверждение* истины переходит в *предикацию* истины, должно определяться местом, в котором этот вид сознания впервые возникает. Где это происходит в первую очередь, нам сейчас придется рассмотреть. Тем временем я всего лишь пытаюсь прояснить тот факт, что, если мои оппоненты полностью не откажутся от своей позиции, они должны допустить, что существует *некоторая* разница, которую следует признать между коннотативными способностями попугая и коннотативными способностями человека. Но если они допускают это, они должны также допустить, что между местом, где коннотативные способности ребенка впервые превосходят коннотативные способности попугая, и местом, где эти способности впервые становятся по-настоящему концептуальными, существует большой диапазон идей, который невозможно игнорировать. Поэтому, чтобы не предвосхищать стоящий перед нами вопрос, я до сих пор ограничивался простым обозначением этих великих и очевидных различий. Но, видя, что даже этот предварительный шаг потребовал подробных объяснений, я полагаю, что для большей ясности я завершу эту главу табличным изложением различных различий, о которых идет речь.

Под *рецептивными суждениями* я буду понимать тот же порядок мышления, который м-р Майварт выражает своим термином “практические умозаклучения животных”, примеры которого уже приводились в главе III.

Под *предконцептуальными суждениями* я буду понимать те акты виртуального или рудиментарного суждения, которые совершаются детьми после “практических выводов”, которыми они делятся с животными, но до появления самосознательной рефлексии. Эти предконцептуальные суждения могут быть выражены либо жестами, либо коннотативными классификациями, либо и тем, и другим вместе взятым. Некоторые примеры из них уже приводились в настоящей главе; дальнейшие и лучшие примеры будут приведены в последующих главах.

Под *концептуальными суждениями* я буду понимать полные и завершенные суждения в обычном понимании этого термина.

Таким образом, рецептивное суждение имеет дело с рецептами; предконцептуальное суждение - с предконцептами; а истинные суждения - с истинными концепциями. Или, наоборот, рецептивное знание приводит к рецептивному суждению (*например*, когда морская птица ныряет в воду, но садится на сушу); предконцептуальное знание приводит к предконцептуальному суждению при изложении такого знания (*например*, когда ребенок, добавляя кличку собаки к изображению собаки, виртуально подтверждает, хотя и не осознает,

сходство, которое он воспринимает); и, наконец, концептуальное знание приводит к концептуальному или достоверному суждению при изложении такого знания, известного как знание (*например*, когда ребенок, добавляя кличку собаки к изображению собаки, фактически подтверждает, хотя и не осознает, сходство, которое он воспринимает).), в силу своей способности к рефлексивному мышлению человек не только констатирует истину, но утверждает эту истину как истинную).

Пока я сомневаюсь, что моим соперникам будет легко встретиться со мной. Они могут, конечно, придраться к некоторым или всем вышеперечисленным различиям; но, если это так, то именно они должны показать причину для жалобы. Они выдвигали возражения против теории эволюции на чисто психологических основаниях. Я встречаю их возражения на этих их собственных основаниях, и поэтому единственный способ, которым они могут мне ответить, - это показать, что в моем психологическом анализе что-то не так. Я бесстрашно приглашаю их сделать это. Несмотря на все различия, которые я сделал, я сделал это из уважения к остроте их аргументации. Хотя эти различия могут показаться несколько ошеломляюще многочисленными, я не ожидаю, что какой-либо компетентный психолог будет жаловаться на них из-за того, что они были слишком тонко нарисованы. Ибо каждое из них отграничивает важную территорию мышления, и все отмеченные таким образом территории должны быть отмечены отдельно, если предполагается, что видовое различие между одним и другим должно быть серьезно исследовано. В своих "очерках теории эволюции" м-р Майварт нередко жалуется на пренебрежение психологическим анализом, которое проявляется в любом выражении мнения о том, что между одной обширной областью мышления и другой существует разница лишь в степени. Но, несомненно, эта жалоба неуместна со стороны автора, который основывает противоположное мнение на точно таком же пренебрежении - или на голом утверждении величайшего и наиболее очевидного из всех различий в психологии, даже не пытаясь его проанализировать. Следовательно, если моя собственная попытка сделать это привела к переутомлению, то только из-за моего желания воздать полную справедливость противоположной стороне. В результате я утверждаю, что показал, что если возможно предположить какое—либо различие между любым из уровней формирования идей, которые теперь были определены, это может быть сделано только на последнем из них - или там, где появление самосознания позволяет разуму не только *знать*, но и *знать, что он знает*; не только *получать* знание, но и *постигать* его; не только *обозначать*, но и *обозначать*; не только *формулировать истину*, но также и утверждать эту истину как истинную. Следовательно, вопрос, который сейчас стоит перед нами, заключается в том, какова природа этого самосознания - или, точнее, следует ли рассматривать великое и особое различие, которое этот атрибут придает человеческому интеллекту, как различие только в степени или как различие рода. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сначала исследовать рост самосознания в единственном месте, где его можно наблюдать, а именно в психогенезе ребенка. [111]

ГЛАВА X.

САМОСОЗНАНИЕ.

Мое утверждение в этой главе будет заключаться в том, что, учитывая протоплазму способности создавать знаки, организованную настолько, что она достигла денотативной стадии; и учитывая также протоплазму суждения, организованную настолько, что она достигла стадии утверждения истины, без того, чтобы разум был еще достаточно развит, чтобы осознавать себя объектом мысли, и, следовательно, еще не способен утверждать себе истину как истинную; путем слияния этих двух протоплазматических элементов совершается акт оплодотворения, так что последующие процессы ментальной организации протекают быстро, и вскоре достичь стадии дифференциации между субъектом и объектом.

И здесь, чтобы избежать неправильного понимания, я могу также с самого начала прояснить, что во всем, что последует дальше, меня никоим образом не интересует философия этого изменения, а только его история. Что касается его философии, то никто не может испытывать более глубокого уважения к проблеме самосознания, чем я; ибо никто не может быть более глубоко убежден, чем я, в том, что проблема с этой стороны не допускает решения. Другими словами, что касается этого аспекта вопроса, я полностью согласен с самым продвинутым идеалистом; и считаю, что в данности самосознания каждый из нас обладает не просто нашим единственным окончательным знанием, или тем, что “реально само по себе”, но также способом существования, который только человеческий разум способен представить как существование, и, следовательно, *непременным* условием для возможности внешнего мира. Однако этот аспект вопроса меня никоим образом не касается. Точно так же, как функции эмбриолога ограничиваются простым отслеживанием истории эволюционных изменений живой структуры, и точно так же, как он, таким образом, как никогда далек от того, чтобы пролить какой-либо свет на более глубокие вопросы о том, как и почему протекает жизнь; так и в стремлении указать этапы, посредством которых самосознание возникло из низших стадий ментальной структуры, я настолько далек, насколько это вообще возможно, от того, чтобы пролить свет на внутреннюю природу того вероятного генезиса, который я пытаюсь проследить. Сегодня это не менее верно, чем во времена Соломона, что “как ты не знаешь, как растут кости во чреве беременной, так и ты не знаешь, каков путь духа”.

Если мы согласны с тем, что самосознание вообще можно найти только в человеке, то из этого следует, что только в человеке мы можем искать какие-либо факты, имеющие отношение к вопросу о его развитии. И поскольку только в первые годы младенчества нормальное человеческое существо лишено самосознания, только что сделанное утверждение подразумевает, что только в детской психологии нам нужно искать факты, которые мы ищем. Далее, поскольку я утверждаю, что самосознание возникает в результате смешения протоплазмы суждения с протоплазмой создания знаков (в соответствии со значением этих терминов, как уже объяснялось), я должен теперь подтвердить это мнение на основе фактов, почерпнутых из изучения детской психологии.

Тем не менее, прежде чем я перейду к сути предмета, я думаю, будет удобно рассмотреть те душевные способности, которые, проявляясь как у младенца, так и у животного, в первом случае предшествуют возникновению самосознания и, согласно моему мнению, готовят для него путь.

Я полагаю, все согласятся с тем, что самосознание состоит в том, чтобы уделять внутренним или психическим процессам такое же внимание, какое обычно уделяется внешним или физическим процессам, - в том, чтобы применять к субъективным явлениям те же способности восприятия, которые применяются к объективным. Степени, в которых может проявляться такое внимание, конечно, столь же различны в одном случае, как и в другом; но это не влияет на мое психологическое определение самосознания.

Опять же, я полагаю, далее следует признать, что в уме животных и в уме младенцев существует мир образов, являющихся знаками внешних объектов; и что единственная причина, по которой на эти образы не обращают внимания, если они не вызваны чувственными ассоциациями, возникающими при виде соответствующих объектов, заключается в том, что ум еще не способен покинуть почву таких ассоциаций, чтобы двигаться через более высокую и тонкую среду интроспективного мышления. [112] Тем не менее, этот образный мир, несомненно, демонстрирует внутреннюю активность, которая не полностью зависит от чувственных ассоциаций, поступающих извне. Иными словами, один образ предполагает другой, этот — другой и так далее, хотя, как я только что признал, это не может быть следствием последовательных актов внутреннего внимания или самосознательного созерцания образов, известных как таковые. Тем не менее, то, что в умах животных происходит внутренняя — хотя и непреднамеренная — игра идей без необходимости в непосредственных ассоциациях, возникающих из существующих объектов чувств, вполне подтверждается феноменами сновидений, галлюцинаций, тоски по дому, тоски по отсутствующим друзьям и т. Д., Которые, как я полностью показал в моей предыдущей работе, могут быть объяснены только признанием такой игры внутренних идей. [113] Теперь я считаю важным отметить, что такая внутренняя игра идей, таким образом, возможна даже при отсутствии самосознания, потому что многие авторы предположили, без каких-либо оснований, что если идеи намеренно не рассматриваются как таковые, их возникновение должно полностью зависеть от ассоциаций, создаваемых существующими объектами чувств. Конечно, я не сомневаюсь, что агент, способный намеренно сделать одну идею объектом другой, также способен пойти гораздо дальше, чем животное, в том, чтобы заставить одну идею исходить из другой, независимо от непосредственной стимуляции извне. Моя точка зрения здесь состоит лишь в том, чтобы отметить, что мышление животных не полностью зависит от такой стимуляции; но способно, в определенной скромной степени, формировать свои собственные независимые цепочки.

Следующее, что я хотел бы запомнить в связи с мышлением животных, - это то, что оно не ограничивается простым воспроизведением в памяти конкретных объектов чувственных впечатлений; но, как мы так подробно видели в главе III, допускает такую степень умственной переработки, которая относится к тому, что я назвал рецептами.

Более того, основы самосознания в значительной степени заложены в том факте, что организм представляет собой единое связанное целое; все части взаимосвязаны в единстве индивидуальной чувствительности. Каждый стимул, поступающий извне, каждое движение, исходящее изнутри, несет в себе характер принадлежности к тому, что чувствует и движется. Следовательно, животное, подобно маленькому ребенку, научилось отличать свои собственные члены, а также все свое тело от всех других объектов; оно знает, как избегать источников боли, как искать источники удовольствия; и оно также знает, что определенные движения следуют из определенных волевых побуждений, в то время как в связи с такими движениями оно постоянно испытывает одни и те же мышечные ощущения. Конечно, все такие знания и такой опыт

принадлежат к сфере восприятия; но это не мешает тому, что они играют важнейшую роль в закладке основ сознания индивидуальности. [114]

Наконец, и это, я полагаю, в данной связи имеет еще большее значение, чем любой из вышеназванных предшествующих факторов, значительное пропорциональное число приемов животного имеют отношение не к объектам чувств и даже не к мышечным ощущениям, а к *психическим состояниям других животных*. То есть логики рецептов, даже у животных, достаточно, чтобы позволить разуму устанавливать истинные аналогии между своими собственными состояниями (хотя они еще не являются объектами отдельного внимания или того, что можно назвать субъективным знанием) и соответствующими состояниями других умов. Мне нет необходимости останавливаться на этом моменте, потому что я считаю общеизвестным, что животные привычно и точно интерпретируют психические состояния других животных, в то время как они также хорошо знают, что другие животные способны аналогичным образом интерпретировать *их* — что лучше всего доказывается их практикой искусства хитрости, сокрытия, лицемерия и т.д. [115] Из которой размышляя, мы приходим к общему выводу, что разумные животные распознают мир выбрасываемых веществ так же, как и мир объектов: ментальное существование известно им на уровне выбрасывания, хотя, насколько можно допустить, они никогда *не задумывались над этим* субъективно. [116]

Далее важно отметить, что на этой стадии ментальной эволюции индивид — будь то животное или младенец — настолько осознает свою индивидуальность, что логика рецептов сообщает ему, что он *единственный в своем роде*. Я не имею в виду, что на этой стадии индивид осознает свою собственную или какую-либо другую индивидуальность как таковую; просто он осознает тот факт, что он является одним из множества сходных, хотя и различных форм жизни. Подобно конфликту, соперничеству, чувству ответственности за наказание или месть и т. Д., в разум животного постоянно внедряется истина о том, что оно является отдельной индивидуальностью; и это при том, что животное никогда не способно, даже самым смутным образом, думать о себе как о таковом. Таким образом, возникает своего рода “внешнее самосознание”, которое отличается от истинного или внутреннего самосознания только отсутствием какого-либо внимания, направленного на внутренние ментальные состояния как таковые. Это внешнее самосознание известно всем нам, даже во взрослой жизни - мы сравнительно редко останавливаемся в нашей повседневной деятельности, чтобы поразмыслить над психическими процессами, выражением которых является эта деятельность.

Теперь, если это так, мы сталкиваемся с необходимостью провести такое же различие в нашем анализе самосознания, какое нам приходилось проводить в наших предыдущих анализах всех других способностей ума: существует самосознание, которое является восприимчивым, и самосознание, которое является концептуальным. Несомненно, только к последнему виду самосознания этот термин строго применим, точно так же, как только к концептуальному именованию или к концептуальному предсказанию строго применимо слово “суждение”. Тем не менее, здесь, как и прежде, мы не должны игнорировать важную область разума только потому, что она до сих пор оставалась неизведанной. [117] Таким образом, Рецептивное, или внешнее, самосознание - это практическое осознание себя как активного и чувствующего агента; в то время как концептуальное, или внутреннее, самосознание - это интроспективное осознание себя как объекта познания и, следовательно, как субъекта. Следовательно, одна форма самосознания отличается от другой тем, что она только объективна и никогда не бывает субъективной. [118]

Таким образом, я полагаю установленным, что истинное или концептуальное самосознание состоит в том, чтобы уделять внутренним психическим процессам такое же внимание, какое обычно уделяется внешним физическим процессам; что в уме животных и младенцев существует мир образов, выступающих в качестве знаков внешних объектов, хотя мы можем признать, что по большей части они могут быть возрождены только чувственными ассоциациями; что на этой стадии ментальной эволюции логика рецептов включает как эзотерический, так и объективный мир; и что здесь мы также имеем признание индивидуальности, поскольку это зависит от того, что произошло. было названо внешним самосознанием, или сознанием себя как чувствующего и активного агента, без сознания себя как объекта мысли и, следовательно, как субъекта.

Поскольку психические условия предшествовали возникновению истинного самосознания, мы можем затем обратиться к растущему ребенку за доказательствами последующих этапов постепенной эволюции этой способности. Все наблюдатели сходятся во мнении, что в течение значительного времени после того, как ребенок научается использовать слова для выражения идей, от истинного самосознания не остается и следа. Но, чтобы начать наше исследование до этого периода, в годовалом возрасте даже собственный организм не известен ребенку как часть "я", или, правильнее сказать, как нечто, специально связанное с чувствами. Профессор Прейер заметил, что его мальчик, когда ему было больше года, укусил себя за руку, как будто это был инородный предмет; и, таким образом, можно сказать, что он проявил даже меньшее осознание конечности как принадлежащей "себе", чем попугай Бюффона, который сначала попросил у себя свой собственный коготь, а затем выполнил просьбу, вложив коготь в свой клюв — точно так же, как он отдал бы коготь любому другому, попросившему его теми же словами.

Позже, когда уже объясненное внешнее самосознание начало развиваться, мы обнаруживаем, что ребенок, подобно животному, научился ассоциировать свой собственный организм со своими собственными ментальными состояниями таким образом, что он признает свое тело как особым образом принадлежащее "я", поскольку "я" распознается логикой рецептов. Это та стадия, с которой мы встречаемся у животных. Затем ребенок начинает говорить, и, как и следовало ожидать, этот первый перевод логики рецептов раскрывает тот факт, что пока еще нет *внутреннего* самосознания, а только внешнее: пока что ребенок не уделяет *внимания* своим собственным психическим состояниям, кроме ощущения, что он их ощущает; и в результате мы обнаруживаем, что ребенок говорит сам с собой как с объектом, *т.е.* своим собственным именем или в третьем лице. Иными словами, "ребенок еще не противопоставляет себя всем внешним объектам, включая всех других людей, но рассматривает себя как один из многих объектов". [119] Смена фразеологии ребенка с говорения о себе как об объекте на говорение о себе как о субъекте происходит — или редко происходит — до третьего года. Когда это произошло, у нас есть определенные свидетельства истинного самосознания, хотя оно все еще находится в зачаточной стадии. И сомнительно, что это изменение произошло бы даже в таком раннем возрасте, как третий год, если бы ему не способствовала "социальная среда". Ибо, как замечает м-р Салли, "отношение "я" и "не-я", включая отношение между "Я" и "Ты", постоянно привлекается к вниманию ребенка языком других". [120] Но, принимая во внимание это великое изменение в течение периода жизни, когда оно действительно наблюдается, давайте попытаемся проследить фазы его развития.

Несомненно, все свободно признают, что, по крайней мере, до того момента, когда ребенок начинает говорить, у него нет начала какого-либо истинного или интроспективного

самоосознания; и далее, следует признать, что, когда это сознание начинает зарождаться, использование языка ребенком может рассматриваться как справедливый показатель всего его последующего прогресса. Итак, мы уже видели, что задолго до того, как используются какие-либо слова, указывающие хотя бы на зарождающееся осознание себя как самости, ребенок уже настолько продвинулся в использовании языка, что может формулировать имплицитные предложения. Но чтобы никто не подумал, что мое суждение по этому вопросу предвзято из-за остроты моих аргументов, я могу снова процитировать мистера Салли как беспристрастного свидетеля и в высшей степени компетентного авторитета в вопросах чисто психологической доктрины.

“Когда полуторагодовалый ребенок, увидев собаку, восклицает "Бау", или, взяв еду, восклицает 'От' (горячая), или, уронив игрушку, говорит "Доу" (Вниз), можно сказать, что он неявно формулирует суждение: 'Это собака', 'Это молоко горячее', 'Моя игрушка упала'. Первые эксплицитные суждения касаются отдельных объектов. Ребенок отмечает в объекте нечто неожиданное или удивляющее и выражает результат своего наблюдения в суждении. Так, например, было замечено, что неоднократно упоминавшийся мальчик, которого мы назовем С., впервые сформировал отчетливое суждение в возрасте девятнадцати месяцев, сказав 'Дит ки' (Сестра плачет). Эти первые суждения относятся в основном к еде ребенка или другим вещам, имеющим для него первостепенное значение. Таким образом, одними из первых попыток сочетания слов в предложениях, предпринятых К., о которых уже упоминалось, были следующие: 'Ка в молоке' (Что-то неприятное в молоке); 'Молоко осмелится сейчас' (В чашке еще осталось немного молока). К концу второго года выдается довольно много суждений, касающихся особенностей объектов, которые удивляют или производят впечатление на ум, их измененного положения в пространстве и т. Д. Среди них можно привести следующие: 'Dat a big bow-wow' (это большая собака); 'Dit naughty' (Сестра непослушная); 'Dit dow ga' (сестра лежит на траве). По мере роста наблюдательности и расширения интереса ребенка к вещам увеличивается количество его суждений. И по мере того, как развиваются его способности отделять отношения, произносить и комбинировать слова, он отваживается на более сложные высказывания, например "Мама-непослушная, скажи это". [121]

Если бы это было необходимо, я мог бы подтвердить все эти утверждения из моих собственных заметок о развитии интеллекта детей; но я предпочитаю, по уже указанной причине, привести подобные факты от беспристрастного свидетеля. Ибо я полагаю, что это факты высочайшей важности по отношению к нашему настоящему предмету, как я немедленно продемонстрирую.

Теперь перед нами неоспоримое доказательство того, что у растущего ребенка есть способность не только формировать, но и выражать предконцептуальные суждения задолго до того, как появятся какие-либо свидетельства того, что у ребенка проявляются малейшие зачатки внутреннего, концептуального или истинного самосознания. Другими словами, следует признать, что задолго до того, как человеческий разум будет достаточно развит, чтобы воспринимать отношения как связанные или утверждать истину как истинную, он способен воспринимать отношения и утверждать истину: логика рецептов здесь связана с теми высшими рецептивными суждениями, которые я назвал предконцептуальными, и способна выражать такие суждения в словесных знаках без вмешательства истинного (*то есть* интроспективного) самосознания. Следует помнить, что я ввел в обиход эти различные термины, чтобы признать возможное возражение о том, что не может быть истинных суждений без истинного самосознания. Но меня не волнует, какие термины используются для обозначения различных и

последовательных фаз развития, которые я сейчас пытаюсь показать. Все, что я хочу прояснить, - это то, что здесь мы, несомненно, имеем дело с *ростом*, или с непрерывным повышением степени в отличие от различия рода.

Итак, прежде всего следует отметить, что в этих рудиментарных суждениях мы уже значительно продвинулись вперед по сравнению с теми, которые, как мы считали, встречаются у животных. Ибо у ребенка между вторым и третьим годами жизни мы имеем эти рудиментарные суждения, не только сформированные логикой рецептов, но и выраженные логикой предварительных концепций способом, который неотличим от предикации, за исключением отсутствия самосознания. “Dit dow ga” - это пропозиция во всех отношениях, за исключением отсутствия связки, которая, как я показал ранее, не имеет отношения к психологическому моменту. Ребенок здесь воспринимает определенный факт и выражает это восприятие словами, *чтобы передать информацию об этом факте другим умам* - точно так же, как животное при сходных обстоятельствах использует жест или голосовой знак; но ребенок не более способен, чем животное, намеренно сформулировать в своем собственном уме утверждение, которое оно делает другому. Тем не менее, поскольку ребенок теперь имеет в своем распоряжении гораздо более эффективную систему создания знаков, чем животное, и, более того, пользуется двойным преимуществом, поскольку наследует сильную склонность передавать восприятие с помощью знаков и окружен речевым посредничеством, мы едва ли можем удивляться, что его практические суждения (хотя они все еще не охвачены самосознанием) должны более привычно выражаться знаками, чем практические суждения животных. Не нужно также удивляться, принимая во внимание те же соображения, что предикативные фразы, используемые ребенком в этом возрасте, демонстрируют значительный прогресс по сравнению с аналогичными фразами, используемыми попугаем, в том смысле, что подлежащие и сказуемые больше не связаны вместе в определенных фразах - или, возвращаясь к предыдущему сравнению, больше не являются стереотипными в таких конкретных фразах, но допускают использование в качестве подвижных типов для построения с помощью различных комбинаций множества различных фраз. Для говорящей птицы фраза, как мы видели, с точки зрения значения не больше, чем отдельное слово; в то время как для ребенка, на рассматриваемой нами стадии, это очень много больше: это отдельно сконструированное средство для передачи определенного значения, которое, возможно, никогда раньше не передавалось ни этой, ни какой-либо другой фразой. Но хотя мы, таким образом, придаем должное значение столь значительному продвижению к способности истинного предикирования, мы должны заметить, с одной стороны, что пока это *не* истинное предикирование в смысле выражения истинного или концептуального суждения; и, с другой стороны, мы должны заметить, что способность такого использования слов в качестве подвижных типов не заслуживает того, чтобы рассматриваться как какой-либо удивительный или необъяснимый прогресс в способности создания знаков, если мы должным образом учтем несколько изложенных выше соображений. Действительно важно отметить, что, несмотря на этот значительный *прогресс* в направлении способности к предикации, эта способность *еще не достигнута*: высказываемые суждения все еще остаются без внимания самосознания: они не концептуальны, а доконцептуальны.

Итак, дана эта стадия ментальной эволюции и что за ней следует? Следует помнить, что я не пытаюсь решить неразрешимую проблему относительно внутренней природы самосознания или того, как такое возможно. Я просто принимаю его существование (и, следовательно, его возможность) как факт; и на основе этого факта я сейчас попытаюсь показать, как, по моему

мнению, можно рассматривать самосознание как продолжение той стадии ментальной эволюции, которой мы здесь достигли.

Ребенок, как и животное, благодаря своей логике рецепций наделяется миром образов, выступающих в качестве знаков внешних объектов; непосредственным знанием других разумов; и тем видом осознания себя как активного, страдающего и ответственного агента, который, следуя м-ру Чонси Райту, я назвал “внешним самосознанием”. Но, помимо животного, ребенок, как мы только что видели, имеет в своем распоряжении более совершенный механизм создания знаков, который позволяет ему обозначать для других умов (уже известных) содержание своего восприимчивого знания. Теперь, среди этого содержания есть восприятие ребенком психических состояний других людей, выраженное в их жестах, интонации и словах. Они по отдельности получают свои соответствующие названия и, таким образом, приобретают ясность и точность в виде выталкивающих образов соответствующих состояний, переживаемых самим ребенком. “Мама порадовала Додо” в устах ребенка не имело бы никакого значения, если бы ребенок не знал по своим собственным ощущениям, каково душевное состояние, которое он таким образом опрометчиво приписывает другому. Поэтому мы не можем удивляться, обнаружив, что на той же стадии ментальной эволюции ребенок скажет: “Дронт обрадовался маме”. Однако очевидно, что здесь мы приближаемся к самым границам истинного самосознания. “Додо”, без сомнения, все еще говорит о себе в объективной терминологии; но он продвинулся так далеко в интерпретации своих собственных состояний ума, что называет их не менее ясно, чем он называет любые внешние объекты чувственного восприятия. Таким образом, он способен фиксировать эти состояния перед своим ментальным взором как вещи, которые допускают *обозначение* словесными знаками, хотя он еще не способен *дать им название*.

Шаг от этого до признания “Дронта” не только объектом, но и субъектом психических изменений невелик. Простой акт прикрепления словесных знаков к внутренним ментальным состояниям приводит к фокусированию внимания на этих состояниях; и когда внимание таким образом фокусируется привычно, возникает единственное дополнительное условие, необходимое для того, чтобы позволить уму, благодаря своей памяти о предыдущих состояниях, сравнивать свое прошлое с настоящим и, таким образом, достигать того понимания непрерывности между его собственными состояниями, в котором заключается полное интроспективное осознание себя.

Опять же, как замечает мистер Чонси Райт, “произвольной памяти, или воспоминаниям, особенно способствует владение языком. Это предварительный процесс, по сути, аналогичный процессу поиска потерянного или отсутствующего внешнего объекта. в нем предпринимаются попытки оживить отсутствующий ментальный образ или последовательность образов с помощью слов; и, с другой стороны, оживить отсутствующее имя с помощью ментальных образов или даже других слов. Нет уверенности в том, что эта способность является исключительно человеческой, как принято считать, за исключением высокой степени мастерства, достигнутой людьми в ее использовании. Не кажется невозможным, что умной собаке может помочь ее внимание, намеренно направленное на спонтанные потребности, вспомнить недостающий факт, такой как местонахождение зарытой кости ”. [\[122\]](#)

Но независимо от того, обладают ли животные какой-либо способностью к воспоминанию в отличие от памяти, не может быть сомнений в том, что использование слов в качестве знаков

обязательно ведет к развитию этой способности и, таким образом, к ясному восприятию непрерывности внутренних или ментальных состояний, в которых заключается сознание постоянного "я".

Далее, овладение языком значительно продвигает концепцию "я", как страдающего или чувствующего агента, так и активной причины; поскольку и чувства, и действия "я" четко представляются уму с помощью денотативных названий и даже, как мы только что видели, с помощью предконцептуальных предложений. Несомненно также, что осознанию себя в каждой из этих способностей в значительной степени способствуют эмоции. Выражения привязанности, сочувствия, похвалы, порицания и т. Д. Со стороны других, А также чувства соперничества, гордости, триумфа, разочарования и т. Д. Со стороны "я" - все это должно иметь тенденцию к сильному формированию у растущего ребенка чувства личности. "Именно тогда, когда внимание ребенка направлено внутрь в акте размышления о своих собственных действиях, как проистекающих из хороших или плохих мотивов, он пробуждается к более полному осознанию самого себя". [123]

Совокупность всех этих факторов приводит к постепенному достижению самосознания. Я говорю "постепенный", потому что этот процесс носит повсеместный характер роста. Тем не менее, есть некоторые основания полагать, что, когда этот рост достигает определенной точки, он совершает, так сказать, внезапный скачок прогресса, который, можно считать, имеет такое же отношение к развитию разума, какое акт рождения имеет к развитию тела. Ни в том, ни в другом случае разработка не является чем-то вроде завершенной. На полпути между медленно развивающимися фазами *внутриутробного развития* и медленно развивающимися фазами последующего роста в организме человека происходят большие и внезапные изменения в тот момент, когда он впервые отделяется от тела своего родителя. И вот, есть некоторые основания полагать, что так обстоит дело с человеческим разумом. На полпути между постепенной эволюцией восприятия идей и не менее постепенной эволюцией концептуализма, по-видимому, наступает критический момент, когда душа впервые отделяется от питательного тела своих родительских восприятий и просыпается в новом мире сознательно индивидуального существования. "Die Schlussprozesse, durch welche jene Trennung des Ich von der Aussenwelt vor sich geht, geschehen allmählig. Es ist eine langsame Arbeit, durch die sich die Scheidung bewerkstelligt. Doch diese Scheidung selber ist stets eine plötzliche That: es ist ein bestimmter Moment, in welchem das Ich mit einem Mal mit voller Klarheit in der Seele aufblitzt, und es ist derselbe Moment, in welchem das bewusste Gedächtniss beginnt, Sehr häufig ist es daher, dass gerade diesses erste blitzähnliche Aufleuchten des Selbstbewusstseins bis in späte Jahre noch als deutliche Erinnerung zurückbleibt." [124]

Конечно, свидетельства по этому вопросу всегда должны быть более или менее неудовлетворительными — во-первых, потому, что способности к интроспективному анализу в то конкретное время, когда они только зарождаются, должны быть крайне некомпетентны, чтобы сообщать об обстоятельствах своего собственного рождения; и, во-вторых, потому, что мы знаем, насколько ненадежно полагаться на воспоминания взрослых о детском опыте. Поэтому я упомянул об этом свидетельстве только для того, чтобы отметить, что оно не имеет существенного отношения к нашему нынешнему предмету. Независимо от того, есть ли в жизни каждого человека какой-то особый момент в возрасте от двух до трех лет, когда растущему разуму открывается факт его собственной индивидуальности, на результаты настоящего анализа это никоим образом не влияет. Ибо, даже если бы предполагалось, что это неизменно

так, нельзя было бы предположить, что откровение было чем-то иным, кроме низкого и слабого уровня, соизмеримого со все еще почти инфантильным состоянием всех других умственных способностей. Также не подлежит сомнению, что к этому раскрытию должен был привести тот постепенный процесс эволюции восприятия, с которым был связан мой анализ и который в терминах нашей предыдущей аналогии мы можем сравнить с внутриутробной жизнью эмбриона. Хотя, с другой стороны, столь же мало можно сомневаться в том, что такое самосознание, которое раскрывается тогда, требует последующего дополнения другим длительным курсом ментальной эволюции в концептуальной сфере, прежде чем будут достигнуты те законченные способности к интроспективному мышлению, которые отличают разум взрослого человека от разума лепечущего ребенка почти так же сильно, как за тот же промежуток времени тело взрослого человека отличается от тела новорожденного младенца.

В этом кратком анализе принципов, которые, вероятно, имеют отношение к эволюции самосознания, я хотел бы особо подчеркнуть тот момент в нем, который, как мне кажется, не был в достаточной степени замечен предыдущими авторами, а именно — объективное происхождение субъективного знания. Логика рецептов обеспечивает как младенца, так и животное удивительно эффективным хранилищем выбрасываемой информации.

Действительно, мы едва ли можем сомневаться в том, что в очень значительной степени эта информация передается по наследству: наблюдайте улыбку младенца в ответ на ласковый тон и его крик в ответ на ругающий; не говоря уже о еще более замечательных случаях, с которыми мы встречаемся у животных, таких как только что вылупившиеся цыплята, понимающие различные звуки, издаваемые курицей, испуганные голосом ястреба, новорожденные млекопитающие, узнающие голос своей матери, и т.д. [125] Более того, мы обнаруживаем, что ребенок, даже в течение значительного времени после того, как он начал использовать слова, проявляет сильную тенденцию рассматривать все объекты, будь то одушевленные или неодушевленные, как выброшенные. Этот факт является предметом такого общего наблюдения, что мне нет необходимости ждать, чтобы привести особые примеры. Поэтому я просто замечу, что эта тенденция не исчезает полностью даже тогда, когда полностью приобретена способность говорить, а вместе с ней и общее знание различия между объектами как одушевленными и неодушевленными. Мистер Салли, например, приводит пример этого, когда он записывает высказывание пятилетней девочки: “Мама, я действительно думаю, что этот обруч должен быть живым; он такой разумный; он идет туда, куда я хочу”. [126] Опять мы встречаемся с той же тенденцией в психологии некультурного человека. Страницы могли бы быть заполнены иллюстрациями, показывающими, что дикари во всем мире как мысленно, так и явно персонифицируют неодушевленные предметы и силы природы или наделяют их психическими атрибутами; в то время как язык, даже в его наиболее высокоразвитых формах, все еще сохраняет отпечаток первоначально использованной терминологии. И, если профессор Макс Мюллер прав в своем обобщении о том, что личное местоимение “Я” во всех языках восходит к корням, эквивалентным “Этот” (указывающим на сопровождающий жест-знак), у нас есть дополнительные и более конкретные доказательства изначально выталкивающего характера идеи “я”. Не будет преувеличением сказать, что даже цивилизованный человек все еще находится под влиянием этой врожденной склонности приписывать внешним вещам способности чувствовать и желать, которые он осознает в себе. С одной стороны, мы имеем доказательство этого во всеобщей распространенности гипотезы психизма в Природе, в то время как с другой стороны, мы встречаемся с дальнейшим доказательством в факте

психологического анализа, раскрывающего, что наша идея причины происходит от нашей идеи мышечного усилия.

Теперь очевидно, что во всех этих случаях тенденция, проявляемая человеческим разумом на каждой стадии его развития, рассматривать внешние явления отстраненно, возникает из интуитивного знания человека — или знания, которое дается в логике рецептов, — о его собственном существовании как двойственном, телесном и ментальном. Это в первые дни жизни приводит его к тому, что он рассматривает свое Эго как выброшенное, похожее на других представителей своего вида, которыми он окружен. Но как только достигается способность к предконцептуальному предикированию, ребенок получает в свое распоряжение психологический инструмент, с помощью которого можно наблюдать свои собственные ментальные состояния; и как только внимание таким образом направляется на них, возникает то, что подразумевается в каждом акте такого внимания, а именно - сознание себя одновременно субъектом и объектом познания.

Я могу заметить, что этот анализ не противоречит, как может показаться на первый взгляд, заключению по тому же предмету, сделанному таким образом Вундтом: “Только после того, как ребенок по определенным характеристикам отличит свое собственное существо от других людей, он делает дальнейший шаг вперед в понимании того, что эти другие люди также являются существами сами по себе”. [127] Другими словами, приписывание личности себе предшествует приписыванию личности другим. Теперь я не подвергаю это сомнению, хотя и не думаю, что в этих двух концепциях может быть много "до" или "после". Но суть, которую я пытался подчеркнуть, заключается в том, что до любой из этих концепций существуют две соответствующие рекомендации, а именно, во—первых, рецептивное восприятие себя как действующего лица и, во-вторых, выброс этого рецептивного восприятия, посредством которого “другие люди” признаются действующими лицами. Из этих двух принципов впоследствии развиваются соответствующие концепции личности. Следовательно, порядок развития таков:—

- (A) Субъект восприятия. (a) Субъектное изгнание.
- (B) Концептуальный субъект. (b) Концептуальное изгнание.

Таким образом, в целом мне кажется совершенно очевидным, что язык в такой же степени предшествует, как и является следствием самосознания. Мы видели, что в самом начале или до того, как ребенок способен сформулировать истину как истинное, то, что я назвал рудиментарной или предконцептуальной предикацией, касается только существования как объективного или выбрасываемого: все эти суждения, которые делаются детьми в течение первых двух лет их жизни, относятся к объектам чувств, состояниям чувств и т. Д.; Но никогда к "я" как к "я" и, следовательно, никогда к истинам как истинным. Но как только протоплазма предикации или создания знаков на этой стадии разработки начинает свободно смешиваться с протоплазмой суждения или логикой рецептов на этой стадии разработки, возникает внутреннее движение действия и противодействия: суждения становятся более ясными и всеобъемлющими, облекаясь в формальную форму даже рудиментарных предложений, в то время как последним способствует в их развитии растущая сила суждения. И когда эта прогрессирующая организация способностей достигает степени, позволяющей разуму

зарождаться для определения своих собственных состояний, можно сказать, что ментальный организм впервые вступает в жизнь истинного самосознания. [128]

ГЛАВА XI.

ПЕРЕХОД В ЛИЧНОСТИ.

Я думаю, что теперь мы располагаем достаточным материалом, чтобы начать наш ответ на поставленный нами вопрос, а именно: мыслимо ли, чтобы человеческий разум мог возникнуть естественным путем из разумов высших четвероруких? Я утверждаю, что материала, находящегося сейчас перед нами, достаточно, чтобы показать, что это не только возможно, но и неизбежно.

Прежде всего мы должны помнить, что у нас с низшими животными есть общее не только в восприятии, но и в том, что я назвал восприимчивой жизнью. До сих пор о какой-либо разнице в роде нельзя было даже предположить. Таким образом, различие, будь то в виде или степени, касается только тех дополнительных элементов психологии, которые свойственны человеку и которые, вслед за другими психологами, я назвал концептуальными. Я намеренно говорю "элементы", потому что никто не оспаривает, что все различия концептуальной жизни являются различиями в степени или что от представления дикаря к представлению Шекспира, несомненно, происходит непрерывное восхождение. Таким образом, возникает единственный вопрос о соотношении между высшим представлением о животном и низшим представлением о человеке.

Теперь, рассматривая этот вопрос, мы должны сначала вспомнить, до какого необычайно высокого уровня адаптивного мышления способна довести их чисто рецептивная жизнь животных. Если мы сравним идею моего себуса, который честно исследовал механический принцип винта, а затем применил свои специально приобретенные знания к винтам в целом, — если мы сравним эту идею с идеей человека эпохи палеолита, который на протяжении бесчисленных тысяч лет не продвинулся ни на шаг в обтесывании кремня, мы не можем сказать, что при оценке практической эффективности или адаптации одно кажется намного опережающим другое. Или, если мы вспомним, что те же самые люди так и не додумались до простого способа прикрепить отколотый кремень к рукоятке, чтобы сделать топорик из долота, [129] нельзя сказать, что в вопросе механических открытий ранняя концептуальная жизнь показала какой-либо значительный прогресс по сравнению с высокой восприимчивостью моего себуса. Тем не менее, я допускал — нет, настаивал, — что независимо от того, насколько сложной может быть структура рецептивного знания или насколько замечательным адаптивным действием оно может побудить, "практический вывод" или "рецептивное суждение" всегда отделяется от концептуального вывода или истинного суждения тем огромным различием, что само по себе оно не является объектом знания. Несомненно, это удивительный факт, что с помощью одних только рецептивных знаний обезьяна должна быть способна разгадать механический принцип работы *винта*, а затем применить свое открытие ко всем *винтам*. Но даже здесь нет ничего, что указывало бы на то, что обезьяна когда-либо *думала* об этом

принципе *как* о принципе; более того, мы можем быть вполне уверены, что она никак не могла этого сделать, поскольку у нее не было интеллектуальных инструментов - и, следовательно, *предшествующих условий*, — необходимых для этой цели. Все, что делала обезьяна, - это воспринимала рецептивно определенные аналогии; но она *непостигала* их и не конституировала их объектами мышления *как* аналогии. Следовательно, он был неспособен *обосновать* сделанное им открытие или представить своему собственному разуму в качестве знания то знание, которое он приобрел.

Или, возьмем другую иллюстрацию, птица, которая увидела, как трое мужчин вошли в здание, и сделала вывод, что один, должно быть, все еще оставался, когда вышли только двое, сделала вывод рецептивно: единственными данными, которыми она располагала, были те, которые предоставлялись дифференциальным чувственным восприятием. Но хотя этих данных было достаточно для проведения того, что м-р Майварт называет “практическим выводом”, и, таким образом, для того, чтобы позволить ей узнать, что мужчина все еще остался позади, их было явно недостаточно, чтобы позволить ей узнать числовые соотношения *как* отношения или каким-либо образом сформулировать для себя предикат $3-2 = 1$. Чтобы сделать это, птице потребовалось бы покинуть область рецептивного знания и подняться в область концептуального: ей потребовалось бы в той или иной форме заменить идеи символами. В том, что касается этого различия, нет никакой разницы, когда мы узнаем, что при общении с некоторыми дикарями “за каждую овцу нужно платить отдельно: таким образом, предположим, что две пачки табака являются обменным курсом на одну овцу, даммарца было бы крайне затруднительно взять двух овец и дать ему четыре пачки”. [130] Все, что показывают подобные факты, - это то, что в некоторых отношениях высшая рецептивная жизнь животных достигает почти такого же высокого уровня мышления, как низшая концептуальная жизнь человека; и хотя этот факт, без сомнения, значительно уменьшает трудность, которую, по утверждению моих оппонентов, связывает с предположением о генетической преемственности этих двух процессов, сам по себе он не устраняет психологического различия между восприятием и концептом.

Это различие, как мы теперь так часто видели, состоит в том, что восприятие является идеей, которая сама по себе не является объектом познания, тогда как концепция, в силу того, что она была названа самосознающим агентом, является идеей, которая предстает перед умом этого агента *как* идея или *как* состояние ума, которое допускает интроспективное созерцание *как* таковое. Но хотя в этом различии мы имеем то, что я согласен с моими оппонентами в том, что оно является величайшим единственным различием, с которым можно встретиться в психологии, я полностью возражаю против их способа его анализа. Ибо то, что они делают, - это берут концепцию в ее наиболее развитой форме, а затем противопоставляют это восприятию животного. Более того, как мы видели, они даже выходят за рамки концепции и утверждают, что “простейшим элементом мышления” является суждение, выраженное в предложении — *т.е.* два понятия *плюс* указание на связь между ними! Действительно, с таким же успехом мы могли бы утверждать, что простейшим элементом материи является H_2CO_4 , или простейшим элементом звука является такт симфонии до минор. Следовательно, очевидно или просто в рамках самого элементарного психологического анализа, если мы говорим, что простейшим элементом мышления является суждение, мы должны расширить значение этого слова от ментального акта, рассматриваемого в полной предикации, до ментального акта, рассматриваемого в простейшей концепции.

И не только поэтому. Мои оппоненты не только совершили грубую ошибку, рассматривая предикативное суждение как “простейший элемент мышления”; они также упустили из виду, что даже понятие требует анализа в отношении его предшественников, прежде чем на действительно простейший элемент мышления можно будет указать как на доказательство психологического различия в единственном известном интеллекте, который его представляет. Итак, результатом моего анализа понятия было показать, что ему предшествует то, что я назвал предконцептами, которые допускают объединение в то, что я назвал зарождающимися, рудиментарными или предконцептуальными суждениями. Другими словами, мы видели, что рецептивная жизнь человека достигает более высокого уровня развития, чем рецептивная жизнь животных, еще до того, как она переходит в ту истинно концептуальную фазу, которая отличается присутствием самосознательной рефлексии. Поэтому, чтобы отличить эту высшую восприимчивую жизнь человека от низшей восприимчивой жизни животного, я использовал только что упомянутые термины.

Итак, вот и все об этих нескольких стадиях мышления, которые я сейчас повторил *до тошноты*. Переходя затем к моему анализу их различных способов выражения или их перевода в их эквивалентные системы знаков, мы увидели, что многие из низших животных способны передавать свои рекомендации посредством жестов, обозначающих предметы, качества, действия, желания и т. Д.; И что в единственном случае, когда они способны артикулировать, они таким образом передают свои рекомендации посредством слов. Следовательно, в некотором смысле можно сказать, что эти животные используют имена; но, чтобы не путать этот вид наименования с тем, что является отличительной чертой концептуального мышления, я принял схоластическую терминологию и назвал первый вид наименования актом обозначения, в отличие от акта обозначения. Более того, поскольку денотативный язык способен, как отмечалось выше, обозначать качества и действия, а также объекты, из этого следует, что на более высоких рецептивных (*т.е.* предконцептуальных) стадиях формирования идей денотативный язык способен конструировать то, что я назвал предконцептуальными предложениями. Они отличаются от истинных или концептуальных пропозиций отсутствием истинного самосознания у говорящего, который, следовательно, передавая полученные знания или констатируя истины, еще не может знать свои собственные знания или утверждать истины как истинные. Но не похоже, что доконцептуальное предложение отличается от концептуального в каком-либо другом отношении, хотя кажется, что одно постепенно переходит в другое по мере роста самосознания у каждого растущего ребенка. Теперь, если все это так, мы имеем право утверждать, что анализ выявил непрерывный переход между обозначением животного и предикацией человека. Ибо сам по себе факт, что у животного происходит только первая фаза, в то время как у человека, *пройдя параллельный курс развития*, эта фаза переходит в другую, — сам по себе факт, что это так, не может быть приведен в качестве доказательства того, что подобный переход никогда не происходил в психологической истории нашего вида, если только не может быть показано, что когда переход происходит в психологической истории индивида, он происходит таким внезапным и примечательным образом, что сам по себе указывает на то, что интеллект индивида тут же претерпел видоизменение.

Таков общий набросок моей аргументации, и теперь я перейду к деталям, рассматривая в историческом порядке различные стадии формирования идей, которые я назвал —*т.е.* рецептивную, предконцептуальную и концептуальную.

Поскольку это, как я понимаю, центральная суть вопроса, я приведу здесь несколько дополнительных примеров рецептивного и предконцептуального формирования идей, выраженных денотативными и коннотативными знаками со стороны ребенка, которые я тщательно наблюдал для этой цели.

В восемнадцать месяцев моя дочь, которая поздно начала говорить, любила рассматривать книжки с картинками и, как уже говорилось в предыдущей главе, получала большое удовольствие, называя изображенных в них животных: произнося *Ба* для обозначения овцы, *Мычание* для обозначения коровы, хрюкая для обозначения свиньи и с ревом мотая головой вверх-вниз для обозначения лошади или осла. Этим несколькими звукам и жестам няня научила ее как существительным, и она правильно применяла их в каждом случае, была ли книжка с картинками ей хорошо знакома или та, которую она никогда раньше не видела; и она точно так же называла все виды животных, изображенных на обоях, чехлах для стульев и т. Д., В незнакомых домах, или, короче говоря, всякий раз, когда встречала изображения предметов, названия которых она знала в детской. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что задолго до того, как она научилась составлять предложения или говорить в каком-либо собственном смысле, этот ребенок был способен обозначать предметы голосом и жестом. В это время она также правильно использовала ограниченное количество денотативных слов, обозначающих действия, — т.е. активные глаголы.

Несколько позже, через несколько недель, она спонтанно проявила способность употреблять прилагательные. Своего младшего брата она назвала “Ильда”, и вскоре после этого распространила это имя на всех маленьких детей. [131] Еще позже, просматривая свои книжки с картинками, всякий раз, когда она натыкалась на изображение овцы с ягнятами, она указывала на овец и говорила *Мама-Ба*, в то время как ягнятам она говорила *Ильда-Ба*. Точно так же обстояло дело с утками, курами и цыплятами, да и вообще со всеми животными, которым она дала имена. Здесь очевидно, что *Ilda* служила для передачи общей идеи *Youngi*, таким образом, первоначально использовалась как имя собственное или денотативное, теперь используется как прилагательное или коннотативное название. Но хотя оно и выражало качество, качество было настолько осмысленным, что прилагательное означало практически то же самое, что и субстантив, поскольку речь шла о какой-либо способности к абстракции: оно было эквивалентно слову *Baby*, когда в коннотативном расширении оно стало использоваться как прилагательное в приложении *Baby-Ba* для обозначения ягненка и т. Д.

Почти одновременно с усвоением прилагательных этот ребенок начал изучать использование нескольких пассивных глаголов и слов, обозначающих определенные состояния чувств; она также добавила в свой словарный запас несколько предлогов, указывающих на пространственные отношения, таких как *Вверх*, *внизу* т.д. [132]

В то время как делались эти успехи, общий прогресс способности создавать знаки также, и даже более заметно, проявлялся в другом направлении. Что касается речи в смысле формальной предикации, то, еще не начавшись, рассматриваемое развитие происходило в области жестов. Затем (через два года) она смогла выразить огромное количество простых идей с помощью комбинированного использования жестов-знаков, интонации голоса и большого коннотативного расширения своих слов. Жесты-знаки, однако, по-прежнему были самого простого или наиболее восприимчивого порядка, такие как потянуть кого-нибудь за платье, чтобы открыть дверь, указать на стакан, чтобы показать, что она хочет выпить, и т. Д. Иными

словами, индикативная стадия языка в значительной степени совпадала или перекрывала самые ранние фазы денотативной и рецептивно-коннотативной. Я уже говорил, что указательная стадия языка представляла собой самое раннее проявление способности к созданию знаков, которое я наблюдал у моих собственных детей, в то время, когда единственным выраженным желанием, казалось, было желание быть отведенным к указанному объекту; и, насколько я могу установить, это универсально верно для всех детей. Но сейчас дело в том, что, когда логические рекомендации стали более полными, желания, выражаемые указаниями, стали все более и более разнообразными, пока в возрасте двух с половиной лет (*т.е.* после того, как хорошо закрепились значительная артикуляция или истинное словообразование) указательная фаза языка не переросла в обычную пантомиму, как покажет следующий пример. Войдя в дом после первого купания в море, она подбежала ко мне, чтобы рассказать о своем новом опыте. Для этого она сначала указала на берег, затем сделала вид, что снимает одежду, заходит в море и ныряет; затем, проведя руками вверх по телу к голове, она показала, что вода достигла ее волос, которые, как она показала мне, все еще были мокрыми. Вся история была рассказана без использования ни единого членораздельного звука.

Теперь, в случае с этими иллюстрациями (и многими другими такого же рода, которые могут быть добавлены, если потребуется), мы находим тот же общий факт, а именно, что самая ранняя фаза развития речи у маленького ребенка — это та, которую я назвал индикативной, — *то есть* интонации и жесты, обозначающие чувства, объекты, качества и действия. Эта ориентировочная фаза речи, или создания знаков, длится у одних детей гораздо дольше, чем у других (особенно у тех, кто поздно начинает говорить); и чем дольше она длится, тем более выразительной становится опережающая мыслительная деятельность. Но во всех случаях в связи с этим необходимо соблюдать две вещи. Первое заключается в том, что на своих самых ранних стадиях и далее на протяжении значительной части своей истории оно в точности идентично соответствующим фазам выработки указательных знаков у низших животных. Так, например, профессор Прейер заметил, что в шестнадцать месяцев его собственный ребенок, который в этом возрасте не мог произнести ни слова, обычно делал руками жест, означающий прошение (“*Bittbewegung*”), что указывает на желание, чтобы что-то было сделано. Это, конечно, я выбираю как пример указательного жестикულიрования на сравнительно высоком уровне развития; но ему точно соответствует умная собака, которая “просит милостыню” перед кувшином с водой, чтобы обозначить свое желание попить, или перед любым другим объектом, в связи с которым она желает, чтобы что-то было сделано. [133] И так бывает с детьми, которые тянут кого-то за платье к закрытой двери, через которую они хотят пройти, многозначительно плачут из-за того, чем они хотят обладать или чтобы для них сделали и т.д.: дети здесь делают именно то, что кошки и собаки сделали бы при аналогичных обстоятельствах. [134] И хотя многие жестовые признаки детей в этом возрасте (*т.е.* Примерно до восемнадцати месяцев) не совсем совпадают с таковыми у низших животных, легко видеть, что там, где есть какие-либо различия, они обусловлены различными обстоятельствами телесной формы, социальными условиями и т.д.: Это не связано с какой-либо разницей в мышлении. То, что тип мышления, выражаемый указательными жестами маленьких детей, такой же, как и у животных, вызывающий аналогичные жесты, дополнительно подтверждается тем фактом, что еще до произнесения каких-либо членораздельных слов младенец (подобно животному) продемонстрирует понимание многих членораздельных слов, произносимых в его присутствии, и (также подобно животному) ответит на такие слова соответствующими жестами. Например, снова процитирую Прейера, он обнаружил, что его до сих пор безмолвный младенец смог

правильно указывать на определенные цвета, которые он назвал; и хотя, насколько мне известно, никто никогда не пытался научить животное делать это, мы знаем, что обученные собаки демонстрируют еще лучшее понимание слов с помощью соответствующих жестов. [135]

Другой момент, на который следует обратить внимание в связи с этими ранними стадиями выработки ориентировочных знаков у маленького ребенка, заключается в том, что рано или поздно они начинают перекрывать самую раннюю стадию выработки членораздельных знаков или словесного обозначения. Другими словами, денотативное знакообразование никогда не начинает происходить до тех пор, пока указательное знакообразование не достигнет значительного прогресса; а когда денотативное знакообразование действительно начинается, оно развивается параллельно с указательным: то есть оба вида знакообразования затем продолжают развиваться одновременно. Но когда словарный запас обозначения достаточно обогащен, чтобы позволить ребенку обходиться без менее эффективного материала, предоставляемого указанием, указательные знаки постепенно вытесняются денотативными, и слова заменяют жесты.

Таким образом, пока речь идет о самой ранней или ориентировочной фазе развития языка, нельзя утверждать, что между младенцем и животным существует разница даже в степени развития. Также нельзя утверждать о каком-либо подобном различии в отношении самых ранних проявлений следующих фаз языка, а именно денотативной и рецептивно-коннотативной. Ибо мы видели, что единственные животные, способные имитировать членораздельные звуки, будут использовать эти звуки с истинно денотативным значением. Более того, как мы также видели, в умеренных пределах они даже распространяют такое денотативное значение на другие объекты— которые считаются принадлежащими к тому же классу или виду, таким образом повышая первоначально денотативный знак до зарождающегося коннотативного значения. И хотя эти рецептивно—коннотативные способности попугая вскоре превосходят способности маленького ребенка, мы далее видели, что это происходит просто из-за быстрого повышения *степени* рецептивной жизни, которая имеет место у последнего, или, другими словами, что если бы попугай походил на собаку в способности видеть сходство между объектами и их изображениями, а также в гораздо большей способности понимать значения слов, то, без сомнения, их коннотативное распространение названий шло бы дальше, чем это происходит; и отсюда в этом вопросе параллель между попугаем и собакой. и ребенок продвинулся бы дальше, чем это происходит. Следовательно, единственная причина, по которой ребенок таким образом постепенно превосходит попугая в вопросе коннотации, заключается в том, что рецептивная жизнь ребенка постепенно приближается к жизни собаки — как я уже доказал, показав, что указательные или жестовые знаки, используемые ребенком после того, как он таким образом превзошел попугая, психологически идентичны тем, которые использует собака. Более того, там, где обозначение зарождается поздно и развивается медленно — как в случае с моей собственной дочерью, — эти указательные знаки, как мы видели, становятся гораздо более совершенными, так что при таких обстоятельствах двухлетний ребенок разыграет небольшую пантомиму с целью рассказать о своих переживаниях. Теперь этот факт позволяет мне обойтись без воображаемого сравнения с собакой, которая умеет говорить, или с попугаем, таким же умным, как собака; ибо этот факт дает мне обратный пример ребенка, *не* способного говорить в обычном возрасте. Никто не может предположить, что интеллект такого ребенка в возрасте двух лет отличается от интеллекта другого ребенка того же возраста, который из-за более раннего овладения словами может позволить себе стать менее опытным в использовании жестов. [136] Таким образом,

случай с ребенком, поздно начавшим говорить, может быть принят как психологический показатель развития человеческого мышления рецептивного порядка, который случайно допускает более тесное сравнение с таковым у высших млекопитающих, чем это возможно в случае с ребенком, который начинает говорить в обычном возрасте. Но что касается первого случая, мы уже видели, что жесты вначале гораздо менее выразительны, чем у собаки, затем постепенно улучшаются, пока не станут психологически идентичными, и, наконец, продолжают таким же постепенным образом по той же линии продвижения. Следовательно, если в этом случае нельзя утверждать о каких-либо видовых различиях до достижения возраста говорения, то нельзя утверждать и о них *после* достижения возраста говорения в случае, когда это происходит раньше. Или, говоря использованными ранее словами, если бы собака, подобная попугаю, могла использовать словесные знаки, или если бы попугай был равен по интеллекту собаке, коннотативные способности ребенка оставались бы параллельными таковым у животного на несколько более длительном этапе психологического развития, чем мы сейчас находим.

Вспоминая, затем, что животные, стоящие на столь низкой психологической ступени, как говорящие птицы, достигают уровня обозначения объектов, качеств и т. Д.; вспоминая, что некоторые из этих птиц распространяют свои денотативные названия на объекты и качества, явно принадлежащие к тому же классу; вспоминая, далее, что все дети до того, как они начинают говорить, значительно дистанцируются от говорящих птиц в отношении языка указаний или жестовых знаков, в то время как некоторые дети (или те, кто поздно начинает говорить) поднимают эту форму языка до уровня пантомимы, доказывая таким образом, что восприятие мыслей младенцев просто время, предшествующее тому, как они начинают говорить, неизменно выше, чем у говорящих птиц, и часто намного выше, чем у любого другого животного; помня все это, я говорю, что действительно было бы самым необъяснимым фактом, если бы дети вскоре после того, как они начали говорить, не продемонстрировали значительное превосходство над говорящими птицами в использовании денотативных знаков, а также в распространении таких знаков на коннотативные слова. Как мы видели, все благоразумные противники должны признать, что, прежде чем он сможет использовать любой из этих знаков, младенец движется в сфере восприятия идей, и что эта сфера уже (между одним и двумя годами) намного выше, чем у попугая. И все же, подобно попугаю, одним из первых его применений этих знаков является обозначение отдельных объектов и т. Д. Затем, подобно более умным попугаям, он расширяет значение своих денотативных названий на объекты, наиболее явно напоминающие те, которые были обозначены первыми. И с этого момента он быстро совершенствуется в своих способностях к коннотативной классификации. Но можно ли серьезно утверждать, принимая во внимание все вышеприведенные соображения, что этот быстрый прогресс в способностях коннотативной классификации указывает на какое-либо различие между представлением о ребенке и представлением о птице? Если допустить (а это должно быть, если только мои оппоненты не совершат аргументированного самоубийства), что младенец еще до того, как он вообще смог говорить, был ограничен рецептивной сферой мышления, и что в пределах этой сферы его мышление уже превосходило мышление птицы, — это просто означает признать, что ребенка *должны* поражать аналогии, которые несколько слишком далеки, чтобы поразить птицу. Следовательно, в то время как птица будет только переносить свое денотативное название с одного вида собак на другой, ребенок, сделав это, будет применять название к изображению и, наконец, к изображению собаки. Конечно, никто не будет настолько глуп, чтобы утверждать, что здесь, в начале выработки членораздельных

знаков, есть какие-либо свидетельства общего различия между человеческим разумом и разумом даже такого бедного представителя психологии животных, с которым мы встречаемся у попугая. Но если здесь нельзя утверждать такого различия, то и нигде больше оно не может быть утверждено, пока мы не достигнем той стадии человеческого мышления, когда разум способен созерцать это мышление как таковое. Следовательно, что касается стадий, которые мы сейчас рассматриваем (*т.е.* денотативной и рецептивно-коннотативной), я утверждаю, что мое дело рассмотрено. И все же это действительно самые важные стадии, о которых следует помнить; поскольку из—за того, что они были проигнорированы почти всеми авторами, утверждающими, что между человеком и животным существует видовая разница, наиболее важные — потому что начальные - стадии перехода были упущены из виду, и полностью развитые способности человеческой мысли контрастировали с их низким началом в создании животных, при этом не было уделено никакого внимания вероятной истории их развития. До сих пор, насколько я могу судить, ни один психолог не поставил ясно простой вопрос о том, всегда ли способность давать названия обязательно совпадает с способностью *мыслить имена*; и, следовательно, предполагалось, что эти две способности являются одной и той же. И все же, как я показал в предыдущей главе, даже в высших формах человеческого мышления мы обычно используем имена, не думая о них как о названиях, что доказывает, что даже в высших областях мышления эти две способности *необязательно* совпадают. [137] И здесь я далее показал, что, независимо от того, смотрим ли мы на животное или на человека, мы одинаково обнаруживаем, что одна способность в своем зарождении *полностью независима* от другой — что коннотативные названия появляются до того, как появляются какие-либо деноминационные мысли, и что эти коннотативные названия, когда они впервые встречаются у животного или ребенка, не указывают на дальнейшие способности к формированию идей, чем обозначаются те этапы в языке жестов, которые они повсеместно перекрывают. Названные приемы попугая не могут быть признаны моими оппонентами истинными концепциями, так же как они не могут считать, что указательные жесты младенца отличаются по своему характеру от жестов собаки.

Таким образом, я утверждаю, что ни в отношении индикативной, денотативной или коннотативной стадий создания знаков невозможно аргументированно утверждать о какой—либо разнице между интеллектом животного и человека - помимо, я имею в виду, каких-либо свидетельств самосознания у последнего, или до тех пор, пока интеллект обоих движется в том, что я назвал рецептивной сферой. Давайте затем рассмотрим то, что я назвал предконцептуальной стадией формирования идей, или ту высшую восприимчивую жизнь ребенка, которая, хотя и превосходит восприимчивую жизнь любого животного, еще не достигла концептуальной жизни человека.

Из того, что я уже сказал, следует, я полагаю, теперь признать, что в том месте, где восприимчивая жизнь ребенка впервые начинает превосходить восприимчивую жизнь любого другого млекопитающего, нельзя утверждать о каком-либо психологическом различии вида. Давайте, следовательно, согласимся задействовать эту предконцептуальную жизнь на значительно более высоком уровне и проанализируем качество мышления, которое проистекает из нее: давайте рассмотрим случай с ребенком примерно двух лет, который способен сформулировать такое рудиментарное, коммуникативное или предконцептуальное предложение, как *Dit ki* (Сестра плачет). В этом возрасте, как уже было показано, нет сознания себя как мыслящего агента и, следовательно, нет силы утверждать истину как истинную. *Dit* — это денотативное название одного рецепта, *ki* - денотативное название другого: объект и действие, которые эти два рецепта представляют по отдельности, случайно

встречаются вместе перед наблюдением ребенка: следовательно, ребенок обозначает их оба одновременно, т.е. *сопоставляет*. Это достигается простым следованием ассоциациям, ранее установленным между восприятием знакомого объекта с его денотативным названием *dit*, и восприятием часто встречающегося действия с его денотативным названием *ki*. Соотнесение в сознании этих двух рецептов с их соответствующими обозначениями, таким образом, осуществляется *для* ребенка посредством того, что можно назвать *логикой событий*: это не осуществляется *бу* ребенком посредством какой-либо преднамеренной или самосознательной группировки его идей, которая, как мы видели, составляет отличительную черту логики понятий.

При таком положении дел я ставлю своих оппонентов перед следующей дилеммой. Либо у вас есть суждение, либо его нет. Если вы считаете, что это суждение, вы должны также считать, что судят животные, потому что я уже давно доказал, что (согласно вашей собственной доктрине, а также моей) единственный пункт, по которому можно утверждать, что способность суждения различается у животных и у человека, заключается в наличии или отсутствии самосознания. Если, с другой стороны, вы ответите, что здесь у вас нет суждения, поскольку у вас нет самосознания, я спрошу вас, на какой стадии последующего развития интеллекта ребенка, по вашему мнению, возникает суждение? Если на это вы ответите, что суждение возникает впервые, когда возникает самосознание, я попрошу вас отметить, что, как уже было доказано, рост самосознания сам по себе является постепенным процессом; так что, согласно вашему нынешнему ограничению термина "суждение", становится невозможным сказать, когда эта способность действительно возникает. На самом деле, оно растет поэтапно, *параллельно* с ростом самосознания. Но если это так, то там, где способность констатировать воспринимаемую истину переходит в более высокую способность воспринимать истину как истинную, должен существовать непрерывный ряд градаций, соединяющих одну способность с другой. Вплоть до того момента, когда начинается этот ряд градаций, мы видели, что разум животного и разум человека параллельны или неотличимы друг от друга ни по одному принципу психологии. Будете ли вы, в таком случае, утверждать, что до настоящего времени два уровня психического существования идентичны по своему характеру, но что во время своего восхождения через этот последний ряд градаций человеческий разум некоторым образом становится отличным по своему характеру не только от разума животных, *но также и от своего собственного предыдущего "я"*? Если это так, то на данном этапе я должен разойтись с вами в споре, потому что на этом этапе ваш аргумент заканчивается противоречием. Если утверждается, что А и В сходны по происхождению или виду, и если утверждается, что В превращается в С - или отличается как от А, так и от В только по степени, — утверждение, что С отличается от А по виду, становится дальнейшим противоречием. Следовательно, я утверждаю, что в том, что касается доконцептуальной стадии формирования идей, моим оппонентам по-прежнему аргументированно невозможно доказать, что между человеком и животным существует какое-либо психологическое различие.

Что касается этой стадии формирования идей, то я утверждаю, что показал, что точно так же, как существует предконцептуальный вид именования, при котором первоначально денотативные слова постепенно расширяются за счет значительных степеней коннотативного значения, так и существует предконцептуальный вид предикации, при котором денотативные и коннотативные термины объединяются без какого-либо концептуального осознания связи, таким образом фактически предполагаемой между ними. Ибо в предыдущей главе я доказал, что только на третьем году жизни ребенок приобретает истинное, или концептуальное, самосознание и, следовательно, достигает состояния истинного, или концептуального

предиката. Однако задолго до этого, как я также доказал, ребенок формирует то, что я назвал рудиментарными, или предконцептуальными, и, следовательно, *бездумными* суждениями. Такие пропозиции, таким образом, являются утверждениями об истине, сделанными для практических целей коммуникации; но они не являются утверждениями об истине как истинных и, следовательно, вообще не являются, строго говоря, пропозициями. Это переводы логики рецептов, но не логики концепций. Ибо ни истина, изложенная таким образом, ни идея, переведенная таким образом, никогда не могли быть представлены разуму в качестве объекта мышления. Чтобы оказаться в таком положении, разум должен был быть способен отделить этот свой продукт от остальной своей структуры — или, как говорит м-р Майварт, заставить утверждаемые вещи “существовать *рядом* с суждением, а не *в* нем”. И, чтобы сделать это, разум должен был достичь самосознания. Но, как только что было отмечено, это еще не относится к ребенку рассматриваемого возраста; и, следовательно, мы вынуждены заключить, что до появления суждения или предикации в смысле, понятном психологам (концептуальном), существуют суждения и предикации более низкого порядка (доконцептуальные), в которых истины излагаются ради передачи простых идей, в то время как предложения, которые их передают, сами по себе не являются объектами мышления. И, при тщательном рассмотрении, предикация такого рудиментарного или доконцептуального типа осуществляется простым наложением денотативных знаков в соответствии с общими принципами ассоциации. А будучи денотативным названием объекта *a*, а *B* - денотативным названием качества или действия *b*, когда *a b* встречаются в природе вместе, связь между ними предконцептуально подтверждается простым актом сопоставления соответствующих обозначений *A B*— актом, который становится неизбежным в силу элементарных законов психологической ассоциации. [138]

Таким образом, вопрос был сведен к последней из трех стадий формирования идей, которые были выделены для обсуждения, а именно к концептуальной. Итак, существует ли какая-либо разница между представлением, которое способно, и представлением, которое само по себе не способно стать объектом мышления, - это вопрос, на который можно ответить, только изучив отношения, которые возникают между ними в случае растущего ребенка. Но, как мы видели, когда мы изучаем эти отношения, мы обнаруживаем, что они явно представляют собой постепенный или непрерывный переход одной идеи в другую — переход, действительно, настолько постепенный и непрерывный, что невозможно, даже с помощью самого пристального изучения, в широких пределах определить, где начинается одна и заканчивается другая. Поэтому мне нет необходимости здесь возвращаться к этому пункту. Поскольку мы уже показали, что само условие возникновения концептуального мышления (а именно, самосознания) заключается в постепенном развитии у растущего ребенка, нет необходимости более подробно показывать, что развитие концептуального мышления из предконцептуального происходит столь же постепенно. Этого факта, действительно, самого по себе достаточно, чтобы опровергнуть утверждение моих оппонентов, а именно, что существуют свидетельства восприятия идей, отличающиеся от концептуальных по происхождению или виду. Только если бы это могло быть показано — либо что рецептивное мышление младенца отличается по своему характеру от рецептивного мышления животного, либо что предконцептуальное мышление ребенка настолько отличается от предшествующего рецептивного мышления того же ребенка, либо, наконец, что это предконцептуальное мышление настолько отличается от последующего концептуального мышления, — только если бы можно было доказать ту или иную из альтернатив, мои оппоненты смогли бы обосновать свое утверждение. И, с точки зрения простой логики, доказательство любой из двух последних альтернатив потребовало бы полной

реконструкции их аргументации. Ибо в настоящее время их аргументация основывается на предположении, что на протяжении всех фаз своего развития человеческий разум един в своем роде - что он нигде принципиально не меняется от одного порядка существования к другому. Но на случай, если какой-нибудь хитрый оппонент предположит, что, хотя я и доказал несостоятельность первой из трех вышеупомянутых альтернатив — и, следовательно, что между разумом младенца и животного нет разницы даже в степени, — я, тем не менее, проигнорировал возможность того, что в последующем развитии каждого человеческого существа может быть совершено особое чудо, которое регенерирует этот разум, дает ему новое происхождение и, таким образом, изменяет его вид, — на случай, если кто-нибудь предложит это, я рассматриваю здесь две последние альтернативы как логически возможные. Но даже в этом случае, как мы теперь убедились, изучение интеллекта ребенка при прохождении им нескольких фаз развития не дает ни тени доказательств в пользу какой-либо из этих альтернатив; напротив, оно наиболее четко выявляет тот факт, что переход от каждого из уровней мышления к следующему над ним носит настолько постепенный и непрерывный характер, что практически невозможно провести какие-либо реальные демаркационные линии между ними. Итак, я говорю, что этого самого по себе достаточно, чтобы опровергнуть утверждение моих оппонентов, поскольку это показывает, что это утверждение не только необоснованно, но и противоречит всей совокупности доказательств, которые получены в результате изучения фактов. Тем не менее, по-прежнему ограничиваясь только основаниями психологии, остаются два общих и важных соображения независимого или дополнительного характера, которые имеют сильную тенденцию поддерживать мою версию аргументации. Поэтому эти два соображения я приведу далее.

Первое соображение состоит в том, что, хотя продвижение к самосознанию с более низких ступеней умственного развития, без сомнения, является очень важным делом, оно не настолько велико и важно по сравнению с тем, чем этому развитию впоследствии суждено стать, чтобы заставить нас почувствовать, что оно составляет какое-либо различие *sui generis* — или даже, возможно, принципиальное различие — между человеком и животным. Ибо, хотя, с одной стороны, мы теперь полностью увидели, что, учитывая протоплазму суждения и предикации в том виде, в каком они возникают у маленького ребенка (или в том виде, в каком они, как можно предположить, возникали у наших получеловеческих предков), самосознание должно возникать; с другой стороны, есть свидетельства, показывающие, что когда самосознание возникает, и даже когда оно довольно хорошо развито, способности человеческого разума все еще находятся в почти инфантильном состоянии. Так, например, я наблюдал у своих собственных детей, что, хотя до своего третьего дня рождения они надлежащим образом и всегда правильно употребляли термины “я”, “мой”, “самость”, “себя”, в этом возрасте их мыслительные способности были развиты настолько слабо, что едва ли опережали те, которые проявляются у разумного животного. Приведу только один пример этого. Моя маленькая девочка, когда ей было четыре с половиной года — или почти два года спустя после того, как она правильно использовала термины, указывающие на истинное самосознание, — пожелала узнать, какая комната находится под гостиной в доме, в котором она жила со времени своего рождения. Когда она попросила меня проинформировать ее, я сказал ей, чтобы она попыталась сама обдумать проблему. Сначала она предложила ванную, которая находилась не только над гостиной, но и на противоположной стороне дома; затем она предложила столовую, которая, хотя и находилась под гостиной, также находилась на другой стороне дома; и так далее, ребенок явно был не в состоянии придумать такую простую задачу, как та, которую она

спонтанно захотела решить. Из которого (как и из многих других примеров в моих заметках в этой связи) Я прихожу к выводу, что генезис самосознания знаменует собой сравнительно низкий уровень в эволюции человеческого разума — как и следовало ожидать, если его генезис зависит от вполне понятных условий, которые я пытался объяснить в последних главах. Но, если это так, не следует ли из этого, что, как бы ни была впоследствии важна самосознание как условие более высокого развития мышления само по себе или в его первом начале, оно не предвещает какого-либо очень заметного улучшения тех способностей до-концептуального мышления, за которыми оно непосредственно следует? Другими словами, таким образом, показано, что есть еще меньше оснований рассматривать появление самосознания как знак психологического различия определенного рода, чем было бы так же рассматривать появление тех более высоких способностей к концептуальному мышлению, которые впоследствии — хотя и столь же постепенно — проявляются между ранним детством и юностью. Однако до сих пор никто не осмеливался предположить, что интеллект ребенка и юноши демонстрируют своеобразную разницу.

Или, иными словами, психологический интервал между моим *sebus* и моим ребенком (когда первый успешно исследовал механический принцип винта с помощью своих высокоразвитых способностей восприятия, в то время как второй безуспешно пытался решить простейшую топографическую задачу с помощью своих низко развитых концептуальных способностей), несомненно, был намного меньше того, который впоследствии отделил интеллект моего ребенка от этого уровня его прежнего "я". Следовательно, исходя исключительно из психологических соображений, я прихожу к выводу, что были бы лучшие — или *менее плохие* — основания утверждать, что существует видимая разница между низшим и высшим уровнями концептуального мышления, чем утверждать, что любое такое различие имеет место между низшим уровнем концептуального мышления и высшим уровнем восприятия.

“Величайшее из всех различий в биологии”, когда оно впервые возникает, таким образом, рассматривается как заключающееся в его *потенциальности* а не в его *происхождении*. Самосознание, действительно, является условием для неизмеримых изменений в сознании, которое его представляет; но, чтобы стать таковым, оно должно быть само обусловленным: оно само должно пройти длительное и постепенное развитие под руководством принципов естественной эволюции.

И, наконец, второе дополнительное соображение, которое я должен привести, заключается в том, что даже в случае полностью развитого самосознательного интеллекта как рецептивное, так и предконцептуальное представление продолжают играть важную роль. Иными словами, даже при полной сумме возможностей человеческого интеллекта три выделенных мною способа мышления так постоянно и так тесно переплетаются друг с другом, что анализ разума взрослого человека подтверждает факт, уже выявленный анализом инфантильного разума, а именно, что все различия (которые я был вынужден провести, чтобы проверить утверждения моих оппонентов) по сути своей искусственны. Моя позиция такова, что Разум повсюду непрерывен, и если для целей анализа или классификации нам требуется провести демаркационные линии между его низшими способностями, я утверждаю, что мы должны делать это только так, как эволюционист классифицирует свои виды животных или растений: высшее или низшее указывает не на различия в *происхождении*, а на различия в *развитии*. И точно так же, как натуралист находит общее подтверждение этой точки зрения в том факте, что структурные и функциональные признаки передаются вверх от низших к высшим формам

жизни, таким образом связывая их все вместе узами органической эволюции, так и психолог может обнаружить, что даже высшие формы человеческого интеллекта безошибочно разделяют более существенные признаки, встречавшиеся у низших, свидетельствуя таким образом об их собственном происхождении в непрерывной системе ментальной эволюции.

Давайте, тогда, кратко рассмотрим отношения, которые складываются в сознании взрослого человека между хвалеными способностями концептуального суждения и низшими способностями неконцептуального. Хотя я согласен с моими оппонентами в том, что предикация (в строгом смысле этого термина) зависит от интроспекции, я также считаю, что не каждое утверждение, сделанное взрослым человеком, является предикацией в этом смысле: подавляющее большинство наших вербальных предложений сделаны для практических целей общения или без того, чтобы ум останавливался на созерцании предложений как таковых в свете самосознания. Когда я говорю “Негр черный”, мне не нужно думать обо всем том огромном множестве вещей, которые, по словам м-ра Майварта, я подтверждаю [139]; и, с другой стороны, когда я совершаю акт сознательного самоанализа, мне не всегда требуется совершать акт мысленного предикации. Несомненно, во многих случаях или в тех, где речь идет о в высшей степени абстрактном мышлении, эта независимость двух способностей возникает из-за того, что каждая из них претерпела такую большую доработку при содействии другой, что обе теперь, так сказать, обладают большим объемом организованного материала, с которым можно оперировать, не требуя, когда бы они ни применялись, выстраивать структуру этого материала *ab initio*. Таким образом, возьмем пример, когда я говорю “Тепло - это способ движения”, я использую то, что сейчас для меня является просто словесным знаком, выражающим внешний факт: мне не требуется проверять мои собственные идеи об абстрактных терминах в абстрактном отношении, которое устанавливает предложение. Но для первоначального постижения этих идей мне пришлось приложить много сложных усилий концептуального мышления, без предшествующего появления которых я не смог бы сейчас использовать этот вербальный знак с полным пониманием его значения. Таким образом, все подобные предикации, какими бы привычными и механическими они ни стали, должны были в какой-то момент потребовать от ума изучения идей, которые они провозглашают. И, точно так же, все акты такого ментального исследования — *то есть* все акты самоанализа, — какими бы излишними они ни казались сейчас, когда их известный продукт используется для дальнейших актов ментального исследования, изначально должны были требовать от ума остановиться перед ними и сформулировать для себя определенное утверждение или предикацию их значения. [140]

Но хотя я считаю это истинным объяснением *кажущейся* независимости предикации и самоанализа во всех случаях крайне абстрактного мышления, я твердо убежден, что во всех случаях, когда речь идет о тех низших порядках мышления, которые я так часто называл рецептивными и доконцептуальными, независимость не только *очевидна*, но и *реальна*. Действительно, я уже доказал, что это *должно* иметь место в случае с предконцептуальными пропозициями маленького ребенка, поскольку такие пропозиции затем делаются в отсутствие самосознания или необходимого условия для того, чтобы они были в *какой-либо степени* интроспективными. Но дело сейчас в том, что даже в сознании взрослого человека неконцептуальная предикация является привычной, и что в случаях, когда речь идет только о восприятии идей, предикация такого рода *никогда не должна была быть* концептуальной. Ибо,

как совершенно верно говорит Милль, “следует признать, что, утверждая пропозицию, мы хотим сообщить информацию об этом физическом факте (а именно, о том, что вершина Чимборасо белая), и не думаем о названиях, кроме как как о необходимом средстве осуществления этой коммуникации. Следовательно, значение предложения состоит в том, что индивидуальная вещь, обозначаемая субъектом, обладает атрибутами, обозначаемыми предикатом”. [141]

Итак, если, таким образом, верно, что даже при обычной предикации нам может не потребоваться концептуальное осознание предмета, о котором идет речь, — имея дело только с приложением имен, непосредственно подсказанных ассоциацией, — то соответствующая идея становится настолько тесно связанной с тем, что выражается на более низких уровнях создания знаков, что даже если бы связующие звенья не были предоставлены растущим ребенком, никто не был бы оправдан, исходя только из психологических соображений, в утверждении о какой-либо разнице между одним уровнем и другим. Целью любого создания знаков является прежде всего коммуникация, и из нашего изучения низших животных мы знаем, что коммуникация в первую очередь имеет дело исключительно с рецептами, в то время как из нашего изучения растущего ребенка мы знаем, что именно знаки, используемые при передаче рецептов, в первую очередь приводят к формированию понятий. Ибо концепции — это, прежде всего, именуемые рецептами, известные как таковые; и мы видели в предыдущих главах, что этот вид знания (*т.е.* имен как имен) становится возможным благодаря интроспекции, которая, в свою очередь, достигается именованием себя как действующего лица. Но даже после того, как сила концептуального самоанализа полностью достигнута, от него не всегда предъявляется требование передавать только воспринимаемое знание; и, следовательно, не каждое предложение требует интроспективного созерцания как таковое, прежде чем оно может быть сделано. Учитывая силу денотативной номинации, с одной стороны, и силу даже самой низкой степени коннотативной номинации, с другой, создаются все условия для формирования неконцептуальных утверждений, которые отличаются от истинных пропозиций только тем, что сами по себе не становятся объектами мышления. И единственная разница между таким утверждением, сделанным маленьким ребенком, и тем же утверждением, сделанным аналогичным образом взрослым человеком, заключается в том, что в первом случае оно даже *потенциально* не способно само по себе стать объектом размышления.

Итак, на этом психологический анализ позиции моих оппонентов подходит к концу. И, в результате, я утверждаю, что показал, что каким бы образом мы ни рассматривали исконно человеческую способность концептуального предикирования, доказано, что это всего лишь более высокое развитие той способности рецептивной коммуникации, восходящие степени которой можно проследить через грубое создание вплоть до уровня, которого они достигают у ребенка в течение первой половины его второго года жизни, — после чего они продолжают непрерывно продвигаться через еще более высокую рецептивную жизнь ребенка, пока путем дальнейшего, хотя и не менее незаметного роста они не перейдут в зарождающуюся концептуальную жизнь человеческого разума, — которая, тем не менее, даже в этом случае он не так уж далек от интеллекта низших животных, как от того, которым ему в конце концов суждено стать в ходе его собственной последующей эволюции.

ГЛАВА XII.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФИЛОЛОГИЯ.

Мы уже неоднократно видели, что существует только один аргумент в пользу точки зрения, согласно которой непрерывный и универсальный процесс эволюции — как ментальной, так и органической — в других местах был прерван на своей конечной фазе, и что этот аргумент основан на психологии. Но мы также видели, что даже на этом своем собственном основании аргумент допускает множество опровержений. Чтобы яснее показать, что это так, я до сих пор намеренно держал свое обсуждение в рамках психологической науки. Однако сейчас настало время, когда я могу позволить себе выбрать новую отправную точку. Мои оппоненты апеллируют к языку: к языку они и перейдут.

В предыдущих главах я неоднократно отмечал, что наука исторической психологии лишена ископаемых остатков: в отличие от доисторических структур, доисторические идеи не оставляют после себя никаких свидетельств о своем существовании. Но теперь необходимо сделать частичное исключение из этого общего утверждения. Ибо новая наука Сравнительная филология открыла важный факт, что, если, с одной стороны, речь дает *выражение* expression to идеям, с другой стороны, она получает *от* них from, и что впечатления, запечатленные таким образом, удивительно устойчивы. Следствием этого является то, что в филологии мы располагаем такого же рода бессознательными записями роста и упадка идей, какими располагает палеонтология роста и упадка видов. С такой точки зрения язык можно рассматривать как слоистое хранилище мыслей, в котором они лежат, готовые к извлечению трудами человека науки.

Обращаясь теперь к этой важной области моего предмета, я могу *вкратце* отметить, что, как и все науки, филологией могут заниматься только те, кто специально посвящает себя этой цели. Следовательно, моя функция здесь будет заключаться в том, чтобы просто свести воедино основные результаты филологических исследований, насколько это было сделано до сих пор, и насколько эти результаты, как мне кажется, имеют какое-либо отношение к “происхождению человеческих способностей”. Таким образом, будучи сам вынужден полагаться на авторитет, когда я обнаруживаю, что авторитеты вступают в конфликт — что, вряд ли нужно говорить, часто бывает, — я либо избегаю пунктов разногласий, либо излагаю то, что должно быть сказано по обе стороны вопроса. Но там, где я нахожу, что все компетентные органы по существу согласны, я не буду отягощать свое изложение тавтологическими цитатами.

Среди ранних исследователей языка был спорный вопрос о том, берет ли начало эта способность в Божественном вдохновении или в человеческом изобретении. До тех пор, пока предполагалось, что вопрос, касающийся происхождения языка, должен быть ограничен той или иной из этих альтернатив, можно считать, что сторонники креационизма в этой области мысли имели преимущество в аргументации. И это по следующим причинам. Их оппоненты, по большей части, были несправедливо ущемлены общим предположением об особом творении в отношении происхождения человека, а также общей верой в смешение языков в Вавилонской башне. Поскольку теория эволюции еще не была сформулирована, существовало

предварительное предположение в пользу Божественного происхождения речи, поскольку казалось в высшей степени невероятным, что Адам и Ева были созданы “с полной суммой способностей” интеллекта, без средств передачи своих идей друг другу. И даже там, где на научных исследователей явно не влияло принятие библейской космологии, многие из них, тем не менее, неявно находились под ее влиянием, вплоть до предположения, что если язык не был результатом прямого вдохновения, то он мог быть только результатом преднамеренного изобретения. Но против этого предположения о том, что язык был изобретен намеренно, ортодоксальным оппонентам было легко ответить— “Повседневный опыт сообщает нам, что люди, которые не научились членораздельно выражаться в детстве, никогда впоследствии не приобретают способности к речи, кроме как с такой помощью, какой не могут получить дикари; и поэтому, если речь вообще была изобретена, это должно было быть сделано либо детьми, которые были неспособны к изобретательству, либо людьми, которые были неспособны к речи. Тысяче, нет, миллиону детей и в голову не могло прийти изобрести язык. Пока органы гибки, понимания недостаточно, чтобы сформулировать концепцию языка; и к тому времени, когда понимание приходит, органы становятся слишком жесткими для выполнения этой задачи, и поэтому, говорят защитники Божественного происхождения языка, разум, а также история подсказывают, что человечество во все века, должно быть, было говорящими животными — молодые постоянно овладевали этим искусством, подражая тем, кто постарше; и мы можем с полным основанием заключить, что наши прародители получили его по непосредственному вдохновению ”. [142]

Однако оставалась альтернатива, согласно которой язык мог быть результатом не Божественного вдохновения и не человеческого изобретения, а естественного роста. И хотя эта альтернатива была ясно воспринята некоторыми из ранних филологов, ее полное значение не могло быть оценено до появления общей теории эволюции. [143] Тем не менее, здесь интересно отметить, что теория эволюции была явно выведена из изучения языков некоторыми наиболее научными филологами и применялась к ним до того, как она была четко сформулирована натуралистами. Так, например, доктор Лэтем, критикуя процитированный выше отрывок, писал в 1857 году: “В реальной области языка демаркационные линии обозначены менее определенно, чем в предыдущем наброске. Феномен роста, однако, в целом соответствует тому, что он предполагает.... Чтобы объяснить существующие демаркационные линии, которые являются широкими и определенными, мы должны иметь в виду новое явление, а именно. распространение одного диалекта за счет других - факт, который стирает промежуточные формы и приводит к географическому соседству крайних ”. [144]

Итак, в наши дни — отчасти благодаря утверждению доктрины эволюции в биологии, но в гораздо большей степени благодаря прямым доказательствам, предоставленным самой филологией, — изучающие языки единодушны в принятии теории развития. Даже профессор Макс Мюллер настаивает на том, что “ни один изучающий науку о языке не может быть никем иным, кроме эволюциониста, ибо, куда бы он ни посмотрел, он не видит ничего, кроме эволюции, происходящей вокруг него”; [145] в то время как Шлейхер заходит так далеко, что утверждает, что “развитие новых форм из предыдущих форм можно гораздо легче отследить, и это в еще большем масштабе, в провинции о словах, чем о растениях и животных”. [146]

Здесь, однако, необходимо проводить различие между языком и языками. Филолог может быть твердо убежден, что все языки развились путем естественного роста из тех простейших элементов, или “корней”, которые нам сейчас предстоит рассмотреть. Но, тем не менее, он

может колебаться, стоит ли с такой же уверенностью заключать, что сами эти простейшие элементы развились из еще более низких составляющих способности создавать знаки; и, следовательно, не только все языки в частности, но и способность к языку в целом была результатом естественной эволюции.

Итак, позвольте отметить, что здесь мы сталкиваемся с точно таким же различием в отношении происхождения языка, как и в начале этого трактата в отношении происхождения человека. Ибо мы там увидели, что, хотя у нас есть наиболее убедительные исторические свидетельства того, что принципы эволюции управляли прогрессом цивилизации, у нас нет таких прямых доказательств происхождения человека от жестоких предков. И здесь также мы обнаруживаем, что до тех пор, пока свет истории способен направлять нас, не может быть никаких сомнений в том, что принципы эволюции определяли постепенное развитие языков способом, строго аналогичным тому, каким они определяли постоянно возрастающее утончение и сложность социальной организации. Теперь, в последнем случае мы увидели, что такое прямое свидетельство эволюции от низших к высшим уровням культуры делает почти несомненным, что метод должен был распространиться назад за пределы исторического периода; и, следовательно, что такое прямое свидетельство эволюции, равномерно пронизывающей исторический период, само по себе дает сильное *первичное* предположение, что этот период сам по себе был достигнут посредством столь же постепенного развития человеческих способностей. Точно так же обстоит дело и в случае с языком. Если филология способна доказать факт эволюции всех известных языков вплоть до примитивных корней, из которых они по отдельности выросли, становится чрезвычайно убедительным предположение, что эти самые ранние и простейшие элементы, как и их более поздние и сложные продукты, были результатом естественного роста.

Тем не менее, как я уже говорил, важно проводить различие между доказанным фактом и умозрительным выводом, каким бы убедительным он ни был; и поэтому я начну с краткого изложения этапов эволюции, через которые языки, по общему признанию филологов, прошли, не рассматривая в настоящее время более сложный вопрос о происхождении корней.

Предположим, мы возьмем такое слово, как “неприхотливость”. Очевидно, что здесь “un”, “li” и “ness” являются производными придатками, указательными элементами, суффиксами и аффиксами, или как там еще мы предпочитаем называть *модифицирующие константы*, которые носители языка имеют привычку добавлять к своим корневым словам, чтобы придать этим словам то значение, которого могут потребовать обстоятельства. Все эти модифицирующие константы, конечно, имели свою историю, которая часто допускает возможность прослеживания. Так, например, на приведенной выше иллюстрации мы знаем, что “li” - это сокращение от того, что раньше произносилось как “like”; однако “ness” старше английского языка; в то время как “un” восходит к еще более древним временам. Таким образом, слово “стоимость” является здесь корнем, насколько это касается английского языка, хотя за ним можно проследить (через латинское *const—sta*) до арийского корня, означающего “стоять”.

Более того, эти модифицирующие константы не ограничиваются суффиксами, инфиксами и аффиксами, присоединяемыми к корням, чтобы составлять отдельные (или составные) слова: они также встречаются как отдельные слова, которые допускают включение в структуру

предложений в качестве местоимений, наречий, предлогов и т. Д. И они могут также встречаться как так называемые “вспомогательные глаголы” в случае некоторых языков, в то время как в случае других их функции выполняются грамматическим “перегибом” самих слов. Таким образом, в соответствии с “гениальностью” языка, его корни созданы для того, чтобы подвергаться значимой обработке различными способами или в соответствии с различными методами. Но во всех случаях корни присутствуют и служат тем, что можно назвать основой языка: демонстративные элементы, в какой бы форме они ни появлялись, являются всего лишь тем, что я назвал модифицирующими константами.

Исходя из этого общего факта, мы можем быть готовы ожидать, согласно теории эволюции, что во всех языках корни должны быть древнейшими элементами; те элементы, которые выполняют только функцию “демонстрации” особого значения, которое должно быть присвоено корням в конкретных случаях, мы должны ожидать, что они возникли позже. Ибо они выполняют лишь функцию придания специфических значений общим значениям, уже присутствующим в корнях; и, следовательно, в отсутствие корней сами по себе не представляли бы никакого значения вообще. Следовательно, как я уже сказал, мы должны заранее ожидать обнаружения того, что корни являются самыми ранними обнаруживаемыми (хотя и не обязательно по этой причине самыми примитивными) элементами всех языков. И это, как правило, то, что мы действительно находим. При прослеживании генеалогического древа любой группы языков различные указательные элементы обнаруживаются на разных ветвях, хотя все эти ветви исходят из одних и тех же корней (*т.е.* Установлено, что они содержат). Конечно, эти корни могут быть по-разному изменены как в отношении звучания, так и в отношении групп слов, которым они дали начало в разных ветвях; но такая дивергентная эволюция просто стремится подтвердить доказательство общего происхождения всех соответствующих ветвей.

Я уже говорил, что все филологи сейчас согласны с принятием доктрины эволюции применительно к языкам в целом; в то время как нет такого универсального согласия относительно точного метода или истории эволюции в случае конкретных языков. Поэтому я сначала дам краткое изложение основных фактов языковой структуры, а затем представлю столь же краткий отчет о различных взглядах, которых придерживаются по вопросу о развитии языка. Или, если позаимствовать термины из другой науки, я сначала разберусь с морфологией основных подразделений языкового царства, а затем перейду к рассмотрению вопроса об их филологии.

Более тысячи языков существуют как “живые”, ни один из которых не понятен носителям другого. Эти отдельные языки, однако, очевидно, делятся на семьи — все члены каждой семьи являются более или менее близкими родственниками, в то время как члены разных семей не представляют никаких подобных доказательств генетического родства. Критерием генетического родства является сходство в структуре, грамматике и корнях. Судя по этому тесту, профессор Фридрих Мюллер классифицировал тысячу или более ныне живущих языков как “около ста семей”. [148] Следовательно, снова прибегая к биологическим терминам, мы можем сказать, что существует около тысячи существующих “видов” языка, которые подразделяются примерно на сто “родов” — все виды в каждом роде, несомненно, связаны узами генетического родства.

Но помимо этих видов и родов языка, существует то, что можно назвать “отрядами” - или гораздо более крупными подразделениями, каждое из которых включает в себя множество

родов. Филологи обычно называют эти отряды "группами", и вопрос о том, существует ли между ними какое-либо генетическое родство, до сих пор остается нерешенным. С самых первых дней настоящих лингвистических исследований были признаны три из этих групп, которые были названы соответственно: (1) Изолирующие, (2) Агглютинативные, и (3) флективные. Сначала я объясню значение, которое призваны нести эти названия, а затем перейду к рассмотрению результатов более поздних исследований по вопросу их филогении.

В *изолирующих* формах языка каждое слово стоит само по себе, не будучи способным к флективному изменению в целях грамматического построения и не допуская значительной помощи для таких целей со стороны указательных элементов или модифицирующих констант. Языки такого рода часто называют *односложными* из-за того факта, что изолированные слова обычно встречаются в виде отдельных слогов. Их также называли *радикальными* из-за сходства, которое их односложные и изолированные слова представляют с примитивными корнями языков других типов — корнями, которые, как уже указывалось, были обнаружены трудами филолога-сравнителя. Таким образом, в целом, наилучшее представление об изолирующем языке можно получить, сравнив его с "детским языком" наших собственных детей, которые естественным образом выражают себя, когда впервые начинают говорить, используя односложные и изолированные слова, которые еще больше напоминают рассматриваемые языки, не проводя четкого различия между тем, что мы понимаем как "части речи". Ибо в изолирующих языках такие вариации грамматического значения, которые способны передать слова, в основном возникают либо за счет различий в интонации, либо за счет изменения позиций, которые слова занимают в предложении. Конечно, эти приемы более или менее применимы в языках обоих других типов; но в изолирующей группе они были доведены до гораздо большего разнообразия и тонкости использования, так что стали довольно хорошими заменителями модифицирующих констант, с одной стороны, и флективных изменений, с другой. Тем не менее, хотя флективные изменения полностью отсутствуют, модифицирующие константы в форме вспомогательных слов таковыми не являются. В китайском, например, есть то, что местные грамматисты называют "полными словами" и "пустыми словами". Полные слова — это односложные термины, которые, стоя сами по себе, представляют значения такой неопределенной общности, что включают, например, *шар, круглый, закругляться, по кругу*: иными словами, полные слова, стоя отдельно, относятся к какой-либо одной части речи не больше, чем к другой. Более того, одно такое слово может иметь множество совершенно разных значений, таких как *быть, воистину, он, буква, таким образом*. Следовательно, для того, чтобы указать на конкретное значение, которое должно передавать полное слово, пустые слова используются в качестве вспомогательных средств, дополняющих приемы интонации и синтаксиса. Вероятно, что все эти пустые слова сами когда-то были полными словами, значения которых постепенно затемнялись, пока не приобрели чисто произвольное употребление с целью определения смысла, в котором должны были пониматься другие слова — точно так же, как наше слово "like" в его выродившейся форме "ly" теперь используется для придания прилагательным силы наречия; хотя, конечно, есть разница в том, что в изолирующих языках пустые или определяющие слова не сливаются с полными, а сами остаются изолированными. Однако, по мнению многих филологов, "использование вспомогательных слов для придания необходимой точности основным терминам — это путь, ведущий от односложного к агглютинативному состоянию". [149]

Это *агглютинативное*, или, как его иногда называют, *агломеративное* состояние относится к языкам второго порядка. Здесь слова, которые служат для модификации констант или знаков

родства, становятся слитными со словами, которые они служат для модификации или определения, так что образуют одиночные, хотя и многосложные соединения, как в приведенном выше примере: “*дешевизна*”. Я уже отмечал, что при длительном употреблении многие из этих модифицирующих констант приобрели свои собственные первоначальные значения в качестве независимых слов, настолько затемненных, что ставят в тупик исследования филологов.

Если бы все наши слова были образованы по типу этого примера *дешевизна*, английский был бы агглютинативным языком. Но, на самом деле, английский, как и остальная часть группы, к которой он в основном принадлежит, перенял прием флексии многих своих слов (или, скорее, унаследовал этот прием от некоторых своих прародителей) и, таким образом, принадлежит к третьему порядку языков, который я упомянул, а именно *кфлексивным*. Языки этого типа также часто называют *транспозитивными*, потому что теперь слова допускают смещение относительно их относительного положения в предложении без изменения при этом значения. Иными словами, отношения между словами теперь в гораздо меньшей степени определяются синтаксисом, а в гораздо большей степени индивидуальными изменениями. В языках такого типа принцип агглютинации был настолько усовершенствован, что первоначальная композиция более или менее затемнена, и поэтому результирующие слова допускают, что они сами скручиваются в различные формы, имеющие более тонкие уровни значения, в смысле склонения, спряжения и т.д. Или, если сформулировать дело так, как это было заявлено некоторыми филологами, в агглютинативных языках сварные элементы недостаточно сварены, чтобы допускать сгибание: они слишком слабо соединены друг с другом или все еще слишком независимы друг от друга. Но когда объединение становится более тесным, структура допускает более художественную обработку со стороны создателей языка: когда “слияние” элементов становится полным, получившимся сплавом можно манипулировать различными способами, не приводя к его распаду. Более того, этот принцип словоизменения может распространяться от составных частей к самому корню; не только суффиксы и приставки, но даже слово, которое они модифицируют, может претерпевать словоизменительные изменения. Так что, в целом, наилучшее общее представление об этих различных типах языковой структуры, возможно, можно дать с помощью следующих формул, которые я беру у Ховелака. [150]

В изолирующем типе формула слова - просто R, а формула предложения - R + R + R и т.д., где R означает “корень”. Если мы представим R те корни, смысл которого стал закрыт, так как на переход в состояние префиксов и суффиксов значение только отношения между другими словами, мы будем иметь формулу, агглютинации, PP, ppp, PP, ppp и т. д. Наконец, суть inflecting языка заключается в силе корня, чтобы выразить, путем модификации своя форма, свои различные отношения к другим корням. Не то чтобы корни всех слов обязательно изменялись; ибо они часто остаются такими, как в агглютинирующих языках. Но они *могут* изменяться, и “языки, в которых отношения могут быть таким образом выражены не только суффиксами и приставками, но также изменением формы корней, являются флексивными языками”. Следовательно, если мы представим эту степень флексивного изменения со стороны самого корня символом ^x, формула склеивания Rr может стать R^xr. Более того, модифицирующие элементы также могут изменяться, и слова, таким образом, образуют такие формулы, как Rr^x, Rrr^x и т.д.

Итак, таковы три основные группы или порядка языков. Но в дополнение к ним мы должны отметить три других, которые, как было показано, четко делимы друг от друга. Этими тремя дополнительными группами являются полисинтетические, инкорпорирующие и аналитические.

The *Полисинтетический* (= *Инкапсулирующий*) порядок встречается у некоторых дикарей, особенно на американском континенте, где, согласно Дюпонсо, более или менее отчетливую приверженность этому типу можно встретить от Гренландии до Чили. Особенность таких языков заключается в неопределенном составе слов с помощью синкопы и многоточия. Иными словами, предложения образуются путем соединения сложных слов чрезмерной длины, и в процессе слияния составляющие их слова сокращаются настолько, что часто представляются не более чем одной вставленной буквой. Например, гренландское *aulisariartorasuarpok*, “он-спешил-на-рыбалку”, образовано от *aulisar*, “ловить рыбу”, *peartor*, “заниматься чем-либо”, *pinnesuarpok*, “он спешит”, а чипвейское *totoccabo*, “вино”, образовано от *toto*, “молоко” с *chominabo*, “виноградная гроздь”. Таким образом, полисинтез состоит из слияния с сокращением, при котором некоторые из составляющих слов теряют свои первые, а другие - последние слоги. Более того, композиция такого рода дополнительно отличается от той, которая встречается во многих других типах языка (*например*, наше прилагательное *никогда не забываемое*), тем, что составные части, возможно, никогда не достигали ранга независимых слов, которые можно отделять друг от друга и использовать сами по себе.

The *Инкорпорирующий* порядок является просто подразделением агглютинатива и представляет собой его более раннюю стадию, когда говорящие еще не начали анализировать свои предложения и поэтому все еще сохраняют в своих предложениях подчиненные слова в громоздком разнообразии, как, например, “Дом-который-я-построил”; “У-них-есть-их-книги”.

Опять же, *аналитический* порядок является всего лишь подразделением флективного и представляет собой его более позднюю стадию. “Одно за другим грамматические отношения, подразумеваемые в словоизменительном соединении, проявляются в полной мере и обретают особые формы для выражения”. Так, например, в английском языке флексии в значительной степени уступили место использованию “вспомогательных” слов, благодаря чему сохраняется большинство преимуществ утонченного различия, в то время как механизм выражения значительно упрощен.

Так что в целом мы можем классифицировать Языковое царство следующим образом:-

Приказ I. Изоляция.

Порядок II. Агглютинативные: (подотряды, полисинтетические и инкорпорирующие).

Порядок III. Флективный: (подпорядок, аналитический).

Однако, по мнению некоторых филологов, полисинтетический тип заслуживает рассмотрения не как подотряд агглютинативных, а как независимый от всех трех других и, следовательно, составляющий четвертый порядок. Таким образом, с одной стороны, у нас сказано, что полисинтетические языки должны “просто располагаться последними в порядке возрастания ряда агглютинирующих”; [151] в то время как, с другой стороны, говорится, что “концепция предложения, лежащая в основе полисинтетических диалектов, является точной противоположностью той, которая лежит в основе изолирующих или агглютинативных типов; несколько идей, на которые может быть проанализировано предложение, вместо того, чтобы

быть равными или независимыми, объединены, подобно кусочку мозаики, в единое целое”.

[152]

Эти две репрезентативные цитаты могут служить для того, чтобы показать, насколько очевидны различия в преподавании этой конкретной группы языков. Как простой вопрос классификации, конечно, этот вопрос не имел бы для нас никакого значения; но поскольку вопрос классификации связан с вопросом филогении, этот вопрос приобретает значительный интерес в связи с нашей темой.

Переходя, таким образом, от классификации языковых типов к их филогении, никто не оспаривает, что то, что я назвал Инкорпорирующим подотрядом, генетически связано с порядком Агглютинативным; или что Аналитический подотряд аналогичным образом связан с порядком Флективным. Действительно, эти подотряды являются всего лишь ответвлениями этих двух соответствующих стволов. Таким образом, вопрос, стоящий перед нами, сводится к отношениям между тремя порядками *inter se*, а также между полисинтетическим типом и порядком II. Я разберу эти два случая отдельно.

С одной стороны, утверждается, что изолирующий, односложный или “детский” тип речи следует рассматривать как наиболее примитивный — фактически, что он представляет для реального наблюдения продолжающееся “выживание” той эмбриональной или “радикальной” стадии развития, из которой возникли все последующие наросты языка. Опять же, доказанный факт агглютинации рассматривается как представляющий длительный процесс развития, при котором слова, ранее изолированные, были объединены в составные части с целью обеспечения той более высокой дифференциации языкового роста, которую мы знаем как части речи. Аналогичным образом, считается, что флективная стадия была дальнейшим развитием агглютинатива, как уже объяснялось; в то время как, наконец, использование вспомогательных слов в аналитических языках рассматривается как окончательное завершение языкового роста.

Кратко изложенная таким образом теория до сих пор поддерживается многими филологами; и, действительно, в некоторых своих частях это вообще не теория, а доказуемый факт. Таким образом, совершенно невозможно, чтобы явления агглютинации могли быть представлены до того, как появятся элементы для агглютинации: эти элементы, следовательно, должны были предшествовать тому процессу слияния, в котором заключается “гениальность” агглютинированной речи. Точно так же, конечно, агглютинация должна была предшествовать флексии уже склеенных слов; в то время как можно доказать, что использование вспомогательных слов исторически происходило после флексии. Тем не менее, другие филологи дали веские основания усомниться в нашем праве рассматривать эти факты как оправдание столь универсальной теории, что закон языкового роста всегда можно обнаружить в этих конкретных линиях, или что все языки одного типа должны были пройти через низшую фазу или фазы, прежде чем достичь той, в которой они появляются сейчас. Самый последний аргумент по этой стороне вопроса принадлежит профессору Сэйсу, которого я поэтому процитирую.

“Мы склонны предполагать, что флективные языки более развиты, чем агглютинативные, а агглютинативные языки - чем изолирующие, и, следовательно, что изоляция является низшей стадией из трех, на вершине которой стоит флексия. Но что мы на самом деле имеем в виду, когда говорим, что один язык более развит, чем другой, так это то, что он лучше приспособлен для выражения мысли и что мысль, которую нужно выразить, сама по себе лучше. Теперь

возникает серьезный вопрос, действительно ли с этой точки зрения три класса языков могут быть противопоставлены друг другу ”. [153]

Затем он продолжает утверждать, что изолирующие языки имеют преимущество перед всеми другими формами в “достижении краткости и живости”; что “агглютинативные языки опережают флективные в одном важном пункте, а именно в разборе предложения на составные части и различении грамматических отношений друг от друга”.... Фактически, когда мы внимательно изучим принцип, на котором основывается флексия, мы обнаружим, что он подразумевает более низкую логическую способность по сравнению с той, которая подразумевается под агглютинацией ”. [154]

В другом месте он говорит: “Что касается первобытного корневого языка, у нас нет доказательств того, что он когда-либо существовал, и смешивать его с современным изолирующим языком просто ошибочно. Столь же недоказанным является мнение о том, что изолирующие языки развиваются в агглютинативные, а агглютинативные - во флективные. В любом случае, продолжающееся существование изолирующих языков, таких как китайский, или агглютинативных, таких как мадьярский и турецкий, показывает, что развитие не является необходимым ”. [155]

Я мог бы процитировать другие отрывки с той же целью; но приведенного выше достаточно, чтобы показать, что мы не должны безоговорочно принимать более ранние доктрины, изложенные ранее. Действительно, нет никаких сомнений в факте языкового роста применительно к конкретным языкам; вопрос здесь заключается в эволюции языковых типов друг от друга. И я уделю особое внимание этому вопросу, чтобы высказать по нему следующие замечания.

Когда нам говорят, что “продолжающееся существование изолирующих языков, таких как китайский, или агглютинативных языков, таких как мадьярский и турецкий, показывает, что развитие не является необходимым”, мы, конечно, сразу же осознаем неоспоримую истину этого утверждения. Но этот факт не имеет отношения к единственному обсуждаемому вопросу. Продолжающееся существование простейших, несомненно, доказывает, что их развитие в многоклеточные не является необходимым; но этот факт никоим образом не опровергает доктрину о том, что все многоклеточные произошли от простейших.

Точно так же, когда нам говорят, что “что мы на самом деле имеем в виду, когда говорим, что один язык более развит, чем другой, так это то, что он лучше приспособлен для выражения мыслей”, нас снова уводят от ответа. Вопрос в том, *развивается* ли один тип языковой структуры в другой, а не в том, является ли он “*более продвинутым*”, чем другой, в смысле того, что он “лучше приспособлен для выражения мысли”. Так оно может быть, а может и не быть; но в любом случае вопрос о его эффективности как языка не имеет необходимой связи с вопросом о его развитии как языка. Ибо очень может быть, что от одного и того же источника могут исходить две или более линии развития в разных направлениях. Несомненно, совершенно верно, как говорит профессор Сэйс, что современный китайский является более высоким продуктом эволюции, чем древнекитайский, по линии изолирующей конденсации; но это не доказательство того, что агглютинативные языки не произошли от изолирующего типа и впоследствии не пошли по другой линии развития в соответствии с их другим “гением” или методом роста. Натуралисты не сомневаются, что два разных типа морфологической структуры, *b* и [греч.: *b*], оба произошли от общей родительской формы *B*, хотя *b* “продвинулась” в одном

направлении изменений, а [греч.: b] - в другом, так что теперь оба одинаково эффективны с морфологической точки зрения. Почему же тогда филолог должен оспаривать генетическое родство в том, что кажется в точности аналогичным случаем, на том единственном основании, что *b*, по его мнению, является не менее психологически эффективным языком, чем [греческий: b]?

Наконец, как я уже указывал ранее, мне кажется невозможным оспаривать тот факт, что каждый агглютинативный язык, в какой бы мере ни было доказано, что он является агглютинативным, в этой мере, таким образом, доказывається, что он произошел от языка, менее агглютинативного и, следовательно, более изолирующего. И, точно так же, в какой бы степени ни было доказано, что флективный язык изменял свои агглютинированные слова, в этой мере тем самым доказывається, что он произошел от языка, менее флективного, или языка, агглютинации которого еще не претерпели такой значительной флективной модификации.

С другой стороны, поскольку нет необходимой причины, по которой изолирующий язык должен развиваться в агглютинативный или агглютинативный во флективный, вполне может быть, что более высокая эволюция изолирующих языков протекала параллельно с эволюцией агглютинативного, в то время как более высокая эволюция агглютинативного протекала параллельно с эволюцией флективного. Если бы это было так, обе филологические школы, которые мы рассматриваем, были бы одинаково правы и одинаково неправы: каждая представляла бы разные стороны одной и той же истины.

Таким образом, мне кажется, что в той мере, в какой это касается целей настоящего трактата, мы можем пренебречь вопросом филогенеза между этими тремя порядками языков. Ибо до тех пор, пока все согласны с тем, что принципы эволюции универсально задействованы в генезисе каждого языка, для моей будущей аргументации не будет иметь значения, возникли ли эти принципы в одной или в нескольких линиях развития. Не может быть никаких разумных сомнений в том, что в какой-то большей или меньшей степени эти три порядка связаны: какова точная степень этой связи, несомненно, является вопросом первостепенной важности для филологической науки: вряд ли это имеет какое-либо значение для проблем, которые нам сейчас предстоит рассмотреть.

Но вопрос, касающийся отношения между полисинтетическим и другими типами языка, имеет для нас большее значение, поскольку он включает в себя вопрос о том, имеем ли мы здесь дело с самым примитивным типом языка. По мнению некоторых филологов, "эти полисинтетические языки представляют собой интересный пережиток раннего языкового состояния во всем мире и являются лишь свежим доказательством того, что Америка на самом деле является "новым светом": примитивные формы речи, которые в других местах давным-давно исчезли, все еще выживают там, подобно броненосцу, чтобы свидетельствовать об ушедшем прошлом". [156] С другой стороны, это не совсем так. ис с такой же уверенностью утверждает, что "полисинтез - это не примитивная особенность, а расширение, или, если угодно, вторая фаза агглютинации". [157]

Конечно, при рассмотрении этого вопроса я могу действовать только как дилетант, совершенно лишенный авторитета в вопросах, относящихся к филологии; но пункты, о которых я собираюсь говорить, имеют отношение к принципам настолько общим, что при их рассмотрении непрофессионал не может не воспользоваться ими на скамье присяжных. Более того, сами филологи в настоящее время настолько плохо информированы о фактах полисинтетического

языка, что здесь меньше самонадеянности, чем где бы то ни было, у любого стороннего наблюдателя, высказывающего свое мнение по спорным вопросам. [158] Однако нежелательно занимать место каким-либо утомительным перечислением фактов, на которых, после прочтения более важной литературы по данной теме, основано мое суждение. Как бы то ни было, это суждение заключается в следующем.

Во-первых, мне кажется, что у тех экспертов есть чрезвычайно веские аргументы в пользу того, что полисинтетические языки представляют собой крайне примитивную форму речи. Действительно, я думаю, что они настолько недифференцированно доказывают существование этого типа языковой структуры, что я согласен с ними в заключении, что это, вероятно, приближает нас ближе к "происхождению речи", чем любой другой тип, существующий в настоящее время. Более того, учитывая большой контраст между этим типом и тем, который представлен изолирующими языками, мне кажется невозможным, чтобы один мог быть генетически связан с другим. Ибо мне кажется, что эксперты с противоположной стороны не менее убедительно доказали, что изолирующие языки также представляют свидетельства крайне примитивного происхождения; и, следовательно, что какую бы эволюцию и последующую дегенерацию ("фонетический распад") ни претерпел, например, китайский язык, это только доказывает, что он на протяжении всей своей долгой истории эволюции оставался верен принципу изоляции — точно так же, как простейшие на протяжении всей своей долгой истории эволюции оставались верны своему "изолирующему" типу, несмотря на то, что некоторые из их ветвей, должно быть, давным-давно дали начало "изолирующему" типу. агглютинированные" Многоклеточные организмы. Другими словами, мне кажется, что эксперты по этой стороне вопроса смогли отнести изолирующий тип речи к столь же низкому уровню развития — и, следовательно, предположительно, к столь же высокому уровню древности, — как эксперты по другой стороне смогли отнести полисинтетический.

Если я прав в этом мнении, то из этого следует, что должны были существовать по крайней мере две исходные точки, из которых возникли все существующие языки — или, скорее, позвольте мне сказать, по крайней мере два типа языкообразования, на основе которых сформировались самые ранние речевые материалы. Ибо даже самые ярые сторонники полисинтетического происхождения речи не осмеливаются подвергать сомнению в высшей степени примитивную природу односложного типа. Так, например, профессор Сэйс является главным сторонником полисинтетической точки зрения, и все же он цитирует изолирующие формы китайского и тайского языков как "превосходные иллюстрации ранних дней речи"; [159] и он приводит их как "примеры с дальнего Востока, чтобы показать нам путь, которым впервые появились наши слова". [160] Но если это допускает даже ведущий сторонник полисинтетической точки зрения, я не могу представить себе возможность того, что один тип настолько полностью трансформировался в другой, что в изолирующем типе не осталось и следа его полисинтетического происхождения. Ибо, принимая во внимание вышеупомянутые допущения, нам остается заключить, что трансформация должна была произойти вскоре после рождения языка в любой форме — несмотря на то, что, как настаивает профессор Сэйс в другом месте (в уже цитированном отрывке), "концепция предложения, лежащая в основе полисинтетических диалектов, в точности противоположна той, которая лежит в основе изолирующего или агглютинативного типа".

Таким образом, ввиду этих заявлений самого профессора Сэйса, я не думаю, что мне необходимо идти дальше в обоснование уже высказанного мнения, а именно, что мы должны

признать по крайней мере два типа языкообразования, на основе которых формировались самые ранние речевые материалы. Достаточно вероятно, что оба этих типа языкообразования независимо возникли во многих частях земной поверхности в разное время; и возможно, что могли возникнуть еще другие типы, которые в настоящее время либо вымерли, либо слились с некоторыми из более поздних разработок двух сохранившихся языков. Но, как бы то ни было, я полагаю, что обе филологические школы, которые мы рассматриваем, разобрали свои соответствующие случаи; и, следовательно, что они обе ошибаются, так часто предполагая, что эти случаи взаимоисключающие.

Таким образом, становится очевидным, что я полностью поддерживаю полифилектическую теорию развития языка. Даже если бы не только что приведенные филологические соображения, на основании чисто общих рассуждений мне казалось бы гораздо более вероятным, что такой полезный социологический инструмент, как создание членораздельных знаков, развился из создания знаков тоном и жестом везде, где психологические силы человечества были достаточно развиты, чтобы допустить такую эволюцию. И, если это так, становится очевидным, что любые аборигенные расы, которые были географически разделены, медленно и независимо вырабатывали свои примитивные формы речи — предполагая, конечно, что человечество стало сегрегированным, все еще находясь в безмолвном состоянии, что, как я объясню впоследствии, кажется мне наиболее вероятным предположением. И если бы это было так, мне кажется крайне невероятным, чтобы языки, которые возникли и развивались независимо друг от друга, были вынуждены исходить либо из односложного, либо из полисинтетического, либо из какого-либо другого исключительно типа. То, что существующие на земле языки действительно возникли более чем в одном центре, в настоящее время является почти всеобщим убеждением компетентных органов. [161] Но слишком многие из этих авторитетов все еще придерживаются того, что кажется мне совершенно необоснованным и крайне невероятным предположением, что, хотя различные языки, таким образом, возникли в разных центрах, все они должны были появиться на свет с точным семейным сходством друг с другом, насколько это касается типа или “гениальности”. Но для такого предположения нет оснований ни в физиологии, ни в психологии человечества. Напротив, если мы обратимся к ближайшему аналогу этого случая, а именно к растущему ребенку, мы можем найти множество свидетельств того факта, что самые ранние попытки членораздельного высказывания могут происходить у разных типов, что мы убедительно доказали цитатами доктора Хейла из предыдущей главы.

В этой связи я хотел бы завершить настоящую главу, уделив особое внимание интересной и остроумной гипотезе, которая была предложена доктором Хейлом на основе только что упомянутых фактов.

Чтобы оценить достоинства этого предположения, желательно напомнить читателю, что языки, на которых в настоящее время говорят коренные племена американского континента, представляют собой так много и столь радикальных различий между собой, что в отношении значительной части из них филологи не в состоянии предложить какую-либо филологическую классификацию. Таким образом, цитируя профессора Уитни, “что касается выразительных средств, то полностью признается, что между ними существует непримиримое разнообразие. Существует очень значительное число групп, между значимыми признаками которых существует не больше очевидных соответствий, чем между признаками английского, венгерского и малайского языков; ни одна из них, в частности, не может быть просто случайной

”. [162] И, что наиболее любопытно, эти огромные различия могут возникать между соседними племенами, которые, по всей видимости, этнологически идентичны — как, например, группы алгонкинов, ирокезов и дакота. Более того, это разнообразие языковой структуры в некоторых случаях заходит так далеко, что достигает самых корней языкового роста; “полисинтетическая структура не присуща в одинаковой степени всем американским языкам: напротив, в некоторых она, по-видимому, полностью стерта или изначально отсутствует”. [163] Более того, даже изолирующий тип языка обрел опору, и это в его собственно односложной и немногословной форме.

Учитывая такое положение дел на американском континенте (а также, хотя и в меньшей степени, в южных частях Африки), доктор Хейл предлагает следующую гипотезу в качестве объяснения. Мне это, безусловно, кажется правдоподобным, и если в конечном итоге будет найдено, что это дает ключ к разгадке тайн языкового роста в Новом Свете, это, очевидно, станет достаточным объяснением радикальных различий языков в других местах.

Отталкиваясь от фактов, которые я уже цитировал из его статьи в конце моей главы об артикуляции, он утверждает, что если дети таким образом спонтанно изобретают свой собственный язык совершенно произвольным образом, даже находясь в окружении разговорного языка цивилизованного сообщества, то гораздо больше вероятность того, что дети будут делать это, если их случайно оторвать от человеческого общества и, таким образом, предоставить их собственным ресурсам в изолированном состоянии. Теперь, “если бы при таких обстоятельствах болезнь или жертвы, понесенные охотником, унесли родителей, выживание детей, очевидно, зависело бы главным образом от характера климата и легкости, с которой можно было бы добывать пищу в любое время года. В древней Европе, после установления нынешних климатических условий, сомнительно, чтобы семья с детьми в возрасте до десяти лет могла пережить одну зиму. Поэтому мы не удивлены, обнаружив, что в Европе представлено не более четырех или пяти лингвистических групп, и что все они, за исключением баскского языка, по веским свидетельствам, появились сравнительно поздно. Некоторые даже прослеживают происхождение баскского языка, с большой долей вероятности, из Северной Африки. То же самое можно сказать и о Северной Америке, к востоку от Скалистых гор и к северу от тропиков. Климат и скудость пищи зимой не позволяют нам предполагать, что выводок детей-сирот мог выжить, разве что по счастливой случайности в каком-нибудь благоприятном месте на берегу Мексиканского залива, где в изобилии водятся моллюски, ягоды и съедобные корни, к которым легко добраться.

Но есть один регион, где Природа, кажется, предлагает себя в качестве добровольной кормилицы и щедрой мачехи слабым и незащищенным. Из всех стран на земном шаре, вероятно, нет ни одной, в которой маленькая стайка совсем маленьких детей нашла бы средства к существованию с большей готовностью, чем в Калифорнии. Его чудесный климат, непревзойденно мягкий и ровный, хорошо известен. М-р Крониз в своем томе ‘Природные богатства Калифорнии’ сообщает нам, что ‘среднемесячное значение термометра в Сан-Франциско в декабре, самом холодном месяце, составляет 50 °; в сентябре, самом теплом месяце, 61 °’. И он добавляет: ‘Хотя штат простирается до широты Плимутского залива на севере, климат на всем его протяжении такой же мягкий, как и в регионах, прилегающих к рассматриваемым темам. Половина месяцев здесь без осадков. Снег и лед почти незнакомы, за

исключением больших высот. В году бывает целых двести безоблачных дней. Розы цветут под открытым небом в любое время года.' Не менее примечательным, чем этот изысканный климат, является поразительное разнообразие блюд, которые, кажется, сами протягиваются в нежные детские ручки. Ягоды многих сортов — клубника, ежевика, смородина, малина и лососевые — являются местными и встречаются в изобилии. Крупные плоды и съедобные орехи на низких и свисающих ветвях, по выражению Мильтона, "приятно висят". М-р Крониз перечисляет, среди прочего, дикую вишню и сливу, которые "растут на кустах"; барбарис, или ложный виноград (*Berberis herbosa*), "низкий кустарник", приносящий съедобные плоды; и калифорнийский конский каштан (*Æsculus Californica*), "низкое, раскидистое дерево или кустарник, редко превышающий пятнадцать футов в высоту", который "приносит обильные плоды гораздо чаще". используется индейцами.' Кроме того, есть питательные корнеплоды различных видов, созревающие в разное время года. В реках кишмя кишит рыба, и ее добывают самыми простыми способами. Весной, сообщает нам мистер Пауэрс, сиг "заполняет ручьи в таком огромном количестве, что индейцы, просто подбрасывая немного хвороста, чтобы затруднить его движение, могут буквально вычерпывать его'. Моллюски и личинки водятся в изобилии, и туземцы с жадностью поедают их. Дождевые черви, которые встречаются повсюду и в любое время года, являются излюбленным продуктом питания. Что касается одежды, то только что упомянутый авторитет сообщает нам, что 'на равнинах все взрослые мужчины и все дети до десяти-двенадцати лет ходили совершенно обнаженными, в то время как женщины носили только узкую полоску оленьей шкуры вокруг талии'. Нужно ли удивляться, что в таком мягком и плодородном регионе было обнаружено огромное количество отдельных племен, говоривших на языках, которые при тщательном исследовании были отнесены к девятнадцати различным языковым группам?

Климат прибрежной области штата Орегон, хотя и более холодный, чем в Калифорнии, все же гораздо мягче и ровнее, чем на той же широте на востоке; и изобилие съедобных фруктов, корнеев, речной рыбы и другой легко добываемой пищи очень велико. Семья с маленькими детьми, если бы один из них был достаточно взрослым, чтобы позаботиться об остальных, могла бы легко дожить до зрелости в защищенном уголке этой добродушной и плодородной земли. Поэтому мы не удивлены, обнаружив, что количество лингвистических группировок в этом узком районе, хотя и меньше, чем в Калифорнии, более чем в два раза больше, чем во всей Европе, и что большая часть этих группировок сосредоточена вблизи границы с Калифорнией....

“Некоторые воспоминания о родительской речи, вероятно, остались бы у детей постарше и были бы возрождены и усилены по мере того, как их способности набирали силу. Таким образом, мы можем объяснить тотфакт, который озадачил всех исследователей, что определенные неожиданные и спорадические сходства как в грамматике, так и в лексике, которые вряд ли можно считать чисто случайными, иногда возникают между самыми непохожими языками....

“Взгляд на другие лингвистические провинции покажет, насколько точно это объяснение происхождения языковых запасов применимо повсюду. Тропическая Бразилия - регион, который сочетает в себе вечное лето с изобилием съедобных фруктов и других видов пищи, не менее обильных, чем в Калифорнии. Здесь, как нигде, должно быть множество совершенно разных языков. Мы узнаем из лучшего источника, барона Дж. Дж. фон Чуди, во Введении к его недавней работе о языке хетшуа, что это факт. Он говорит: ‘У меня есть коллекция, собранная

известным натуралистом Дж. Наттерером во время его многолетнего пребывания в Бразилии, более чем на ста языках, лексически совершенно отличных от внутренних языков Бразилии'. И он добавляет: 'Число так называемых изолированных языков, то есть таких, которые, согласно нашей нынешней информации, не обнаруживают родства ни с какими другими и которые, следовательно, образуют отдельные группы большей или меньшей протяженности, в Южной Америке очень велико и, по приблизительной оценке, должно исчисляться многими сотнями. Возможно, впоследствии удастся включить многих из них в более крупные семьи, но все еще должно оставаться значительное число, для которых это будет невозможно".

Я процитировал эту гипотезу, как отмечалось ранее, потому что она кажется мне филологически интересной; но что бы ни думали о ней профессиональные авторитеты, свидетельства полигенетического и политипического происхождения местных языков, которые предоставляет американский континент, остаются неизменными. И если есть веские основания для вывода в пользу полигенетического происхождения различных типов языков на этом континенте, то, конечно, возникает вероятность того, что радикальные различия в структуре языков Старого Света можно объяснить тем, что они произошли из аналогично независимых источников. [164]

ГЛАВА XIII.

КОРНИ ЯЗЫКА.

В последней главе мое рассмотрение классификации и филогении языков, возможно, навело обычного читателя на мысль, что филологи демонстрируют чрезвычайные расхождения во мнениях относительно некоторых основных принципов своей науки. Поэтому я могу начать настоящую главу с напоминания такому читателю, что до сих пор меня больше интересовали расхождения во мнениях, чем договоренности. Если кто-то в общих чертах взглянет на прогресс филологической науки с тех пор, как филология — почти в нашем собственном поколении — впервые стала наукой, я думаю, он должен быть гораздо более впечатлен достигнутой степенью определенности, чем той неопределенностью, которая все еще остается. И неопределенность, которая все же сохраняется, объясняется скорее отсталостью исследований, чем различиями в интерпретации. Когда будет больше известно о структуре и взаимных связях полисинтетических язычков, вероятно, будет достигнуто лучшее согласие относительно отношения их общего типа к изолирующим язычкам, с одной стороны, и агглютинирующим - с другой. Но, как бы то ни было, даже при нынешнем положении дел, я думаю, у нас есть больше оснований удивляться определенности, которая уже присуща принципам филологии, чем неопределенности, которая иногда возникает при их применении к сравнительно неизученным областям лингвистического развития.

Более того, какими бы важными ни были эти все еще нерешенные вопросы с чисто филологической точки зрения, они не имеют большого значения с точки зрения эволюциониста, как я уже заметил. Ибо до тех пор, пока существует всеобщее согласие с тем, что все языковые группы были продуктами постепенного развития, сравнительно говоря, несущественно, находятся ли все группы друг с другом в отношениях последовательного

происхождения или же одни из них находятся с другими в отношениях побочного происхождения. Иными словами, эволюционист не обязан поддерживать ни монотипическую, ни политипическую теорию происхождения языка. Следовательно, для последующего обсуждения не имеет существенного значения, будет ли читатель склонен следовать доктрине, согласно которой все языки должны были возникнуть из таких односложных выделений, с которыми мы сейчас встречаемся в такой радикальной форме речи, как китайский; что все они возникли из таких полисинтетических инкапсуляций, которые мы сейчас находим в бесчисленных диалектах американских индейцев; или, наконец, и это мне самому кажется гораздо более вероятным, что оба этих и, возможно, другие типы языковой структуры все одинаково примитивны. Как бы то ни было, моя дискуссия не будет омрачена их неопределенностью. Ибо эта неопределенность относится только к *происхождению* существующих языковых типов как независимых или генетически родственных: она никоим образом не влияет на достоверность их последующей *эволюции*. Much as philologists may still differ upon the mutual relations of these several language-types, they all agree that “von der ersten Entstehung der Sprachwurzeln an bis zur Bildung der vollkommenen Flexionssprachen, wie des Sanskrit, Griechischen, oder Deutschen, ist Alles in der Entwicklung der Sprache verständlich.... Sobald nur die Wurzeln als die fertigen Bausteine der Sprache einmal da sind, lässt sich Schritt für Schritt das Wachsthum des Sprachgebäudes verfolgen.” [165]

Поэтому, сказав теперь все, что кажется необходимым сказать по вопросу о языковых типах, я перейду к рассмотрению информации, которой мы располагаем по вопросу о языковых корнях.

Во-первых, давайте рассмотрим количество корней, из которых развиваются языки, или, скорее, позвольте мне сказать, количество элементарных составляющих, к которым исследования филологов смогли свести те языки, которые были наиболее тщательно изучены. Конечно, вероятность — нет, определенность — состоит в том, что фактическое количество корней во всех случаях должно быть значительно меньше, чем сейчас могут доказать филологи.

Китайский язык состоит примерно из пятисот отдельных слов, каждое из которых является односложным. В реальном употреблении эти пятьсот однокоренных слов умножаются до более чем полутора тысяч за счет значительного разнообразия интонации; но вся структура этого все еще живого языка состоит из пятисот односложных слов. По мнению большинства филологов, мы имеем здесь пережиток корневой стадии языка; но, по мнению некоторых, мы имеем дело с остатками эрозии, или “фонетического распада”. [166] Это различие во мнениях, однако, не имеет для нас значения; и поэтому я не буду обсуждать его дальше, чем скажу, что из-за него я впредь не буду использовать китайский язык для иллюстрации “радикальных” высказываний, за исключением тех случаев, когда филологи всех школ сочтут это законным. [167]

Иврит сократился примерно до того же количества корней, что и китайский — Ренан указывает это круглыми цифрами в пятьсот. [168] Но, без сомнения, это число могло бы значительно сократиться, если бы запросы были в достаточной степени распространены на всю семитскую семью.

По словам профессора Скита, английский язык полностью состоит из 461 арийского корня в сочетании примерно с двадцатью модифицирующими константами. [169] Отдаленный прародитель, санскрит, по оценкам Бенфи, содержит до 850 корней, или, по словам Бенфи,

примерно вдвое больше. [170] С другой стороны, Макс Мюллер в результате более поздних исследований утверждает, что сократил общее количество санскритских корней до 121. [171]

Нет необходимости приводить дальнейшие примеры. Ибо этого достаточно, чтобы показать, что, даже если бы мы считали аналитические возможности сравнительной филологии достаточными для разделения всех составных частей языка на его примитивные элементы, оценка Потта, вероятно, была бы сильно завышена, когда он утверждает, что в среднем корни языка могут исчисляться тысячей. [172] Видя, что во всем словаре китайского языка содержится только половина этого количества слов, и что и иврит, и английский одинаково дали примерно по пятьсот радикалов в горниле более современных исследований, я думаю, мы можем безопасно уменьшить общую оценку Потта наполовину, и, вероятно, были бы ближе к истине, если бы сделали это на три четверти или больше. Во всяком случае, мы можем быть удовлетворены тем, что общее количество радикалов, достаточное для питания самого пышного из языков, можно выразить тремя цифрами; и этого, как мы сейчас увидим, достаточно для всех целей моего последующего обсуждения.

Переходя теперь от вопроса о числе к вопросу о символе, мы должны сначала ответить на вопрос — *что собой* представляют эти корни? Являются ли они на самом деле примитивными словами доисторических языков, или это то, что Макс Мюллер метко назвал “фонетическими типами”? Здесь мы снова сталкиваемся с расхождением во мнениях среди филологов. Так, например, профессор Уитни говорит нам, что все индоевропейские языки произошли от первоначального односложного языка и, следовательно, что “наши предки разговаривали друг с другом простыми слогами, указывающими на идеи первостепенной важности, но не имеющими никакого обозначения их отношений”. [173] С другой стороны, возражается против этой точки зрения, что “такой язык совершенно невозможен”; [174] что “не может быть никакой надежды на какое-либо взаимопонимание” с языком, ограниченным такими изолированными и общими терминами, и с. [175] С этой стороны вопроса это представляется, что “корни - это фонетические и значимые типы, обнаруженные в результате анализа филолога-компаративиста как общие для группы родственных слов”; [176] что “корень является *ядром* группы родственных слов”, [177] “обнаженное ядро семейства слов”. [178] Или, используя сравнение, ранее использовавшееся в другой связи, мы можем сказать, что корень в том виде, в каком его сейчас представляют филологи, представляет собой составную фотографию (или *фонограмму*) ряда слов, все из которых принадлежат к одному и тому же доисторическому языку и все близки по значению.

Разница в авторитетном учении, демонстрируемая таким образом, не имеет для нас большого значения. На самом деле, как мы впоследствии увидим, это различие не так велико, как может показаться на первый взгляд. Ибо даже теория фонетического типа не сомневается в том, что все исконные и неизвестные слова, из состава которых сейчас извлекается корень, должны были быть генетически связаны друг с другом и демонстрировать близость своего родства близким сходством звучания. Следовательно, не имеет никакого практического значения, рассматриваем ли мы корень как само по себе примитивное слово, которое использовалось примерно так же, как китайцы сейчас используют свои односложные термины; или мы рассматриваем его как обобщенное выражение группы родственных слов, тесно связанных по значению. Фактически, даже такой убежденный сторонник теории фонетического типа, как профессор Макс Мюллер, очень четко заявляет об этом, говоря, что, хотя “простому корню, *qiā*

root, может быть отказано в достоинстве слова, как только корень используется для предикации, он становится словом, независимо от того, изменен он внешне или нет”. [179]

Видя, таким образом, что это расхождение во мнениях среди филологов не имеет для нас большого значения, я впредь не буду обращать на него внимания. И поскольку это будет способствовать краткости, если не ясности, я буду говорить о корнях как об архаичных словах, хотя, поступая таким образом, я не собираюсь предполагать, что они представляют собой нечто большее, чем фонетические типы, или ближайший подход, который мы можем сделать к словам, из которых они произошли.

Далее мы можем рассмотреть, какие значения передают корни. Предварительно мы могли бы сформировать различные предположения на этот счет, например, что они должны имитировать звуки природы, выражать конкретные идеи и так далее. На самом деле, мы обнаруживаем, что они не выражают естественных звуков; но, насколько у нас сейчас есть какие-либо средства судить, совершенно произвольны. Более того, они выражают не конкретные или партикулярные идеи, а всегда абстрактные или общие. Итак, для начала мы имеем два факта, по-видимому, очень важных. И оба эти факта, на первый взгляд, как будто подтверждают точку зрения о том, что в конечном итоге сравнительная филология не может свидетельствовать о естественном происхождении речи. Но мы должны изучить этот вопрос более внимательно, и, чтобы сделать это наиболее справедливо, я процитирую профессора Макса Мюллера из 121 корня, на которые он анализирует санскритский язык. Это язык, который был наиболее тщательно изучен в данной связи, и из всех изучающих его профессор Макс Мюллер наименее подвержен каким-либо подозрениям в склонении на сторону “дарвинизма”. Ниже приводится список того, что он называет “121 оригинальной концепцией”.

1. Копать.
2. Плести, сшивать, связывать.
3. Раздавливать, растирать, уничтожать, выбрасывать, тереть, разглаживать.
4. Затачивать.
5. Размазывать, окрашивать, месить, затвердевать.
6. Царапать.
7. Кусать, есть.
8. Разделять, делиться, есть.
9. Резать.
10. Собирай, наблюдай.
11. Растягивай, распространяй.
12. Перемешать.
13. Рассыпать, посыпать.
14. Посыпать, поливать, намочить.
- 15а. Трясти, трепетать, трепещет, мерцает.
- 15б. Трясти, мысленно, злиться, смущаться, испытывать страх и т.д.
16. Бросать, падать.
17. Распадаться на части.
18. Стрелять, кидаться.
19. Протыкать, рассекать.
20. Вступать, сражаться, проверять.

21. Рвать.
22. Ломать, крушить.
23. Измерять.
24. Взорвать.
25. Разжечь.
26. Молоко, надоить.
27. Изливаться, течь, устремляться.
28. Отделять, освобождать, оставлять, не хватать.
29. Подбирать.
30. Выбирать.
31. Готовить, жарить, отваривать.
32. Чистить.
33. Мыть.
34. Сгибать, кланяться.
35. Поворачивать, перекачивать.
36. Нажимать, фиксировать.
37. Сжимать.
38. Вести, толкать.
39. Дави, перемешивай, живи.
40. Взрываться, фонтанировать, смеяться, сиять.
41. Одеваться.
42. Украшать.
43. Раздеть, снять.
44. Украсть.
45. Проверить.
46. Наполняйся, процветай, набухай, крепни.
47. Пересекайся.
48. Подсластить.
49. Сократить.
50. Худеть, страдать.
51. Толстый, прилипчивый, любимый.
52. Лижи.
53. Сосать, питать.
54. Пить, набухать.
55. Глотать, отхлебывать.
56. Рвота.
57. Пережевывать, есть.
58. Раскрывать, расширять.
59. Достигать, стремиться, властвовать, обладать.
60. Завоевывать, брать насилем, борьбой.
61. Действовать, добиваться успеха.
62. Атаковать, причинять боль.
63. Прятаться, гнать.
64. Укрывать, обнимать.
65. Терпи, неси.
66. Можешь, будь сильным.

67. Покази.
68. Касаться.
69. Наносить удар.
70. Спрашивать.
71. Наблюдать.
72. Вести.
73. Устанавливать.
74. Удерживать, владеть.
75. Отдавать, уступать.
76. Кашлять.
77. Испытывать жажду, пересыхание.
78. Голод.
79. Зевота.
80. Поток.
81. Летать.
82. Спать.
83. Ощетиниться, осмелиться.
84. Быть злым, резким.
85. Дыши.
86. Говори.
87. Ищи.
88. Слушай.
89. Нюхать.
90. Пот.
91. Бурлить.
92. Танцевать.
93. Прыгать.
94. Ползти.
95. Спотыкаться.
96. Держаться.
97. Гори.
98. Живи.
99. Стой.

100. Тонуть, лгать, терпеть неудачу.
101. Качаться.
102. Свисать, наклоняться.
103. Подниматься, расти.
104. Сидеть.
105. Тяжкий труд.
106. Утомленный, расточительный, расслабленный.
107. Возрадуйся, пожалуйста.
108. Желание, любовь.
109. Проснись.
110. Страх.
111. Охладить, освежить.

- 112. Вонять.
- 113. Ненавидеть.
- 114. Знать.
- 115. Думать.
- 116. Сияй.
- 117. Беги.
- 118. Двигайся, вперед.
- 119a. Шум, нечленораздельный.
- 119b. Шум, музыка.
- 120. Делать.
- 121. Быть.

“Эти 121 концепция составляют основу обмена, с помощью которой я утверждаю, что каждая мысль, которая когда-либо приходила в голову Индии, насколько это известно нам из ее литературы, была выражена. Было бы легко сократить это число еще больше, поскольку среди них есть несколько, которые можно было бы объединить в рамках более общих концепций. Но я оставляю это дальнейшее сокращение другим, довольствуясь в качестве первой попытки тем, что показал, насколько небольшое количество семян может дать и дало огромную интеллектуальную растительность, которая покрывала почву Индии с самой отдаленной древности до наших дней ”. [180]

Итак, первое, что бросается в глаза при чтении этого списка, это то, что он, несомненно, подтверждает вывод его составителя, а именно: “если Наука о языке что-либо доказала, то она доказала, что каждый термин, применяемый к определенной идее или объекту (если это не имя собственное), уже является общим термином”. Но следующее, что сразу бросается в глаза, — это то, что список, каким бы удивительно коротким он ни был, тем не менее, слишком длинный, чтобы его можно было интерпретировать как, в каком-либо понятном смысле этих слов, перечень “оригинальных концепций” - если только под “оригинальным” мы не подразумеваем окончательные результаты филологического анализа. То, что все эти концепции не являются “оригинальными” в смысле представления идей действительно первобытного человека, с избытком доказывается двумя фактами.

Первое заключается в том, что можно было бы обойтись без трети от общего числа и при этом не оставить важных пробелов в и без того ограниченных ресурсах списка ни для целей коммуникации, ни для размышлений. Зевать, изрыгать, изрыгать пот и так далее не являются формами деятельности, имеющими такое жизненное значение для нужд первобытного сообщества, чтобы требовать приоритета наименования со стороны каких-либо аборигенов-создателей языка. Более того, как замечает сам профессор Макс Мюллер в другом месте, “даже эти 121 понятие можно было бы сократить до гораздо меньшего числа, если бы мы захотели это сделать. Любой, кто внимательно изучит их, увидит, как легко было бы выразить "копать" с помощью "резать" или "наносить удары"; "кусать" с помощью "резать" или "давить"; "доить" с помощью "выжимать"; "подбирать" с помощью "собирать"; "красть" с помощью "поднимать".... Если мы увидим, скольким особым целям может служить один корень, такой как *I*, идти или *Pas*, закрепляться, идея о том, что дюжина корней могла бы пополнить все богатство нашего словаря, сама по себе ни в коем случае не кажется такой нелепой, как часто предполагают ”. [181]

Опять же, во-вторых, значительное пропорциональное количество слов относится к уровню культуры, уже намного превосходящему тот, которого достигли большинство существующих дикарей. “Многие понятия, такие как готовить, жарить, измерять, одевать, украшать, явно относятся к более поздней фазе цивилизованной жизни”. [182] Уместно было бы добавить, что такие “концепции”, как копать, сажать, доить и т. Д., Указывают на условия *пастушеской* жизни, которая, как мы знаем из многочисленных свидетельств, отражает сравнительно высокий уровень социальной эволюции. [183] Но если “многие” из этих концепций, таким образом, безошибочно относятся к получивилизованному образу жизни в отличие от дикого, то какую гарантию мы можем иметь, что остальные являются “оригинальными”? Очевидно, что у нас не может быть такой гарантии; но, напротив, мы находим самые лучшие, поскольку *внутренние* свидетельства того, что они принадлежат к более или менее высокому уровню культуры, далекому от уровня первобытного человека. Другими словами, мы должны заключить, что эти 121 понятие “оригинальны” только в том смысле, что в настоящее время они не допускают дальнейшего анализа со стороны филологов-сравнителей: они не оригинальны в том смысле, что приближают нас к каким-либо измеримым зачаткам членораздельной речи. [184]

Тем не менее, они имеют исключительную ценность и значение, поскольку подводят нас к периоду предположительно ограниченного мышления по сравнению с огромным развитием, которого с тех пор достигли различные ветви этой индоевропейской группы — по крайней мере, пока рост языка можно рассматривать как справедливое выражение такого развития. Они также имеют высочайшее значение, поскольку показывают, насколько предположительно короткий период времени (говоря сравнительно) может привести к столь огромному и расходящемуся росту из такого простого и подобного зародышу состояния мысли. [185] Наконец, они служат для того, чтобы самым поразительным образом показать, что представленные идеи, хотя все они носят общий характер, тем не менее, имеют самую низкую степень общности. Едва ли какая-либо из них представляет нам свидетельство рефлексивного мышления в отличие от наименования объектов чувственного восприятия или простейших форм деятельности, которые непосредственно познаваемы как таковые. [186] Другими словами, лишь немногие из этих “исходных концепций” поднимаются по шкале мышления намного выше того уровня, к которому я ранее относил то, что я называл “именованными рецептами” или “предконцептами”. Бессловесное животное или младенец демонстрируют полное восприятие большинства действий, включенных в каталог; и, следовательно, поскольку общество людей вообще может говорить (*т.е.* обладает способностью называть свои приемы), трудно понять, как они могли избежать обозначения более важных приемов, о которых здесь идет речь.

Еще одна наиболее интересная особенность общего вида, которую представляет этот список, заключается в том, что он состоит исключительно из глаголов. [187] Эта особенность предельно известных корней всех языков, которая показывает, что они выражали действия и состояния в отличие от объектов и качеств, является особенностью, на которой профессор Макс Мюллер уделяет большое внимание. Но вывод, который он делает из этого факта, явно неоправдан. Этот вывод состоит в том, что, поскольку каждый корень выражает “осознание повторяющихся действий, таких как скребание, копание, нанесение ударов” и т. Д., Именование действий в отличие от объектов “должно рассматриваться как первый шаг в формировании понятий”. Итак, делая этот вывод — и, действительно, во всех своих работах, насколько я помню, — профессор Макс Мюллер полностью упустил из виду два наиболее важных соображения. Во—первых, как уже отмечалось, рассматриваемые корни *явно* очень далеки от того, чтобы быть исходным материалом языка, каким он был впервые придуман первобытным человеком; и, во-вторых,

каким бы ни был этот исходный материал, с самого начала должна была вестись борьба за существование между действительно первобытными корнями - сохранились только те, которые были наиболее приспособлены для выживания в качестве корней, т.е. как родительские основы последующих словообразований. Итак, мне кажется достаточно очевидным, что архаичные — хотя и не обязательно аборигенные — слова, которые выражали действия, имели бы больше шансов сохраниться в качестве корней, чем те, которые могли обозначать объекты; во—первых, потому, что они, вероятно, использовались чаще, а во-вторых, потому, что многие из них, должно быть, легче поддавались метафорическому расширению -особенно в системе анимистического мышления. [188] И, если бы это было так, нет ничего примечательного в словах, значимых только для действий, которые сохранились как корни. [189]

Соображение о том, что только те слова, которые добились успеха в борьбе за существование, могли стать прародителями последующего языка — и, следовательно, единственные слова, которые дошли до нас как корни, — имеет еще более важное значение для другого обобщения профессора Макса Мюллера. Исходя из того факта, что все его 121 санскритский корень выражают “общие” идеи (под этим термином он, конечно, подразумевает то, что я называю общими идеями), он заключает, что с самого раннего своего возникновения речь должна была таким образом выражать общие идеи; или, другими словами, что человеческий язык не мог начаться с наименования частных: с самого начала он, должно быть, был связан с наименованием “понятий”. Теперь, конечно, если бы можно было привести какие-либо реальные доказательства того, что это “должно было быть” так, то большая часть предыдущих глав настоящей работы не была бы написана. Ибо вся цель этих глав заключалась в том, чтобы показать, что с психологической точки зрения вполне понятно, как концептуальная стадия формирования идей могла постепенно развиться из рецептивной - способности формировать общие, или истинно концептуальные идеи, — из способности формировать частные и обобщенные идеи. Но если бы можно было показать — или хотя бы в какой—то степени предположить, - что эта явно человеческая способность формировать действительно общие идеи возникла *de novo* с первым рождением членораздельной речи, несомненно, весь мой анализ был бы разрушен: было бы показано, что человеческий разум обладает качеством, отличным по происхождению — и, следовательно, по характеру — от всех низших категорий интеллекта: закон непрерывности был бы прерван на конечной фазе: между животным и человеком установилась бы непроходимая пропасть. На самом деле, однако, нет не только никаких следов какого-либо такого доказательства или даже презумпции; но, как мы увидим в двух следующих главах, существует единообразное и подавляющее доказательство как раз противоположной доктрины — доказательство, действительно, настолько единообразное и подавляющее, что оно давным-давно побудило всех других филологов принять эту противоположную доктрину как одну из аксиом своей науки. Оставляя, однако, это доказательство в надлежащем месте, я должен сейчас просто указать на тщетность доказательств, на которые опирается профессор Макс Мюллер.

Это доказательство состоит просто из факта, что “121 первоначальная концепция”, которые воплощены в корнях арийской речи, выражают “общие идеи”. Теперь, этот аргумент, возможно, стоило бы рассмотреть, если бы были хоть малейшие основания предполагать, что в этих корнях арийской речи мы обладаем исконными элементами языка, на котором впервые заговорил человек. Но поскольку мы хорошо знаем, что это неизмеримо далеко от истины, весь аргумент рушится. Сам факт того, что многие слова, сохранившиеся в качестве корней, являются словами, выражающими общие идеи, - это не больше, чем мы могли ожидать ранее. Помня, что

для слова, сохранившегося как корень, благоприятным условием является то, что оно оказалось плодовитым прародителем других слов, очевидно, что именно те слова, которые выражали идеи, представляющие некоторую степень общности, имели бы наилучшие шансы таким образом дойти до нас, даже с того сравнительно высокого уровня культуры, о котором, как мы видели, свидетельствует “121 исходное понятие”. Конечно, как я уже говорил, дело обстоит бы иначе, если бы кто-нибудь мог свободно предположить, даже в качестве чисто логической возможности, что этот уровень культуры соответствовал уровню первобытного человека, когда он впервые начал использовать членораздельную речь. Но любое подобное предположение выходит за рамки рационального обсуждения. 121 понятие само по себе дает неопровержимые доказательства принадлежности ко времени, *неизмеримо удаленному* от времени любого безмолвного прародителя *Homo sapiens*; и за огромный промежуток времени (каким бы он ни был) многие последующие поколения слов, *несомненно* расцвели и умерли. [190]

Эти замечания относятся к сравнительно немногим примерам общих идей, которые, собственно говоря, представлены в списке “121 концепция”. Как уже отмечалось, подавляющее большинство этих “концепций” демонстрирует не более высокую степень “общности”, чем то, что я назвал “предконцепцией”, *то есть* “именованным рецептом”. Но точно такие же соображения применимы и к тем, и к другим. Ибо, даже предположив, что названный прием изначально был словом, используемым только для обозначения “особой” идеи в отличие от “общей”, очевидно, что у него было бы мало шансов сохраниться в качестве корневого, если бы оно сначала не претерпело достаточной степени расширения, чтобы стать тем, что я называю рецептивно-коннотативным. Имя собственное, например, как таковое, не могло стать корнем. Только после того, как оно было распространено на других людей или вещи аналогичного класса, оно могло получить шанс выжить в качестве основы в борьбе за существование. На самом деле, я считаю наиболее вероятным — не только исходя из общих соображений, но и исходя из изучения спонтанных названий, впервые придуманных в “языке младенцев”, — что речь аборигенов была связана одновременно с обозначением как частных, так и родовых идей — *т.е.* индивидуальных восприятий и рецептов. Следует помнить, что в главе III, рассматривая Логiku рецептов, я довольно подробно остановился на этом предмете. Поэтому здесь будет достаточно процитировать вывод, к которому привел мой анализ.

“Общая идея является общей, потому что частные идеи, из которых она состоит, представляют такие очевидные точки сходства, что они спонтанно сливаются воедино в сознании; но общая идея является общей по совершенно противоположной причине, а именно потому, что уловленные ею точки сходства скрыты от непосредственного восприятия и, следовательно, никогда не могли бы слиться воедино в сознании, если бы не помощь намеренной абстракции или способность ума сознательно обращаться со своими собственными идеями как с идеями. Другими словами, тип классификации, о которой идет речь в рецептах, наиболее близок к типу классификации, от которого зависят все процессы так называемого перцептивного вывода, например, принятие чаши за сферу. Но тот вид классификации, с которым связаны понятия, наиболее далек от этой чисто автоматической группировки восприятий. Классификация, несомненно, имеет место в обоих случаях; но в одном порядке она обусловлена близостью сходств в акте восприятия, в то время как в другом — их отдаленностью”. [191]

Конечно, само собой разумеется, что эта “близость сходств в акте восприятия” может быть обусловлена либо сходством самих чувственных восприятий (например, когда цвет рубина кажется похожим на цвет “голубиной крови”), либо частотой их ассоциаций в опыте (например,

когда морская птица объединяет в одном рецепте различные ощущения, которые составляют ее восприятие воды, с ее общей классификацией воды как среды, в которой безопасно нырять). Теперь, если мы помним эти вещи, можем ли мы удивляться тому, что палеонтология речи доказывает, что ранние корни были главным образом выражением “родовых” идей в отличие от “общих” идей, с одной стороны, или “частных” идей, с другой? Не соблюдая этого реального различия между классификацией как рецептивной и концептуальной — *т.е.* как данной непосредственно в самом акте восприятия или как разработанной с заданной целью посредством интроспективного мышления, профессор Макс Мюллер основывает весь свой аргумент на другом и нереальном различии: он повсюду рассматривает присвоение имени как само по себе достаточное доказательство концептуального мышления и, следовательно, представляет способность обозначения, наравне с способностью наименования, отличительным критерием самосознающего разума. Но, как мы уже неоднократно убеждались, это, безусловно, не так. Действия и процессы, столь привычные или столь непосредственно очевидные для восприятия, как те, с которыми связано подавляющее большинство из этих “121 концепции”, не обозначают никакого порядка мышления, более высокого, чем предконцептуальный, в силу которого маленький ребенок способен выразить свою высшую восприимчивую жизнь до появления самосознания. Or, as Geiger tersely says:—“In einzelnen Fällen ist die Entstehung von Gattungsbegriffe aus Mangel an Unterscheidung gleichwohl kaum zu bezweifeln.” [192]

Опять же, если мы обратимся к еще более близкой аналогии, приводимой дикарями, мы встретим еще большее подтверждение этой точки зрения. Например, профессор Сэйс отмечает, что “во всех диких диалектах, в то время как отдельные объекты восприятия имеют избыточное количество названий, общие термины, соответственно, редки”. И он приводит ряд замечательных иллюстраций. [193]

В свете этих соображений меня удивляет только то, что эти 120 корневых слов не представляют *лучшего* доказательства концептуального мышления. Я уже приводил причины, по которым отказываюсь предполагать, что мы имеем здесь дело с “первоначальными” создателями разговорного языка; и, принимая во внимание сравнительно высокий уровень культуры, которого, должно быть, достигли рассматриваемые народы, кажется примечательным, что корневые слова их языка лишь в очень немногих случаях поднимались выше уровня доконцептуального высказывания. [194] Это, однако, лишь показывает, насколько сравнительно малую роль потребность в самосознательной рефлексии играет в практической жизни некультурного человека: это не показывает, что люди, о которых идет речь, были в высшей степени лишены этой присущей только человеку способности. Архидиакон Фаррар говорит нам, что, по его наблюдениям, весь разговорный словарный запас некоторых английских рабочих не превышал сотни слов, и, вероятно, дальнейшие наблюдения показали бы, что подавляющее большинство из них употреблялось без концептуального значения. Следовательно, если бы этим работникам пришлось придумывать свои собственные слова, вполне вероятно, что все без исключения их язык был бы лишен каких-либо терминов, обозначающих нечто большее, чем доконцептуальный порядок мышления. Тем не менее, эти люди, должно быть, были способны, пусть и в неразвитой степени, к истинно концептуальному мышлению: и это доказывает, насколько небезопасно было бы приводить доводы об отсутствии отчетливо выраженных концептуальных терминов к бедности концептуальных способностей у

любого народа, корни слов которого могли до нас дойти, - хотя, без сомнения, в таком случае мы, по—видимому, находимся на сравнительно небольшом расстоянии от истоков этой способности.

Дело, однако, теперь в том, что действительно аборигенные и, следовательно, чисто денотативные названия, несомненно, должны были быть как “родовыми”, так и “частными”: они должны были быть названиями рецептов, так же как и восприятий, действий, так же как объектов и качеств. Более того, столь же несомненно, что среди этого аборигенного набора денотативных названий, как частных, так и родовых, только те, которые принадлежат к последнему классу, могли иметь большие шансы сохраниться в качестве корней. Другими словами, ни одно аборигенное название не могло сохраниться как корень до тех пор, пока оно не приобрело в той или иной степени восприимчивую и, следовательно, коннотативную ценность. Следовательно, тот факт, что конечным результатом филологического анализа любого языка является сведение языка к определенному небольшому числу корней, и тот факт, что все эти корни выражают общие и родовитые идеи, — эти факты сами по себе не дают никакой поддержки доктрине, что эти корни сами по себе были исконными элементами языка, или, *тем более*, что исконные элементы языка выражали общие идеи. [195]

И этот вывод влечет за собой другой, едва ли менее важный. Много дискуссий было затрачено на вопрос о том, был ли язык аборигенов обязан принципу звукоподражания, или имитации членораздельными названиями звуков, явно отличительных от названных объектов или действий, и если да, то в какой степени. Конечно, исходя из эволюционных принципов, мы должны быть сильно склонны предположить, что языку аборигенов в значительной степени способствовало его формирование такое намеренное подражание естественным звукам, учитывая, что из всех форм речевого выражения они наиболее легко передают идею названного объекта или действия. И то же самое относится к так называемому междометному элементу в словообразовании, или использованию в качестве названий звуков, которые естественным образом выражают состояния человеческих чувств. С другой стороны, эта теория была отвергнута как адекватное объяснение первых зачатков членораздельной речи на том основании, что она не подтверждается ни историей [196] или результатами филогенетического исследования. [197] Однако те, кто спорит с этой стороны, забывают, что имена звукоподражательного происхождения всегда должны быть, в первую очередь, частными; что до тех пор, пока они остаются частными (как, например, в случае с нашим словом “кукушка”), у них не может быть больших шансов сохраниться в качестве корней; что по мере того, как они увеличивают свои шансы сохраниться в качестве корней, становясь более общими, они должны делать это, становясь более условными; и, следовательно, что подавляющее большинство корней, даже если изначально они были звукоподражательного происхождения, обязательно должны сохраняться в качестве корней. было бы скрыто это происхождение.

Чтобы проиллюстрировать каждое из этих общих соображений, давайте обратимся к примеру нашего собственного “детского языка”. Тот факт, что такой язык представляет такой большой элемент звукоподражания, сам по себе дает веское основание предполагать, что то, что сейчас рассматривается как составляющее столь важный принцип в младенчестве индивида (несмотря на наследственную склонность говорить), должно было составлять по меньшей мере столь же важный принцип в младенчестве расы. Но теперь суть в том, что если мы проследим за коннотативным расширением любого такого детского слова, то можем обнаружить, что точно по мере того, как оно становится общим, его звукоподражательное происхождение становится

неясным. Например, покойный мистер Дарвин сообщил мне следующие подробности о своем собственном внуке, который в то время жил в его доме. Я цитирую этот отчет по заметкам, сделанным в то время.

Ребенок, который только начинал говорить, назвал утку 'крякающей'; и, по особой ассоциации, он также назвал воду "крякающей". Оценив сходство качеств, он затем расширил термин 'шарлатанство' для обозначения всех птиц и насекомых, с одной стороны, и всех текучих субстанций - с другой. Наконец, еще более тонко оценив сходство, ребенок в конце концов назвал все монеты 'шарлатанскими', потому что на обратной стороне французского су он когда-то видел изображение орла. Следовательно, для ребенка знак "шарлатан", первоначально имевший очень специальное значение, становился все более и более расширенным в своем значении, пока теперь не служит для обозначения таких, казалось бы, разных предметов, как "муха", "вино" и "монета".

Итак, если бы какой-либо подобный процесс расширения или обобщения исконных звукоподражательных терминов имел место среди первобытных создателей человеческой речи, насколько безнадёжной была бы задача филолога, который сейчас попытался бы найти звукоподражательный корень! Тем не менее, как отмечалось выше, мы не только можем быть совершенно уверены в том, что такое расширение аборигенных звукоподражательных терминов должно было иметь место, если такие термины вообще когда-либо существовали (и в этом нельзя сомневаться), но также и в том, что такое расширение его значения должно было быть почти необходимым условием выживания звукоподражательного термина как корневого. Другими словами, мы можем видеть очень веские основания для вывода, что, как правило, только те примеры примитивной звукоподражательности могли сохраниться как корни, звукоподражательное происхождение которых, должно быть, давным-давно было безнадёжно затемнено. Так что нигде так сильно, как в этом случае, мы не должны быть готовы принять общий принцип филологического исследования, заключающийся в том, что, как наглядно сформулировал это Гете, первоначальные значения слов постепенно стираются, подобно изображению и надписи на монете. [198]

В свете таких соображений меня удивляет только то, что это происхождение можно проследить так часто, даже в сравнительно недавние времена, когда пастушеский народ придумал термины, которые впоследствии составили корни санскрита. *Kas*, кашлять; *kshu*, чихать; *proth*, фыркать; *ta*, блять, и многие другие, по признанию даже профессора Макса Мюллера, имеют явно подражательное происхождение. В данной связи, однако, интересно отметить, как этот авторитет обращается с подобными случаями. Он говорит: "Ни одно из них не имеет никакого значения для того, чтобы помочь нам объяснить настоящие слова на санскрите. У большинства из них вообще не было потомства, у других было несколько потомков, в основном стерильных. Их история ясно показывает, как далеко может зайти влияние звукоподражания, и если однажды мы узнаем его законную сферу, у нас будет меньше шансов захотеть расширить ее за надлежащие пределы". [199]

Теперь, с нашей нынешней точки зрения, мы можем видеть очень вескую причину, по которой этот элемент стерильности должен был быть присущ этим корням санскрита, звукоподражательное происхождение которых все еще можно четко проследить: именно потому, что они не были расширены, их имитационный источник продолжает оставаться очевидным. [200] Но предположим, для иллюстрации, что любой из них был расширен, и что бы

произошло? Если бы *ма*, блять, было метафорически применено к плачу ребенка и затем все чаще и чаще использовалось в этом новом значении, в то время как первоначальное значение становилось все более и более устаревшим, оно могло бы занять место любого такого корня, как *бхи*, бояться; *иш*, любить и т. Д.; И во всем потомстве слов, которое впоследствии могло возникнуть в этом его обычном употреблении, теперь нельзя было бы встретить никаких следов имитационного происхождения — не более, чем такое происхождение может быть обнаружено. обнаруживается в звуке “кряканье”, который вышеупомянутый ребенок использовал для обозначения шиллинга.

Можно было бы привести несколько других соображений, приводящих к тому же общему результату. Но, упоминая лишь некоторые из наиболее важных, Стейнтал указывает, что подражательное высказывание сильно различается даже среди различных существующих человеческих рас, так что звукоподражательные слова одной расы не передают никакого подражательного внушения в умы другой. [201] Аналогичным образом профессор Сэйс настаивает: “необязательно, чтобы имитация естественных звуков была точной; на самом деле, этого никогда не может быть: все, что требуется, - это чтобы имитация была узнаваема теми, к кому обращены. Следовательно, один и тот же естественный звук может очень по-разному восприниматься разными людьми и, таким образом, быть представлен в членораздельной речи странным образом”. [202] Другую очень хорошую иллюстрацию того же тезиса можно найти в названиях кузнечика на разных языках. Назвав число, архидиакон Фаррар замечает, что, очевидно, они “все подражательные: и все же, как сильно различаются фантазии подражания! Как это объяснить? Просто из—за того факта, к которому так часто приходится возвращаться, что слова — это не просто имитации, а субъективные отголоски и воспроизведения - отзвуки, которые модифицируются как органически, так и идеально, - которые, кроме того, были чрезвычайно размыты и разложились по прошествии веков”. [203]

Но, возможно, лучшая иллюстрация, которая была дана по этому поводу, заключается в различных словах, которые используются в разных языках для обозначения Грома. На эту тему были написаны два независимых трактата: один Гриммом, [204], а другой Поттом. [205] Хотя почти во всех языках принцип имитации более или менее очевиден, наибольшее разнообразие наблюдается среди получающихся звуков. [206] В этой связи я также могу привести еще одно соображение. В своем *Введении в науку о языке* профессор Сэйс на нескольких основаниях утверждает, что, когда впервые зародилась артикуляция, членораздельные звуки, вероятно, в значительной степени зависели по своему значению от жестов, которыми они сопровождались. Следовательно, коренные слова аборигенов, даже если предположить, что какие-либо из них дошли до нас и что их происхождение было имитационным, поскольку их имитационная ценность, таким образом, могла в значительной степени зависеть от соответствующих сопровождающих жестов, их имитационный источник давным-давно был бы сокрыт.

Следовательно, принимая во внимание все эти соображения, я не могу считать чисто отрицательные свидетельства против звукоподражательного происхождения членораздельных звуков вообще сколько-нибудь ценными. Даже если бы у нас были какие-либо основания предполагать, что филологический анализ выявил действительно коренные зачатки разговорного языка, мы все равно не смогли бы обоснованно сделать вывод об их имитационном происхождении просто на том основании, что в наших сильно изменившихся обстоятельствах жизни и мышления мы теперь не в состоянии отследить подражания.

Однако на самом деле свидетельства, которыми мы располагаем по этому вопросу, не все отрицательные. Напротив, существует огромное количество фактических и неоспоримых доказательств имитационного происхождения очень многих слов во всех языках, особенно тех, на которых говорят дикари, и из их общей структуры известно, что они находятся в сравнительно неразвитом состоянии. Поскольку доказательств слишком много, чтобы их цитировать, я должен довольствоваться ссылкой на превосходное и наиболее убедительное изложение, данное архидьяконом Фарраром в его работах о *происхождении языка и главах о языке*. [207] Таким образом, приведенные выше замечания, которые я сделал по негативной стороне вопроса, просто призваны показать, что элемент звукоподражания, должно быть, вошел в состав речи аборигенов гораздо в большей степени, чем это сейчас могут доказать филологи, несмотря на то, что они смогли доказать, насколько важным элементом он был в этом отношении. Остается только удивляться, что, когда так много причин затемняли и вытравливали первоначальное имитационное значение слов, это значение все же должно быть прослежено во всех языках — даже самых условных — в той очень значительной степени, в какой оно есть.

Враждебность, которую профессор Макс Мюллер проявил к звукоподражательной теории происхождения языка, тем более примечательна, что в своей последней работе он с энтузиазмом воспринял особую ветвь этой теории, выдвинутую М. Нуаре. Эта особая ветвь звукоподражательной теории заключается в том, что создание членораздельных знаков берет свое начало в звуках, которые издают тела людей, занятых каким-то общим занятием. Когда матросы гребут, солдаты маршируют, строители сотрудничают в тяге или подъеме груза и т.д., Всегда существует тенденция издавать соответствующие звуки, которые в зависимости от характера занятия обычно разбиваются на ритмические периоды. “Эти высказывания, шумы, крики, мурлыканье или песни являются своего рода естественной реакцией на внутреннее беспокойство, вызванное мышечным усилием. Это почти произвольные вибрации голоса, соответствующие более или менее регулярным движениям всего нашего организма”. Следовательно, гипотеза состоит в том, что звуки, возникшие таким естественным образом и различающиеся в зависимости от различных профессий, рано или поздно стали бы традиционно использоваться в качестве названий этих различных профессий. И, если бы они использовались таким образом по привычке, они были бы фактически тем же самым, что и слова, поскольку они не просто допускали бы непосредственное понимание со стороны других, но, что еще важнее, они бы самим фактом такого конвенционального использования имен возвысили то, что ранее было всего лишь восприимчивой оценкой действия, до его доконцептуального обозначения.

Теперь я говорю, что эта гипотеза, независимо от того, что можно думать о ее вероятности, явно является всего лишь особым разделом общей теории звукоподражания. Таким образом, примитивные названия намеренно имитировали звуки природы, и для всех целей звукоподражательной теории не имеет значения, издавались ли такие звуки природными объектами или самим человеком. Что касается естественных звуков, которые издавал сам человек, то это никоим образом не влияет на эту теорию, были ли естественные человеческие звуки только “междометиями”, только “взаимодействующими”, или иногда одним, а иногда и другим. Если, следуя примеру профессора Макса Мюллера, мне будет позволено обозначить особую ветвь звукоподражательной теории Нуаре теорией Йо-хе-хо, то мне кажется невозможным отличить ее в какой-либо существенной особенности от тех других ветвей, которые он называет теориями Боу-вау и Пух—пух—то есть имитативной и междометной. Тем не

менее, он стал столь же ярым сторонником одной ветви, сколь и яростным противником других. [208]

Что касается меня, я считаю весьма вероятным, что в теории Йо-хе-хо есть доля истины, хотя я считаю в высшей степени невероятным, чтобы имитационные звуки такого рода составляли *единственный* источник речи аборигенов. В лучшем случае, как мне кажется, эта ветвь звукоподражания может быть признана поддерживающей, но лишь небольшую пропорциональную часть роста языка аборигенов. Тем не менее, как уже отмечалось, у меня не может быть никаких сомнений в том, что принцип звукоподражания во всех его ответвлениях был наиболее важным из всех принципов, имевших отношение к первому генезису речи. Иными словами, я полностью согласен с почти единодушным мнением филологических авторитетов по этому вопросу, которое может быть кратко выражено, если позволить профессору Уитни выступить в качестве представителя.

“Вне всякого разумного сомнения, был положительно длительный период чисто имитационных знаков и более длительный период смешанных имитационных и традиционных, причем последние постепенно вытесняли первые, прежде чем было достигнуто нынешнее положение вещей, когда создание новых знаков путем подражания носит лишь спорадический характер и встречается крайне редко, и все языковые знаки, кроме того, являются традиционными, их увеличение в любом сообществе вызвано исключительно вариациями и комбинациями, а также заимствованиями из других сообществ”. [209]

Но теперь, заявив таким образом со всей возможной решительностью о моем принятии теории звукоподражания, я должен выразить несогласие со многими из ее наиболее серьезных защитников, утверждающих, что это обязательно единственная теория, которой следует придерживаться. Другими словами, я не согласен с догмой о том, что членораздельная речь не может иметь никакого источника или нескольких источников, кроме того, который обеспечивается имитацией голоса. [210] Поскольку, исходя исключительно из предшествующих соображений, я не вижу адекватной причины для произвольного исключения возможности произвольного изобретения. Если даже цивилизованные дети, не подчиняющиеся дисциплине “матери изобретений”, создадут свой собственный язык, в котором элемент звукоподражания едва прослеживается; [211] и если необразованные глухонемые будут спонтанно издавать членораздельные звуки, которые обязательно лишены какого-либо имитационного происхождения; [212] Я не понимаю, почему следует считать изначально невозможным, что первобытный человек мог найти какие-либо другие средства словообразования, кроме того, которое обеспечивается мимикой. Поэтому, хотя я полностью согласен с профессором Вундтом в том, что стоящий перед нами вопрос должен решаться психологией, а не филологией (учитывая, что язык не может фиксировать условия своего собственного рождения и что так много причин привело к уничтожению звукоподражания аборигенов), я не могу последовать за ним в том, что он утверждает, что с точки зрения психологии нет места для какого-либо другого вывода, кроме того, что принцип звукоподражания в его самом широком смысле должен был стать единственным источником значимой артикуляции. [213]

Мы уже видели, что даже самые склонные к подражанию вокалисты, говорящие птицы, изобретают совершенно произвольные звуки в качестве денотативных названий, [214] и было

бы психологически абсурдно предполагать, что они превосходят того, кем, должно быть, был первобытный человек в поиске средств семиотического высказывания. Опять же, щелчки готтентотов и бушменов, каким бы мы ни предполагали их происхождение, определенно не могли происходить от звукоподражания; и не менее определенно, как отмечает профессор Сэйс, они все еще сохранились, чтобы показать, как высказывания безмолвного человека могли воплощать и передавать идеи. [215] Наконец, исходя из общего принципа, согласно которому развитие личности дает информацию, касающуюся развития расы, весьма важно, что *до сих пор лишенный дара речи* ребенок будет спонтанно использовать произвольные звуки (как членораздельные, так и иные) для обозначения привычных приемов. И даже после того, как он начал осваивать использование реальных слов, в его словарный запас часто вносятся произвольные дополнения, которые не поддаются никакому объяснению со стороны звукоподражания — не только, как в упомянутых выше случаях, когда они предоставлены самим себе, но даже в тех случаях, когда они находятся в самом тесном контакте с языком, на котором говорят их старшие. Я мог бы привести множество примеров этого факта; но будет достаточно сослаться на один, уже приведенный на странице 144 (примечание ниже). Однако, когда эти спонтанные усилия не контролируются постоянным общением со старшими, а поощряются детьми примерно того же возраста, которых часто оставляют вместе, возникает замечательное следствие, о котором говорилось ранее, а именно — недавно изобретенный язык, который лишь в малой степени зависит от принципа звукоподражания и поэтому совершенно непонятен всем, кроме его изобретателей. [216]

Теперь я кратко изложил все основные факты и соображения, которые, на мой взгляд, заслуживают изложения, как за, так и против теории звукоподражания. И, сделав это, я хотел бы в заключение прояснить, что данный вопрос не относится к числу тех, которые серьезно влияют на теорию эволюции. To the philologist, no doubt, the question as to how far the element of onomatopœia entered into the formation of aboriginal speech is a really important question, so that, as Geiger says, “Diess ist die gemeinsame Frage, und die antwort wird auf der einen Seite von einem inneren Zusammenhang zwischen je einem Laut und dem entsprechenden Begriffe, auf der andern aus Willkür und Uebereinkunft hergeleitet.” [217] Но эволюционист может отнестись к этому вопросу с безразличием. Независимо от того, зависели ли все слова изначально от внутренней связи между каждым издаваемым ими звуком и выражаемой им идеей, или все они были результатом произвольного изобретения, в любом случае эволюционист может увидеть, что они с равным успехом могли возникнуть как естественные продукты естественного психогенеза. И, *тем более*, как эволюционисту, ему не нужно сильно беспокоиться о каких-либо дальнейших вопросах относительно того, в какой относительной степени подражание и изобретение могли войти в состав примитивной речи.

ГЛАВА XIV.

СВИДЕТЕЛЬ ФИЛОЛОГИИ.

Теперь мы можем рассмотреть некоторые вопросы, которые имеют большое значение в связи с предметом настоящей работы. В предыдущих главах у меня была возможность показать, что весь акцент на психологическом различии между человеком и животным должен быть сделан — и, по сути, был сделан всеми компетентными авторами, которые выступают против меня, — на присущей человеку способности суждения. Более того, я показал, что, по всеобщему согласию, эта способность идентична способности предикации. Любой разум, который способен, в строгом психологическом значении этого термина, судить, также способен предикатировать, *и наоборот*. Я утверждаю, что действительно убедительно показал, что некоторые авторы странным образом ошибались в своем анализе предикации. Эти ошибки с их стороны, однако, не освобождают меня от бремени объяснения возникновения предикации; и я попытался облегчить это бремя, показав, как способность, должно быть, была дана в зародыше, как только денотативная стадия создания знаков перешла в коннотативную, и таким образом обеспечила условие для установления контакта или *приложения* названий объектов и названий качеств или действий. Обсуждение этого важного вопроса, однако, до сих пор продолжалось только на основе психологического анализа. Теперь наступил момент, когда мы можем осветить предмет в независимом свете филологического анализа. Принимая во внимание, что до сих пор мы рассматривали, только на основании ментальной науки, как *должно было* быть происхождение предикации — предполагая, что предикация имела происхождение, — теперь нам предстоит выяснить, допускает ли наша дедукция подтверждение какими-либо индуктивными доказательствами, предоставленными наукой о языке, того, каким *на самом деле было это происхождение*.

И здесь мне лучше сразу сказать, что результаты филологической науки, как обнаружится, возвращают нас к еще более примитивному состоянию вещей, чем любое из тех, которые я до сих пор рассматривал. Ибо до тех пор, пока я ограничивался психологическим анализом, я был вынужден следовать за моими оппонентами в том, как они воспринимают язык в том виде, в каком он существует сейчас. Чтобы вообще спорить с ними на этих основаниях, мне было необходимо обдумать то, что они сказали о философии предикации; и, чтобы сделать это, было далее необходимо, чтобы я отложил для независимого рассмотрения те результаты филологических исследований, которые они повсюду игнорировали. Но теперь мы подошли к тому моменту, когда можем позволить себе полностью отказаться от психологического анализа и занять нашу позицию на еще более надежной почве того, что я уже назвал палеонтологической летописью ментальной эволюции, поскольку она действительно сохранилась в слоистых отложениях языка. Теперь, когда мы сделаем это, мы обнаружим, что до сих пор мы не заходили так далеко назад в прослеживании генезиса концептуализма из восприятия идей, как на самом деле мы можем зайти на основании наиболее удовлетворительных свидетельств.

Таким образом, до настоящего времени я встречался со своими оппонентами на основе их собственных предположений, и одно из этих предположений заключалось в том, что язык всегда должен был существовать таким, каким мы его сейчас знаем, — по крайней мере, в той степени, в какой он включает слова, которые допускают построение в предложения для выражения семиотического намерения говорящего. Но филологам хорошо известно, что это предположение ложно. Фактически, язык начался не с каких-либо из наших более поздних различий между существительными, глаголами, прилагательными, предлогами и остальным: он начался как недифференцированная протоплазма речи, из которой все эти “части речи” впоследствии должны были развиваться в результате длительного хода постепенной эволюции.”

Die Sprache ist nicht stückweis oder atomistisch; sie ist gleich in allen ihren Theilen als Ganzes und demnach organisch entstanden.” [218]

Этот в высшей степени общий и наиболее важный факт обычно излагается так, как он, я полагаю, был впервые изложен антропологом Вайцем, а именно, что “единицей языка является не слово, а предложение”; [219] и, следовательно, исторически предложение предшествовало слову. Или, выражаясь иначе и менее двусмысленно, каждое слово изначально само было пропозицией в том смысле, что само по себе оно передавало утверждение. Конечно, чем больше отдельное слово, таким образом, принимало на себя функций, которые теперь выполняют несколько слов, будучи встроенным в предложение, тем более обобщенным — то есть менее определенным — должно было быть его значение. Предложение или пропозиция в том виде, в каком мы ее имеем сейчас, представляет собой то, что можно назвать психологическим разделением труда, поскольку оно распределяется на составные части: предметные слова, атрибутивные слова, квалифицирующие слова, указывающие на время, место, агента, инструмент и так далее, - все это теперь представляет собой множество различных органов языка, которые отделены друг от друга для выполнения стольких же различных функций языка. Следовательно, жизнь языка в этой его полностью развитой форме гораздо сложнее и способна к гораздо более утонченным операциям, чем это было в то время, когда он все еще находился в совершенно недифференцированном состоянии, которое нам приходится сейчас рассматривать.

Чтобы получить ясное представление об этом протоплазменном состоянии языка, нам лучше сначала взять пример того, как оно представлено нашему реальному наблюдению на ребенке, который только начинает говорить. Например, как отмечает профессор Макс Мюллер, “если ребенок говорит “Вверх”, то, по его мнению, это “*вверх*” - существительное, глагол, прилагательное в одном лице. Если английский ребенок говорит “Та”, то это *та* одновременно является существительным (thanks) и глаголом (I thank you). Более того, даже если ребенок учится говорить грамматически, он еще не мыслит грамматически; при разговоре ему кажется, что он носит одежду своих родителей, хотя он еще не дорос до них ”. [220]

Опять же, как говорит профессор Фридрих Мюллер, “детское слово *Ба-ба*” сон” означает не только сон как особый вид отдыха, но и все обстоятельства, относящиеся ко сну, такие как кровать, валик, постельное белье и т.д. [221] Это также и безразлично означает “спящий”. , сонный, спящий и т. Д., И может обозначать любое разнообразие предложений, таких как “Я хочу спать”, “Я хочу пойти спать”, “Он спит” и т. Д.

Конечно, можно было бы привести бесчисленное множество других иллюстраций; но и этих достаточно, чтобы показать, что подразумевается под “словом-предложением”. Следующее, на что мы должны обратить внимание, - это то, как маленький ребенок конкретизирует значения своих слов-предложений, чтобы ограничить их весьма общее значение как *таковое*, таким образом, заставить их передавать предполагаемое особое значение. Короче говоря, единственное средство, которым располагает ребенок для достижения этой цели, - это использование тона и жестов. Здесь соответствие действия слову является необходимым условием семиотического высказывания; более примитивные формы создания знаков являются необходимыми дополнениями к этим началам более высоких форм. И не только это; они также в значительной степени являются родителями этих высших форм. Именно указывая (*m.e.*

возвращаясь к тому, что я назвал самой ранней или “указательной стадией” языка), ребенок способен обозначать место, агента, инструмент и т. Д., Для применения к которым требуется слово-предложение; и, таким образом, мы впервые замечаем чрезвычайно важный факт, что самые ранние признаки грамматики даются одновременным использованием слов-предложений и жестовых знаков.

Теперь моей целью будет доказать, что в истории расы разговорный язык зародился в форме слов-предложений; что грамматика - это порождение жеста; и, следовательно, что предикация - это всего лишь взрослая форма той же самой способности к созданию знаков, которая в своем зачаточном состоянии известна нам как указание. Поскольку я сам не обладаю авторитетом в филологических вопросах, я везде буду полагаться на согласие признанных лидеров науки.

Бунзен, я полагаю, был первым, кто указал, что в египетском языке нет формального различия между существительным, прилагательным, глаголом или частицей; например, такое слово, как *anh*, означает “безразлично”, “жизнь”, “живой”, “жить”, “живой” и т.д. [222] Аналогично, в китайском языке “это слово все еще можно использовать безразлично, как существительное, глагол, наречие или признак падежа, очень похоже на такие английские слова, как *silver* и *picture*, и только его место в предложении определяет, в каком смысле оно должно быть истолковано. Это превосходная иллюстрация первых дней развития речи, когда слова-предложения содержали в себе сразу все несколько частей речи — все, что было необходимо для полного предложения; и только приведение их в контакт и контраст [т.е. Приложение] с другими словами-предложениями привело к ограничению их значения и использования и к тому, что они были сведены к простым “словам” “. [223]

Позже я приведу множество доказательств аналогичного положения вещей в случае с другими существующими языками, находящимися на низкой ступени развития, особенно языками дикарей. Но, возможно, еще важнее доказать, что наиболее высокоразвитые из всех языков, а именно индоевропейская группа, все еще несут на себе безошибочные свидетельства прохождения этой примитивной фазы. Это утверждение было бы легко подтвердить любым количеством цитат; но я приведу только показания одного свидетеля в лице профессора Макса Мюллера, чьи показания по этому вопросу можно рассматривать как показания оппонента.

“В языке, правда, не может существовать ничего, кроме того, что является предложением, *то есть* что передает значение; но именно по этой причине следовало бы понимать, что каждое слово изначально должно было быть предложением. Простой корень, *quâ* корень, нельзя назвать предложением, и в этом смысле простому корню может быть отказано в достоинстве слова. Но как только корень используется для предикации, он становится словом, независимо от того, изменено оно внешне или нет. То, что в китайском языке определяется положением или тоном, а именно приспособлением корня для использования в словах, в арийских языках достигается с помощью суффиксов и окончаний, хотя часто также и изменением тона. Мы видели, что на более ранней стадии арийские языки тоже могли образовывать корень в слове без помощи суффиксов, и что, например, *yudh*, “сражаться”, могло использоваться в пяти значениях: акт сражения, инициатор сражения, орудие боя, место боя и результат боя. Однако ради различия, как только стала ощущаться необходимость, арийский язык ввел производные элементы, в основном указательные или местоименные”.

“Императив действительно можно назвать самым примитивным предложением, и важно заметить, как мало во многих языках оно отклоняется от того, что было зафиксировано как

истинная форма корня ...ва, плетение, будь то напоминание или команда, имело бы такое же право называться предложением, как когда мы говорим "Работать", т.е. 'Давайте работать'. ... От употребления корня в повелительном наклонении или в форме общего утверждения очень легко перейти к его использованию в других смыслах и для других целей.... Хозяину, требующему от своих рабов труда и обещающему им еду вечером, нечего было бы сказать, кроме "Копайте—кормите", и это было бы столь же понятно, как "Копайте, и у вас будет еда", или, как мы сейчас говорим, "Если вы будете копать, у вас будет еда". [224]

Таким образом, мы можем сформулировать это как общую доктрину или хорошо обоснованный принцип филологических исследований, что "Язык начинается с предложений, а не с отдельных слов"; [225] или что изначально каждое слово само по себе должно было передавать значение, подобно тому, как это делают ранние высказывания детей. "Предложение - это единственная единица, которую может знать язык, и конечная отправная точка всех наших лингвистических исследований.... Если предложение является единицей значимой речи, очевидно, что все отдельные слова когда-то должны были быть предложениями; то есть при первом употреблении каждое из них должно было подразумевать или представлять предложение". [226]

"Создание слов в отличие от предложений было долгим и трудоемким процессом, и есть много языков, например, в Северной Америке, в которых этот процесс еще только начался. Словарь - это результат размышлений, и должны пройти века, прежде чем язык сможет вступить в стадию рефлексии". [227]

Или, приведу еще только одну цитату, как говорит профессор Макс Мюллер: "нам трудно думать на китайском или на любом другом радикальном языке, не перенося на него наши категории мышления. Но если мы понаблюдаем за языком ребенка, который на самом деле является китайским, на котором говорят по-английски, мы увидим, что существует форма мышления и языка, совершенно рациональная и понятная тем, кто ее изучал, в которой, тем не менее, различие между существительным и глаголом, более того, между подлежащим и сказуемым, еще не осознано". [228]

Итак, отталкиваясь от этого недифференцированного состояния языка, давайте теперь посмотрим, как эволюционировали "части речи".

По-видимому, нет никаких сомнений в том, что одной из первых дифференцированных частей речи было местоимение. Более того, все местоимения (или "местоименные элементы") в первоначальном виде были неотличимы от того, что мы теперь должны называть наречиями; и все они были связаны с обозначением отношений места. [229] Никаких исключений из этого общего утверждения не может быть сделано даже в отношении личных местоимений. "*Hic, iste, ille* общеизвестно, что они являются своего рода коррелятами с *ego, tu, sui*, и, если бы языковые обычаи позволяли это, их можно было бы при каждом удобном случае заменять". [230] Теперь есть очень хорошие основания заключить, что эти местоименные наречия, или деепричастные местоимения, были в первую очередь тем, что можно назвать членораздельными переводами жестовых знаков - т.е. отношений, указывающих на место. Я эквивалентен этому, он или она или это тому и т. Д., Нам нетрудно указать указательные жесты, из которых возникли эти денотативные термины; и хотя мы сейчас не в состоянии

указать фонетический источник этих очень древних “местоименных” или “указательных элементов”, легко представить, что они могли возникнуть таким же, по-видимому, спонтанным образом, как очень маленькие дети теперь изобретают произвольные звуки, как имена собственные, так и в качестве наречия положения. То, что мы не должны ошибаться, сравнивая таким образом уровень умственной эволюции, продемонстрированный первыми создателями разговорного языка, с уровнем развития маленького ребенка, становится очевидным благодаря дополнительному и в высшей степени интересному факту, что точно так же, как маленький ребенок начинает говорить *оЭго* в третьем лице, точно так же это было с использованием ранним человеком личных местоимений. “Человек рассматривал себя как объект до того, как научился рассматривать себя как субъект; и, следовательно, ”объективные падежи личных, а также других местоимений всегда старше субъективных”; а санскритские *мам*, *ма* (греческий [греч.: *те*], латинский *те*) раньше, чем *ахам* ([греч.: *егôn*] и *эго*)”. [231]

Чтобы не подумали, что я слишком много на себя беру, относя происхождение местоименных элементов к жестовым знакам, я процитирую здесь мнение профессора Макса Мюллера, который из всех филологов наименее подвержен подозрениям в предвзятости по отношению к моей стороне настоящего аргумента. Говоря об этих “демонстративных элементах, которые указывают на объект в пространстве и времени и выражают то, что мы сейчас выражаем через *тогда*, *это* [= Я], *то* [= там, он, она, это и т. Д.], Близко, далеко, вверху, внизу и т. Д.”, Он говорит: “в своей примитивной форме и намерении они адресованы скорее чувствам, чем интеллекту: они чувственные, а не концептуальные”. [232] И в другом месте он добавляет: “Я не вижу причин, по которым мы не должны принимать их как реальные пережитки периода речи, в течение которого пантомима, жестикуляция, указание пальцами на реальные вещи все еще были незаменимыми составляющими любого разговора”. [233] Еще раз: “одной из характерных особенностей санскрита и других арийских языков было то, что они пытались различать различные применения корня с помощью того, что я называл указательными корнями или элементами. Если бы они хотели отличить коврик как продукт своей ручной работы от самой ручной работы, они бы сказали “Накладывание—там”; если бы они хотели поощрить работу, они бы сказали: “Накладывание — они, или вы, или мы ”. Мы обнаружили, что то, что мы называем демонстративными корнями или элементами, следует рассматривать как остатки самой ранней и почти пантомимической фазы языка, в которой язык еще не был тем, что мы подразумеваем под языком, а именно *логотипы*, собирание, а только указание ”. [234]

Однако некоторые филологи придерживаются мнения, что эти указательные элементы, вероятно, “когда-то были полными или предикативными словами, и что если бы мы могли проникнуть на более раннюю стадию развития языка, то встретились бы с первоначальными формами, искалеченными, полустертыми представителями которых они являются”. [235] Но поскольку даже эти филологи не подвергают сомнению, что все первоначально “предикативные слова” имели свое предикативное значение, определяемое жестом, “если бы мы могли проникнуть на более раннюю стадию языка”, вопрос о том, имели или не имели сами по себе такие указательные элементы, которые дошли до нас, изначально предикативное значение, не имеет жизненно важного значения в данной связи. Ибо нет сомнений в том, что местоименные элементы, которые действительно были исконными как таковые, зависели от сопровождающих их жестовых знаков для передачи их предикативного значения; и хотя, как мы могли бы ожидать, в конкретных случаях неизбежно отсутствует доказательство того, дошли ли эти элементы до нас в практически исконной форме или же они дошли до нас как изношенные остатки независимо предикативных слов, на общие принципы, которыми мы сейчас

занимаемся, на самом деле не влияют никакие подобные филологические неопределенности в деталях. Ибо даже только что процитированный авторитет, сомневающийся в том, есть ли у нас достаточно доказательств, чтобы заключить, что дошедшие до нас демонстративные элементы сами по себе никогда не были предикативными словами, в другом месте говорит о раннем предикативном высказывании в целом: “Несомненно, что в истории речи было время, когда членораздельные или полу—членораздельные звуки, издаваемые первобытным человеком, были важными представителями мысли благодаря жестам, которыми они сопровождались; и этот комплекс звука и жеста - комплекс, в котором, следует помнить, звук не имел значения отдельно от жеста — был самым ранним предложением”. .” [236] И, приведя примеры из языков Дальней Индии, он добавляет: “Но флективный язык не позволяет нам наблюдать процесс словообразования так ясно, как это делают эти дикарские жаргоны, в которых пара звуков, таких как *grebo ni ne*, означают "я делаю это" или "Ты не делаешь", в зависимости от контекста и жесты говорящего. Здесь постепенно, с ростом сознания и анализом мысли, внешний жест заменяется некоторой частью произносимых звуков, которая согласуется в ряде различных примеров, и таким образом возникли слова, с помощью которых выражаются грамматические отношения. Аналогичный процесс был задействован при создании тех аналогичных окончаний, посредством которых наши индоевропейские языки адаптируют слово для выражения нового грамматического отношения”.

Следовательно, без излишнего умножения цитат мы можем принять за устоявшуюся ныне филологическую доктрину то, что, как выражается даже этот более скептически настроенный авторитет, “Грамматика выросла из жестов”. [237] Позже я покажу, каким интересным образом ранние формы членораздельного высказывания следуют по своей структуре языку жестов, о котором уже говорилось в предыдущей главе. Именно ради демонстрации этого сходства я уделил так много места синтаксису языка жестов; и, следовательно, сейчас моей целью будет проследить семейное сходство между конструкциями примитивных способов высказывания и конструкциями родительских жестов, от которых эти конструкции были непосредственно унаследованы. Но для того, чтобы сделать это более полно, мы должны сначала рассмотреть филологию предикативных слов.

Частями речи, которые в первую очередь связаны с предикацией и которые, следовательно, могут быть названы *по преимуществу* предикативными словами, являются существительные, прилагательные и глаголы. Поэтому я начну с краткого изложения того, что известно об эволюции этих частей речи.

У нас есть множество свидетельств того, что первоначально не было различия между существительными и прилагательными, или словами-объектами и словами-качествами. Это несколько не удивительно, если вспомнить, что даже в полностью развитых формах речи одно и то же слово может выступать в качестве субстантива или прилагательного в зависимости от контекста. “Cannon” в “пушечном ядре”, или “pocket” в “pocket-book” и т. Д., Являются прилагательными в силу положения —*m.e. apposition* с существительными, которым они, таким образом, служат для обозначения. и т. Д.

Аналогично и в отношении родительного падежа. Это также имеет атрибутивное качество и, следовательно, как и ныне независимое прилагательное, изначально не имело независимого существования. Когда необходимо было передать силу родительного падежа, это было передано с помощью того же самого устройства приложения. И, наконец, к тому же устройству

прибегли для целей предикации. Или, цитируя эти важные факты из авторитетных источников, профессор Сэйс говорит: “Даже родительный падеж, каким бы необходимым он нам ни казался, когда-то не существовал, как, впрочем, и до сих пор не существует в таких группах языков, как тайский или малайский. Вместо родительного падежа мы имеем здесь два существительных, расположенных в приложении друг к другу, как бы двух индивидуумов, поставленных рядом без каких-либо усилий определить их точные отношения, помимо простого факта, что один предшествует другому и, следовательно, о нем думают первым.... Теперь это сочетание двух существительных, которое до сих пор выполняет функцию родительного падежа во многих языках, можно рассматривать как атрибутивное или как предикативное. Если это предикативное значение, то два противопоставленных существительных образуют законченное предложение, например, ‘Кубок золотой’, что эквивалентно ‘Кубок золотой’. Если атрибутивное, то одно из двух существительных заняло место прилагательного, “золотая чаша” — это не что иное, как “золотая чаша”.” [238] Затем, после приведения примеров из разных языков искусственных ухищрений, посредством которых с течением времени возникли эти три грамматических различия (а именно, путем обычного изменения положения между расставленными словами, в некоторых случаях форма предикации была изменена). А В и атрибуции или обладания Ва, в то время как в других языках сложился обратный порядок), профессор Сэйс продолжает: “Эти примитивные приспособления для различения сказуемого, атрибута и родительного падежа, когда эти три идеи в течение веков развивались умом говорящего, постепенно уступили место более позднему и более утонченному механизму суффиксов, вспомогательных слов и тому подобного”. [239]

Чтобы не подвергать этот момент сомнению, я процитирую другой независимый авторитет с той же общей целью.

“Любопытный факт, до сих пор упускавшийся из виду грамматиками и логиками, заключается в том, что определение существительного строго применимо только к именительному падежу. Наклонные падежи на самом деле являются атрибутивными словами, а склонение - практически не что иное, как приспособление для превращения существительного в прилагательное или наречие. Это совершенно ясно в отношении родительного падежа, и действительно, существуют исторические свидетельства того, что родительный падеж в арийских языках изначально был идентичен окончанию прилагательного; “жизнь человека” и “человеческая жизнь” выражались одним и тем же способом. Также ясно, что ‘noctem’ в ‘flet noctem’ - это чистое наречие времени. Не так-то просто увидеть, что винительный падеж в таких предложениях, как “Он бьет мальчика”, также является своего рода наречием, потому что связь между глаголом и объектом настолько тесна, что почти формирует одну простую идею, как в случае с существительным-композицией. Но ясно, что если “мальчик” в составе “мальчик-избивающий” является атрибутивным словом, то это вполне может быть так и тогда, когда “избиение” облекается в глагольную форму без какого-либо изменения значения”. [240]

Наконец, по этому поводу профессор Макс Мюллер говорит, говоря об арийских прилагательных: “Впервые они были использованы не тогда, когда люди сказали: “Солнце яркое”, а когда они определили качество яркости, или акт испускания света, и сказали, так сказать, ‘Яркость - здесь’. На самом деле, поначалу прилагательные образовывались точно так же, как существительные, и многие из них могли использоваться в обоих иероглифах. Существуют языки, в которых прилагательные не отличаются от существительных. Но, несмотря на внешнее сходство, они воспринимаются как отличные от существительных в тот момент,

когда они используются в предложении с целью предикации или квалификации существительного ”. [241]

Итак, вот и все о существительных и прилагательных: нельзя сказать, что есть какие—либо свидетельства исторического приоритета одного над другим; скорее, что, как только денотативные значения существительных закрепились, они признали, что передали им значения прилагательных, родительных падежей и сказуемых простым способом приложения - способом, который, как мы видели в предыдущих главах, становится неизбежным в силу законов ассоциации и “логики событий”: это способ, который должен был быть предоставлен то разуму, и который должен был быть реализован. следовательно, это никогда не должно было быть намеренно придумано *им*.

Переходя далее к падежу глаголов или классу слов, на которые в большей степени возлагается функция предикации, некоторые филологи придерживаются мнения, что они возникли в результате сочетания существительных с родительными формами местоимений. [242] И не может быть никаких сомнений в том, что во многих реально существующих языках функции предикации все еще выполняются таким образом, без существования каких-либо глаголов вообще, как мы увидим позже. Но, с другой стороны, показано, что великое множество арийских существительных образовалось путем присоединения местоименных элементов к ранее существовавшим глагольным корням способом, настолько сильно напоминающим жестикуляцию, что трудно усомниться в крайне примитивном источнике конструкции. Например, “копающий-он” = рабочий, “копающее-оно” = лопата, “копающий-здесь” = труд, “копающий-там” = яма, [243] и с. Или еще: “Первоначально (по-арийски) выражение “Яма темная” было бы выражено словами “копать”, “прятаться здесь” или “прятаться где-нибудь”. ‘Прячущийся здесь’ впоследствии могло бы быть использовано в смысле тайника. Но когда оно использовалось как простое уточняющее сказуемое в предложении, в котором было только одно подлежащее, оно сразу же приобретало характер прилагательного ”. [244]

Мне кажется очевидным, что в обоих этих взглядах есть доля истины, которые, следовательно, никоим образом не противоречат друг другу. У нас есть свидетельства того, что многие существительные имели более позднее происхождение, чем многие глаголы, и *наоборот*; но это не показывает, какая из этих двух частей речи предшествовала другой в целом. Не похоже также, что мы сможем получить какие-либо определенные доказательства по этому вопросу. Исходя из психологических соображений и аналогии, приводимой детьми, мы могли бы быть готовы считать наиболее вероятным, что существительные предшествовали глаголам; и эта точка зрения, без сомнения, подтверждается поразительной нехваткой глаголов в некоторых диких языках низкого уровня развития. Но с точки зрения чистой филологии “мы не можем вывести ни глагол из существительного, ни существительное из глагола”. [245] Далее этот автор говорит: “это сосуществующие творения, принадлежащие к одной и той же эпохе и импульсу речи”. Но соответствует ли этот вывод истине или нет, для нас не имеет значения. С глаголами или без них первобытный человек был бы способен создавать сказуемые — в одном случае на манер детей, которые только начинают осваивать их употребление, а в другом случае на манер тех недавно упомянутых дикарей, которые придают своим существительным в сочетании с местоимениями функцию глаголов.

Видя, что мои оппоненты-психологи придают такое большое значение субстантивному глаголу, поскольку он используется романскими языками в формальной предикации, я посвящу здесь абзац его специальному рассмотрению с филологической точки зрения. Следует помнить, что я уже указывал на ошибочность, которой придерживались эти оппоненты, смешивая субстантивный глагол в том виде, в каком он используется, со связкой — это простая случайность, что в романских языках эти два слова фонетически отождествляются. Тем не менее, даже после того, как им было указано на эту ошибочность, мои оппоненты могут попытаться укрыться в самом субстантивном глаголе: вынужденные признать, что он не имеет ничего общего с предикацией, они все же могут попытаться представить, что в другом месте или сам по себе он представляет собой концептуальную мысль высокого порядка. Это, конечно, я допускаю; и если, как предполагают мои оппоненты, субстантивный глагол принадлежал к ранним, чтобы не сказать примитивным способам речи, я должен далее допустить, что это создает огромную трудность на ровном в остальном пути эволюционного объяснения. Но, на самом деле, эти авторы ошибаются в отношении примитивной природы самого субстантивного глагола не меньше, чем в отношении функции, которую он случайно выполняет при совокуплении. [246] Чтобы доказать это или показать, что субстантивный глагол действительно очень далек от примитивного, я приведу несколько выдержек из работ филологических авторитетов по этому вопросу.

“Какой бы ни была наша *априорная* оценка силы глагола-субстантива, филология прослеживает его происхождение до очень скромных и материальных источников. Еврейские глаголы *הוּא* (*houa*) или *היא*, очень вероятно, происходят от звукоподражания дыханию. Глагол *кама*, имеющий то же значение, примитивно означает "выделяться", а глагол *кум*, "стоять", переходит в значение 'быть'. На санскрите *as-mi* (от которого происходят все глаголы-существительные в индоевропейских языках, как [греческий: *eimi*], *sum*, *am*; Zend *ahmi*; литовский, *esmi*, исландский, *ети* т.д.), собственно говоря, не глагольный корень, а "образование на основе указательного местоимения *sa*, идея, которую нужно передать, - это просто идея местного присутствия'. И из двух других корней, используемых для той же цели, а именно, *bhu* ([греческий: *phuō*], *fui* и т. Д.) и *sthā* (*пристально*смотреть т. Д.), Первый, вероятно, является имитацией дыхания, а второй, как известно, является физическим глаголом, означающим "вставать". Не можем ли мы тогда спросить вместе с Бунзеном: "Что должно быть во всех языках, кроме одухотворения *ходьбы* и *ли* стояния, как не это?" или *ешь*?" [247]

Опять же, процитирую только еще один авторитетный источник: “В заключение настоящего обсуждения этой обширной темы предлагается сделать несколько замечаний по так называемому глагольно-субстантивному, относительно природы и функций которого, возможно, было больше недоразумений, чем по поводу любого другого элемента языка. Хорошо известно, что многие грамматисты привыкли представлять этот элемент как составляющий основу любого словесного выражения и как необходимый ингредиент в каждом логическом предложении. Из этого утверждения, по-видимому, следует, что нации, столь несчастные, что оказались без него, не могли ни использовать словесное выражение, ни сформулировать логическое предложение. Насколько это так, будет видно ниже: сейчас мы сделаем несколько кратких замечаний об этом глаголе и о заменителях, обычно используемых в диалектах, где он формально отсутствует. Будет достаточно привести несколько ярких примеров, поскольку умножение примеров из всех известных языков было бы простым повторением одних и тех же общих явлений.

В той части эссе, которая касается коптского языка, было отмечено: 'То, что в коптском языке называется вспомогательными и субстантивными глаголами, еще более удалено от всех существенных глагольных характеристик (чем так называемые глагольные корни). При рассмотрении почти неизменно обнаруживается, что они являются артиклями, местоимениями, частицами или абстрактными существительными и полностью выводят свои предполагаемые глагольные функции из своих принадлежностей или из того, что они подразумевают.'

Фактически, любой, кто изучит хорошую коптскую грамматику или словарь, обнаружит, что там нет ничего формально соответствующего нашим *am, art, is, was* и т.д., хотя есть аналог лат. *feri (sthopi)* и другой *to poni (chi, пассивное среднее от che)*; оба иногда переводятся как *быть*, что, однако, не является их радикальным значением. Египтяне, однако, не были совсем уж обделены ресурсами в этом вопросе, но располагали по меньшей мере полудюжиной способов перевода греческого глагола в субстантивированный вид, когда они хотели это сделать. Наиболее часто используемым элементом является указательный *pe, te, ne*; используется также в слегка измененной форме для обозначения определенного артикля; *pe = is*, относящийся к субъекту в единственном числе мужского рода; *te*, к единственному числу женского рода; и *ne = are*, к обоим полам во множественном числе. Прошедшее время обозначается добавлением частицы, выражающей отдаленность. Таким образом, здесь мы обнаруживаем в качестве аналога глагольно-субстантивного элемента элемент, совершенно чуждый всем общепринятым идеям глагола; и что вместо того, чтобы считать необходимым говорить в формальных терминах '*Petrus est*', '*Maria est*', '*Homines sunt*', вполне достаточно и совершенно понятно сказать: '*Petrus hic*', '*Maria hæc*', '*Homines hi*'. Вышеупомянутые формы, согласно Шампольону и другим исследователям древней иероглифики, встречаются в древнейших известных монументальных надписях, ясно показывая, что представления древних египтян о способе выражения категории *быть* не совсем совпадали с представлениями некоторых современных грамматистов....

Каждый знаток семитики знает, что личные местоимения используются для обозначения глагола-субстантива во всех известных диалектах, точно так же, как в коптском, но с меньшим разнообразием модификаций. В этой конструкции нет необходимости, чтобы местоимение относилось к тому же лицу, что и подлежащее предложения. На большинстве диалектов необязательно произносить *либо его ego, nos nos*, для *суммы это, nos sumus*, *либо ego ille, nos illi*. Фраза "Вы - соль земли" в сирийской версии буквально означает "Вы, они (*т.е.* лица, составляющие) соль земли". Это употребление личного местоимения не ограничивается указанными выше диалектами, оно в равной степени встречается в баскском, галльском, турецко-татарском и различных американских языках.... Это правда, что малайские, яванские и малагасийские грамматисты говорят о словах, обозначающих *быть*; но внимательное сравнение элементов, которые они якобы обозначают как таковые, ясно показывает, что это вообще не глаголы, а просто местоимения или несклоняемые частицы, обычно указывающие на время, место или способ определенного действия или отношения. Поэтому нелегко понять, как разум жителя филиппинских островов или любого другого человека может произнести совершенно неизвестное ему слово, о котором нет ни малейших свидетельств того, что оно когда-либо возникало в его голове.... Глагольное субстантивование, такое, как оно обычно понимается, оживляющее всю связную речь и связывающее воедино термины каждого логического предложения, во многом сходно с флогистоном химиков последнего поколения, рассматриваемым как необходимая субстантивация сгорания, то есть *vox et præterea nihil*....

Если данным субъектом является "я", "ты", "он", "это", "то", "один"; если это "здесь", "там", "вон там", "таким образом", "в", "на", "at", "мимо"; если это "сидит", "стоит", "остается" или

"появляется", нам не нужен призрак, чтобы сказать нам, что это *is*, ни какой-либо грамматик или метафизик, чтобы заявить об этом непонятном факте в формальных терминах". [248]

Таким образом, кратко рассмотрев филологию предикативных слов, мы должны перейти к не менее важному вопросу - филологии самой предикации. И здесь мы обнаружим, что доказательства достаточно определены. Мы уже видели веские основания для вывода, что то, что Гримм назвал "допотопными" местоименными корнями, было фонетическими эквивалентами жестовых знаков - или, скорее, что они подразумевали сопутствующие жестовые знаки для передачи их значения. Итак, все согласны с тем, что эти местоименные корни, или указательные элементы, впоследствии стали присоединяться к существительным и глаголам в качестве аффиксов или суффиксов, и таким образом в более старых языках составляют механизм как склонения, так и спряжения. Таким образом, мы можем поэтапно проследить форму предикации в том виде, в каком она встречается в наиболее высокоразвитых, или флективных, языках, до той самой ранней стадии развития языка в целом, которую я назвал изъяснительной. Чтобы показать это несколько подробнее, я начну с наброска этих нескольких этапов, а затем проиллюстрирую самые ранние из них, которые все еще сохранились, процитировав способы предикации, которые они фактически представляют.

Когда мы таким образом прослеживаем язык в обратном направлении, обнаруживается, что его структура подвергается следующему упрощению. Прежде всего, вспомогательные слова, суффиксы, аффиксы, предлоги, связки, частицы и, короче говоря, все флексии, агглютинации или другие части речи, которые используются для обозначения *отношений* между другими составными частями предложения, постепенно сокращаются и исчезают. Когда они, которые я буду называть словами отношения, исчезают, в языке остается то, что можно назвать словами-объектами (включая местоименные слова), словами-атрибутами, словами-действиями и словами, выражающими состояния ума или тела, которые, следовательно, могут быть обозначены как слова-состояния. Грубо говоря, эта классификация соответствует грамматическим существительным, местоимениям, прилагательным, активным и пассивным глаголам; но поскольку наш регресс в истории языка требует полного игнорирования всех грамматических форм, это внесет ясность в мое изложение, если мы согласимся использовать предложенные термины.

Следующее, что мы замечаем, это то, что различие между словами-объектами и словами-атрибутами начинает становиться нечетким и в конце концов практически исчезает: существительные и прилагательные сливаются в одно целое, и следует ли понимать получившееся слово как подлежащее или сказуемое — как название объекта или название качества — зависит от его положения в предложении, от тона, которым оно произносится, или, на еще более ранних стадиях, от жестов, которыми оно сопровождается. Таким образом, как отмечает профессор Сэйс, "сочетание двух существительных [*и, тем более, двух таких частично или полностью недифференцированных слов, которые мы сейчас рассматриваем*] является зародышем, из которого развились не менее трех грамматических концепций — родительного падежа, сказуемого и прилагательного". [249]

Хотя этот процесс слияния прослеживается в случае существительных и прилагательных, в то же время становится заметным, что определение глаголов постепенно становится все более и более расплывчатым, пока не станет трудно, а в конечном итоге и невозможно, выделить глагол вообще как отдельную часть речи.

Таким образом, непрерывные этапы или все большее и большее упрощение языковой структуры возвращают нас к состоянию вещей, при котором слова представляют то, что натуралисты могли бы назвать настолько обобщенным типом, что включают каждое в себя все функции, которые впоследствии по отдельности переходят к различным частям речи. Подобно тем животным, которые в одно и то же время являются лишь отдельными клетками и целыми организмами, это в то же время отдельные слова и независимые предложения. Более того, поскольку в одном случае есть жизнь, в другом случае есть смысл; но смысл, как и сама жизнь, расплывчат и неразвит: предложение представляет собой организм без органов и обобщается только в том смысле, что оно протоплазменное. Принимая во внимание эти факты (которые, следует заметить, представлены все еще существующими языками, а также филологическими данными о языках, давно исчезнувших), невозможно не согласиться с ныне универсальной доктриной филологов — “язык уменьшается по мере того, как мы оглядываемся назад, таким образом, что мы не можем удержаться от вывода, что когда-то его вообще не существовало”.
[250]

Из всех представленных сейчас доказательств того, что у аборигенов слова были предложениями, следует, что у аборигенов не могло быть различия между терминами и пропозициями. Тем не менее, хотя это дедуктивно следует из рассматриваемой общей истины, желательно, чтобы мы более подробно изучили специальное применение принципа к случаю формальной предикации, поскольку, как часто отмечалось ранее, именно в этом месте мои оппоненты заняли свою позицию. Читатель, вероятно, помнит, что я уже опроверг их утверждения относительно связки. Теперь моей целью будет показать, что их анализ одинаково ошибочен там, где он касается обоих других элементов, из которых состоит формальное предложение. Не потрудившись ознакомиться с результатами лингвистических исследований и, следовательно, полагаясь только на то, что можно назвать случайностями языка, поскольку они имеют место в арийской ветви великого языкового древа, эти авторы предполагают, что суждение всегда и везде должно было быть приведено к точно законченной форме, в которой оно было проанализировано Аристотелем. На самом деле, однако, теперь хорошо известно, что это не так; что форма предикации в том виде, в каком мы ее имеем в наших европейских языках, была результатом длительного хода эволюции; и что на своей наиболее примитивной стадии или на самой ранней стадии, которая, по счастливой случайности, сохранилась в палеонтологии языка, о предикации едва ли можно сказать, что она отличалась от того, что я назвал указанием. Чтобы этот важный факт не вызывал сомнений, я начну с цитаты высказываний нескольких ведущих авторитетов в филологии данного предмета.

“Первобытный человек не стал бы сильно утруждать себя такими утверждениями, как “Человек смертен”, “Золото тяжелое”, которые являются источником такого неизменного восторга для формального логика; но если бы он счел необходимым использовать постоянные слова-атрибуты, то, естественно, придал бы им так называемую атрибутивную форму, поместив их в непосредственной близости от существительного, склонения которого они впоследствии приняли бы. Таким образом, глагол постепенно стал выполнять чисто формальную функцию предикации. Использование глаголов, обозначающих действие, потребовало образования глаголов для обозначения “покоя”, “продолжения состояния”, и когда с течением времени в определенных случаях стало необходимо указывать как постоянные, так и изменяющиеся атрибуты, эти слова, естественно, использовались для этой цели, и такое предложение, как “Солнце продолжает ярко светить”, было просто ‘Ярким солнцем’ в другой форме. Постепенно значение этих глаголов стало настолько изношенным, что постепенно они стали обозначать

простое существование, что в конце концов они потеряли все остатки какого бы то ни было значения и превратились просто в признаки предикации. Такова история глагола 'быть', который в популярном языке полностью утратил даже значение 'существования'. Опять же, в еще более продвинутом состоянии было сочтено необходимым говорить не только о вещах, но и об их атрибутах. Таким образом, такое предложение, как "Белизна - атрибут снега", имеет тождественное значение, что и "Снег белый" и "Белый снег"; и замена "белого" на "белизну" является чисто формальным приемом, позволяющим нам поместить слово-атрибут в качестве субъекта предложения ". [251]

Теперь возникает очень важное соображение, заключающееся не только в том, что порядок подлежащего и предиката в значительной степени условен, но и в том, что сама идея различия между подлежащим и предикатом является чисто лингвистической и не имеет основания в самом сознании. Во-первых, вообще нет необходимости в подлежащем: в таком предложении, как "Идет дождь", подлежащего вообще нет, *оно* и конечные *s* являются просто формальными знаками предикации. 'Идет дождь, поэтому я возьму свой зонтик' - совершенно логичный ход рассуждений, но сведение его к какой-либо из своих цифр озадачило бы самого умного логика. Опять же, ментальная пропозиция формируется не путем размышления сначала о подлежащем, затем о связке, а затем о предикате; она формируется путем одновременного размышления обо всех трех. Когда мы формулируем в уме суждение "Все люди двуногие", у нас возникают две идеи: "все люди" и "равное количество двуногих", или, более кратко, "столько людей, столько двуногих", и мы думаем об этих двух идеях одновременно [*т.е. в приложении*], а не одна за другой, как мы вынуждены выражать их в речи. Одновременность зачатия - это то, что выражается связкой в логике и различными формами предложений в языке. Из этого ни в коем случае не следует, что логика полностью лишена ценности, но мы не придем к реальному субстрату истины, пока не исключим ту часть науки, которая на самом деле является не чем иным, как несовершенным анализом языка ". [252]

Опять же, в результате его длительного изучения некоторых из самых примитивных форм языка, все еще существующих среди бушменов Южной Африки, доктор Блик не сомневается, что у аборигенов одно и то же слово без изменений имело субстантивное или глагольное значение и могло безразлично использоваться также как прилагательное, наречие и т.д. [253] То есть к скажем, примитивные слова были словами-предложениями и как таковые использовались древним человеком точно так же, как маленькие дети используют свои доселе недифференцированные знаки, *Vybu = спать, спать, спать, спящий, спящий, сонный*, и т.д.; и, в коннотативном расширении, *кровать, валик, постельное белье*, и т.д.

Наконец, как уже указывалось, нам не остается делать простые выводы, касающиеся первоначального положения дел в отношении предикации. Ибо во многих существующих до сих пор языках мы находим формы предикации на таких низких стадиях развития, что они легко приближают нас к тому времени, когда таких форм вообще не могло быть. Даже профессор Макс Мюллер допускает, что все еще существуют языки, "в которых пока нет внешней разницы между тем, что мы называем корнем, и существительным или глаголом. Остатки этой фазы развития языка мы можем обнаружить даже в таком высокоразвитом языке, как санскрит ". В другом месте он замечает: "Ребенок говорит: "Я голоден", не имея представления о том, что/отличается от *hungry*, и что оба они объединены вспомогательным глаголом.... Китайский ребенок выразил бы точно такую же идею одним словом "ши", *чтобы есть food*, и т.д.

Единственная разница будет заключаться в том, что китайский ребенок будет говорить на языке ребенка, а английский - на языке мужчины”. [254]

Несомненно, примечательно, что китайский язык так долго сохранял столь примитивную форму; но, как мы знаем, функциям предикации здесь в значительной степени способствовали синтаксические приемы в сочетании с традиционно значимой интонацией, которые действительно делают китайский язык хорошо развитым языком особого типа. Однако у народов, стоящих на гораздо более низком уровне ментальной эволюции, мы сталкиваемся с еще более рудиментарными формами предикации, поскольку эти синтаксические и интонационные приемы не были развиты. Как указывалось ранее, наиболее примитивной из всех реально существующих форм предикации, когда речь идет о членораздельном языке, является та, в которой функции глагола выполняются путем сочетания существительного с тем, что эквивалентно родительному падежу местоимения. Так, в даякском языке, если требуется сказать: “Твой отец стар”, “Твой отец выглядит старым” и т. Д., При отсутствии глаголов необходимо сформулировать предикацию простым приложением, таким образом: “Твой отец, его возраст”. Или, чтобы быть более точным, поскольку синтаксис следует синтаксису языка жестов при постановке сказуемого перед подлежащим, мы должны перевести предложение в его наиболее точный эквивалент, сказав: “Его возраст, твой отец”. Аналогично, если требуется сделать такое заявление, как “На нем белая куртка”, форма заявления будет такой: “Он в белой куртке”, или, как мы могли бы, возможно, более кратко перевести это, “Он в белой куртке”. [255]

Опять же, в языке фиджеев функции глагола могут выполняться существительным в конструкции с наклонным местоименным суффиксом, *например*, *лома-ку* = сердце или воля-меня, = я буду. [256]

Точно так же “почти все филологи, обращавшие внимание на полинезийские языки, сходятся во мнении, что разделение частей речи, принятое европейскими грамматиками, в том, что касается внешней формы, неприменимо или почти неприменимо к этому конкретному классу. Один и тот же элемент признается безразлично существительным, прилагательным, глаголом или частицей”. [257] “Я буду есть рис”, - потребовало бы перевода “The-eating-of-me-the-rice = Я буду есть рис”. “Предполагаемый глагол на самом деле является абстрактным существительным, включающим в себя понятие будущего времени в конструкции с наклонным местоименным суффиксом; и предполагаемый объект действия - это не схема в винительном падеже, а приложение. Вряд ли нужно говорить, насколько это несовместимо с обычным грамматическим определением переходного глагола; и это также в конструкции, где мы должны ожидать, что безошибочно использовались бы истинные глаголы, если бы таковые существовали в языке”. [258] И, чтобы не перегружать аргументацию иллюстрациями, будет достаточно добавить вместе с этим автором: “не может быть никаких сомнений в том, что существительные в сочетании с косвенными падежами местоимений могут использоваться и фактически используются как глаголы. Некоторые из указанных выше конструкций не допускают никакого другого анализа; и они не являются случайными частичными явлениями, а могут быть созданы тысячами”. [259]

Было бы легко привести множество цитат из других авторитетных источников с тем же результатом; но я думаю, этого достаточно, чтобы показать, насколько полностью филология предикации разрушает философию предикации, как это было представлено моими оппонентами. Мало того, что, как уже было показано, они были введены в заблуждение

словесной случайностью определенных языков, с которыми они случайно знакомы, отождествляя связку с глаголом “быть” (который сам по себе, как мы также видели, не существует во многих языках); но, как мы теперь видим, их анализ в равной степени ошибочен там, где он имеет дело с подлежащим и сказуемым. Такая полностью проработанная форма суждения, как “Негр - это черный”, далекая от представления “простейшего элемента мышления”, является наглядным результатом чрезвычайно длительного хода ментальной эволюции; и я не знаю более печального примера неправильного применения изобретательности, чем приведенные ранее аргументы таких авторов, которые, игнорируя все, что мы сейчас знаем об истории предикации, стремятся показать, что акт предикации является одновременно “простейшим элементом мышления”, и так сильно усложняют процесс, как они пытаются представить. Тщетность такого аргумента можно сравнить с аргументацией морфолога, который был бы достаточно глуп, чтобы утверждать, что позвоночные никогда не могли произойти от простейших, и отстаивать свой тезис, игнорируя всех промежуточных животных, которые, как известно, действительно существуют.

Возьмем пример из ранее приведенных цитат. Следует помнить, что вызов, брошенный моими оппонентами на основании логики и психологии, состоит в том, чтобы создать животное, которое “может предоставить чистую форму суждения — ”есть" в "А есть Б."” [260]

Итак, я действительно не могу создать животное, способное придать такую форму; но я сделал то, что гораздо больше соответствует цели: я создал множество наций из все еще существующих людей, во множестве, которое невозможно сосчитать, которые так же неспособны, как и любое животное, предоставить требуемую чистую форму. Где это “есть” в “Его-твоего-отца-возраста” = “Его-твоего-отца-возраста” = “Твой-отец-стар”? Или, на еще более примитивных стадиях человеческого высказывания, как нам извлечь пустую форму предикации из “слова-предложения”, где отсутствует не только какая-либо связка, но также и отсутствие какого-либо различия между подлежащим и сказуемым? Короче говоря, истина состоит в том, как теперь неоднократно показано, что не только животное, но и маленький ребенок — и не только маленький ребенок, но и ранний человек — и не только ранний человек, но и дикий человек - все в равной степени неспособны представить чистую форму предикации, поскольку она медленно вырабатывалась в высших областях человеческого разветвления.

Конечно, вся эта бесполезная (поскольку ошибочная) аргументация со стороны моих оппонентов основывается на анализе утверждения в том виде, в каком оно было дано в аристотелевской системе логики, — анализе, который, в свою очередь, зависит от грамматики греческого языка. Теперь, само собой разумеется, что вся эта система устарела, насколько это касается любого вопроса *происхождении* мысли или речи. Я не сомневаюсь ни в ценности этого грамматического исследования, ни в логике, которая на нем основана, при условии, что выводы из того и другого остаются в пределах их законной сферы. Но в наше время считать примитивным способ предикации, принятый в таком высокоразвитом языке, как греческий, или представлять “категории” системы Аристотеля как выражающие простейшие элементы человеческого мышления, кажется мне настолько абсурдным, что я могу только удивляться, как разумные люди могли придерживаться такой линии аргументации. [261]

Отбросив, таким образом, все эти ошибки старого света, которые были основаны на отсутствии информации, мы должны принять анализ предикации в том виде, в каком он был предложен нам

развитием науки. И этот анализ продемонстрировал, что “разделение предложения на две части, подлежащее и сказуемое, является простой случайностью; оно неизвестно полисинтетическим языкам Америки, которые в данном случае отражают состояние первобытной речи.... Что касается акта мышления, то субъект и предикат - это одно и то же, и существует множество языков, в которых они трактуются именно так”. [262] Следовательно, мне кажется, что единственная позиция, которую остается занять моим оппонентам, - это аргументировать примерно следующим образом.

Они могут сказать, что, свободно признавая, что вопрос должен быть перенесен с предикации, как это происходит в греческом, на предикацию, как это происходит в диких языках низкого развития, мы все равно имеем дело с предикацией. И даже когда вы возвращаете нас к самой примитивной из возможных форм человеческой речи, в которой пока еще нет частей речи, и поэтому предикация требует проведения самым неэффективным образом, все равно наиболее очевидно, что она *проводится*, поскольку речь вообще могла возникнуть только с целью ее проведения.

Теперь, чтобы соответствовать этой единственной оставшейся позиции, я должен начать с напоминания читателю о некоторых моментах, которые уже были установлены в предыдущих главах.

Прежде всего, пытаясь определить “простейший элемент мысли”, я показал, что это происходит не в полностью сформированном предложении, а в полностью сформированном понятии; и что только из двух таких понятий как элементов могут быть сформированы полные или концептуальные предложения как составные. Или, как это было заявлено в главе о речи, “концептуальные имена - это ингредиенты, из которых формируется структура предложений; и для того, чтобы это формирование имело место, в ингредиентах должен присутствовать тот элемент концептуальной идеи, который уже присутствует в каждом обозначающем члене”. Или, еще раз, как то же самое было процитировано профессором Сэйсом: “это трюизм психологии, что члены предложения при тщательном рассмотрении оказываются не чем иным, как сокращенными суждениями”. [263]

Определив таким образом простейший элемент мышления как концепцию, я перешел к тому, чтобы показать на примере психогенеза детей, что прежде, чем появится какая-либо способность формировать концепции - и, следовательно, давать имена в качестве обозначающих терминов, или, *тем более*, комбинировать такие термины в форме концептуальных предложений, — появится способность формировать рецепты, называть эти рецепты денотативными терминами и даже расставлять такие термины по назначению с целью передачи информации доконцептуального рода. Сформированные таким образом предконцептуальные, рудиментарные или бездумные суждения возникают в раннем детстве, до появления самосознания, *и, следовательно, до тех самых условий, которые требуются для любого процесса концептуального мышления*. Более того, было показано, что этот доконцептуальный вид предикации сам по себе является продуктом постепенного развития. Беря свое начало из жестовых знаков, когда оно впервые начинает прорастать в членораздельное высказывание, между “частями речи” не наблюдается абсолютно никакого различия. Каждое слово - это то, что мы теперь знаем как “слово-предложение”, любое особое применение которого может быть определено только жестом. Затем эти слова-предложения или

другие, усвоенные впоследствии, начинают несовершенно дифференцироваться в денотативные названия объектов, качеств, действий и состояний; и чем большее определение они таким образом приобретают как части речи, тем больше они по отдельности подвергаются тому процессу коннотативного расширения значения, который повсюду является показателем растущего понимания аналогий. Наконец, объектные слова и атрибутивные слова (*т.е.* денотативные названия вещей и денотативные названия качеств или действий) начинают использоваться в приложении. Но рудиментарная или бездумная форма предикации, которая возникает в результате этого, обусловлена просто чувственными ассоциациями и внешней “логикой событий”; подобно элементам, из которых она состоит, она не концептуальна, а предконцептуальна. Однако с зарождением самосознания предикация начинает становиться по-настоящему концептуальной; и таким образом вступает в свой длительный курс все еще постепенного развития в области интроспективного мышления.

Следует помнить, что все эти общие факты были установлены только на основании психологических наблюдений; я нигде не ссылался на независимое свидетельство филологии. Но теперь, когда пришло время обратиться к этому дополнительному свидетельству, подтверждающая сила его кажется мне ошеломляющей. Ибо это повсюду доказывает, что рост предикации был таким же у расы, каким, как мы обнаружили, он был у индивида. Поэтому, как и в последнем случае, так и в первом, я теперь спрашиваю — осмелится ли какой-либо оппонент утверждать, что предконцептуальное представление указывает на суждение? Или, что то же самое, осмелится ли он отрицать, что существует важнейшее различие между предикацией как рецептивной и предикацией как концептуальной? Будет ли он по-прежнему пытаться найти убежище в единственной оставшейся сейчас позиции и утверждать, как предполагалось выше, что не только в детских сочетаниях денотативных имен, но даже в более ранней и доселе недифференцированной протоплазме “слова-предложения” мы обладаем той способностью предикации, на которой он основывает свое различие между человеком и животным? Очевидно, что если он этого не сделает, его аргументации придет конец, поскольку у расы, как и у индивида, теперь больше не возникает вопроса о преемственности между предикативным зародышем в предложении-слове и полностью развитой структурой формального предложения. С другой стороны, если он решит аргументировать таким образом, следующие краткие соображения эффективно выведут его из равновесия.

Если термин “предикация” распространить с концептуальной пропозиции на предложение-слово, он, таким образом, лишается того отличительного значения, на котором основана вся аргументация моих оппонентов. Ибо, когда слова-предложения используются маленьким ребенком (или первобытным человеком), их необходимо дополнять жестовыми знаками, чтобы конкретизировать их значение или завершить “предикацию”. Но там, где это так, больше нет никакого психологического различия между *говорением* и *указыванием*: если это называется предикацией, то предикативная “категория языка” отождествляется с индикативной: человек и животное признаются “братьями”.

Возьмем пример. В настоящий момент у меня есть ребенок, который еще не научился использовать ни одно членораздельное слово. Будучи еще в состоянии передвигаться на ногах, он иногда так или иначе попадает в беду; и когда он делает это, он пытается сообщить о природе своего несчастья с помощью жестов-знаков. Сегодня, например, он ударился головой о стол и тут же подбежал ко мне за сочувствием. Когда я спросил его, где у него болит, он немедленно дотронулся до той части головы, о которой идет речь, — *то есть указал на*

болезненное место. Теперь будет ли сказано, что, делая это, ребенок *предсказывал* место получения травмы? Если это так, то все отличительное значение, которое принадлежит термину "предсказывающий", или единственное значение, на которое до сих пор опирались мои оппоненты, утрачивается. Жестовые знаки, которые в таком изобилии используются низшими животными, тогда также следовало бы рассматривать как предикативные, поскольку, как уже довольно подробно показано ранее, они ничем не отличаются от жестов все еще безмолвствующего младенца.

Следовательно, независимо от того, допускают мои оппоненты качество предикации словам-предложениям или нет, в равной степени этот аргумент рушится. Их единственная логическая альтернатива - полностью отказаться от своей аргументации; больше не утверждать, что "Речь - это рубикон разума", но признать, что, поскольку между индикативной фазой языка, которую мы разделяем с низшими животными, и истинно предикативной фазой, которая принадлежит только человеку, нет никакого различия, которое можно было бы приписать; видя, что, напротив, независимо от того, смотрим ли мы на психогенез индивида или расы, мы одинаково обнаруживаем очевидную непрерывность эволюции от низшего к высшему уровню способности создавать знаки.

ГЛАВА XV.

СВИДЕТЕЛЬ ФИЛОЛОГИИ (продолжение).

В предыдущей главе мы рассматривали филологию предикации. В настоящей главе я предлагаю рассмотреть филологию концепта. Конечно, это различие нельзя провести очень четко, потому что, как полностью показано в моей главе о речи, каждое понятие воплощает в себе суждение, и, следовательно, каждый обозначающий термин является сжатым предложением. Тем не менее, поскольку мои оппоненты придавали такое большое значение полному или формальному предикативному определению в отличие от концепции, я счел желательным, насколько это возможно, разделить эти две ветви нашего предмета. Поэтому, устранив теперь все возражения, которые, возможно, могут быть выдвинуты на основании формальной предикации, я завершу, пролив свет филологии на происхождение материальной предикации, или переход рецептивного обозначения в концептуальное обозначение, поскольку показано, что это произошло в доисторической эволюции расы.

Следует помнить, что в рамках моего анализа роста предикации в последней главе гораздо больше внимания, чем в предыдущих, уделялось тому, что я назвал протоплазмой предикации, поскольку это происходит в доселе недифференцированном "предложении-слове". Рассматривая психологию предикации в главе о речи, я не углублялся в свой анализ дальше, чем для того, чтобы указать, как "зарождающиеся" или "доконцептуальные" суждения маленьких детей возникают в результате простого сочетания денотативных терминов — как было показано, такое сочетание происходит благодаря чувственной ассоциации под руководством "логики событий". Но когда я занялся филологией предикации, стало очевидно, что рассматриваемая способность существовала даже на более ранней стадии, чем

добавление денотативных терминов посредством чувственной ассоциации. Ибо, как мы недавно видели, филологи доказали, что еще до того, как появились какие-либо денотативные термины, соответственно обозначающие объекты, качества, действия, состояния или отношения, существовали слова-предложения, которые объединяли в одну расплывчатую массу значения, впоследствии присвоенные существительным, прилагательным, глаголам, предлогам и т. Д., Вследствие чего единственным видом приложения, который мог быть задействован с целью указания особого значения, предназначенного для такого слова в конкретных случаях, было приложение жестовых знаков. Итак, у меня были две причины отложить наше рассмотрение того, что, несомненно, является самой ранней фазой создания членораздельных знаков. Во-первых, мне показалось, что я мог бы легче привести читателя к ясному пониманию предмета, начав с этапа предикации, который он мог бы наиболее легко оценить, чем внезапно подводя его к зародышевому происхождению, которое далеко не так легко понять. Но помимо этого желания перейти от знакомого к незнакомому, у меня была, во-вторых, еще одна и более веская причина для того, чтобы не касаться окончательного зародыша членораздельного создания знаков, пока я имею дело только с психологией нашего предмета. Эта причина заключалась в том, что в развитии речи, проявляемом растущим ребенком, — которое, конечно, дает нам единственный материал для изучения предмета с психологической точки зрения, — первоначальная, или зародышевая, фаза, о которой идет речь, не представляется ни столь заметной, ни столь важной, ни, говоря сравнительно, столь продолжительной, как это было в развитии речи у расы. Используя биологические термины, эта самая ранняя фаза эволюции речи была значительно сокращена в онтогенезе человечества по сравнению с тем, какой она, по-видимому, была в филогенезе. Результатом, конечно, является то, что мы получили бы лишь неадекватное представление о его важности, если бы оценивали его с помощью чисто психологического анализа того, что мы сейчас находим в истории жизни индивида.

Совершенно верно, как говорит профессор Макс Мюллер, что “если английский ребенок говорит “Up”, то, по его мнению, *up* - это существительное, глагол и прилагательное в одном лице”. Тем не менее, у маленького ребенка с самого начала наблюдается заметная тенденция замечать различия, которые принадлежат основным частям речи. Самыми ранними словами, которые произносили мои собственные дети, всегда были существительные и имена собственные, такие как “Звезда”, “Мама”, “Папа”, “Ильда” и т.д.; и хотя позже некоторые из этих самых ранних слов могли взять на себя функции прилагательных, употребляясь в сочетании с другими существительными, приобретенными впоследствии (такими как “Мама-ба” для обозначения овцы и “Ильда-ба” для обозначения ягненка), ни существительные, ни прилагательные не стали использоваться как глаголы. Ранее было показано, что употребление прилагательных усваивается почти так же быстро, как и употребление существительных; и хотя бедность словарного запаса ребенка часто приводит к тому, что прилагательные используются в качестве существительных, субстантивы - в качестве прилагательных, и то и другое в качестве рудиментарных предложений, все же остается различие между ними как словами-объектами и словами-качествами. Точно так же, хотя слова-действия и слова-условия часто вытесняются на позицию слов-объектов и слов-качеств, очевидно, что основная идея, связанная с ними, - это та, которая должным образом принадлежит глаголу. И, конечно, те же замечания применимы к словам-отношениям, таким как “Вверх”.

Возьмем, к примеру, случаи предконцептуальной предикации, которые ранее цитировались у м-ра Салли, а именно: “Bow-wow” = “Это собака”; “Ot” = “Это молоко горячее”; “Dow” = “Моя

игрушка упала”; “Dit ki” = “Сестра плачет”; “Dit naughty” = “Сестра капризничает”; “Dit dow ga” = “Сестра лежит на траве”. Во всех этих случаях очевидно, что ребенок демонстрирует истинное восприятие различных функций, которые по отдельности принадлежат разным частям речи; и насколько мог бы помочь нам один психологический анализ, ничто не могло бы показать, что замещение одной части речи другой, что так часто происходит в этом возрасте, вызвано чем-то большим, чем просто необходимостью выражения, когда пока еще почти нет слов для передачи какого-либо значения. Следовательно, исходя только из психологического анализа, я не вижу оснований утверждать на основании этих фактов, что маленький ребенок не осознает разницы между функциями различных частей речи — не больше, чем мы должны были бы утверждать, что взрослый человек не осознает такой разницы, когда он расширяет значение субстантива (такого как “карман”), чтобы охватить функцию прилагательного, с одной стороны (*например*, “карманная книжка”), и глагола, с другой (*например*, “он *выстрелил* из белой пушки”). , и *положил* красную в карман”). То, что можно назвать этим грамматическим злоупотреблением словами, становится абсолютной необходимостью там, где словарный запас невелик, как мы хорошо знаем, когда пытаемся выразить себя на иностранном языке, с которым мы лишь слегка знакомы. И, конечно, чем меньше словарный запас, тем больше такая необходимость; так что она особенно актуальна, когда младенец только выходит из своего младенческого возраста. Следовательно, как только что было отмечено, только на основании психологического анализа я не думаю, что у нас есть основания делать вывод, что ребенок, впервые говорящий, не понимает того, что мы понимаем под частями речи; и именно из-за неопределенности, которая возникает здесь между необходимостью и неспособностью, я приберегу свое рассмотрение “слов-предложений” для независимого освещения, которое было пролито на них наукой сравнительной филологии.

Теперь, при исследовании в этом свете, оказывается, как уже отмечалось, что протоплазматическое состояние языка до его дифференциации на части речи сохранялось у расы гораздо дольше, чем, условно говоря, у индивида. Более того, это, по-видимому, имело относительно гораздо большее значение для последующего развития языка. Как же тогда объяснить это различие? Я думаю, объяснение достаточно простое. Современный младенец рождается в среде уже произносимого языка; и задолго до того, как он сам сможет имитировать слова, которые слышит, он вполне способен понимать большое их количество. Следовательно, пока он еще буквально *младенец*, использование грамматических форм постоянно находится в его сознании; и, следовательно, совсем неудивительно, что, когда он впервые начинает использовать членораздельные знаки, он уже должен обладать некоторым объемом знаний об их отличительных значениях как названиях объектов, качеств, действий, состояний или отношений. Действительно, младенец вообще приобрел свои знания об этих знаках только как таковые; и, следовательно, если и есть что-то удивительное в этом вопросе, так это то, что ребенок, впервые заговоривший, проявляет такую же неопределенность, как и в вопросе грамматических различий.

Но как сильно, должно быть, отличался случай первобытного человека! Младенец, как и современный ребенок, обнаруживает, что грамматика уже создана для его использования, и она обязана быть усвоена с первым знакомством с денотативными именами. Но младенец, став взрослым в первобытные времена, был вынужден медленно осваивать свою грамматику вместе со своими денотативными именами; а это, как мы видели ранее, он мог делать только с помощью жестов и гримас. Следовательно, в то время как усвоение имен и форм речи инфантильным человеком, таким образом, должно было в основном зависеть от жеста и

grimасы, усвоение инфантильным ребенком теперь не только независимо от жеста и grimасы, но и активно враждебно им обоим. Уже построенная грамматика речи является эволюционной заменой жеста, из которой она первоначально возникла; и, следовательно, как только современный ребенок начинает говорить, жестовые знаки сразу же начинают вытесняться грамматическими формами. Но в истории расы жесты-знаки были кормилицами грамматических форм; и чем больше росло их потомство, тем большим должно было быть разнообразие функций, которые родители были призваны выполнять. Другими словами, в период младенчества нашей расы развитие членораздельного языка должно было не только зависеть, но и реагировать на развитие жестовых знаков — увеличивая их количество, их запутанность и утонченность, вплоть до того времени, когда грамматические формы были достаточно развиты, чтобы позволить постепенно обходиться без жестовых знаков. Затем, конечно, жестикуляцию, подобную Сатурну, поглотило ее собственное потомство; отношения между знаками, привлекающими внимание глаз и ушей, постепенно поменялись местами; и, как это сейчас происходит с каждым растущим ребенком, язык формального высказывания подорвал жизнь своего более неформального прародителя.

Теперь мы можем рассмотреть точное психологическое отношение слов-предложений к денотативным и рецептивно-коннотативным словам. Следует помнить, что я везде говорил о словах-предложениях как представляющих еще более примитивный порядок мыслеобразования, чем денотативные слова, и, *тем более*, чем слова, обладающие рецептивной коннотацией. С другой стороны, в предыдущих частях этого трактата я показал, что оба последних упомянутых вида слов встречаются у детей, когда они впервые начинают говорить, и могут быть даже отнесены к таким низким уровням психологической лестницы, как говорящие птицы. Таким образом, эта очевидная двусмысленность теперь требует прояснения. Можно резонно спросить, может ли что-либо в форме разговорного языка быть более примитивным, чем самые первые слова, произносимые ребенком или даже попугаем? Но если нет, то как я могу согласиться с теми филологами, которые приходят к выводу, что существует еще более примитивная стадия концептуальной эволюции, которую можно распознать в предложениях-словах?

Вкратце, мой ответ на эти вопросы заключается в том, что в "маленьком ребенке" и "говорящей птице" денотативные слова, коннотативные слова и слова-предложения одинаково примитивны; или, если нужно присвоить какой-либо приоритет, он должен быть присвоен названному первому. Но причина этого, я полагаю, заключается в том, что и ребенок, и птица живут в уже развитой среде разговорного языка, и, следовательно, как недавно было указано, им приходится только запоминать свои денотативные названия по специальной ассоциации, в то время как первобытный человек должен был сам создавать свои имена из ранее нечленораздельных материалов своей собственной психологии. Теперь это, как мы также видели, он мог сделать только с помощью таких ассоциаций звуков и жестов, которые в первую очередь должны были передавать значения доконцептуально предикативного рода. В отсутствие каких—либо звуков, уже данных — и, следовательно, *согласованных* - в качестве денотативных названий, не могло быть никакой возможности для того, чтобы первобытный человек произвольно *присваивал* такие названия; и, таким образом, не могло быть никакой параллели с маленьким ребенком, который рецептивно *усваивает* их. Для того чтобы он мог присваивать имена, первобытный человек должен был сначала иметь возможность делать свои доконцептуальные утверждения об объектах, качествах и т. Д., Названия которых впоследствии выросли из этих утверждений, или слов-предложений. Адам, действительно, давал имена

животным; но Адам уже обладал концептуальным мышлением и, следовательно, был в психологическом состоянии оценить важность того, чем он занимался. Но “доадамитский человек”, который сейчас перед нами, никак не мог изобрести имена ради них самих, если только он уже не был способен думать об именах как об именах и, следовательно, уже обладал той самой концептуальной мыслью, происхождение которой, как мы теперь так часто видели, зависит от имен. Даже при всех наших собственных полностью развитых способностях концептуального мышления мы не можем *назвать* объект, находясь в обществе людей, с языком которых мы совершенно незнакомы, без того, чтобы *не предсказать* что-либо об этом объекте с помощью жестов или других знаков. Следовательно, без дальнейшего обсуждения должно быть очевидно — не только, как уже было показано, что здесь нет точной параллели между онтогенезом и филогенезом, и что, таким образом, мы имеем полное объяснение, почему слова-предложения имели гораздо большее значение для новорожденного человека, чем для грудного ребенка, но далее и, следовательно, — что вопрос о том, являются ли слова-предложения более примитивными, чем денотативные слова, не является вопросом, который может быть сформулирован должным образом, если не будет также указано, относится ли этот вопрос к индивиду или к расе. Что касается современного индивида, то нельзя сказать, что существует какой-либо приоритет, исторический или психологический, слов-предложений над денотативными словами или даже над рецептивно-коннотативными словами низкого порядка протяженности. Более того, мы видели, что ведущие принципы грамматической формы могут быть усвоены ребенком вместе с усвоением им всех видов слов и что даже говорящие птицы способны различать имена как отдельные названия объектов, качеств, состояний или действий.

Таким образом, мы обнаруживаем, что почти для любого уровня интеллекта, который уже окружен средствами устной речи, понимание — и, при наличии какой-либо способности подражательного высказывания, приобретение - денотативных имен в качестве знаков или меток соответствующих объектов, качеств и т.д. Является, во всяком случае, более примитивным актом, чем использование слова-предложения; но что в отсутствие такого уже существующего средства слова-предложения более примитивны, чем денотативные имена. Тем не менее, важно отметить, насколько низкий уровень восприятия идей способен усвоить денотативное название по специальной ассоциации, потому что этот факт доказывает, что как только человечество продвинулось до стадии, когда оно впервые начало придумывать свои слова-предложения, оно уже должно было быть намного выше психологического уровня, необходимого для усвоения денотативных слов, *если только такие слова существовали ранее*. Следовательно, мы можем хорошо понять, как такие слова вскоре начали бы появляться благодаря обычному использованию слов-предложений по отношению к конкретным объектам, качествам, состояниям, действиям и т.д.; Благодаря таким особым ассоциациям слова-предложения легко выродились бы в простые семиотические знаки. Сколько времени могло занять это происхождение относительно “пустых слов” из изначально “полных слов”, сейчас сказать невозможно; но для нас важно отметить, что в течение всего этого времени — каким бы оно ни было — разум первобытного человека был уже намного выше психологического уровня, который требуется для восприятия денотативного имени. [264]

Итак, вот и все, что касается первого класса соображений, которые были раскрыты благодаря тому, что результаты нашего психологического анализа были освещены независимым

филологическим исследованием. Теперь я перейду ко второму занятию, которое имеет еще большее значение.

Исходя из того факта, что слова-предложения сыграли столь важную роль в возникновении речи и что для этого они существенно зависели от взаимодействия жестов, которыми они сопровождались, так что в результирующем “комплексе звука и жеста звук не имел значения отдельно от жеста”; из этих теперь хорошо установленных фактов мы можем получить некоторый дополнительный свет на ранее рассмотренный вопрос, а именно, в какой степени примитивные слова были “абстрактными” или “конкретными”, “особыми” или “общими” и, следовательно, “рецептивными” или “концептуальными”. По словам профессора Макса Мюллера, “наука о языке неопровержимо доказала, что человеческая мысль в истинном смысле этого слова — то есть человеческий язык — шла не от конкретного к абстрактному, а от абстрактного к конкретному. Корни, элементы, из которых был построен весь язык, абстрактны, никогда не бывают конкретными; и именно путем предсказания этих абстрактных понятий о том или ином, путем локализации их здесь или там, фактически путем применения категории

Начнем с того, что здесь налицо внутреннее противоречие. Когда говорят, что корни, о которых идет речь, уже представляли абстрактные понятия, становится противоречием добавлять, что “первые основы языка и мышления были заложены путем применения категории субстанции к корням”. Ибо, если эти корни уже представляли абстрактные концепции, они уже представляли отличительную черту человеческой “мысли”, “основы” которой, следовательно, должны были быть “заложены” где-то еще в истории человечества. Но, помимо этого внутреннего противоречия, мы имеем здесь решительное повторение двух радикальных ошибок, о которых я упоминал ранее и которые повсеместно подрывают философскую ценность работы профессора Макса Мюллера. Первый - это его молчаливое предположение о том, что корни арийской речи представляют собой исходные элементы членораздельного языка. Второе заключается в том, что на основе этого предположения наука о языке неопровержимо доказала, что человеческая мысль шла от абстрактного к конкретному — или, другими словами, что она возникла подобно Минерве, уже оснащенной божественным наследием концептуальной мудрости. Теперь, развивая эту теорию, профессор Макс Мюллер не только вступает в прямой конфликт со всеми своими собратьями-филологами, но и, как мы видели ранее, часто вынужден быть непримиримо непоследовательным с самим собой. [266] Более того, как мы также видели, его предположение об исконной природе арийских корней, на которых зиждется его трансцендентальная доктрина, по сути абсурдно и, таким образом, на самом деле не требует объединенного голоса профессиональных филологов для его осуждения. Поэтому то, что наука о языке *не* доказать “исчерпывающие доказательства” есть, *не* что эти корни арийской ветви языков аборигенов элементы человеческой речи, или показатели аборигенов условие человеческой мысли; но что, будучи пережитком несоизмеримо более примитивные и неизмеримо более отдаленных этапах словообразования, они встают перед нами как уже вызревшие продукты концептуального мышления—и, *подавно*, что, исходя из этих корней только *наука о языке не имеет абсолютно никаких доказательств, чтобы представить*, как тому, что профессор Макс Мюллер здесь намекает в таких позитивных выражениях. В этой связи невозможно избежать лаконично выраженного вывода, ранее процитированного Гейгером и единодушно принятого как аксиома филологами в целом: “Эти корни не являются первичными корнями: у нас, возможно, нет ни в одном отдельном случае первого членораздельного звука аборигенов — так же мало, конечно, и значения аборигенов”. [267]

Но вопрос, который я сейчас хотел бы выдвинуть, заключается вот в чем. Ранее мы видели, что источник этих неудачных высказываний в филологии профессора Макса Мюллера, по-видимому, кроется в определенных предубеждениях, которые он проявляет в области психологии. Ибо он принимает допущение, что не может быть такого порядка слов, который самим фактом своего существования не подразумевал бы понятий: он недостаточно признает, что может существовать сила наделения именами как знаками без способности мыслить эти знаки как имена. Следовательно, различие, которое с точки зрения сравнительной психологии кажется мне таким очевидным и таким необходимым — т.е. между именами как просто денотативными знаками, обусловленными доконцептуальной ассоциацией, и деноминационными суждениями, обусловленными концептуальным мышлением, — ускользнуло от его достаточного внимания. Следовательно, он также не смог провести различие между идеями как “общими” и тем, что я назвал “обобщенным”; или между идеей, которая является общей, потому что она рождена в результате преднамеренного синтеза результатов предыдущего анализа, и идеей, которая является *обобщенной* [268] потому что еще не дифференцирована каким-либо преднамеренным анализом и, следовательно, представляет собой просто отсутствие концептуального мышления. Мой ребенок, впервые начавший говорить, имел обобщенное представление о сходстве между всеми видами ярко сияющих объектов и поэтому называл их все одним денотативным названием “звезда”. У астронома есть общая идея, соответствующая его условному названию “звезда”; но к ней он пришел после длительного хода ментальной эволюции, в ходе которой концептуальный анализ был занят концептуальной классификацией во многих и различных направлениях: следовательно, она представляет собой психологическую антитезу обобщенной идее, которая возникла благодаря просто чувственным ассоциациям доконцептуального мышления. Таким образом, идеи как общие и родовитые по отдельности занимают самые противоположные места в Сознании.

Все это мы уже видели ранее. Моя цель здесь, возвращаясь к этому вопросу, показать, что филологическая доктрина “предложений-слов” может пролить на него много дополнительного света, которую профессор Макс Мюллер, как и другие филологи, полностью принимает.

Из всех авторов, пишущих о примитивных способах речи, представленных существующими дикарями, никто не имеет права говорить с таким авторитетом, как Блик. Теперь, в результате своего длительного изучения предмета из первых рук, он твердо придерживается мнения, что слова аборигенов выражали “вовсе не абстрактный или общий характер, а исключительно конкретный или индивидуальный”. Под этим он подразумевает, что примитивные идеи были тем, что я назвал родовыми. Ибо он говорит, что если бы слово было образовано, например, из имитации крика кукушки, его значение, возможно, не ограничивалось бы названием этой птицы; оно было бы расширено таким образом, чтобы охватить “всю ситуацию в той мере, в какой она дошла до сознания говорящего”. Иными словами, это стало бы общим названием для всего восприятия птиц, крика, полета и т. Д., И т. Д., Точно так же, как для наших собственных детей слово *Ба* = овца, блеяние, выпас и т. Д. Итак, этот процесс объединения под одним денотативным термином доселе недифференцированных восприятий “целостной ситуации, насколько она доходит до сознания говорящего”, является полной противоположностью процессу, посредством которого денотативный термин объединяется посредством акта “обобщения”, т.е. ранее хорошо дифференцированные понятия, между которыми впоследствии обнаруживается некоторая аналогия. Следовательно, отсутствие каких-либо частей речи в примитивном языке обусловлено общим порядком формирования представлений, тогда как объединения частей речи в любых языках, в которых они представлены, обусловлены

обобщающим порядком формирования представлений. Или, как выразился Блик, говоря о сравнительно недифференцированном состоянии южноафриканских языков, “это полностью отличается от принципа, который преобладает в современном английском языке, где слово, не претерпевая никаких изменений формы, тем не менее может принадлежать к разным частям речи. Ибо в английском языке части речи, хотя и не всегда различающиеся по звучанию, всегда точно различаются по концепции; в то время как в другом случае еще не было осознания какого-либо различия, поскольку ни форма, ни положение до сих пор не привлекали внимания ни к чему подобному. Ибо формы еще не появились, и определенное положение [т.е. Значение, выражаемое синтаксисом], как, например, в китайском, могло возникнуть только в языке с высокоразвитой внутренней формой”. [269]

Действительно, если мы рассмотрим этот вопрос, то невозможно представить, что дело могло обстоять иначе. Никто не будет утверждать, что предложения-слова маленьких детей демонстрируют высочайшую проработанность концептуального мышления, на том основании, что они представляют собой высшую степень “общности”, которую только возможно выразить членораздельными звуками. Но если этого нельзя предположить в отношении младенца, то какие возможные основания могут быть для предположения этого в отношении младенца человека или для вывода, что речь аборигенов должна была выражать “общие” и “абстрактные” идеи, просто потому, что чем дальше назад мы прослеживаем развитие языка, тем менее организованной оказывается его структура? Ясно, что противоречие возникает из-за путаницы между идеями как родовыми и обобщающими, или между расширением, которое происходит из-за первоначальной расплывчатости, и тем, что с трудом достигается путем последующей точности. Амфибия морфологически более “обобщена”, чем позвоночное; но именно по этой причине она менее развита как организм. Следовательно, филология предложений-слов возвращает нас к состоянию формирования идей, когда способности концептуального мышления все еще находились в том зарождающемся состоянии, которое обозначает то, что я назвал их предконцептуальной стадией, или стадию, которую можно наблюдать в сравнительно сокращенном виде у детей до зарождения самосознания.

Не может быть никаких разумных сомнений в том, что на этой стадии ментальной эволюции слова-предложения возникали у расы так же, как они возникают сейчас у индивидуума, с той лишь разницей, что тогда их приходилось изобретать, а не заучивать. Это различие, вероятно, придавало бы большее значение принципу звукоподражания, [270] и, конечно, гораздо большее значение взаимодействию жестов, чем сейчас в аналогичном случае с маленькими детьми. Но и в том, и в другом случае, я думаю, не может быть разумного вопроса о том, что слова-предложения должны были возникнуть благодаря рецептивным и доконцептуальным представлениям всех видов, будь то об объектах, качествах, действиях, состояниях, отношениях или о любых двух или более из этих “категорий”, поскольку они могли быть смешаны в доселе недифференцированном восприятии аборигенов.

Теперь я должен сослаться на результаты нашего предыдущего исследования, касающегося “синтаксиса языка жестов”. Для сравнения покажем, что во всех существенных деталях семиотическая конструкция этого наиболее оригинального и непосредственно графического способа коммуникации имеет поразительное сходство с тем, что представлено самыми ранними формами членораздельного языка, как это было обнаружено филологией, так и в “детском лепете”. [271] Таким образом, как мы видели, “язык жестов не имеет грамматики в собственном смысле этого слова. Этот же знак обозначает ‘ходить’, ‘самый ходячий’, ‘идущий”,

"прошагал", 'ходок'. Глухонемым нелегко различать прилагательные и глаголы. Действительно, наша сложная система частей речи лишь в малой степени применима к языку жестов ". Далее, процитируем еще раз только один из многочисленных примеров, приведенных ранее, чтобы показать примитивный порядок приложения, посредством которого язык жестов служит для передачи предикации: "Я был бы наказан, если бы был ленивым и непослушным", было бы сказано: "Я ленивый, непослушный, нет! — ленивый, непослушный, я наказан; да!" Опять же, "делать" - это слишком абстрактно для глухонемого; чтобы показать, что портной шьет пальто или что плотник делает стол, он изобразил бы портного, шьющего пальто, и плотника, распиливающего и строгающего стол. Такое утверждение, как "Дождь делает землю плодородной", не вошло бы в его образ мышления: "Дождь падает; растения растут", было бы его образным (*то есть* восприимчивым) выражением". В другом месте этот автор отмечает, что отсутствие какого-либо различия между существительным, прилагательным и глаголом, которое является универсальным в языке жестов, является обычным в китайском и небезызвестным даже в английском. "*Намазывать*маслом*хлеб,битьчеловека* machinery, to *perreper*перчить", - говорится в документе, и множество подобных выражений включают действие и инструмент в одном слове, и это слово является субстантивом, рассматриваемым как корень или грубая форма глагола. Такими выражениями являются конкретизмы, слова-образы, слова-жесты, в той же степени, что и единственный знак глухонемого, обозначающий "масло" и "намазывание маслом". "И аналогично субстантивному прилагательному в таких словах, как *железо-камень, ковыль, чесночный орехи* т.д.; здесь простое сочетание слов делает одно атрибуцией другого, как это имеет место в языке жестов. И не только в китайском, но, как показано в предыдущей главе, в огромном количестве и разнообразии языков дикарей этот способ построения является обычным. Во всех этих случаях различия между частями речи могут быть переданы только с помощью синтаксиса; и этот синтаксис является синтаксисом жеста.

Я попрошу читателя обратиться ко всему отрывку, в котором я ранее рассматривал синтаксис жеста, [272] уделяя особое внимание только что отмеченным моментам, а также следующему: — неизменное отсутствие связки и частое отсутствие глагола (например, "Apple-father-I" = "Мой отец дал мне яблоко"); сходство предложений с полисинтетическим или неанализирующим типом (например, "я-Том-ударил-палкой" = "Том ударил меня палкой"); прием, с помощью которого синтаксис или порядок приложения используются для различения предикативных, атрибутивных и притяжательных значений, а следовательно, также между существительными и прилагательными; важность гримасы в сочетании с жестом (например, когда вопросительный взгляд превращает утверждение в вопрос); весьма поучительные средства, с помощью которых относительные слова, и особенно местоимения, передаются в жестах указания; не менее поучительный способ, при котором общая идея выражается в суммировании частных идей (например, "Вы ели суп? вы ели овсянку?" и т. д. = "Что вы ели на ужин?"); и рецептивный или чувственный источник всех жестовых знаков, которые используются для выражения идей, представляющих ту или иную степень абстракции (например, удар по руке для обозначения "сильного" и т. Д.).

Следовательно, мы повсюду можем проследить фундаментальное сходство между сравнительно неразвитой формой концептуального мышления, проявляющейся в жестах, и тем, что филология выявила как отличительное свойство ранней речи. Конечно, в обоих случаях присутствует концептуальное мышление: идея человеческая, хотя, сравнительно говоря, незрелая. Но важно отметить удивительно тесное сходство между формами языковой структуры, проявляющееся в жестах и ранней речи. Ибо никто, я полагаю, не может избежать восприятия

идиографического характера языка жестов, благодаря которому он более близок к чисто рецептивным способам общения, которые мы изучали у низших животных, чем в случае с нашими полностью развитыми формами предикации. Поэтому мне кажется весьма наводящим на размышления тот факт, что самые ранние формы и записи разговорного языка, которыми мы располагаем (несмотря на то, что они все еще далеки от исконных), так точно следуют модели, которая все еще представлена нам в идиографических жестах глухонемых. Такой синтаксис, какой существует, — *то есть* такая *упорядоченность*, которая выражает способ мыслительной группировки, — настолько близок к синтаксису языка жестов, что мы можем сразу увидеть их общий психологический источник. Именно из-за этого структурного сходства между жестом и ранней речью я посвятил так много места нашему рассмотрению первого; и если я сейчас не останавливаюсь более подробно на значении аналогии, то только потому, что это значение кажется слишком очевидным, чтобы требовать дальнейшего рассмотрения.

Однако в связи с этой аналогией есть один момент, о котором здесь необходимо сказать несколько слов. Если в теории эволюции применительно к человеческому разуму вообще есть хоть капля истины, мы можем быть совершенно уверены, исходя из того, что было сказано в предыдущих главах, что тон, жест и гримаса предшествовали артикуляции как средству предконцептуального высказывания. Следовательно, структурное сходство между существующим языком жестов и самыми ранними записями членораздельной речи, которые сейчас рассматриваются, предположительно обусловлено не только сходством психологических условий, но и прямой преемственностью происхождения. Или, как хорошо выразился полковник Маллери, говоря о предполагаемом происхождении разговорной речи, “поскольку действие было тогда существенным, а последующий или сопутствующий звук - случайным, можно было бы ожидать, что представление или притворное воспроизведение действия было бы использовано для выражения идеи до того, как звук, связанный с этим действием, мог быть отделен от него. Визуальная звукоподражание жестам, которые даже до сих пор подвергались лишь незначительному искусственному искажению, таким образом, служила бы ключом к слышимому. Также утверждается, что в незапамятные времена, когда звуки единственных еще сформировавшихся слов имели тесную связь с объектами и идеями, непосредственно вытекающими из них, знаки были настолько же более полезны для общения, чем речь, насколько зрение охватывает все более отчетливые характеристики объектов, чем чувство слуха ”. [273]

Все вышесказанное и достигнутые таким образом общие выводы, касающиеся генезиса концептуального из доконцептуального мышления, допускают поразительное подтверждение с помощью другого направления филологических исследований. Исходя из предшествующих соображений, эволюционист предположил бы, что “первые языковые знаки должны были обозначать те физические действия и качества, которые были непосредственно восприняты органами чувств; как потому, что только они имеют прямое значение, так и потому, что только с ними неподготовленные человеческие существа имели возможность иметь дело или возможность использовать”. [274] Другими словами, если, как мы предполагаем, язык возник из простого создания денотативных знаков, которые постепенно становились все более и более коннотативными и, следовательно, постепенно все более и более предикативными; очевидно, что исходные обозначения должны были относиться только к объектам (или действиям, состояниям и качествам), имеющим чисто рецептивное значение - *т.е.* “те физические действия и качества, которые непосредственно воспринимаются чувства.” И, что не менее очевидно, коннотативное расширение таких денотативных названий должно было в течение

чрезвычайно длительного периода ограничиваться доконцептуальным осознанием наиболее очевидных аналогий - *то есть* таких аналогий, которые неизбежно навязывались бы чисто чувственному восприятию силой прямой ассоциации.

Итак, если бы это было так, что бы эволюционист ожидал найти в языке в том виде, в каком он существует сейчас? Очевидно, он ожидал бы найти более или менее отчетливые следы в фундаментальном строении всех языков того, что было названо “фундаментальной метафорой”, под которой подразумевается интеллектуальное расширение терминов, которые первоначально имели не более чем чувственное значение. И это именно то, что мы действительно находим. “Вся история языка, вплоть до наших дней, полна примеров сведения физических терминов и фраз к выражению нефизических концепций и отношений; мы едва ли можем написать хоть строчку, не приведя иллюстраций такого рода лингвистического роста. Она настолько всеобъемлюща, что мы никогда не считаем себя прочитавшими историю какого-либо интеллектуального или морального термина, пока не проследим его до его физического происхождения”. [275]

Итак, я считаю, что это восприимчивое ядро всех наших концептуальных терминов представляет собой самое убедительное из возможных доказательств не только исторического приоритета первых, но и того, что профессор Макс Мюллер называет их “крайней необходимостью” для роста вторых. [276] Другими словами, факты убедительно показывают, что концептуальная коннотация (обозначение) всегда имела — *и могла иметь только* — рецептивное ядро (денотат), вокруг которого развивалась. Психологический анализ уже показал нам психологический приоритет рецепта; и теперь филологические исследования самым поразительным образом подтверждают этот анализ, *фактически находя рецепт в теле каждого концепта*.

Как мои противники должны относиться к этому большому и общему факту, я не знаю. Безусловно, не соответствует действительности утверждение профессора Макса Мюллера, [277] Нуаре, [278] и тех, кто думает вместе с ними, что ни в каком другом каким образом мог бы быть возможен рост концептуальной мысли; ибо это всего лишь повторение на *априорных* основаниях вывода, к которому я пришел *апостериори*. И чем больше, таким образом, можно показать, что этот исторический приоритет обозначения является *априорной* необходимостью для последующего генезиса наименования, тем больше становится убедительности наших доказательств *апостериори* того, что на самом деле таков был неизменно порядок исторической преемственности. Ибо, если концептуальное мышление отличается от рецептивного по своей природе, то почему такая необходимость в историческом приоритете последнего? Почему денотация, таким образом, всегда должна предшествовать обозначению — или рецептивная коннотация, таким образом, всегда должна предшествовать концептуальной предикации, — если только одно не является дальнейшим и непрерывным развитием другого? С таким же успехом ботаник мог бы установить специфическое различие между корнем и цветком одного и того же растения, как психолог, имея перед глазами эти результаты филологических исследований, все еще упорствует в проведении своеобразного различия между восприимчивым обозначением “радикальных элементов” и полным расцветом концептуальной мысли.

Единственная иллюстрация может помочь передать силу этого аргумента более полно, чем любое абстрактное обсуждение его. Но я представлю иллюстрацию с аналогичным случаем. Следующий хорошо установленный факт я цитирую из Гейгера:—

“У человека появился язык еще до того, как у него появились орудия труда.... Рассматривая слово, обозначающее деятельность, осуществляемую с помощью инструмента, мы неизменно обнаруживаем, что это не было его первоначальным значением, но что ранее оно подразумевало аналогичную деятельность, требующую только естественных органов.... Этот факт, что деятельность с орудиями получила свое название от другого, более простого, древнего и грубоподобного, является вполне универсальным, и я не знаю, как иначе объяснить это, кроме того, что это название старше, чем деятельность с орудиями, которую оно обозначает в настоящее время, — что, фактически, это слово существовало уже до того, как люди использовали какие-либо другие органы, кроме естественных.... Остатки его ранних представлений, все еще сохранившихся в языке, громко и отчетливо провозглашают, что человек развился из состояния, в котором ему приходилось полагаться исключительно на помощь своих органов, — состояния, следовательно, в котором он мало отличался в своих привычках от животного создания, а в том, что касается наслаждения своим существованием, более того, своего сохранения, почти полностью зависел от того, какой счастливый случай представился ему”. [279]

Теперь, по поводу этой специальной иллюстрации общего принципа “фундаментальной метафоры”, несомненно, скажут, что это очень интересно само по себе; но, в конце концов, это просто филологическое доказательство того, что инструменты моложе слов; что люди не всегда владели инструментами; что инструменты изобретались постепенно; и что, когда они были изобретены, они были названы метафорическим применением ранее использовавшихся слов.— Что ж, если мы все пока согласны, я приведу свою иллюстрацию.

Судя по обширной литературе, которая в настоящее время выступает против эволюционного учения о человеке, я заключаю, что на подавляющее большинство авторов моральные и религиозные аспекты человеческой психологии производят такое же впечатление, как и интеллектуальные. Теперь, как уже говорилось в Предисловии, я оставляю за собой для будущего тома подробное рассмотрение этих исконно человеческих способностей. В настоящей части моей работы меня интересует исключительно вопрос о происхождении тех способностей концептуального мышления, которые при любой точке зрения должны рассматриваться как необходимое и предшествующее условие возможности как совести, так и религии. Тем не менее, просто ради иллюстрации, касающейся стоящего сейчас перед нами вопроса, я могу здесь немного опередить то, что мне впоследствии придется представить в деталях, касающихся имеющих у нас доказательств генезиса совести. И это я сделаю с помощью другой цитаты из того же филолога, поскольку он является авторитетом, которого никто из моих оппонентов не может позволить себе игнорировать.

“Если мы исследуем слова, эти древнейшие доисторические свидетельства, мы обнаружим, что все моральные понятия содержат нечто нравственно безразличное”. Иными словами, все они содержат то, что я назвал “рецептивным ядром”, выражающим некоторый простой физический процесс или состояние, название которого впоследствии было перенесено с помощью “фундаментальной метафоры” на моральную “концепцию”. Опуская иллюстрации, отрывок продолжается следующим образом: “Но почему морально хорошее и плохое не имеют

собственных названий в языке? Почему мы узнаем их по чему-то другому, что раньше имело свое название? Очевидно, потому, что язык восходит к периоду, когда моральное суждение, знание добра и зла еще не зародилось в человеческом сознании”. [280]

Итак, в настоящее время меня не интересует этот вывод, кроме как отметить, что я не вижу, как его можно избежать, если наше предыдущее соглашение будет оставаться в силе в отношении точно аналогичного случая с названиями инструментов. Иными словами, если кто-либо допускает, что филологических доказательств достаточно для доказательства приоритета слов по отношению к инструментам, которые они обозначают, последовательность должна заставить его также допустить, что фундаментальные понятия морали имеют более позднее происхождение, чем имена, которыми они были крещены, и в силу этого их вообще следует рассматривать как ставшие понятиями. Все эти названия — точно так же, как и названия инструментов, — изначально имели не более чем доконцептуальное значение, служа для обозначения таких очевидных физических состояний или действий, которые были немедленно распознаны с помощью способностей чувственного восприятия и прямой ассоциации. Затем, когда начало зарождаться моральное чувство и начала осознаваться утилитарная значимость поведения как этического, принципы “фундаментальной метафоры” были применены к наименованию этих недавно найденных понятий — предположительно, примерно в то же время, когда те же принципы были применены к наименованию недавно найденных инструментов.

Итак, это всего лишь одна иллюстрация из практически бесконечного числа других, которые было бы легко процитировать — учитывая, действительно, как замечает Уитни, что “мы едва ли можем написать хоть строчку, не приводя иллюстраций такого рода лингвистического роста”. И что бы ни думали (на этой преждевременной стадии нашего исследования) о применении рассматриваемого нами общего принципа к особому случаю сознания, мне кажется, не может быть никаких сомнений в том, что этот общий принцип “фундаментальной метафоры” раскрывает факт интеллектуального роста от того, что я назвал доконцептуальной фазой, к концептуальной фазе; и, более того, это доказывает, что такой рост был универсальной характеристикой человеческих способностей в те доисторические времена, о которых язык сохранил для нас единственную запись. [281]

Остается рассмотреть еще один раздел филологических исследований, и его рассмотрение будет иметь дальнейшую и наиболее убедительную тенденцию к подтверждению всех уже достигнутых общих выводов. До сих пор мы занимались по большей части тем, что я уже назвал палеонтологией человеческого мышления, выявленной, подобно окаменелостям, в языковых окаменелостях доисторического человека. Но наука сравнительная филология в своих исследованиях ранних форм речи не ограничивается ушедшими остатками далекой эпохи. Напротив, точно так же, как наука сравнительная анатомия, она снабжена все еще существующими материалами для изучения, которые имеют природу живых организмов и которые представляют столько ступеней эволюции, что низшие представители этого ряда приближают нас к тем аборигенным формам, которые могут быть изучены только в ископаемом состоянии. До сих пор я рассматривал эти низшие из существующих языков только в связи с их формами предикации. Здесь я хочу рассмотреть их в связи с качеством представления, которое они обозначают.

В следующей части моей работы мне придется рассмотреть психологию дикарей, и тогда станет очевидным, что между ступенями ментальной эволюции в целом и развитием языка в частности нет очень точной связи, которую можно было бы постоянно проследить. Тем не менее существует общая связь: и поэтому именно среди низших дикарей мы встречаемся с низшими типами языковой структуры. [282] В данной связи мне придется рассматривать эти языки только в той мере, в какой они проливают свет на качество мышления, с которым они связаны, или в той мере, в какой они связаны с общими принципами, которыми мы уже занимались. И, даже будучи таким ограниченным, я постараюсь сделать свое изложение как можно более кратким.

Я начну с того, что приведу несколько цитат из наиболее компетентных источников, которые писали по этому вопросу с лингвистической точки зрения.

“Требуется лишь самая слабая сила абстракции — сила, которой обладают даже идиоты, — чтобы использовать имя в качестве знака концепции, *например*, сказать “солнце”; [283] — сказать “блеск” как описание явления, общего для всех сияющих объектов, требует больших усилий, а сказать “сиять” как выражение состояния или действия — еще больших усилий. Какими бы знакомыми ни были нам такие усилия, есть достаточно доказательств того, что они не могли быть таковыми для изобретателей языка, потому что они не являются таковыми даже сейчас для некоторых народов человечества после всех их долгих тысячелетий существования. Примеры этого факта неоднократно приводились”. [284] Так, например, у островитян Общества есть отдельные слова для собачьего хвоста, птичьего хвоста, овечьего хвоста и т. д., но нет слова для обозначения самого хвоста — *то есть* хвоста в целом. [285] У могикиан есть слова, обозначающие различные виды рубки, но нет глагола “резать”; и формы для “я люблю его”, “я люблю тебя” и т. д., но нет глагола “любить”; в то время как у чоктани есть названия для разных видов дуба, но нет слова для рода оак. [286] Опять же, у австралийцев нет слова для обозначения дерева или даже птицы, рыбы и т. д.; [287] и эскимос, хотя у него есть глаголы, обозначающие рыбу-тюленя, ловить рыбу-в ките и т. д. Нет никакого глагола “ловить рыбу”. “Эти языки, — замечает Дюпонсо, — универсальная редкость”; и он показывает, что у них даже нет глагола, означающего “я буду” или “я желаю”, хотя у них есть отдельные глагольные формы для “я хочу есть мясо”, “я хочу есть суп”; у них также нет общего существительного, означающего “удар”, хотя у них есть разновидность, которая по отдельности означает удары столькими же различными инструментами. [288] Аналогичным образом, м-р Кроуфорд сообщает нам: “малайскому языку очень не хватает абстрактных слов; и обычный ход мыслей людей, говорящих на нем, не приводит их к частому использованию даже тех немногих, которыми они владеют. С этой бедностью абстрактного соединяется избыточность конкретного”, — и он приводит множество примеров того же рода, что и приведенные выше, взятые из других языков. [289] Точно так же нам говорят, что “диалект зулусов богат существительными, обозначающими различные объекты одного и того же рода, в зависимости от некоторого разнообразия цвета, или недостатка членов, или какой-либо другой особенности”, такими как “белая корова”, “красная корова”, “коричневая корова”; [290] и в сечуане есть не менее десяти слов, все означающих “рогатый скот”. [291] В языке чероки представлены тринадцать различных глаголов для обозначения различных видов мытья, ни один из которых не указывает на само “мытьё”; [292] и Миллиган говорит, что аборигены Тасмании имели “нет слов, обозначающих абстрактные идеи; для каждой разновидности камеди, плетня и т. д. У них было название, но у них не было эквивалента для выражения “дерево”; они также не могли выражать абстрактные качества, такие как твердое, мягкое, теплое, холодное, длинное, короткое, круглое”. [293]

Наконец, чтобы привести еще один пример, доктор Латам утверждает, что курд из племени заза, который снабдил доктора Сэндвита списком местных слов, не был “способен представить себе руку или отца, за исключением того, что они были связаны с ним самим или с чем-то еще; и его представления были настолько по существу конкретными, а не абстрактными, что он сочетал местоимение с существительным всякий раз, когда ему приходилось называть часть человеческого тела или степень кровного родства”, говоря *sere-min* “моя голова” и *pie-min* “мой отец”. ."

Таким образом, как отмечает профессор Сэйс, сославшись на некоторые из вышеприведенных фактов, “мы можем быть уверены, что первобытный человек пытался представить не “идеи первостепенной важности”, а те индивидуальные объекты, которые были доступны его органам чувств”. [294] И, без дальнейшего умножения свидетельств, теперь мы можем быть готовы принять от него общее утверждение о том, что “действительно, во всем мире, где бы мы ни сталкивались с дикой расой или индивидуумом, на которого не повлияла окружающая его цивилизация, мы обнаруживаем эту примитивную неспособность отделить частное от универсального путем выделения индивидуального слова и как бы извлечения его из идеи, обычно с ним связанные”. [295] Или, по моей собственной терминологии, среди всех все еще существующих примитивных рас мы сталкиваемся с тем, что должно показаться моим оппонентам совершенно непонятной неспособностью развить концепцию из любого числа рецептов, несмотря на то, что все последние могут быть наиболее тесно связаны друг с другом и по отдельности называться столькими же денотативными знаками: даже с их аборигены Тасмании, уже имевшие бесчисленные слова для обозначения различных видов деревьев, не могли обозначить “дерево”. Конечно, у них должно было быть представление о дереве или общий образ, сформированный из бесчисленных представлений о конкретных деревьях — так что, например, житель Тасмании, несомненно, удивился бы, увидев дерево (даже если это был новый вид, для которого у него не было названия), стоящее перевернутым, с корнями в воздухе и ветвями в земле. Точно так же собака удивляется, когда впервые видит человека, идущего на руках: собака будет лаять на такой объект, потому что это противоречит общему образу, который был автоматически сформирован бесчисленными представлениями об отдельных людях, идущих на своих ногах. Но в отсутствие какого-либо названия для деревьев вообще ничто не указывает на то, что у дикаря есть понятие, соответствующее слову “дерево”, так же как у собаки нет понятия, соответствующего слову “человек”. Действительно, если мои оппоненты не откажутся от основы номинализма, на которой основана их оппозиция, они должны признать, что в отсутствие какого-либо названия для дерева не может быть никакой концепции дерева.

Вот и все, что архидьякон Фаррар назвал “безнадежной бедностью способности к абстракции” у дикарей. Их различные языки объединяются в словесном свидетельстве, чтобы заверить нас, что человеческая мысль не “движется от абстрактного к конкретному”; но, напротив, что у расы, как и у индивида, восприятие идей является предшественником концептуального обозначения, предшествующим наименованию, поскольку на еще более ранних стадиях ему предшествовала жестикуляция. Поскольку это имеет место в отношении имен, неудивительно, как мы обнаружили ранее, что низшие дикари столь необычайно несовершенны в своих формах предикации.

Таким образом, палеонтология человеческого мышления, зафиксированная в языке, неопровержимо доказывает, что происхождение и прогресс мышления у расы были психологически идентичны тому, что мы сейчас наблюдаем у индивида. Таким образом, все

стадии формирования идей, которые, как мы видели, характерны для психогенеза ребенка, открываются нам как характерные для психогенеза человечества.

Сначала был ориентировочный этап. Это доказывается двумя способами. С одной стороны, все филологи теперь согласятся с Гейгером: “Но, что говорит больше всего на свете, язык уменьшается по мере того, как мы оглядываемся назад, таким образом, что мы не можем удержаться от вывода, что когда—то его вообще не существовало”. [296] С другой стороны, даже если мы коснемся древа языка так высоко в его стволе, как корни местоимен что это за идейный сок, который вытекает из санскрита? Это, как мы уже видели, настолько сильно напоминает жест и гримасу, что даже профессор Макс Мюллер допускает, что в нем мы имеем “остатки самой ранней и почти пантомимической фазы языка, в которой язык едва ли еще был тем, что мы подразумеваем под языком, а именно *логосом*, собиранием, а только указанием”. [297]

Во-вторых, у нас есть четкие свидетельства существования слов-предложений, а также того, что я назвал денотативной фазой, или названием простых рецептов — либо только действий, либо, как мы можем с уверенностью предположить, аналогичным образом объектов и качеств; и либо произвольно, либо, что кажется практически несомненным, в основном посредством звукоподражания. Однако оба эти второстепенных момента, которые становятся еще более сомнительными из—за борьбы за существование между словами, оказавшимися благоприятными для денотативных терминов, выражающих действия, и неблагоприятными для сохранения звукоподражания, имеют для нас сравнительно небольшое значение; важным фактом является тот, который наиболее ясно подтверждается филологическими данными, а именно, что в нижних слоях этих данных содержатся ископаемые самого низкого порядка развития: “121 понятие”, по—видимому, по большей части являются обозначениями простых рецептов.

В-третьих, выше, в слоистых отложениях, мы встречаемся с неопровержимыми доказательствами коннотативного расширения этих денотативных терминов. Действительно, многие из этих терминов, вероятно, подверглись некоторому коннотативному расширению в качестве условия для того, чтобы они сохранились как корни; и, следовательно, в этих самых нижних отложениях трудно быть уверенным, что явно денотативный термин на самом деле не является термином, который прошел более ранние стадии коннотативного расширения. Если бы это было так, мы могли бы понять потерю любого звукоподражательного значения, которое это могло иметь изначально. Но, как бы то ни было, существует бесконечная масса свидетельств, подтверждающих последующий и непрерывный рост коннотативной протяженности на протяжении всего филологического периода времени.

Наконец, что касается предикативной фазы, мы видели, что филология показывает, что в расе соблюдался тот же порядок и метод, что и в ребенке. У растущего ребенка, как мы видели, предконцептуальная предикация является современной - или занимает тот же психологический уровень, что и — коннотативное расширение денотативных терминов. Действительно, сам акт коннотации сам по себе является актом предикации — если в концептуальной сфере, то концептуальной предикации (обозначения); если в доконцептуальном, то доконцептуального. Опять же, в психогенезе ребенка мы отмечали, какую важную роль играет в развитии предконцептуальной предикации простое применение коннотативных терминов — такое применение становится неизбежным в силу законов ассоциации. Если А является

коннотативным названием для A , B - коннотативным названием для B , то когда маленький ребенок видит, что A и B встречаются вместе, утверждение Ab становится неизбежным в силу “логики событий”; и это утверждение является предконцептуальным утверждением. Итак, в обоих этих отношениях филология проводит множество параллелей. Приведенные мной цитаты убедительно доказывают, что “каждое слово изначально должно было быть предложением”, или, в моей собственной терминологии, предконцептуальной пропозицией точно такого же рода, как та, которую использует маленький ребенок. Если бы на это ответили, что маленький ребенок лишен самосознания, в то время как первобытный человек не был лишен самосознания, это означало бы просто поставить под сомнение весь вопрос, которым мы занимаемся, и, более того, умолять его вопреки любой предшествующей вероятности, а также каждой действительной аналогии, к которой только можно обратиться. Если верно — а кто осмелится усомниться в этом? — что “язык уменьшается по мере того, как мы оглядываемся назад, так что мы не можем удержаться от вывода, что когда-то его вообще не существовало”, будет ли утверждаться, что человекоподобное существо, которое тогда вообще не могло общаться со своими собратьями с помощью каких-либо слов, было одарено самосознанием? Если бы я отважился на столь абсурдное утверждение, оно было бы фатальным для аргументации моих противников; ибо это утверждение подразумевало бы либо то, что концепции могут существовать без имен, либо то, что самосознание может существовать без концепций. Истина заключается в том, что филология необычайно полным образом доказала происхождение и постепенное развитие во времени сначала доконцептуальной коммуникации, а затем самосознания, которое послужило основой концептуальной предикации. Поэтому неудивительно, что, как несколько наивно замечает профессор Макс Мюллер, “можно сказать, что первый шаг в образовании имен и концепций очень несовершенен. Так оно и есть.” По-настоящему“ называть акт переноски корнем, образованным от звуков, сопровождающих акт переноски тяжелого груза, - это гораздо более примитивный акт, чем фиксировать признак именем, “концептуально применяемым”. Номинация такого рода действительно настолько примитивна, что я бросаю вызов кому бы то ни было показать, чем она психологически отличается от того, что я назвал обозначением маленького ребенка или даже говорящей птицы.

И, сведя обсуждение к этому вопросу в той мере, в какой это касается результатов филологии, я могу уместно завершить его кратким указанием на принципиальный момент, который, по-видимому, расходится во мнениях с мнением только что упомянутого выдающегося филолога - если не также и с мнением большинства моих оппонентов-психологов. Вкратце, суть в том, что, с другой стороны, делается необоснованное предположение, а именно, что концептуальное мышление является предварительным условием, *sine qua non*, для любого и каждого акта присвоения имени; и, тем более, для любого и каждого акта предикации. Это фундаментальное предположение, которое, будь то открыто выраженное или скрыто подразумеваемое, служит основой всей надстройки аргументации моих оппонентов. Теперь я утверждаю, что показал с помощью полного индуктивного доказательства, что это предположение не только необоснованно в теории, но и ложно фактически. Есть имена и названий. Не каждое даруемое имя отражает концептуальную мысль того, кто его дает. Подобно тому, как на примере говорящей птицы, маленького ребенка и древнего человека (насколько он оставил какие-либо следы своей психологии в структуре языка), я продемонстрировал, что до стадии обозначения существуют стадии указания, денотации и рецептивной коннотации. Это психологические ступеньки через тот “Рубикон Разума”, который из-за пренебрежения ими казался непреодолимым. Концепция (и, тем более, Предложение) не является структурой мышления,

которая представляется нам без истории развития. Хотя все мои оппоненты единодушно предполагали, что “простейший элемент мышления” не мог иметь такой истории, это предположение, как я уже сказал, прямо противоречит наблюдаемым фактам. Если бы дело обстояло иначе — если бы концепция действительно была без отца и без матери, без начала дней или конца жизни, — тогда действительно можно было бы привести доводы в пользу рассмотрения ее как сущности *sui generis*, лишенной родственных связей среди всех других способностей разума. Но, как мы теперь убедились, такого уникального исключения из единообразного процесса эволюции здесь быть не может: фазы развития, которые постепенно привели к концептуальному мышлению, можно проследить так же четко, как и те, которые привели к любому другому продукту, будь то жизнь или разум.

Итак, на этом я завершаю этот краткий и несовершенный перевод “Свидетельства филологии”. Но, каким бы кратким и несовершенным ни было изложение, я, честно говоря, не могу понять, как возможно, чтобы сам свидетель мог быть более единообразным в своих показаниях или более разнообразным в своих фактах - более последовательным, более полным или более ошеломляющим, чем мы нашли. Почти во всех отношениях это подтвердило результаты нашего психологического анализа. Оно появилось как живое существо, которое самым голосом Языка прямо и обстоятельно повествует нам действительную историю процесса, составляющие фазы которого мы ранее предположили. Она рассказала нам о времени, когда человечество еще было совершенно безмолвным и могло общаться друг с другом только с помощью жестикуляции и гримас. Он описал нам первые членораздельные звуки в форме предложений-слов, не имеющих значения, кроме указаний, которыми они сопровождались. Она выявила постепенную дифференциацию такой протоплазматической формы языка на “части речи” и заявила, что эти грамматические структуры изначально были порождением жестовых знаков. В частности, было показано, что на самых ранних стадиях членораздельного высказывания местоименные элементы и даже предикативные слова использовались в безличной манере, которая присуща доселе неразвитой форме самосознания — первобытный человек, подобно маленькому ребенку, поэтому говорил о своей собственной личности в объективной терминологии. Это научило нас находить в теле каждого концептуального термина предконцептуальное ядро; так что, как говорит образованный и вдумчивый Гарнетт, “*ничто в ораторском искусстве не имеет первостепенного значения в смысле*, теперь может рассматриваться как неопровержимая аксиома”. [298] В ней подробно описан весь тот удивительный последующий рост членораздельного высказывания по многим линиям расходящейся эволюции, благодаря которому все народы земли теперь обладают, в той или иной степени, богоподобными атрибутами разума и речи. Воистину, как говорит архидьякон Фаррар, “для легкомысленных и невежественных людей насколько нелепа очевидная неадекватность происхождения для получения такого результата”. [299] Но здесь, как и везде, метод эволюции сводит на нет все могущественное с помощью того, что не имеет репутации; и когда мы чувствуем желание похвалиться тем, что мы одни можем претендовать на Логос, не лучше ли нам остановиться и вспомнить, в чем возникла эта наша высокая привилегия? “*So hat auch keine Sprache ein abstractum, zu dem sie nicht durch Ton und Gefühl gelangt wäre.*” [300] На мой взгляд, просто немыслимо, чтобы можно было представить какое-либо более веское доказательство ментальной эволюции, чем то, что представлено в этом одном великом факте всем многообразием тысяч диалектов самого разного образца, которые сейчас распространены по поверхности земного шара. Мы не можем говорить друг с другом ни на одном языке, не объявив о предконцептуальном происхождении нашей речи; мы не можем

даже обсуждать само “происхождение человеческих способностей”, не объявив в самой среде нашего обсуждения, каким было это происхождение. Именно к Языку апеллировали мои оппоненты: с помощью Языка они безнадежно осуждены.

ГЛАВА XVI.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД В ГОНКЕ.

От меня, несомненно, ожидают, что в этот момент я сделаю несколько замечаний о вероятном способе перехода от животного к человеку. После столь полного рассмотрения как психологии, так и филологии формирования идей, можно подумать, что теперь я в состоянии указать на то, что, как я полагаю, было фактическими ступенями, по которым разумный вид обезьян, как можно предположить, пересек “Рубикон разума”. Но, если от меня ожидают, что я это сделаю, я мог бы разумно отказаться по двум причинам.

Во-первых, попытка, даже если бы она могла быть успешной, была бы излишней. Единственное возражение, с которым мне пришлось столкнуться, - это возражение, основанное на психологии. С этим возражением я столкнулся, и столкнулся на его собственных основаниях. Если я добился успеха, для целей аргументации больше нечего сказать. Если я не добился успеха, очевидно, что невозможно укрепить мою позицию, выйдя за рамки известных фактов разума, поскольку они действительно существуют до нас, к каким-либо гипотетическим возможностям разума в смутные эпохи неучтенного прошлого.

Во-вторых, любые замечания, которые я могу предложить по этому вопросу, обязательно должны носить полностью спекулятивный или непроверяемый характер. С таким же успехом историк мог бы тратить свое время на то, чтобы предлагать гипотетические истории событий, которые, как известно, происходили в доисторическую эпоху: его доказательства того, что такие-то события должны были произойти, могут быть убедительными, и все же он может пребывать в полном неведении относительно точных условий, которые привели к ним, времени, которое они заняли, и конкретного метода их возникновения. В таких случаях часто бывает так, что чем более уверен историк в том, что то-то и то-то событие действительно имело место, тем большим количеством способов он считает, что оно могло иметь место. Просто для того, чтобы показать, что это аналогично обстоит и в рассматриваемом нами вопросе, я посвящу настоящую главу рассмотрению трех альтернативных — и в равной степени гипотетических — историй переходного периода. Но из того, что только что было сказано, я надеюсь, будет понятно, что я не придаю никакого аргументационного значения ни одной из этих гипотез.

Различные немецкие филологи пытались показать, что речь возникла из совершенно бессмысленных звуков, которые в первом случае были обусловлены чисто физиологическими условиями. По их мнению, чисто рефлекторных механизмов, связанных с вокализацией, было бы достаточно, чтобы вызвать не только многочисленные различия в тоне при различных состояниях страдания, удовольствия, усилия и т. Д., Но даже зародыш артикуляции при бессмысленном произнесении гласных звуков и согласных. Thus, for example, Lazarus says:—

“Der Process der eigenthümlich menschlichen Laut-Erzeugung, die Articulation der Tone, die Hervorbringung von Vocalen und Consonanten, ist demnach auf rein physiologischem Boden gegeben—in der urprünglichen Natur des menschlichen physischen bewegten Organismus begründet, und wird vor aller Willkür und Absicht also ohne Einwirkung des Geistes obwohl auf Veranlassung von Gefühlen und Empfindungen vollzogen.” [301]

Следует отметить, что это является максимально возможным расширением междометной теории происхождения речи. Это предполагает, что не только нечленораздельные, но и членораздельные звуки издавались “sprachlosen Urmenschen” в виде инстинктивных криков, полностью лишенных какого-либо семиотического намерения. Однако предполагается, что в результате повторяющихся ассоциаций они как бы автоматически приобрели семиотическую ценность. For, to quote Professor Friedrich Müller, “Sie sind zwar Anfangs bedeutungslos: sie können aber bedeutungsvoll werden. Alles, was in unserem Inneren vorgeht, wird von der Seele wahrgenommen. Sobald durch gewisse äussere Einflüsse in Folge einer Combination mehrerer Empfindungen eine Anschauung entsteht, nimmt die Seele dieselbe an, Diese Anschauung hat—in Folge der durch eine der Empfindungen hervorgebrachten Reflexbewegung in den Stimmorganen—einen Laut zum Begleiter, welcher in gleicher Weise wie die Anschauung von der Seele wahrgenommen wird, diese beiden Wahrnehmungen, nämlich jene der Anschauung und jene des Lautes, *verbinden* sich miteinander vermöge ihrer *Gleichzeitigkeit* im menschlichen Bewusstsein, es findet also eine *Association* der Laut-Anschauung mit jener der *Sach*-Anschauung statt, die Elemente der Sach-Anschauung bekommen an der Laute-Anschauung einen *festen* Mittelpunkt, durch den die *Anschauung* zur *Vorstellung* sich entwickelt. Wir sind damit bei der menschlichen Sprache angelangt, welche also ihrem Wesen nach auf der *Substituierung* eines *Klang*-oder *Ton*bildes für das Bild einer Anschauung beruht.” [302]

Теперь, нисколько не сомневаясь в важной роли, которую первоначально бессмысленные звуки могли сыграть в предоставлении материала для создания звуковых знаков, и еще меньше оспаривая ассоциативный фактор в этом вопросе, я должен, тем не менее, отказаться принять вышеприведенную гипотезу как нечто похожее на полное объяснение происхождения речи. Ибо это явно игнорирует всю проблему, которая требует решения, а именно, происхождение тех способностей к идейному мышлению, которые впервые наделили смыслом ранее незначительные звуки. Почти все теплокровные животные до сих пор разделяют с человечеством ту же физиологическую природу, что и люди, издающие разнообразные вокальные звуки в столь же разнообразных психических состояниях. Следовательно, если в соответствии с приведенной выше гипотезой мы рассматриваем все подобные звуки как бессмысленные (или возникающие на “чисто физиологической основе” рефлекторных движений), то, очевидно, возникает вопрос, почему у низших животных не развилась речь? Согласно вышеупомянутой доктрине, первобытный и до сих пор лишенный речи человек изначально не имел никакого превосходства в отношении способности создавать знаки и до сих пор в точности напоминал то, что принято считать современным психологическим состоянием низших животных. [303] Почему же тогда при одних и тех же исходных условиях возникла такая огромная разница в результате? Если в случае с человечеством ассоциации бессмысленных звуков с определенными состояниями, объектами и т. Д. Привели к замене первых последними и, таким образом, придали им значение имен, то как мы можем объяснить полное отсутствие какого-либо подобного развития у животных? Мне кажется, что на этот вопрос явно нет ответа; и поэтому я не удивляюсь, что так называемая междометная теория происхождения речи дискредитировала всю философию предмета. Но, как это часто бывает в

философских трудах, здесь мы имеем случай, когда важная истина искажается несовершенным или ошибочным изложением. Все принципы, изложенные в вышеприведенной гипотезе, здравы сами по себе, но посылка, из которой они исходят, неверна. Эта предпосылка состоит в том, что у аборигена не было зачатков способности создавать знаки - что сама эта способность должна была возникнуть *de novo* в результате случайных ассоциаций звуков с вещами. Но, как мы теперь хорошо знаем из всех приведенных ранее фактов, даже низшие животные демонстрируют способность к созданию знаков на не средней степени развития; и, следовательно, совершенно очевидно, что “Urmenschen” в то время, когда они были “sprachlos”, не были по этой причине *zeichenlos*. Психологический зародыш общения, который, вероятно, не мог быть создан просто случайными ассоциациями между звуками и предметами, уже должен был быть заложен в тех психологических условиях восприятия идей, которые являются общими для всех разумных животных.

Но для этого важнейшего зародыша, данного таким образом, я не сомневаюсь, что почва для таких ассоциаций, какую имеет в виду теория междометий, должна была иметь немалое значение; поскольку это, естественно, помогло бы питать его семиотическую природу. И причину, по которой подобный зародыш создания знаков, возникающий в грубом творении, не был взращен подобным же образом, я уже рассматривал в главе VIII. Ибо, излишне добавлять, я по всем пунктам не согласен с приведенными выше цитатами, где они представляют членораздельные звуки как исконные, произносимые “урменшенами” в виде инстинктивных криков, без каких-либо следов семиотического намерения. [304]

Теперь я перейду к рассмотрению двух других гипотез; и в качестве введения к обеим мы должны помнить, что наши материалы по изучению приматов очень ограничены. Я имею в виду не только то, что ни один представитель какой-либо из человекообразных обезьян никогда не становился объектом хотя бы такого пристального наблюдения в отношении его интеллекта, какому я уделю себису. И все же это, без сомнения, важный момент, потому что мы знаем, что из всех четвероруких — и, следовательно, из всех существующих животных — человекообразные обезьяны являются самыми умными, и, следовательно, при специальной дрессировке, вероятно, проявили бы большие способности в вопросе создания знаков, чем можно встретить у любого другого вида животных. Но я не настаиваю на этом. То, что я сейчас имею в виду, - это тот факт, что существующие виды человекообразных обезьян очень малочисленны и, по-видимому, все они находятся на пути к вымиранию. Более того, несомненно, что ни один из этих существующих видов не мог быть прародителем человека; и, наконец, столь же несомненно, что вымерший вид (или род), который действительно дал начало человеку, должен был отличаться в нескольких важных отношениях от любого из своих существующих союзников. Во-первых, он, должно быть, был более общительным по повадкам; и, во-вторых, он, вероятно, был более крикливым, чем орангутанг, горилла или шимпанзе. То, что ни в одном из этих предположений нет ничего невероятного, станет сразу очевидным, если мы вспомним, что оба они в достаточной степени подтверждаются аналогиями между существующими и родственными видами обезьяньего племени. Или сформулируем эти предварительные соображения в обратной форме, когда предполагается, [305] что, поскольку несколько существующих и исчезающих видов человекообразных обезьян асоциальны и сравнительно молчаливы, следовательно, обезьяноподобные предки человека должны были быть такими, достаточно указать на изменчивость обоих этих привычек среди определенных родственных родов обезьян и павианов, чтобы в то же время избавиться от предположение и

указать вероятные причины, по которым один род обезьян постепенно эволюционировал в *Номо*, в то время как все родственные роды вымерли или все еще вымирают.

Опять же, и все же в порядке предварительного рассмотрения, мы должны помнить, что аналогия с растущим ребенком, хотя и наиболее ценная до определенного момента, не должна безоговорочно применяться там, где нам приходится иметь дело с генезисом речи. Ибо, как отмечалось ранее, до младенчества индивидуума язык давался извне, и его нужно было только выучить; в то время как до младенчества расы язык не давался, а должен был быть создан. Следовательно, даже если отвлечься от любого вопроса о наследственности, мы имеем здесь огромную разницу в психологических условиях между случаем растущего ребенка и случаем аборигена. Только в той мере, в какой растущий ребенок проявляет тенденцию, на которой я останавливался, к спонтанному расширению значения денотативных слов или к спонтанному использованию таких слов в приложении с целью предконцептуальной предикации, - только в этой степени мы можем надеяться найти какую—либо истинную аналогию между индивидом и расой в отношении того “перехода” от рецептивного к концептуальному формированию идей, которым мы сейчас занимаемся. [306]

Есть еще одно предварительное соображение, о котором, я думаю, стоит упомянуть. Изучение языка привело филолога Гейгера к тому, что он развил и несколько изощренно поддержал следующую доктрину. Во-первых, он указывает на то, что человек гораздо больше, чем любое другое животное, использует зрение для целей перцептивной жизни. Под этим он не имеет в виду, что человек обладает более острым зрением, чем любое другое животное, но просто из всех его особых чувств зрение чаще всего используется для познания внешнего мира. И это, я думаю, безусловно, следует признать. Можно видеть, что даже младенец, до сих пор лишенный дара речи, наблюдает за предметами на больших расстояниях, тщательно исследует предметы, которые он держит в руках, и вообще использует свои глаза гораздо эффективнее, чем любое из низших животных на сопоставимой стадии развития. Теперь, исходя из этого относительного превосходства чувства зрения у человека, Гейгер утверждает, что до возникновения членораздельной речи он, должно быть, больше, чем любое другое животное, был приучен общаться со своими собратьями с помощью знаков, которые апеллировали к этому чувству — т.е. посредством жестов и гримас. Но, если это допустить, то из этого следует, что с того времени, когда определенный вид отряда приматов начал использовать свое зрение больше, чем родственные виды, были созданы условия, благоприятные для последующего и постепенного развития жестикулирующей формы обезьяноподобного существа. Здесь гримаса также сыграла бы важную роль, и там, где внимание было особенно направлено на движения рта в семиотических целях, членораздельные звуки начали бы приобретать более или менее условные значения. Таким образом, Гейгер предполагает, что были заложены условия, необходимые для возникновения членораздельных знаков; и, принимая во внимание все, что он говорит, это, безусловно, наводит на мысль, что животное, которое больше всего полагается на чувство зрения, также является тем животным, которое добилось столь поразительного прогресса в способности создавать знаки. Следовательно, в этой большей зависимости от чувства зрения мы, вероятно, имеем дело с еще одним из многих и сложных условий, определивших различие в создании знаков между отдаленными предками человека и их ближайшими зоологическими союзниками - различие, которое, естественно, становилось все более и более выраженным по мере того, как зрение и жестикуляция действовали друг на друга.

Мне кажется, что это предположение Гейгера подтверждается определенными фактами, которые, как известно, были получены в случае глухонемых. Даже будучи совершенно необразованным, рожденный немой, как мы видели ранее, обычно изобретает членораздельные звуки в качестве собственных названий вещей. Эти звуки, конечно, не слышны самому немому, и их использование должно быть приписано — как я уже приписывал это — наследственной передаче приобретенной склонности. Но суть сейчас заключается в том, что, хотя большинство из них членораздельные звуки появляются, чтобы быть полностью произвольным (например, *га*, для “одного” *schuppatter* на “два”, - *riescke* на “Я не буду”), в определенной пропорции часто четко прослеживается в вокализации, связанные с движениями рта в выполнении действий оное (например *Мумм* на “еда”, *Шипп* для “питья”). [307] Аналогично, наблюдение за пастью собаки во время лая приводит к подражательному действию со стороны немого в качестве его знака для собаки, а это, в свою очередь, может привести к произнесению такого членораздельного звука, как *будь собой*, который немой впоследствии использует в качестве клички для собаки. [308] Теперь, если таким образом слова могут быть придуманы даже глухонемыми в результате наблюдения за движениями рта, гораздо более вероятно, что это имело место среди “урменшен”, которые были способны не только видеть движения, но и слышать звуки.

Теперь я приведу две гипотезы, упомянутые выше как возможные предположения, касающиеся способа перехода. Во-первых, давайте попробуем представить человекообразную обезьяну, социальную по повадкам, использующую свой голос в качестве органа для выработки знаков довольно широко, подобно всем другим видам социальных четвероруких, и, возможно, несколько более проницательную, чем орангутанг, упомянутый в моей предыдущей работе, [309] или замечательный шимпанзе, который сейчас находится в Зоологических садах, который в отношении интеллекта наряду со сравнительной безволосостью и склонностью к плотоядности, по-видимому, является наиболее человекоподобным из животных, обнаруженных до сих пор в живом состоянии. [310] Далее, мне не кажется трудным представить, что такое животное могло распространить голосовые знаки, которые оно обычно использует для выражения своих эмоций и логики своих рецепций, на ассоциацию со знаками жестов, чтобы составить слова-предложения, указывающие на такие простые и часто повторяющиеся идеи, как присутствие опасности, обнаружение пищи и т.д. Более того, я не думаю, что будет преувеличением предположить, что такое животное могло даже зайти так далеко, что издавало звуки, обозначающие несколько наиболее знакомых объектов, таких как еда, ребенок, враг и т.д. и т.д., а также, возможно, часто повторяющихся форм активности; ибо это, как я довольно подробно показал, не более того, что мы на самом деле наблюдаем у животных, стоящих ниже по шкале интеллекта; и хотя это не осуществляется членораздельными знаками (за исключением психологически плохого примера говорящих птиц), это, как я также показал, не имеет никакого психологического значения. Была ли денотативная стадия языка у обезьяны впервые достигнута с помощью артикуляции или (что, на мой взгляд, гораздо более вероятно) с помощью вокальных звуков других видов, сопровождаемых жестами и гримасами, также несущественно. В любом случае прогресс интеллекта, который был бы обеспечен таким образом, со временем отразился бы на способности к созданию знаков и, таким образом, привел бы к расширению словарного запаса как в отношении звуков, так и жестов. Рано или поздно речевые сигналы, которым помогают жесты и которые всегда ведут к постепенному развитию интеллекта, стали бы более или менее общепринятыми и, таким образом, при наличии подходящих анатомических и социальных условий стали бы членораздельными. Пока

я не вижу ничего, о чем можно было бы споткнуться, если вспомнить все, что было сказано об условных знаках, которыми пользуются наиболее разумные из наших домашних животных и даже говорящие птицы. [311]

Это гипотеза, которую поддерживает мистер Дарвин в своем *Происхождении человека*. Он говорит: “Я не сомневаюсь, что язык обязан своим происхождением имитации и модификации различных звуков природы, голосов других животных и собственных инстинктивных криков человека, которым помогают знаки и жесты.... Поскольку обезьяны, безусловно, понимают многое из того, что им говорит человек, и, будучи дикими, издают сигнальные крики об опасности для своих собратьев; и поскольку птицы четко предупреждают об опасности на земле или в небе со стороны ястребов (оба крика, а также третий крик, понятный собакам), [312] не могло ли какое-нибудь необычайно мудрое обезьяноподобное животное подражать крику птиц, рычанию хищного зверя, и таким образом сообщил своим собратьям-обезьянам природу ожидаемой опасности? Это было бы первым шагом в формировании языка”. [313]

Но мистер Дарвин добавляет еще одну особенность к рассматриваемой сейчас гипотезе, а именно:—

Когда мы рассмотрим половой отбор, мы увидим, что первобытный человек или, скорее, какой-то ранний предок человека, вероятно, впервые использовал свой голос для создания настоящих музыкальных ритмов, то есть для пения, как это делают некоторые из гиббонообразных в наши дни; и мы можем заключить, исходя из широко распространенной аналогии, что эта способность особенно проявлялась во время ухаживания полов, выражала различные эмоции, такие как любовь, ревность, триумф, и служила вызовом соперникам. Следовательно, вполне вероятно, что имитация музыкальных возгласов членораздельными звуками могла породить слова, выражающие различные сложные эмоциональные состояния”. [314]

Таким образом, таков один из способов, с помощью которого мне кажется вполне возможным, что способность к членораздельному созданию знаков могла бы сделать первый шаг к формированию речи. Но, не заходя дальше этого первого шага, я вижу другую возможность относительно точного метода достижения, и ту, которая, на мой взгляд, еще более вероятна. Некоторые авторитеты в области антропологии придерживаются мнения, что речь, вероятно, появилась сравнительно поздно; так что наши предки, у которых она впервые появилась, уже были скорее людьми, чем обезьянами, и как таковые заслуживают названия *Homo alalus*. [315] Теперь, если бы это было так, то ход нашей гипотетической истории было бы даже легче представить, чем при ранее рассмотренном предположении. Ибо, согласно настоящему предположению, мы начинаем с существа, уже похожего на человека, с прямой осанкой, гораздо более разумного, чем любое другое животное, формирующего кремни для использования в качестве инструментов и оружия, живущего племенами или обществами и способного в немалой степени передавать логику своих рецептов посредством жестов, мимики и интонации голоса. Очевидно, что исходя из такого происхождения, последующую эволюцию создания знаков в направлении членораздельных звуков было бы еще легче представить, чем в соответствии с предыдущей гипотезой. Ибо давайте попробуем представить сообщество *Homo alalus*, значительно более разумных, чем существующие человекообразные обезьяны, хотя все еще значительно ниже интеллектуального уровня существующих дикарей. Несомненно, что в

таком сообществе естественные признаки голоса, жестов и гримас были бы в большей или меньшей степени в моде. [316] По мере увеличения их численности (и, следовательно, по мере того, как естественный отбор все больше отдавал предпочтение разумному сотрудничеству, как в случае общественных насекомых), [317] такие признаки потребовалось бы становиться все более и более конвенциональным или приобретать все более и более характер предложений-слов и денотативных знаков. [318] Теперь, когда знаки были голосовыми, единственными способами, которыми они могли быть разработаны для удовлетворения этой потребности, были бы (1) обычные модуляции интенсивности, (2) высоты тона и (3) временных интервалов. Но очевидно, что ни модуляции интенсивности, ни высоты тона не могут привести к значительному улучшению, поскольку человеческий голос не допускает ни того, ни другого в большом диапазоне. Следовательно, если вообще должно было быть произведено какое-либо улучшение - а оно должно было быть произведено, по возможности, естественным отбором, — то это могло произойти только в направлении модуляции временных интервалов между голосовыми звуками. Теперь, такая модуляция временных интервалов является началом *артикуляции*.

Иными словами, первая артикуляция, вероятно, состояла не в чем ином, как в семиотическом изменении вокальных тонов, напоминаям то, что до сих пор встречается в так называемой “болтовне” обезьян — естественном языке для выражения их ментальных состояний. Большая разница заключалась бы в том, что семиотическая ценность такой зарождающейся артикуляции должна была быть в большей степени интеллектуальной или менее чисто эмоциональной: она должна была иметь меньшую природу криков и большую природу имен. Представляется вероятным, что, поскольку все естественные крики издаются горлом и гортанью, практически без помощи языка и губ, эти первые усилия по артикуляции были бы в основном ограничены гласными звуками, редко дополняемыми гортанными и губными согласными. Такое положение вещей могло бы продолжаться в течение огромного периода времени, в течение которого, возможно, начали бы употребляться жидкие и, наконец, языковые согласные. Именно в таком порядке мы могли бы ожидать появления согласных, принимая во внимание тот факт, что гортанные и губные, вероятно, позволили бы почти безмолвному *Ното*. [319] С этого момента дальнейшее развитие артикуляции будет только вопросом времени и умственного роста; но я думаю, весьма вероятно, что начальные стадии, описанные таким образом, вероятно, заняли промежуток времени, несоизмеримый с тем, который впоследствии потребовался для более высокого развития.

Более того, в этой связи мы не должны упускать из виду “щелчки” африканских бушменов и готтентотов, которые, по-видимому, предоставляют нам прямое свидетельство выживания среди этих низших рас изначально нечленораздельной системы создания знаков. [320] Никто не изучал языки этих народов с таким трудом и с таким результатом, как философски настроенный доктор Блик, и он говорит, что щелчки, которые встречаются в подавляющем большинстве их слов, “должны стать объектом особого внимания, если мы хотим получить хотя бы приблизительное представление об исходных звуковых элементах, из которых произошел человеческий язык”. [321]

Щелчков, о которых идет речь, всего четыре, или, по словам Блика, “по меньшей мере шесть”. Они называются зубными, небными, мозговыми и латеральными. Боковой щелчок такой же, как у наших конюхов, когда они подгоняют лошадь. Зубной щелчок также используется европейскими племенами как звук, выражающий разочарование, невыразимое презрение и т.

Д. В книгах обычно пишется “тут, тут”, что показывает, насколько безнадежны любые попытки перевести щелчок в какой-либо членораздельный эквивалент. Два других щелчка образуются языком, воздействующим на небо. Некоторое представление о трудности перевода языка такого рода в какую-либо алфавитную форму можно получить, попытавшись произнести одно из слов, которые напечатаны на них в наших европейских трактатах. Например, готтентотское слово, обозначающее “луну”, печатается ||*кхал*, где || обозначает боковой щелчок, *кх* для гортанного согласного и носового звона.

В связи с этим нечленораздельным способом создания знаков, который, таким образом, в значительной степени преобладает среди языков низших рас в тесной органической связи с членораздельными, представляется целесообразным записать следующее наблюдение, сообщенное профессором Геккелем доктору Блику и опубликованное последним в его уже цитированной работе:

“Язык обезьян до сих пор не привлекал к себе со стороны зоологов того внимания, которого он заслуживает, и нет точных описаний издаваемых ими звуков. Иногда их называют “воем”, иногда “криками”, “щелчками”, “ревом” и т. Д. Я сам часто слышал в зоологических садах от обезьян самых разных видов замечательные щелкающие звуки, которые издаются губами, а также, хотя и не так часто, языком; но я нигде не смог найти о них никаких сведений”.

Таким образом, в целом мне кажется чрезвычайно вероятным, что в этих щелчках мы имеем пережитки в низкоразвитых языках некогда нечленораздельного состояния человечества; или, как замечает профессор Сэйс с филологической точки зрения, “щелчки бушменов все еще сохранились, чтобы показать нам, как высказывания безмолвного человека могли воплощать и передавать мысль”. [322]

В своих основных чертах гипотетический набросок, который я дал, следует тому, что мистер Дарвин нарисовал в своем “*Происхождении человека*”. Однако, как мы уже видели, существует одно важное различие. Мистер Дарвин придерживается только второй из трех представленных здесь альтернативных гипотез, или гипотезы, которая предполагает, что зачатки членораздельной речи зародились у “обезьяноподобных”, или “ранних прародителей” человека. Похоже, он не разделял идею *очеловеке алальном* как связующем звене между этими ранними прародителями и *человеком разумным*. Поэтому я могу здесь кратко изложить причины, по которым я считаю вероятным, что это связующее звено действительно существовало.

Прежде всего, следует отметить, что между двумя рассматриваемыми гипотезами нет антагонизма — на самом деле последняя является лишь продолжением первой. Ибо последнее принимает все взгляды мистера Дарвина относительно важности инстинктивных криков, сигналов опасности и т. Д. Для Более высокого развития выработки знаков у того “обезьяноподобного животного”, которое было жестоким прародителем *Homo alalus*. [323] Более того, наша гипотеза имеет право предположить, как и гипотеза мистера Дарвина, что эта человекообразная обезьяна предположительно была не только более разумной, чем любой из немногих сохранившихся видов, но и гораздо более социальной. И на этом важном моменте следует настаивать, потому что очевидно, что условия социальной жизни также являются первичными условиями для любого значительного развития способности к созданию знаков, как это происходит у существующих обезьян. Следовательно, единственное, в чем различаются эти две гипотезы, заключается в том, что одна предполагает, что способность к

членораздельному созданию знаков была гораздо более поздним продуктом эволюции, чем это принято считать другой. Иными словами, в то время как гипотеза м—ра Дарвина рассматривает начало артикуляции как необходимое условие для любого значительного прогресса в развитии восприимчивого интеллекта наших жестоких предков, настоящая гипотеза считает более вероятным, что этот восприимчивый интеллект был в значительной степени развит жестовыми и голосовыми знаками, прежде чем можно сказать, что последние стали правильно артикулировать - в результате появилось существо, скорее более человеческое, чем “обезьяноподобное”, которое, тем не менее, все еще было способно общаться со своими собратьями только с помощью жестовых знаков и тембров голоса.

Мои причины считать эту гипотезу более вероятной, чем другие, таковы.

Прежде всего, исходя из соображений психологии, я не вижу причин сомневаться в том, что рецептивный интеллект уже разумного и высокосоциального вида человекообразных обезьян позволил бы значительно продвинуться по сравнению с любым существующим видом без помощи артикуляции — социальных привычек, определяющих все различия в развитии выработки знаков с последующей реакцией на умственное развитие. Далее, на этих ранних стадиях развития я не вижу, чтобы создание четких знаков дало бы какое-либо значительное преимущество перед дальнейшим развитием более естественных систем. Ибо до тех пор, пока единственное требуемое сотрудничество касалось сравнительно простых действий, язык интонации и жестов был бы достаточно развит, чтобы соответствовать всем требованиям. Наконец, если мы возьмем растущего ребенка как показатель психогенеза расы, не может быть никаких сомнений в том, что он указывает на сравнительно позднее возникновение способности к артикуляции. Вспоминая общую тенденцию онтогенеза укорачивать историю филогенеза, я думаю, наиболее наводящим на размышления является тот факт, что — несмотря на его готовность к подражанию и несмотря на то, что он окружен разговорной речью — младенец начинает использовать членораздельные знаки лишь спустя долгое время после того, как он смог выразить многие из своих воспринимаемых идей на языке тона и жестов. Следует помнить, что я уже подчеркивал поразительную степень развития, которой подвергается эта форма речи у детей, которые поздно начинают говорить (см. стр. 220). И хотя вряд ли было бы оправданно рассматривать эти случаи как возможные представители семиотического языка *Homo alalus* (учитывая, что современный ребенок наследует головной мозг *Homo sapiens*), все же я думаю, что не менее определенно, что мы ошиблись бы с противоположной стороны, если бы взяли случай ребенка, не по годам развитого в вопросах речи, как справедливый показатель уровня умственной эволюции в то время, когда артикуляция впервые зародилась у расы (учитывая, что история человечества последнее, вероятно, укорочено по сравнению с первым). Тем не менее, даже если бы мы сделали это ради аргументации, результат все равно убедительно показал бы, что задолго до того, как наши отдаленные предки научились использовать членораздельную речь, они неизмеримо опередили всех существующих животных в семиотическом использовании тона и жестов. Ибо даже не по годам развитый ребенок не начинает сколь-нибудь широко использовать слова в качестве знаков, пока ему не исполнится второй год, в то время как обычно эта стадия достигается только на третьем. И в каком бы возрасте он ни был достигнут, общий интеллект ребенка не только намного превосходит интеллект любого существующего животного, но и направление, в котором это продвижение наиболее заметно, является как раз тем направлением, в котором в данной связи оно наиболее наводит на размышления, а именно — в области естественного формирования знаков тоном и жестикуляцией.

Итак, принимая во внимание эти несколько соображений, я склонен думать, что прогресс умственной эволюции от животного к человеку, скорее всего, проходил через несколько таких этапов, как следующие.

Отталкиваясь от высокоинтеллектуального и социального вида человекообразных обезьян, изображенного Дарвином, мы можем представить, что это животное привыкло свободно использовать свой голос для выражения эмоций, подачи сигналов опасности и пения. [324] Возможно, также, что оно могло быть достаточно разумным, чтобы произвольно использовать несколько имитационных звуков, которые предлагает г-н Дарвин; и, конечно, рано или поздно рецептивная жизнь этого общественного животного должна была продвинуться достаточно далеко, чтобы стать сравнимой с жизнью младенца примерно в двухлетнем возрасте. Иными словами, это животное, хотя еще и не начало использовать членораздельные знаки, должно было, достаточно далеко продвинувшись в общепринятом использовании естественных знаков (или знаков естественного происхождения в тоне и жестике), чтобы допустить достаточно свободный обмен воспринимаемыми идеями, например, относящийся к потребностям животных, и даже, возможно, к простейшим формам совместного действия. [325] Далее, я считаю вероятным, что развитие восприимчивого интеллекта, которое было бы вызвано этим прогрессом в создании знаков, в свою очередь привело бы к дальнейшему развитию последнего — таким образом, эти два фактора действовали и отражались друг на друге, пока язык тона и жестов постепенно не поднялся до уровня несовершенной пантомимы, как у детей перед тем, как они начинают использовать слова. Однако на этом этапе или даже раньше я думаю, что, весьма вероятно, в языке тонов использовались гласные звуки, если не некоторые согласные. И я думаю, что это не только из-за аналогии с младенцем, о которой уже упоминалось, но и потому, что в случае с “поющим” животным, достаточно разумным, чтобы постоянно использовать свой голос в семиотических целях, и, следовательно, использующим множество более или менее общепринятых тонов, включая щелчки, кажется почти необходимым, чтобы некоторые гласные звуки — и, возможно, также некоторые согласные — были введены в обиход. Но, как бы то ни было, в конечном счете действие и реакция восприимчивого интеллекта и конвенционального жестообразования должны были закончиться развитием первого настолько, чтобы допустить дробление (или артикуляцию) вокальных звуков как единственное направление, в котором было возможно любое дальнейшее совершенствование голосового жестообразования. Я не считаю невероятным, что этому важному этапу в развитии речи во многом способствовала уже существовавшая привычка произносить музыкальные ноты, предполагая, что наши прародители в этом отношении напоминали гиббонов или шимпанзе. Но еще долгое время после этого первого грубого зарождения членораздельной речи язык интонации и жестов оставался бы важнейшим механизмом общения: получеловеческое существо, предстающее сейчас перед нашим воображением, вероятно, поразило бы нас как замечательный мастер издавать значимые звуки и движения как по количеству, так и по разнообразию; но, по всей вероятности, мы едва ли были бы способны заметить уже развивающийся зародыш артикуляции. Я также не верю, что, если бы мы смогли снова обратиться к истории тысячи лет спустя, мы обнаружили бы, что пантомима была вытеснена речью. Напротив, я полагаю, мы должны обнаружить, что, хотя в первом случае был достигнут значительный прогресс, так что объект, находящийся тогда перед нами, мог казаться заслуживающим классификации как *Ното*, мы также должны чувствовать, что его все еще необходимо отличать добавлением *алалус*. Наконец, я полагаю, что это интереснейшее существо, вероятно, прожило невообразимо долго,

прежде чем его способность к созданию членораздельных знаков развилась достаточно, чтобы начать вымирать от голода в более примитивных и естественных системах; и я полагаю, что даже после того, как этот процесс вымирания действительно начался, должно было потребоваться еще одно невообразимое время, чтобы такой прогресс в конечном итоге превратил *Homo alalus* в *Homo sapiens*.

Теперь пришло время рассмотреть ответвление этой гипотезы, предложенное филологом профессором Нуаре, о котором уже упоминалось в предыдущей главе. [326]

До того, как мистер Дарвин опубликовал свои взгляды, профессор Нуаре разработал теорию происхождения речи, которая по существу совпадала с той, которую я уже цитировал из "*Происхождения человека*". [327] Единственное различие между этими двумя состояло в том, что, в то время как Дарвин относил происхождение членораздельной речи от инстинктивных криков и т. Д. К человекообразным обезьянам, Нуаре относил это к существу, которое уже является человеком. Другими словами, Нуаре принял то, что я здесь назвал третьей гипотезой, которая предполагает бессловесную форму человека как предшествующую существующей форме. [328] Но, в результате дальнейших размышлений, Нуаре пришел к выводу, что "объекты страха, трепета и смятения даже сейчас наименее подходят для того, чтобы входить в чистую, ясную и безмятежную сферу речи-мысли или давать ей первые зародыши". Соответственно, он отказался от мнения, что эти зародыши следует искать в инстинктивных криках. и опасность зовет в пользу гипотезы о том, что артикуляция произошла от звуков, которые издают тела людей, занятых обычными занятиями. После того как я уже объяснил элементы этой теории Йо-хе-хо, здесь будет достаточно повторить, что я думаю, что в ней, вероятно, есть некоторая доля истины; хотя я также считаю самоочевидным, что это не могло быть единственным источником речи аборигенов. В какой мере эта ветвь звукоподражания была вовлечена в генезис аборигенных слов — если предположить, что она вообще была вовлечена, — у нас сейчас нет возможности даже предположить. Но, видя, что существует так много других источников звукоподражания, предоставленных Природой, и что эти другие источники столь очевидны во всех существующих языках, в то время как тот, который предложен Нуаре, не оставил записей о его появлении ни в одном языке, — видя эти вещи, я прихожу к выводу, как уже говорилось, что в лучшем случае принципу Йо-хе-хо может быть отведена лишь небольшая пропорциональная роль в происхождении языка аборигенов. [329] Следовательно, в отношении этой гипотезы у меня есть только три замечания: (1) что это явно всего лишь особая ветвь общей звукоподражательной теории; (2) что, как таковая, она, возможно, представляет некоторую долю истины; и (3) что, следовательно, ее следует рассматривать — не так, как ее рассматривает ее автор Нуаре и его сторонника Макса Мюллера, а именно, как единственное объяснение происхождения речи, но — как представляющее лишь один из многих других способов, с помощью которых на протяжении многих веков многие сообщества громогласных, хотя до сих пор безмолвных людей, возможно, медленно развивали искусство произносить членораздельные знаки.

Вероятно, против этой третьей гипотезы во всех ее ответвлениях будут возражать, что она сводится к *основному*: *Homo alalus*, можно сказать, является *Homo postulatus*. На это я отвечу, что это не так. Поднятый вопрос был поднят явно и исключительно относительно способности концептуальной речи, и предполагается, что у этой способности не могло быть более ранней фазы, чем фаза артикуляции. Следовательно, если мои оппоненты предполагают, что до появления этой самой ранней фазы невозможно, чтобы какое-либо до сих пор безмолвное

животное было в прямой позе, достаточно умным, чтобы раскалывать камень, или значительно опережало других животных в том, что касается показательных жестов—знаков, сопровождаемых звуковыми сигналами, - если мои оппоненты предполагают все это, то это они пытаются задать вопрос. Ибо они являются лишь при условии, самым произвольным образом, что факультет концептуального мышления необходимо для того, что животное уже полустоячие, должны стать более прямостоячие; для того, что животное уже умный достаточно, чтобы использовать камни для колки орехов и открывания устриц, должны не только (а по нынешним временам) выбрать наиболее подходящих камней для этой цели, но начинают мода для этих или других целей; для того, что животное уже в большей степени, чем любое другое использование жестов и голосовых признаков, должны существенно продвинуться вдоль той же линии психического совершенствования. [330] Гипотеза о том, что такое значительное продвижение могло происходить постепенно, вплоть до предполагаемого психологического уровня, может быть верной, а может и нет; но, по крайней мере, это не вызывает вопросов. Вопрос в том, отличается ли присущая исключительно человеку способность к концептуальному мышлению по виду или степени от низшей способности к восприятию; и мое настоящее предположение сводится не более чем к предположению, что восприятие могло быть развито в животном царстве до некоторого уровня, которого оно достигает у ребенка, который поздно начинает говорить. [331] Если какой-либо оппонент возразит против этого предложения на том основании, что оно, по-видимому, порождает вопрос, он должен помнить, что этот вопрос возникает только — в соответствии с его собственной аргументацией — там, где способность к созданию знаков заменяет способность к интроспективному мышлению. Вопрос о том, насколько низшие способности ума допускают развитие помимо (или, как я полагаю, предшествующее) возникновению интроспективного мышления, очевидно, является совершенно особым вопросом. И на этот вопрос можно ответить только наблюдением. Итак, я уже показал, что в случае разумных животных — и в еще большей степени в случае растущего ребенка — способности к восприятию идей действительно развиваются до поразительной степени адаптивной эффективности, без возможности того, что они каким-либо образом были связаны с присущей человеку способностью концептуального мышления.

В целом, таким образом, мне кажется вероятным, на основании только психологии, что история развития интеллекта у нашей расы настолько напоминала эту историю у растущего ребенка, что до появления речи восприятие идей достигло гораздо более высокого уровня совершенства, чем сейчас у любого животного, — настолько, что взрослое существо, демонстрирующее это, вполне могло бы заслужить название *Homo alalus*. И, как мы увидим в моем следующем томе, этот вывод, сделанный на психологических основаниях, подтверждается определенными выводами, которые могут быть разумно сделаны из некоторых других классов фактов. Но сейчас, пока оставляю этот вопрос, я хочу еще раз повторить, что это не имеет никакого отношения к моему главному аргументу. Ибо для моего случая не имеет существенного значения, рано или поздно впервые проявилась способность речи. При любом альтернативном варианте, как только наши прародители достигли денотативной стадии артикуляции способом, уже обрисованным в общих чертах относительно ее психологической стороны, следующая стадия состояла бы в расширении денотативных знаков до коннотативных знаков. Как мы теперь видели, благодаря большому накоплению свидетельств, это расширение денотативных знаков до коннотативных становится неизбежным благодаря принципу чувственной ассоциации. Другими словами, я привел то, что можно считать лишь переизбытком фактов, доказывающих, что у ребенка, впервые заговорившего, и даже у попугая первоначально

денотативные названия определенных объектов спонтанно распространяются на другие объекты, чувственно воспринимаемые как сходные по виду. И не менее убедительно я доказал, что этот процесс расширения коннотации предшествует возникновению концептуальной мысли и, следовательно, возникновению истинной деноминации. Я показал, что пределы, до которых может простираться такая чисто рецептивная коннотация, определяются степенью развития, достигнутой способностями к чисто рецептивному восприятию. У попугая эта степень развития лишь низка; у собаки и обезьяны значительно выше (хотя, к сожалению, эти животные не способны сколько-нибудь членораздельно выразить свои рецептивные ощущения); у двухлетнего ребенка она еще выше. Но, как было показано ранее, ни один оппонент не может позволить себе утверждать, что в любом из этих случаев существует своего рода различие между ментальными способностями, которые соответственно задействованы; потому что его аргумент на психологических основаниях может основываться только на концептуальном познании, которое, в свою очередь, может основываться только на самосознании; и это явно отсутствует у ребенка еще долгое время после того, как денотативные названия коннотативно расширяются воспринимающим интеллектом самого ребенка.

Таким образом, не может быть разумного вопроса о том, что для *Homo sapiens* психологически возможно иметь предков, которые — будь то уже частично люди или все еще обезьяны — были способны переносить обозначение на высокий уровень коннотации без необходимости познания, принадлежащего к порядку концептуальных. Были ли тогда знаки поданы только тоном и жестом или же членораздельными звуками, также, с психологической точки зрения, несущественно. В любом случае коннотация следовала бы за денотацией до того момента, пока более высокий рецептивный (“доконцептуальный”) интеллект такого предка не был способен осознать простые аналогии. И эта психологическая возможность становится на других основаниях вероятностью высшего порядка, как только мы узнаем о каких-либо независимых свидетельствах, касающихся телесной эволюции человека от обезьяноподобных предков.

Итак, мы уже видели, что предконцептуальная коннотация сводится к тому, что я назвал предконцептуальным суждением. Коннотируемые таким образом качества или отношения на самом деле не рассматриваются как качества или как отношения; но простым актом такой коннотативной классификации высший воспринимающий интеллект фактически оценивает сходство и фактически предсказывает свое суждение. Поэтому я считаю вероятным, что самыми ранними формами такой виртуальной предикации были те, которые были бы переданы отдельными словами. И, как мы видели в предыдущих главах, существует множество и совершенно независимых свидетельств того, что эта форма зарождающейся предикации продолжала занимать важное место в интеллектуальной истории нашей расы настолько поздно, что оставила постоянный след своего появления в структуре всех ныне существующих языков.

Эпоха, в течение которой преобладали эти предложения-слова, вероятно, была огромной; и, как мы уже видели, они не только не были враждебны жестикуляции, но, должно быть, в значительной степени поощряли ее, фактически подняв показательную фазу языка до уровня сложной пантомимы. Из созданного таким образом комплекса предложений-слов и жестовых знаков медленно развились грамматические формы, как мы знаем из независимого свидетельства филологии. Но задолго до того, как начали развиваться грамматические формы

любого рода, в этом протоплазменном материале речи должна была произойти своего рода неопределенная дифференциация, причем таким образом, что некоторые слова-предложения имели тенденцию становиться специальными обозначениями определенных объектов, другие - конкретных действий, состояний, качеств и отношений. Эта, так сказать, “примитивная черта” того, что впоследствии должно было составить позвоночный столб артикулированного языка в независимых, но взаимосвязанных “частях речи”, должно быть, в значительной степени обязана своим развитием жестам. Теперь, к этому времени, сам жест уже должен приобрести элементарный синтаксис, подобный тому, который присущ даже семиотическим движениям младенца, который, оказывается, поздно начинает говорить. [332] Этот элементарный синтаксис обязательно был бы перенят растущей структурой речи или наложен на нее, во всяком случае, в том, что касается принципов и порядка наложения. Более того, это знакообразующее значение аппозиции в то же время продвигалось бы в сфере самих членораздельных знаков. Ибо, как мы видели ранее, как только слова становятся в какой-либо мере денотативными, они немедленно начинают подвергаться коннотативному расширению; [333] и с этим прогрессирующим расширением значения слова требуют все более частого использования в приложении. Совершенно независимо от каких-либо еще не существующих способностей к интроспективному мышлению, внешняя “логика событий”, должно быть, постоянно определяла такое применение воспринимаемых коннотативных терминов, как мы уже в полной мере убедились на примере растущего ребенка. Таким образом, были заложены условия для разделения на три части — родительный падеж, прилагательное и глагол. Однако лишь в течение долгих последующих веков это разделение произошло бы в своей полноте. В то время, которое мы сейчас рассматриваем, вообще не могло быть различия между родительным падежом и прилагательным; также не могло быть никаких глаголов как самостоятельных частей речи. Тем не менее, некоторые из денотативных знаков уже использовались бы как названия определенных объектов, другие - определенных качеств, а третьи - конкретных действий, состояний и отношений. Еще не заслуживающие того, чтобы их рассматривали как полностью дифференцированные части речи, эти слова-объекты, слова-качества и т. Д. Были бы похожи на те, с которыми мы все хорошо знакомы по детскому языку и которые все еще сохранились в удивительно значительной степени среди многих диалектов низкого уровня развития. Теперь, как только эти денотативные названия стали вообще фиксированными по значению в пределах одного и того же сообщества, те, которые соответственно обозначали объекты, качества, действия, состояния и отношения, неизбежно должны были часто использоваться в приложении; и так часто, как они использовались таким образом, составляли бы зарождающиеся или предконцептуальные предложения.

Несомненно, существует вероятность, что на прохождение этих различных ступеней ментальной эволюции потребовались бы огромные промежутки времени; но когда мы вспоминаем об огромной важности такого рода эволюции для видов, которые когда-то начали двигаться в этом направлении, мы не можем удивляться тому, что выживание наиболее приспособленных должно было придать большое значение инструменту ее достижения - или, другими словами, что способность к созданию знаков, однажды удачно возникнув, должна была последовательно продвигаться вперед по восходящим ступеням эффективности, так что вскоре она стала такой же уникальной в ряду млекопитающих, как и по аналогичным причинам. , являются летательными способностями рукокрылых. Но каким бы долгим или каким бы коротким ни было время, которое потребовалось нашим ранним прародителям для перехода от одной из этих стадий создания знаков к другой, как только денотативное название объекта

было приведено в соответствие с денотативным названием качества или действия, так же скоро было произнесено виртуальное утверждение виртуального суждения, даже если разум, сформировавший его, был очень далек от того, чтобы либо думать о своем суждении как о суждении, либо утверждать истину как истинную.

Таким образом, мы понимаем, что в генезисе того, что я назвал предконцептуальной предикацией, предположительно были задействованы два разных принципа. Первый состоит в естественном и неизбежном распространении денотативных терминов на коннотативные посредством силы простой рецептивной ассоциации. Второй состоит в не менее естественном и неизбежном применении самих денотативных терминов, посредством чего рецептивно воспринимаемое отношение виртуально — хотя и не концептуально — утверждается как существующее между объектами, качествами, состояниями, действиями или отношениями, которые обозначаются. Конечно, очевидно, что эти два способа развития должны были взаимно помогать друг другу: чем больше денотативные знаки подвергались коннотативному расширению, тем большей должна была быть их предикативная ценность при использовании в приложении; и чем чаще денотативные знаки использовались в приложении, тем большей должно было быть расширение их коннотативной ценности.

Наконец, на протяжении всего этого гипотетического обсуждения желательно помнить, что у нас есть положительные свидетельства филологии, касающиеся двух чрезвычайно важных моментов. Первый момент заключается в том, что, как и в аборигенных предложениях-словах, не было разграничения подлежащего и сказуемого; так, до очень позднего этапа эволюции предикативного высказывания отсутствовала связка — и в очень многих языках это все еще продолжается - связка. Более того, даже субстантивный глагол, который некоторые мои оппоненты невольно путают со связкой, также появился очень поздно.

Второй момент заключается в том, что, хотя “местоименные элементы” — или вербальные эквиваленты жестовых знаков, указывающих на пространственные отношения, - были одними из самых ранних словесных дифференциаций, только по прошествии эпох веков возникли какие-либо местоимения, специально обозначающие первое лицо. [334] Теперь этот момент я считаю одним из первостепенно важных. Ибо это дает нам прямое доказательство того факта, что долгое время после того, как человечество начало говорить, и даже долгое время после того, как оно достигло значительного мастерства в искусстве членораздельной речи, говорящие все еще продолжали ссылаться на себя с помощью той же объективной фразеологии, которая используется ребенком до зарождения самосознания. Это, конечно, то, что на предшествующих или теоретических основаниях мы должны сделать, *должно было быть* так; но, несомненно, очень важно, чтобы наш вывод по этому вопросу допускал такую полную и независимую проверку филологическими исследованиями. Как мы уже неоднократно видели, различие между идеями как рецептивными и концептуальными зависит от наличия или отсутствия самосознания в полном или интроспективном значении этого термина. И, как мы также видели, внешний и видимый знак этой внутренней и духовной благодати дается в субъективном употреблении местоименных слов. Но если эти вещи не подлежат сомнению в случае индивидуального человеческого разума — если в случае растущего ребенка рост самосознания явно является условием развития концептуального мышления, — с помощью какого логического подвига можно предположить, что в растущей психологии расы концептуальное мышление могло возникнуть еще до того, как появилось какое-либо истинное самосознание? Очевидно, что на это нельзя намекнуть, не отрицая тех идентичных принципов

психологии, на которые опираются сами мои оппоненты. Будет ли тогда сказано, что критерий самосознания, который справедлив для ребенка, не применим к расе - что, хотя в первом случае рост самосознания отмечен переходом от объективной фразеологии к субъективной, во втором точно аналогичное изменение не следует приписывать сходному значению? Если бы это было предложено, это было бы не просто совершенно необоснованным предложением, но и прямо противоречило бы всей в остальном совершенно параллельной аналогии. Таким образом, на самом деле, очевидно, что никуда не деться от вывода, что у расы, как и у индивида, развитие истинного, или “внутреннего”, самосознания из восприимчивого, или “внешнего”, было постепенным процессом; что его рождение у первого является не просто вопросом умозаключения, каким бы непреодолимым ни был этот вывод, - но фактическим фактом, который зафиксирован в архивах самого языка; и, следовательно, что центральный вопрос, которому посвящен весь настоящий трактат, больше не может рассматриваться как открытый. Она была закрыта, часть за частью, по мере того, как свидетель филологии проверял, этап за этапом, результаты нашего психологического анализа; и теперь, в конце концов, проверка распространилась на центральную суть вопроса, раскрывая во всей своей обнаженной простоте один решающий факт, что в детстве мира, не в меньшей степени, чем в детстве человека, мы можем видеть фундаментальный переход от чувства к мышлению: в одном, как и в другом, мы видим, что...

“По мере того, как он растет, он многое собирает,

И учится использовать слова "я" и "me",
И обнаруживает, что "Я не то, что я вижу",

И кроме вещей, к которым я прикасаюсь.

“ Так сводит его к отдельному разуму

Откуда может начаться ясная память,
Как через рамки, которые связывают его в

Его изоляция становится все более очевидной”.

ГЛАВА XVII.

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

В настоящем трактате я принимаю как должное общую теорию эволюции в той мере, в какой она сейчас принята подавляющим большинством естествоиспытателей. Иными словами, я принимаю доктрину происхождения в отношении всей органической природы, морфологической и психологической, за единственным исключением человека. Более того, я принимаю эту доктрину даже в случае человека, поскольку речь идет о его телесной организации; таким образом, исключение, на которое я ссылался, делается только применительно к человеческому разуму. И я делаю это исключение из уважения к мнению того

небольшого меньшинства эволюционистов, которые все еще утверждают, что, несмотря на принятие ими теории происхождения в отношении телесного строения человека, они способны привести убедительные доказательства того, что теория не учитывает его психическое строение.

Таково мое предположение, и мы начали с рассмотрения состояния вопроса *априори*. Если, в соответствии с нашим предположением, процесс органической и ментальной эволюции был непрерывным во всей области жизни и разума, за единственным исключением разума человека, то на основании чрезвычайно широкой аналогии мы должны считать изначально невероятным, чтобы процесс эволюции, в других местах столь однородный и повсеместный, был прерван на своей конечной фазе. И это предшествующее предположение еще больше подкрепляется неоспоримым фактом, что в случае с каждым отдельным человеческим существом, человеческий разум представляет для реального наблюдения процесс постепенного развития, простирающийся от младенчества до зрелости. Ибо, таким образом, доказывается очевидный факт, что, каким бы ни было происхождение или история человеческого интеллекта в прошлом, в том виде, в каком он существует сейчас — или, скорее, в каком в каждом индивидуальном случае он сейчас возникает, — он не является исключением из общего закона эволюции: он, несомненно, допускает постепенный рост с нулевого уровня, и без такого постепенного роста у нас нет доказательств его становления. Более того, пока человеческий разум проходит низшие стадии этого роста, он поднимается по шкале способностей, параллельных тем, которые постоянно представлены тем, что я назвал психологическими видами животного царства, — общий факт, который наиболее убедительно доказывает, что, во всяком случае, до тех пор, пока не будут достигнуты отчетливо человеческие качества мышления, между психологией человека и животного не будет очевидных различий. Наконец, феномены ментальной эволюции бросаются в глаза не только у индивида, но и у расы в целом — по крайней мере, насколько позволяют сведения о человеческой расе. Обращаемся ли мы к реальной истории, к традиции, к антикварным останкам или кремневым орудиям, мы получаем единообразные свидетельства непрерывного процесса восходящего развития, который, таким образом, рассматривается как характеристика тех дополнительных атрибутов, по которым человеческий разум теперь превосходит разум любого другого вида, так и тех атрибутов, которые он разделяет с другими видами. Следовательно, если процесс психической эволюции был прерван между человекообразными обезьянами и первобытным человеком в течение доисторического периода, о котором у нас нет записей, он должен был снова возобновиться у первобытного человека, после чего он должен был продолжаться так же непрерывно у человеческого вида, как это ранее происходило у видов животных. Это, мягко говоря, самое невероятное предположение. Доказано, что закон непрерывности применим по обе стороны психологического интервала, где наблюдается необходимое отсутствие исторической информации. И все же нас просят поверить, что по любопытному совпадению с этим интервалом был нарушен закон непрерывности — несмотря на то, что в случае с каждым индивидуальным человеческим разумом такого, как известно, никогда не бывает.

Чтобы опровергнуть столь громадную презумпцию, которая выдвигается против утверждения моих оппонентов исключительно на *априорных* основаниях, мне кажется, что их следует справедливо призвать к изложению некоторых очень веских соображений *апостериорного* рода, стремящихся показать, что в устройстве человеческого разума есть нечто такое, что делает практически невозможным предположение, что такой порядок ментального существования мог возникнуть путем генетического происхождения от разума более низких

порядков. Поэтому я перешел к рассмотрению аргументов, которые были приведены в поддержку этого тезиса.

Для того чтобы точки различия, на которых основаны эти аргументы, могли быть четко обозначены, я начал с краткого рассмотрения точек сходства между человеческим разумом и разумом низших порядков. Здесь мы увидели, что в том, что касается Эмоций, никаких видовых различий не было и не может быть. Было доказано, что весь ряд человеческих эмоций присущ низшим животным, за исключением тех, которые зависят от высших интеллектуальных способностей человека — *т.е.* тех, которые относятся к религии и восприятию возвышенного. Но все остальные — которых в моем списке более двадцати — встречаются у грубых созданий; и хотя многие из них встречаются не в столь высокоразвитой степени, это несущественно, когда вопрос единственный в своем роде. Действительно, общее сходство эмоциональной жизни в обоих случаях настолько поразительно — особенно когда мы имеем в виду маленького ребенка и дикаря, — что его справедливо следует рассматривать как прямое доказательство генетической преемственности между ними.

Точно так же обстоит дело и с Инстинктом. Ибо, хотя это встречается в большей пропорции среди низших животных, чем у нас, никто не может рискнуть подвергнуть сомнению идентичность всех инстинктов, которые являются общими для обоих. И это единственный момент, который здесь требует уточнения.

Опять же, в отношении Воли не может возникнуть никаких споров относительно идентичности воли животных и человека вплоть до того момента, когда утверждается, что последняя приобретает атрибут свободы, который, как мы видели, с любой точки зрения зависит от интеллектуальной силы интроспективного мышления.

Таким образом, остаются только эти интеллектуальные способности к интроспективному Мышлению, *плюс* способности к Морали и религии. Итак, очевидно, что, какие бы мы ни делали отдельные выводы относительно отличительной ценности двух последних, мы все должны согласиться с тем, что первостепенное условие возможности любого из них заключается в первом: без способностей интеллекта, способных сформировать абстрактную идею, имеющую отношение как к морали, так и к религии, очевидно, что ни то, ни другое не могло бы существовать. Следовательно, в логическом порядке именно эти интеллектуальные способности подлежат рассмотрению в первую очередь. В последующих частях этой работы я буду полностью касаться как морали, так и религии: в настоящей части меня интересует только интеллект.

И вот здесь, как я уже признал, следует обнаружить великое психологическое различие. Тем не менее, даже здесь следует признать, что до определенного момента, как между животным и человеком, существует не просто видовое сходство, но и тождественное соответствие. Различие возникает только в отношении тех дополнительных способностей мышления, которые проявляются выше уровня, отмеченного 28 на моей диаграмме, — *т.е.* там, где заканчивается восходящий рост интеллекта животных и начинается развитие специфически человеческих способностей. Таким образом, в случае интеллекта, не в меньшей степени, чем в случае эмоций, инстинктов и волевых действий, не может быть никаких сомнений в том, что человеческий разум работает точно параллельно животному, вплоть до того места, где эти

дополнительные интеллектуальные способности начинают преобладать. Таким образом, на первый взгляд, факты сравнительной психологии, имеющиеся на данный момент, мягко говоря, наводят на мысль о том, что эти сверхприбыльные способности возникли в процессе продолжающейся эволюции.

Итак, вот и все о точках соприкосновения между психологией животных и человека. Переходя далее к пунктам разногласий, мы должны были сначала избавиться от некоторых утверждений, которые были либо ошибочными фактически, либо явно необоснованными теоретически. Это включало в себя отказ *в целом* от следующих различий, а именно, что животные являются лишенными разума машинами; что у них нет зачатков разума в смысле восприятия аналогий и вывода из них выводов; что они лишены какого-либо бессмертного принципа; что они не проявляют никаких признаков прогресса от поколения к поколению; что они никогда не прибегают к бартеру, не добывают огонь, не носят одежду, не пользуются инструментами и так далее. Среди этих различных предполагаемых различий те, которые не являются явно ложными на самом деле, явно ложны в логике. Лишены ли животные какого-либо бессмертного принципа или нет, и представляют ли человеческие существа такой принцип или нет, наука сравнительная психология не имеет средств установить; и, следовательно, любые аргументы, касающиеся этих вопросов, не имеют отношения к предмету, которым мы занимаемся. Опять же, тот факт, что животные не похожи на нас в ношении одежды, добывании огня и т. Д., Явно зависит от отсутствия у них тех способностей высшего мышления, которых одних достаточно для получения таких продуктов в виде разумных действий. Следовательно, все подобные различия в деталях действительно относятся к более общему вопросу о природе различия между двумя порядками *мышления* или поглощаются им. Таким образом, к этому, как к реальному вопросу, стоящему перед нами, мы затем обратились сами. И здесь было указано, *in limine*, что три ныне живущих натуралиста высочайшего авторитета, которые все еще отстаивают видовое различие между животным и человеком, хотя и соглашались в том, что любое такое различие может быть поддержано только на основе психологии, тем не менее на этих основаниях все взаимно противоречат друг другу. Ибо, в то время как м-р Майварт утверждает, что должно быть видовое различие, потому что психологический интервал между высшей обезьяной и низшим человеком так велик; м-р Уоллес приводит доводы в пользу того же вывода на том основании, что этот интервал не так велик, как нас заставляет ожидать теория естественной эволюции: мозг дикаря, по его словам, настолько намного более эффективный инструмент, чем разум, которому он служит, что его наличие может быть объяснено только как подготовка к более высокой эффективности умственной жизни, которую впоследствии продемонстрировал цивилизованный человек. Наконец, профессор Де Катрефаж противоречит обоим английским натуралистам, яростно настаивая на том, что в том, что касается интеллектуальных способностей, существует очевидная тождественность между интеллектом животного и человека, будь то в диком или цивилизованном состоянии: он утверждает, что различие возникает только в области морали и религии. Так что, если бы на наше мнение по рассматриваемому нами вопросу каким—либо образом повлиял голос авторитета, я мог бы представить суждения этих моих наиболее представительных оппонентов как взаимно отменяющие друг друга - таким образом, получая нулевую величину по сравнению с огромным и самосогласованным весом авторитета другой стороны.

Но, отбросив все авторитетные соображения, я приступил к исследованию вопроса *de novo* или исключительно по существу. Для этого необходимо было начать с несколько утомительного

анализа идей. Общий результат заключался в том, чтобы дать следующую классификацию идей.

1. Простые воспоминания о восприятиях или постоянные ментальные образы прошлых чувственных впечатлений. Это идеи, которые в терминологии Локка мы можем обозначить как Простые, частные или Конкретизированные. В настоящее время никто не сомневается в том, что такие идеи являются общими для животных и людей.

2. Высший класс идей, которые по всеобщему согласию также являются общими для животных и людей, а именно те, которые Локк назвал сложными, Составными или Смешанными. Это нечто большее, чем простые воспоминания об определенных восприятиях; они порождаются смесью таких воспоминаний и, следовательно, представляют собой соединение, элементами или ингредиентами которого являются “конкретные идеи”. По законам ассоциации отдельные идеи, которые либо похожи одна на другую сами по себе, либо часто встречаются вместе в опыте, имеют тенденцию сливаться в одну: как на “составной фотографии” чувствительная пластинка способна объединить множество более или менее похожих изображений в единую картину, так и чувствительная пластинка разума способна составить из множества простых или частных идей сложную, составную, или, как я это назвал, *общую идею*. Итак, общая идея такого рода отличается от того, что обычно называется общей идеей (которую мы рассмотрим в следующем параграфе), тем, что, хотя обе они генерируются из более простых элементарных составляющих, первые, таким образом, генерируются как бы спонтанно или анатомически по принципам простой ассоциации восприятия, в то время как последние могут быть произведены только сознательно намеренной операцией ума над материалами его собственного представления, известными как таковые. Эту операцию психологи называют концепцией, а ее результат они называют концепцией. Отсюда мы видим, что между областью восприятий и областью понятий лежит обширная промежуточная территория, которая занята тем, что я назвал родовыми идеями, или *рецептами*. Таким образом, восприятие отличается от восприятия тем, что оно представляет собой совокупность ментальных представлений, включающих упорядоченную группировку более простых образов в соответствии с прошлым опытом; в то время как оно отличается от концепции тем, что эта упорядоченная группировка обусловлена непреднамеренной или автоматической активностью со стороны воспринимающего разума. Представление, или общая идея, *передается* разуму внешней “логикой событий”; в то время как общая идея, или концепция, *формируется* разумом, сознательно работающим над более высокой проработкой своих собственных идей. Короче говоря, *получено* представление, в то время как *задумана*.

3. Высший класс идей, которые психологи единодушно отказывают животным и которые, следовательно, мы вправе рассматривать как уникальную прерогативу человека. Это общие, Абстрактные и умозрительные идеи Локка, или Концепции, только что упомянутые в последнем абзаце. Как мы там видели, они отличаются от рецептов — и, *тем более*, от восприятий — тем, что сами являются объектами мышления. Другими словами, особенностью человеческого разума является то, что он способен думать о своих собственных идеях как таковых, сознательно комбинировать и развивать их, намеренно создавать более качественные продукты из менее высокоразвитых составляющих. Мы обнаружили, что эта замечательная способность — также по общему согласию — зависит от способности самосознания, посредством которой разум способен, так сказать, отделяться от самого себя, делать одно из своих состояний объективным для других и, таким образом, рассматривать свои собственные идеи как таковые. Сейчас нас

интересует не философия этого факта, а только его история. Как возможно существование такой способности, как самосознание; что это такое, что может таким образом быть одновременно субъектом и объектом мышления; мыслимо ли, что великая бездна личности когда-либо может быть постигнута; эти и все подобные вопросы совершенно не входят в рамки настоящей работы. Все, что нам здесь нужно сделать, это проанализировать психологические условия, из которых, как очевидный факт, возникает эта уникальная особенность, — проследить историю процесса и свести результаты в таблицу. Что ж, мы видели, что здесь, опять же, все согласны с тем, что способность к языку дает возможность самосознания. Независимо от того, предполагаем мы или нет, что эти две способности являются одной - что ни одна из них не могла бы существовать без другой, и, следовательно, что мы можем последовать примеру греков в присвоении им единого имени Логос, - по крайней мере, настолько несомненно, насколько это может сделать наука психология, что в пределах четырех сторон человеческого опыта к самосознающей личности нельзя подойти никаким другим способом, кроме как посредством языка. Ибо только благодаря языку, насколько у нас есть какие-либо средства познания, разум становится способным настолько фиксировать — или придавать определенность самому себе — свои собственные идеи, что допускает любое последующее созерцание их как идей. Способность к концептуальному мышлению становится возможной только благодаря обозначению идей именами, как мы довольно подробно видели в главе IV.

Такова, стало быть, была моя классификация идей. И это классификация, по поводу которой, вероятно, не возникнет никаких споров, поскольку она просто устанавливает в некотором систематическом порядке совокупность наблюдаемых фактов, относительно которых авторы всех школ в настоящее время в значительной степени согласны. Итак, если принять эту классификацию, то из этого следует, что стоящий перед нами вопрос возвращается к способности к языку. Следовательно, эту способность я рассматривал в серии глав. Сначала было указано, что в самом широком значении “язык” означает способность создавать знаки. Затем я воспользовался “Категориями языка” м-ра Майварта, которые, при небольшом дополнении, служат для того, чтобы сразу дать точную и исчерпывающую классификацию каждого телесного или ментального акта, по отношению к которому этот термин может быть применен. Всего было обнаружено семь таких категорий, из которых первые шесть, по общему признанию, являются общими для животных и человека. Однако мои оппоненты утверждают, что седьмая полностью присуща человеческому виду. Другими словами, признается, что животные действительно представляют то, что можно назвать зародышем способности к созданию знаков; но отрицается, что они способны, даже в самой низкой степени, создавать знаки интеллектуального рода - *то есть* такого рода, который заключается в присвоении имен как знаков идей. Животные, по общему признанию, способны подавать знаки друг другу — а также человеку — с намеренной целью передачи тех идей, которыми они обладают; но, как утверждается, ни одно животное не способно назвать эти идеи ни жестами, ни тоном, ни словами. Теперь, чтобы проверить это утверждение, я начал с приведения ряда иллюстраций, которые должны были показать уровень, достигнутый способностью к созданию знаков у животных; затем я рассмотрел язык тона и жестов в том виде, в каком он проявляется у человека; затем я перешел к исследованию феноменов артикуляции, отношения тона и жеста к словам; и, наконец, психологии речи. Чтобы не перегружать настоящее резюме, я пренебрежу всеми второстепенными результатами этого анализа. Основные результаты, однако, заключались в том, что естественный язык тона и жестов идентичен везде, где он встречается; но что даже когда он становится общепринятым (как это может быть до определенного момента

у животных), он гораздо менее эффективен, чем членораздельный язык, как средство конструирования идей; и, следовательно, психологическую грань между животным и человеком следует проводить не в языке или создании знаков в целом, а в том особом виде создания знаков, который мы понимаем под “речью”. Тем не менее, реальное различие заключается в интеллектуальных способностях, а не в их символах. Итак, что человек имеет в виду, не имеет значения, с помощью какой системы знаков он выражает свое значение. Другими словами, хотя я пытался доказать, что артикуляция, должно быть, оказала уникальную услугу в развитии этих интеллектуальных способностей, я был настойчив, утверждая, что, когда эти способности присутствуют, психологически несущественно, находят ли они выражение в жесте или в речи. В любом случае психологическое различие между животным и человеком состоит в том, что последний способен *иметь в виду суждение*; и вид ментального акта, который это включает, технически называется “суждением”. Предикация, или составление пропозиции — будь то жестом, тоном, речью или письмом, — это не что иное, как выражение суждения; а суждение — это не что иное, как понимание любого значения, которое может быть выражено пропозицией.

Теперь это признают все мои оппоненты, которые разбираются в психологии предмета. Более того, они допускают, что если бы однажды через эту пропасть предикации был наведен мост, то больше не было бы никакой пропасти, которую нужно было бы пересекать. Ибо общепризнано, что из простейшего суждения, которое только возможно вынести, — и, следовательно, из простейшего предложения, которое только возможно сконструировать, — человеческий интеллект демонстрирует непрерывное восхождение по всем ступеням совершенства, которые он впоследствии представляет. Поэтому здесь нам пришлось тщательно рассмотреть психологию предикации. И результатом нашего анализа было показать, что рассматриваемая отчетливо человеческая способность на самом деле возникает гораздо раньше, чем в том месте, где разум впервые способен сконструировать формальное суждение “А есть Б.”. Это происходит в том месте, где разум впервые способен присвоить имя, известное как таковое, — называть А и Б *В*, осознавая, что при этом он выполняет акт концептуальной классификации. Следовательно, если мы не расширим термин “суждение” таким образом, чтобы охватить такой акт концептуального наименования (а также акт выражения отношения между вещами, концептуально названными), мы должны прийти к выводу, что “простейший элемент мышления” — это не суждение, а концепция. Нет необходимости снова возвращаться к основаниям этого доказательства; ибо, хотя в ходе его мне пришлось указать на некоторые непростительные ошибки в психологическом анализе со стороны некоторых моих оппонентов, само доказательство слишком полно, чтобы допускать какие-либо сомнения.

Таким образом, мы вернулись к нашему первоначальному различию между концепцией и рецептом. Но теперь мы были в состоянии показать, что точно так же, как в вопросе проведения “умозаключений”, так и в вопросе создания знаков, существует порядок формирования идей, который является как рецептивным, так и концептуальным. И, что более конкретно, даже в том виде создания знаков, который заключается в присвоении имен, формирование представлений рецептивного порядка может происходить вообще без какой-либо помощи со стороны формирования представлений концептуального порядка. Другими словами, есть имена и прозвища. Не каждое даруемое имя обязательно должно выражать концепцию, так же как и каждое проводимое “умозаключение” не обязательно должно быть результатом самосознательной мысли. Не только маленькие дети, прежде чем они овладеют самосознательным мышлением, но даже говорящие птицы обычно дают названия предметам, качествам, действиям и состояниям. Тем не менее, приводя многочисленные доказательства

этого факта, я был осторожен, указывая на то, что до сих пор не было никаких сколько-нибудь важных аргументационных выводов. То, что маленький ребенок и говорящая птица способны таким образом заучивать названия предметов, качеств и т. Д. Путем подражания — или даже придумывать произвольные собственные названия, — с психологической точки зрения имеет не большее значение, чем тот факт, что и ребенок, и птица будут аналогичным образом использовать жесты-знаки или интонации голоса, посредством которых выражается простая логика их рецептов. Тем не менее, необходимо каким-то образом отличать этот неконцептуальный вид именования от того вида, который свойственен человеку после того, как он достиг самосознания и, таким образом, способен не только называть, но *изнать, что он называет* - не только называть *A*, but to *think A as his symbol of A*. Now, in order to mark this distinction, I have assigned the term *denotation* to naming of the receptual kind, and applied the term *denomination A* к наименованию концептуального рода. Когда попугай называет собаку “Боу-вау” (чему попугая, как и ребенка, можно легко научить), в некотором смысле можно сказать, что это дает название собаке; но, очевидно, это не *предсказание* принадлежности каких—либо признаков собаке или совершение какого-либо *суждения* о собаке - как в случае, например, с натуралистом, который с помощью своего имени *Canis* концептуально относит это животное к определенному зоологическому роду. Хотя попугай может никогда не произносить имя “Боу-вау”, кроме как при виде собаки, этот факт объясняется законами ассоциации, действующими только в сфере восприятия: это не дает ни тени основания предполагать, что птица когда-либо думает о собаке как о собаке или ставит понятие “Собака” перед своим умом как отдельный объект мышления. Следовательно, никто из моих оппонентов не может позволить себе отрицать, что в каком-то смысле слова могут существовать имена без понятий: будь то в виде жестов или в виде слов (“вокальные жесты”), могут существовать знаки вещей без каких-либо признаков предикативного значения. Теперь, именно для того, чтобы не предвосхищать аргументы моих оппонентов и, таким образом, четко обозначить поле дискуссии, я установил различие между именами как рецептивными и концептуальными, или денотативными и деноминативными.

После того как это различие было четко понято, следующий момент заключался в том, что оба вида имен допускают коннотативное расширение — денотативные имена в сфере восприятия, а деноминативные - в концептуальной. Иными словами, когда название было применено к одной вещи, его использование может быть распространено на другую вещь, которая, как считается, принадлежит к тому же классу или виду. Степень, до которой может иметь место такое коннотативное расширение имени, зависит, конечно, от степени, в которой разум способен осознавать сходства или аналогии. Следовательно, процесс может пойти гораздо дальше в концептуальной сфере, чем в рецептивной. Но важным моментом является то, что в последней он, несомненно, имеет место в определенных пределах. И это не что-то большее, чем мы должны были ожидать заранее. Ибо в пространном изложении и из многочисленных фактов, которые я привел о восприимчивом интеллекте животных, было убедительно доказано, что задолго до того, как дифференциальный механизм представления пришел на помощь разуму, разум способен достичь высокого уровня в различении сходств или аналогий только посредством различения восприятия. Следовательно, неизбежно, что неконцептуальные или денотативные названия должны подвергаться коннотативному расширению, в каких бы пределах ни находились эти возможности чисто рецептивного различения. И, на самом деле, мы обнаружили, что так оно и есть. Говорящая птица распространит свое денотативное название с одной конкретной собаки на любую другую собаку, которую ей посчастливится

увидеть; а маленький ребенок, сделав это, расширит денотативное название еще больше, чтобы включить изображения собак и, в конечном итоге, картинки. Следовательно, если бы рецептивный интеллект попугая был несколько более развит, чем он есть на самом деле, мы не можем сомневаться, что он поступил бы так же: единственная причина, по которой в этом вопросе он так быстро расстается с ребенком, заключается в том, что его рецептивный интеллект недостаточно развит, чтобы уловить сходство образов с объектами, которые они призваны представлять. Но восприимчивый интеллект собаки выше, чем у попугая, и некоторые собаки способны улавливать сходства такого рода. Следовательно, если бы собаки, подобно попугаям, оказались способны к артикуляции и, таким образом, научились использовать денотативные названия, не может быть сомнений, что они сопровождали бы растущего ребенка в несколько большем объеме коннотативного высказывания, чем в случае с единственными животными, которые обладают анатомическими условиями, необходимыми для имитации членораздельных звуков. И собаки, и обезьяны способны в необычайной степени *понимать* эти звуки: иными словами, они могут усвоить значения поразительного количества денотативных названий, а также быть научены воспринимать удивительно широкий спектр коннотативных значений. Следовательно, если бы они могли только *имитировать* эти звуки на манер попугая, то, несомненно, они бы значительно отдаляли попугая в этом вопросе восприятия коннотации.

Но, наконец, мы не замыкаемся ни на одном подобном гипотетическом случае. Ибо растущий ребенок сам по себе дает нам доказательства на этот счет, которые не менее убедительны, чем были бы, если бы собаки и обезьяны умели говорить. Ибо, не прибегая к аргументированному самоубийству, никто из моих оппонентов не может позволить себе предположить, что вплоть до возраста, когда зарождается самосознание, маленький ребенок способен к концептуальной коннотации; однако бесспорно, что вплоть до этого возраста происходит непрерывный рост коннотации, которая, начиная с уровня, который он разделяет с попугаем, в конечном итоге способна конструировать то, что я назвал “рецептивными предложениями”, точную природу которых я кратко изложу в следующем параграфе. Приведенные мною доказательства этого коннотативного расширения денотативных названий детьми до возраста, в котором возникает самосознание, - и, следовательно, *до того самого состояния, которое требуется для концептуального мышления*, — я думаю, ошеломляющи. И я не вижу, как его место в моей аргументации может быть оспорено каким-либо оппонентом, кроме как ценой игнорирования моего различия между коннотацией как восприимчивой и концептуальной. Однако сделать это означало бы отказаться от всего его аргумента. Либо есть различие, либо его нет между коннотацией, которая является восприимчивой, и коннотацией, которая является концептуальной. Если нет различия, то все споры прекращаются: животное и человек - одно целое. Но я допускаю, что существует различие, и я признаю, что это различие находится там, где, как утверждают мои оппоненты, оно находится, а именно, в присутствии или отсутствии самосознания со стороны разума, который дает имя. Или, возвращаясь к моей собственной терминологии, это различие между обозначением и деноминацией.

Теперь, чтобы проанализировать это различие, стало необходимым провести дальнейшее различие между высшим уровнем восприятия идей, которого достигает любое существующее животное, и теми дальнейшими развитиями восприятия идей, которые демонстрирует растущий ребенок после того, как он расстается со всеми существующими животными, но до того, как он достигнет даже низшей стадии концептуального мышления — *т.е.* до зарождения самосознания. Это подчиненное различие я охарактеризовал терминами “низшие рекомендации” и “высшие рекомендации”. Я уже установил различие между “низшими

концепциями” и “высшими концепциями”, подразумевая под первыми концептуальное обозначение рецептов, а под последними аналогичное обозначение других концептов. Таким образом, были выделены в общей сложности четыре большие и последовательные территории: (1) низшие рекомендации, которые совпадают с психологией существующих животных, включая очень маленького ребенка; (2) Высшие рекомендации, которые занимают психологическую область между рекомендациями животных и первым проявлением самосознания у человека; (3) низшие концепции, которые связаны только с самосознательным наименованием рекомендаций; (4) высшие концепции, которые имеют дело с самосознательной классификацией других концепций, известных как таковые, и самосознательным наименованием таких идеальных интеграций, которые могут возникнуть в результате. отсюда.

Теперь, если все это верно в отношении наименования, очевидно, что это должно быть верно и в отношении суждения. Если существует стадия доконцептуального именованного (денотации), то должна также существовать стадия доконцептуального суждения, выражением которого является такое именование. Несомненно, строго говоря, термин "суждение" следует приберечь для обозначения концептуального мышления (деноминации); но, чтобы избежать неоправданного умножения терминов, я предпочитаю таким образом квалифицировать существующее слово "суждение". Действительно, такая практика уже существует среди психологов, которые говорят об "интуитивных суждениях" как о происходящих даже в актах восприятия. Следовательно, все, что я предлагаю сделать, — это учредить два дополнительных класса неконцептуальных суждений, а именно: низшие рецептивные и высшие рецептивные, или, более кратко, рецептивные и доконцептуальные. Если можно говорить об "интуитивном", "бессознательном" или "перцептивном" суждении (например, когда мы ошибочно принимаем полную чашу за сферу), то тем более мы можем говорить о рецептивном суждении (например, когда морская птица ныряет с высоты в воду, но не делает этого на суше) или о предконцептуальном суждении (например, когда маленький ребенок расширяет использование денотативного имени без какого-либо деноминационного представления). Таким образом, всего у нас есть четыре фазы формирования идей, к которым термин "суждение" может быть применен либо буквально, либо метафорически, а именно: перцептивная, рецептуальная, доконцептуальная, и концептуальная. Из них только последнее - это суждение, собственно так называемое. Поэтому я не утверждаю, что животное действительно судит, когда без какой-либо самосознательной мысли оно объединяет определенные воспоминания о своем прошлом опыте в форме рецептов и транслирует для нас результат своих размышлений посредством выполнения того, что м-р Майварт называет "практическими выводами". Я также не говорю, что животное действительно судит, когда, все еще не осознавая себя, оно учится правильно использовать денотативные названия. Более того, я бы отрицал, что животное действительно судит, даже если после того, как оно способно обозначать по отдельности два разных рецепта (как это делает говорящая птица), оно должно называть эти два рецепта одновременно, когда таким образом объединяется в акте "практического вывода". Хотя тогда было бы внешнее подобие пропозиции, мы не были бы строго правы, называя это пропозицией. Это действительно было бы *утверждением воспринимаемой истины*; но не утверждением истины, воспринимаемой как истинная.

Итак, если все это допустить в отношении животного — как это должно быть сделано любым человеком, отстаивающим свою позицию на способности истинного или концептуального суждения, — очевидно, это также должно быть признано и в отношении растущего ребенка.

Другими словами, если можно доказать, что ребенок способен сформулировать истину до того, как он сможет сформулировать истину как истинную, то тем самым будет доказано, что в психологической истории каждого человека сначала существует вид предикации, который требуется для работы с рецептивным знанием или для констатации воспринятых истин; и затем завершённое суждение, которое требуется для работы с концептуальным знанием или для констатации истин, воспринятых как истинные. Конечно, условием, необходимым для возведения этого низшего вида суждения и этого низшего вида предикации (если, ради удобства, мы согласны использовать эти термины) в высший или единственно истинный вид суждения и предикации, является появление самосознания. Или, другими словами, место, где простое утверждение истины впервые переходит в реальное предикирование истины, определяется местом, в котором впервые проявляется способность к интроспективной рефлексии. Таким образом, весь вопрос сводится к анализу самосознания. Поэтому к этому анализу мы и обратились в следующий раз.

Учитывая, что рассматриваемая способность встречается только у человека, очевидно, что только в случае человека можно получить какой-либо материал для ее анализа. Более того, как отмечалось ранее, в той мере, в какой это касается нашего анализа, мы имеем дело только с психологией самосознания: нас не интересует его философия. Теперь, с точки зрения психологии, никто, вероятно, не сможет оспорить, что рассматриваемая способность развивается постепенно; что в течение первых двух-трех лет растущего интеллекта человека вообще нет никаких следов какой-либо такой способности; что, когда она начинает зарождаться, человеческий разум уже намного опережает разум любого животного; но даже в этом случае он гораздо менее высокоразвит, чем ему суждено стать впоследствии; и что то же самое замечание применимо к самой способности самосознания. Более того, допустимо, что самосознание состоит в том, чтобы уделять внутренним, или психическим, процессам такое же внимание, какое обычно уделяется внешним, или физическим процессам, — хотя, конечно, степени, в которых может проявляться такое внимание, столь же различны в одном случае, как и в другом. Наконец, далее будет допущено, что в умах животных, как и в умах людей, существует мир образов, или рецептов; и что единственная причина, по которой в первом случае на эти образы не обращают внимания, если они не вызваны чувственной ассоциацией соответствующих объектов, заключается в том, что ум животного не способен покинуть почву такой чисто чувственной ассоциации, чтобы перейти в более высокую и разреженную область интроспективного мышления. Тем не менее, я доказал, что этот образный мир даже у животных проявляет определенную внутреннюю активность, которая не полностью зависит от чувственных ассоциаций, поступающих извне. Феномены "тоски по дому", тоски по отсутствующим друзьям, сновидения, галлюцинации и т. Д. Наглядно демонстрируют тот факт, что у наших более разумных домашних животных может иметь место внутренняя (хотя и непреднамеренная) игра идей, при которой один образ предполагает другой, этот другой и так далее, без необходимости в каких-либо непосредственных ассоциациях, получаемых от существующих объектов чувств. Более того, я указал, что восприятие идей такого рода не ограничивается образами чувственного восприятия, но в значительной степени связано с психическими состояниями других животных. Иными словами, логики рецептов, даже у животных, достаточно, чтобы позволить разуму устанавливать истинные аналогии между субъективными состояниями и соответствующими состояниями других разумных существ: животные привычно и точно интерпретируют ментальные состояния других животных, в то же время хорошо зная, что другие животные способны аналогичным образом интерпретировать их

собственные. Следовательно, далее следует признать, что разумные животные распознают мир выбрасываемых веществ, так же как и мир объектов: ментальное существование известно им на уровне выбрасывания, хотя, насколько я допускаю, они никогда не задумывались о нем субъективно. На этой стадии психической эволюции индивид — будь то животное или младенец — настолько осознает свою индивидуальность, что логика рецептов сообщает ему, что он единственный в своем роде, хотя, конечно, он не признает ни свою собственную, ни какую-либо другую индивидуальность как таковую.

Тем не менее, таким образом, возникает рудиментарная или зарождающаяся форма самосознания, которая вплоть до стадии развития, которой она достигает у животного или младенца, может быть названа рецептивным самосознанием; в то время как на более продвинутых стадиях, которые она представляет у маленьких детей, ее можно назвать доконцептуальным самосознанием. Доконцептуальное самосознание проявляется у всех детей после того, как они начинают говорить, но до того, как они начинают говорить о себе от первого лица или иным образом демонстрировать осознание своего собственного существования как такового. Позже, когда возникает истинное самосознание, ребенок, конечно, способен это сделать; и только тогда обеспечивается условие, *непременное* для размышления над своими собственными идеями — следовательно, для знания имен как имен и, следовательно, для утверждения истин как истинных. Но задолго до достижения этой стадии истинного или концептуального самосознания, на которой только и становится возможным истинное или концептуальное предикирование, ребенок, в силу своего доконцептуального самосознания, способен заявлять о своих желаниях и иным образом передавать свои идеи посредством доконцептуального предикирования. Я привел множество примеров этого предконцептуального предиката, которые убедительно доказали, что предконцептуальное самосознание, выражением которого оно является, представляет собой не что иное, как практическое признание "я" как активного и чувствующего агента, без какого-либо интроспективного признания этого "я" как объекта познания.

Итак, дана эта стадия ментальной эволюции и что за ней следует? Ребенок, подобно животному, благодаря своей логике рецепций снабжается миром образов, выступающих в качестве знаков внешних объектов; эзотерическим знанием о других разумах и тем видом осознания себя как активного, страдающего и ответственного агента, о котором только что говорилось. Но, помимо животного, ребенок теперь имеет в своем распоряжении гораздо более совершенный механизм создания знаков, который, как мы уже видели, обусловлен более высокой эволюцией его восприятия идей. Теперь среди содержания этого представления - лучшее понимание ментальных состояний других людей вместе со значительно возросшей способностью денотативного высказывания, благодаря чему ребенок способен рецептивно называть такие эмоциональные состояния, которые он таким образом рецептивно воспринимает. Они, следовательно, по отдельности получают соответствующие обозначения и, таким образом, приобретают ясность и точность как выталкивающие образы соответствующих состояний, переживаемых самим ребенком. "Мама рада видеть Додо" не имело бы никакого значения в устах ребенка, если бы ребенок не знал по своим собственным ощущениям, каково душевное состояние, которое он таким образом опрометчиво приписывает своей матери. Следовательно, мы обнаруживаем, что в том же возрасте ребенок также скажет "Додо доволен мамой". Теперь очевидно, что здесь мы приближаемся к самым границам истинного или концептуального самосознания. Ребенок, без сомнения, все еще говорит о себе объективной фразеологией; но он настолько продвинулся в интерпретации своих собственных душевных состояний, что дает

им четкие названия точно так же, как он давал бы названия любым внешним объектам чувственного восприятия. Таким образом, он способен фиксировать эти состояния перед своим ментальным взором как вещи, которые допускают обозначение словесными знаками, хотя до сих пор он никогда не думал ни о состояниях ума, ни о своих названиях для них как *таковых*, и, следовательно, еще не достиг способности к обозначению. Но интервал между денотатом и обозначением теперь стал настолько узким, что шаг от признания “Дронта” не только объектом, но и субъектом ментальных изменений становится легким и неизбежным. Простой факт прикрепления словесных знаков к ментальным состояниям приводит к фокусированию внимания на этих состояниях; и когда внимание таким образом фокусируется привычно, возникает единственное дополнительное условие, которое требуется, чтобы позволить уму, благодаря своей памяти о предыдущих состояниях, сравнивать свое прошлое с настоящим и, таким образом, достигать того понимания непрерывности между его собственными состояниями, в котором заключается полное интроспективное, или концептуальное, осознание себя.

Были описаны несколько второстепенных черт в эволюции этого концептуального самосознания от доконцептуального; но нет необходимости снова упоминать о них. Здесь было сказано достаточно, чтобы показать достаточные основания для выводов, установлению которых в основном была посвящена моя глава о “Самосознании”, а именно, что язык в такой же степени предшествует, как и является следствием самосознания; что предконцептуальная предикация указывает на предконцептуальное самосознание; и что из всего этого естественно и неизбежно возникают те высшие силы концептуальной предикации и концептуального самосознания, на которых мои оппоненты (игнорируя этапы, которые к ним приводят) пытались обосновать свое предполагаемое различие вида между животным и человеком.

Таким образом, в качестве общего результата всего проведенного до сих пор исследования мы можем сказать, что во всем диапазоне ментальных явлений мы обнаружили одно и то же различие между способностями ума как перцептивными, рецептивными и концептуальными. Восприятие, Рецепт и Концепция; Перцептивное суждение, Рецептивное суждение и Концептуальное суждение; Указание, Денотат и Обозначение; — все это проявления в различных областях психологического исследования одних и тех же психологических различий. И мы видели, что различие между Восприятием и Концепцией, которое, таким образом, пронизывает всю структуру ума, на самом деле является единственным различием, по поводу которого может быть какой-либо спор. Более того, мы видели, что различие во всех отношениях зависит от наличия или отсутствия самосознания. Наконец, мы видели, что даже в области самого самосознания можно проследить то же различие: существует форма самосознания, которую можно назвать рецептивной, а также та, которую можно назвать концептуальной. Таким образом, весь стоящий перед нами вопрос сводится к исследованию отношения между этими двумя формами самосознания: можно ли наблюдать, что одна из них непрерывно развивается с другой? Можем ли мы понять, что у растущего ребенка способности к восприятию самосознания, которые у него общие с животным, переходят медленными и естественными стадиями в те способности к концептуальному самосознанию, которые характерны для человека?

Этот вопрос был полностью рассмотрен в главе XI. Ранее я показал, что в том, что касается самой ранней, или ориентировочной, фазы развития языка, между младенцем и животным нельзя утверждать никакой разницы даже в степени. Я также показал, что нельзя утверждать о

каком-либо подобном различии и в отношении более ранних стадий следующих двух фаз, а именно денотативной и рецептивно-коннотативной. Более того, я показал, что нельзя утверждать о какой-либо разнице между этим низшим рецептивным высказыванием, которым ребенок делится с животным, и тем высшим рецептивным высказыванием, которое он развивает до появления самосознания. Наконец, я показал, что это более восприимчивое высказывание дает ребенку психологический инструмент, с помощью которого он проходит путь от просто восприимчивого к зарождающемуся концептуальному самосознанию. Таково положение дел, установленное моим предыдущим анализом, и я ставлю перед своими оппонентами следующую дилемму. Взяв пример с ребенком около двух лет, который способен сформулировать такое рудиментарное, коммуникативное или предконцептуальное предложение, как “Дит ки” (Сестра плачет), я поступил следующим образом.

“Дит” — это денотативное название одного рецепта, “ки” - денотативное название другого: объект и действие, которые эти два рецепта представляют по отдельности, случайно встречаются вместе перед наблюдением ребенка: следовательно, ребенок обозначает их одновременно *-т.е.* Приводит их в *соответствие*. Сопоставление в сознании этих двух рецептов с их соответствующими обозначениями, таким образом, осуществляется *для* ребенка логикой событий: это не осуществляется *самим* ребенком путем какой-либо преднамеренной или самосознательной группировки его идей, которая, как мы видели, является отличительной чертой логики понятий. Итак, здесь возникает дилемма. Ибо я говорю, что либо у вас здесь есть концептуальное суждение, либо у вас его нет. Если вы говорите, что это концептуальное суждение, вы разрушаете основу вашего собственного различия между человеком и животным, потому что тогда вы должны также сказать, что животные судят концептуально - ребенок еще не достиг концептуального самосознания. Если, с другой стороны, вы скажете, что здесь у вас нет концептуального суждения, поскольку у вас нет самосознания, я спрошу, на какой стадии последующего развития интеллекта ребенка, по вашему мнению, возникает концептуальное суждение. Если вы ответите, что это впервые возникает, когда концептуальное самосознание впервые обеспечивает условие для его возникновения, я должен отсылать вас к уже приведенному доказательству того, что возникновение самосознания само по себе является постепенным процессом, предшествующие условия которого обеспечиваются далеко внизу, в ряду животных. Но если это так, то там, где способность констатировать воспринимаемую истину переходит в более высокую способность воспринимать истину как истинную, существует непрерывный ряд градаций, соединяющих одну способность с другой. До того момента, когда начинается этот непрерывный ряд градаций, разум ребенка, как я уже доказал, неотличим от разума животного ни по одному из принципов психологии. Будете ли вы, в таком случае, утверждать, что до настоящего времени два порядка психического существования идентичны по своему характеру, но что во время своего восхождения через этот последний ряд градаций человеческий интеллект становится отличным по своему характеру от интеллекта животных, и *следовательно, также от своего собственного предыдущего "я"*? Если это так, то ваш аргумент здесь заканчивается противоречием.

В подтверждение этого моего общего аргумента затем были добавлены два дополнительных соображения. Первое заключалось в том, что, хотя продвижение к истинному самосознанию с более низких ступеней умственного развития, без сомнения, является очень важным делом, все же оно не настолько велико и важно по сравнению с тем, чем этому развитию впоследствии суждено стать, чтобы заставить нас почувствовать, что оно составляет какое-либо различие *sui generis* — или даже, возможно, принципиальное различие — между человеком и животным. Ибо

даже когда самосознание действительно возникает и становится довольно хорошо развитым, силы человеческого разума все еще находятся в почти инфантильном состоянии. Другими словами, первое зарождение истинного самосознания знаменует собой сравнительно низкий уровень в эволюции человеческого разума — как и следовало ожидать, если его зарождение зависит от тех предшествующих условий в чисто животной психологии, к которым я его отнес, и, следовательно, лежит так близко к ним. Но, если это так, не следует ли из этого, что, как бы ни было впоследствии велико значение самосознания в развитии специфически человеческого мышления само по себе или в его первом зачатке, оно не предвещает какого-либо очень заметного прогресса в тех способностях предконцептуального мышления, за которыми оно непосредственно следует? Таким образом, показано, что существует еще меньше оснований рассматривать первое появление концептуального самосознания как знак психологического различия определенного рода, чем было бы так же рассматривать появление тех более высоких способностей к концептуальному мышлению, которые впоследствии — хотя и столь же постепенно — проявляются между ранним детством и юностью. Однако до сих пор никто не осмеливался предположить, что интеллект ребенка и юноши демонстрируют своеобразную разницу.

Второе дополнительное соображение, которое я привел, заключалось в том, что даже в случае полностью развитого самосознательного интеллекта как рецептивное, так и предконцептуальное мышление продолжают играть важную роль. Подавляющее большинство наших вербальных высказываний составлено для практических целей общения или без того, чтобы ум останавливался на обдумывании высказываний в свете самосознания. Несомненно, во многих случаях или в тех, где речь идет о крайне абстрактном мышлении, эта независимость двух способностей скорее кажущаяся, чем реальная: она возникает из-за того, что каждая из них претерпела такую большую доработку при содействии другой, что обе теперь обладают большим объемом организованного материала, с которым можно оперировать, не требуя, когда бы они ни применялись, выстраивать структуру этого материала *ab initio*. Когда я говорю “Тепло — это способ движения”, я использую то, что сейчас для меня является простым словесным знаком, выражающим внешний факт: мне не требуется проверять мои собственные идеи относительно абстрактного отношения, которое устанавливает это предложение, хотя для первоначального постижения этих идей мне пришлось приложить много сложных усилий концептуального мышления. Но хотя я считаю это истинным объяснением кажущейся независимости предикации и интроспекции во всех случаях крайне абстрактного мышления, я убежден, на основании приведенных адекватных причин, что во всех случаях, когда речь идет о тех низших порядках мышления, которые я так часто называл рецептивными и предконцептуальными, независимость не только очевидна, но и реальна. Итак, если основания, которые я привел для этого вывода, адекватны — а это основания, одобренные Миллем, — то из этого следует, что представление, о котором идет речь в обычной предикации, становится настолько тесно связанным с тем, что выражается на более низких уровнях создания знаков, что даже если бы связующие звенья не были предоставлены растущим ребенком, никто не был бы оправдан, исходя только из психологических соображений, в утверждении о какой-либо разнице между одним уровнем и другим. Целью любого создания знаков является коммуникация, и из нашего изучения низших животных мы знаем, что коммуникация в первую очередь имеет дело исключительно с рецептами, в то время как из нашего изучения растущего ребенка мы знаем, что именно знаки, используемые при передаче рецептов, в первую очередь приводят к формированию понятий. Ибо концепции — это, прежде всего, именуемые рецептами,

известные как таковые; и в предыдущих главах мы видели, что этот вид знания (*т.е.* имен как имен) становится возможным благодаря интроспекции, которая, в свою очередь, достигается путем обозначения себя как действующего лица. Но даже после того, как сила концептуального самоанализа полностью достигнута, от него не всегда предъявляется требование передавать только воспринимаемое знание; и, следовательно, не каждое предложение требует интроспективного созерцания как таковое, прежде чем оно может быть сделано. Учитывая силу денотативной номинации, с одной стороны, и силу даже самой низкой степени коннотативной номинации, с другой, создаются все условия для формирования неконцептуальных утверждений, которые отличаются от истинных пропозиций только тем, что сами по себе не становятся объектами мышления. И единственная разница между таким утверждением, сделанным маленьким ребенком, и тем же утверждением, сделанным аналогичным образом взрослым человеком, заключается в том, что в первом случае оно даже *потенциально* не способно само по себе стать объектом размышления.

Завершив таким образом исследование в том, что касается сравнительной психологии, я обратился к этому предмету в независимом свете сравнительной филологии. Принимая во внимание, что до сих пор мы имели дело с тем, что на основании одного только психологического анализа мы могли бы с уверенностью заключить как ведущие фазы в развитии специфически человеческого мышления, теперь мы обратились к той огромной массе прямых свидетельств, которые предоставляет языковая летопись и, по общему признанию, представляют собой своего рода непреднамеренную запись доисторического прогресса этого мышления.

Первым великим достижением сравнительной филологии было то, что она убедительно продемонстрировала, что язык в том виде, в каком он существует сейчас, не появлялся готовым или посредством какой-либо специально созданной интуиции. Сравнительная филология предоставила исчерпывающее доказательство того факта, что язык, каким мы его сейчас знаем, был результатом постепенной эволюции. Поэтому в главе “Сравнительная филология” я вкратце проследил принципы развития языка, насколько они сейчас хорошо признаны всеми филологами. В качестве классификации было показано, что тысяча или более существующих языков распадаются примерно на сто семейств, все члены каждого семейства являются более или менее близкими родственниками, в то время как члены разных семейств не представляют доказательств генетического родства. Тем не менее, эти семейства допускают, что их объединяют в более крупные группы или “порядки” в соответствии с определенными характеристиками структуры или типа, которые они представляют. Из этих типов все филологи единодушны в различении Изолирующих, Агглютинирующих и флективных. Некоторые филологи проводят аналогичное различие между ними и полисинтетическим, в то время как все согласны с тем, что от агглютинативного произошел Инкорпорирующий тип, а от флективного - аналитический.

Переходя от классификации к филогении, мы должны были рассмотреть вопрос о генетическом родстве между тремя основными порядками, *inter se*, а также между Полисинтетическим типом и Агглютинирующим. Было показано, что противоречие авторитетных мнений по этому вопросу не имеет отношения к предмету данного трактата, кроме подчеркивания доктрины полифлективного происхождения языка — представляется вероятным, что, рассматриваемые как типы, и изолирующий, и полисинтетический одинаково архаичны или, во всяком случае, что они развивались одинаково независимо. В этой связи я привел гипотезу

доктора Хейла о том, что многие, по-видимому, независимые языки, на которых говорят различные туземные племена Нового Света, могли возникнуть в значительной степени благодаря изобретениям случайно изолированных детей. Любопытная корреляция между множеством независимых языков и районами, благоприятствующими жизни незащищенных детей — как в Африке, так и в Америке, — казалось, подтверждала эту гипотезу; в то же время были приведены веские доказательства того, что дети, если их часто оставлять в одиночестве, действительно изобретают для себя языки, которые мало или совсем не похожи на языки их родителей.

Не пересказывая всего, что было сказано о фазах и причинах лингвистической эволюции по различным линиям ее происхождения, будет достаточно напомнить читателю, что в каждом случае результат филологического исследования здесь один и тот же, а именно, обнаружить, что языки упрощаются по своей структуре по мере того, как они прослеживаются в обратном направлении, пока мы не достигнем их так называемых “корней”. Иногда их представляют как таинственные первоосновы языка или даже как аборигенные *данные*, происхождение которых необъяснимо. Однако на самом деле эти корни являются не чем иным, как конечными результатами филологического анализа: ни в каком другом смысле, кроме этого, их нельзя считать “первичными”. Таким образом, видя, что эти корни представляют материал языка вплоть до того места, где эволюция языка больше не поддается четкому отслеживанию, становится очевидным, что их предшественники, какими бы они ни были, неизбежно лежат за пределами досягаемости филологической демонстрации, в отличие от филологического вывода. Это, конечно, то, что эволюционист знает заранее, *должно иметь место где-то* в ходе любого исследования, касающегося процесса эволюции, где бы у него ни была возможность проследить его. Ибо чем дальше он способен это проследить, тем ближе он должен подходить к месту, где сам материал, который он исследует, взял свое начало; и поскольку именно этот материал сам по себе является доказательством эволюции, то, когда он был прослежен до своего собственного источника, исследование достигает точки схода. Используя обычную иллюстрацию дерева, мы могли бы сказать, что когда филолог проследил развитие листьев из веточек, веточек из ветвей, ветвей из стеблей и стеблей из корней, он предоставил эволюционисту все доказательства эволюции, которые в данном конкретном направлении исследования были ранее возможны. Зародыш идеи, из которого развились корни, очевидно, должен находиться вне досягаемости филолога как такового; и если мы хотим пролить какой-либо свет на природу этого зародыша или если мы хотим получить какие-либо доказательства стадий, на которых зародыш дал начало корням, это должно быть сделано с помощью каких-либо других направлений исследования, обнаруживающих сходные зародыши, дающие начало подобным продуктам в других местах. В данном случае единственное место, где мы можем искать такие параллельные процессы эволюции, - это случай с растущим ребенком, который я уже рассматривал.

Таким образом, здесь мы сталкиваемся с точно таким же различием в отношении происхождения языка, как и в начале этого трактата в отношении происхождения человека. Ибо мы там увидели, что, хотя у нас есть самое убедительное историческое доказательство того, что принципы эволюции управляли прогрессом цивилизации, у нас нет такого прямого доказательства происхождения человека от жестоких предков. И здесь мы также обнаруживаем, что до тех пор, пока свет филологии способен направлять нас, не может быть

никаких сомнений в том, что принципы эволюции определяли постепенное развитие языков способом, строго аналогичным тому, каким они определяли постоянно возрастающее утончение и сложность социальных организаций. Теперь, в последнем случае мы увидели, что такое прямое свидетельство эволюции от низших к высшим уровням культуры делает почти несомненным, что метод должен был распространиться назад за пределы исторического периода; и, следовательно, такое прямое свидетельство эволюции, равномерно пронизывающей исторический период, само по себе дает сильное *первичное* предположение, что этот период сам по себе был достигнут посредством столь же постепенного развития человеческих способностей. Точно так же обстоит дело и в случае с языком. Если филология способна доказать факт эволюции всех известных языков вплоть до примитивных корней, из которых они по отдельности выросли, становится чрезвычайно убедительным предположение, что эти самые ранние и простейшие элементы, как и их более поздние и более сложные продукты, были результатом естественного роста. Или, выражаясь словами, уже процитированными у Гейгера, мы не можем удержаться от вывода, что языка, должно быть, когда-то вообще не существовало. Тем не менее, важно проводить различие между доказанным фактом и спекулятивным выводом, каким бы убедительным он ни был; и поэтому я начал с изложения стадий эволюции, через которые, как теперь известно, прошли языки, начиная со стадии зарождения корня и выше. Сделав это, я перешел к рассмотрению вопроса, касающегося происхождения самих этих корней.

Во-первых, что касается их количества, мы обнаружили, что внешняя оценка на заре филологических исследований давала тысячу как справедливое среднее число корней, питающих любой живой язык; но теперь эту оценку можно безопасно уменьшить на три четверти. Действительно, в своей последней работе профессор Макс Мюллер утверждает, что сократил число корней санскрита до 121, и считает, что даже это чрезмерно. Что касается характера корней, мы видели, что некоторые филологи рассматривают их как настоящие слова, которые использовались доисторическими носителями языка, которые, следовательно, “говорили друг с другом односложно, указывая на идеи первостепенной важности, но не имея никакого обозначения своих отношений”. [335] С другой стороны, в настоящее время общепринято считать, что “корни — это фонетические и значимые типы, обнаруженные филологом-сравнителем как общие для группы родственных слов”, [336] — или, так сказать, составные фонограммы семейств слов, давно вымерших как отдельные особи. Мы видели, однако, что это различие во мнениях филологов не влияет на настоящее исследование, поскольку даже теория фонетического типа не ставит под сомнение тот факт, что неизвестные слова, из состава которых сейчас извлекается корень, должны были быть генетически связаны друг с другом и демонстрировать близость их родства по близкому сходству их звуков.

Гораздо более важным вопросом для нас является характер этих корней с точки зрения их значения. В этой связи мы обнаружили, что они указывают на то, что профессор Макс Мюллер называет “общими идеями” или “концепциями”; свидетельствуют об уже и, сравнительно говоря, продвинутой стадии социальной культуры; все они выражают либо действия, либо состояния; и не обнаруживают признаков подражательного происхождения. Рассматривая каждый из этих иероглифов в отдельности, мы обнаружили, что, хотя все 121 корень санскрита выражают общие идеи, порядок общности настолько низок, что по большей части относится к тому, что я ранее назвал “низшими концепциями”, или “названными рецептами”. Далее, что все они несут в себе внутреннее свидетельство их собственного сравнительно недавнего происхождения и, следовательно, являются “примитивными” только в том смысле, что

представляют собой последний результат филологического анализа: они, безусловно, очень далеки от примитивности в смысле исконности. Опять же, было показано, что все они имеют природу глаголов, что легко объяснимо; и, наконец, тот факт, что ни один из них не выдает какого-либо источника подражания, не вызывает удивления, даже если предположить, что звукоподражание в значительной степени вошло в состав речи аборигенов. Ибо, с одной стороны, мы видели, что в борьбе за существование среди аборигенных и ранних слов только те могли иметь какие-то шансы на выживание - т.е. оставить потомство, — которые достигли некоторой степени коннотативного расширения или “общности”; и, с другой стороны, что для этого звукоподражательное слово должно было сначала утратить свое звукоподражательное значение. В поддержку звукоподражательной теории было приведено большое количество доказательств, и некоторые возражения, которые были выдвинуты против нее, были, я думаю, тщательно опровергнуты. Позже, однако, мы увидели, что вопрос о том, в какой степени звукоподражание вошло в конструкцию речи аборигенов, на самом деле представляет для эволюциониста второстепенный интерес. Были ли в первом случае все слова чисто произвольными, все подражательные, или какие-то произвольные и какие-то подражательные, - в любом случае ход их последующей эволюции был бы тем же самым. Благодаря коннотативному расширению в расходящихся линиях значения в этих линиях постепенно умножались бы на протяжении всего потомства постоянно множась термины - точно так же, как мы обнаруживаем это в “детском лепете”, и как филологи убедительно доказали, что это имеет место при развитии языков в целом.

Эволюционист заранее ожидал, что речь с самого начала должна была касаться наименования общих идей, или высших рецептов, а также конкретных объектов чувств. Следует помнить, что тип классификации, с которым связаны рецепты, наиболее близок к автоматическим группировкам чувственного восприятия: он зависит от отсутствия какой-либо аналитической способности различать менее заметные точки различия среди более заметных точек сходства - или несущественные аналогии среди существенных аналогий, с которыми они часто ассоциируются в опыте. С другой стороны, тип классификации, с которой связаны понятия, наиболее далек от автоматических группировок чувственного восприятия: он зависит от способности аналитически различать существенное и несущественное среди сходств, которые встречаются связанными друг с другом в опыте. Классификация, несомненно, присутствует в обоих случаях; но в первом она обусловлена очевидностью аналогий, в то время как в другом она обусловлена ментальным разделением аналогий как очевидных, так и реальных. Или же, в одном случае это происходит из-за постоянства ассоциаций в опыте с объектами, атрибутами, действиями и т.д., классифицированными; в то время как в другом случае это происходит из-за сознательного игнорирования такой ассоциации.

Теперь, если мы помним эти вещи, мы больше не можем удивляться тому, что палеонтология речи доказывает, что ранние корни были выражением “родовых” идей, в отличие от “общих” идей. Наименования действий и процессов, столь привычных или столь непосредственно очевидных для восприятия, как те, к которым относятся “121 понятие”, приведенные в таблице профессора Макса Мюллера, не указывают на уровень мышления, намного превышающий предконцептуальный, в силу которого маленький ребенок способен выразить свою высшую восприимчивую жизнь до появления самосознания. В свете этих соображений меня удивляет только то, что 121 корневое слово не представляет *лучшего* свидетельства концептуального мышления. Это, однако, лишь показывает, насколько сравнительно малую роль играла самосознательная рефлексия в практической жизни древнего человека, даже когда он был так

далек от действительно “примитивного” состояния до сих пор бессловесного человека, каким было состояние пастушеского народа, оставившего эту летопись идей в корнях арийской речи.

Объяснив таким образом отсутствие слов, обозначающих “особые идеи”, среди корней существующего языка, а также общий характер тех, которым борьба за существование позволила дойти до нас, мы перешли к рассмотрению различных других подтверждений нашего предыдущего анализа, которые дает наука филология. Во—первых, мы увидели, что эта наука определенно доказала два общих факта относительно роста предикации, а именно, что во всех все еще существующих коренных языках нет различия между существительным, прилагательным, глаголом или частицей; и что структура всех других языков показывает, что это было примитивным состоянием языковой структуры в целом: “каждое существительное и каждый глагол изначально были сами по себе законченным предложением”, состоящим из подлежащего и сказуемого, слитых в одно - или, скорее, скажем, еще не дифференцированных *надве*, а тем более на *три* части, которые сейчас составляют полностью развитую структуру предложения. Итак, эта форма предикации является “сжатой” только потому, что она неразвита; это недифференцированная протоплазма предикации, в которой “частей речи” еще нет. И точно так же, как эта, самая ранняя стадия предикации, отличается от доконцептуальной стадии формирования идей у ребенка, так и от доконцептуального формирования идей у расы. Таким образом, было предоставлено множество свидетельств постепенной эволюции предикативного высказывания, *наравне* с концептуальным мышлением — свидетельств, которые пронизывают всю основу каждого языка, на котором сейчас говорит человек. В частности, мы увидели, что местоимения изначально были словами, указывающими на пространственные отношения и сильно наводящими на мысль о сопутствующих актах указания — “Я” эквивалентно “этому”, “Он” - “тому” и т. Д. Более того, подобно тому, как маленький ребенок начинает говорить о себе в третьем лице, так и “Человек рассматривал себя как объект до того, как научился рассматривать себя как субъект”, [337] это подтверждается тем фактом, что “объективные падежи личных, а также других местоимений всегда старше субъективных”. [338] Местоименные элементы впоследствии стали прикрепляться к существительным и глаголам, когда их начали отличать друг от друга; и, таким образом, с помощью этих элементов были представлены различные применения примитивного и очень обобщенного существительного или глагола, которые, как допускает даже профессор Макс Мюллер, “следует рассматривать как остатки самой ранней и почти пантомимической фазы языка, в которой язык едва ли это было то, что мы подразумеваем под языком, а именно *логос*, собрание, а только указание”. Аналогичным образом профессор Сэйс отмечает эту стадию в эволюции предикативного высказывания, которая, следует заметить, в точности аналогична той, на которой находится маленький ребенок, чьи слова в высшей степени обобщенного характера требуют подкрепления жестами— “Несомненно, что в истории речи было время, когда членораздельные или полууставные звуки, произносимые первобытным человеком, были значимыми репрезентациями мысли с помощью жестов, которыми они сопровождались: и этот комплекс звука и жеста — комплекс, в котором, следует помнить, звук не имел значения отдельно от жеста — был самым ранним предложением”. Таким образом, “грамматика выросла из жестов” — различные части речи с последующим возникновением склонения, спряжения и т. Д., Которые во многих случаях были порождениями жестикуляции: но когда впоследствии эпохи родительница была поглощена этим юным потомством, они продолжали развиваться независимо, в более или менее различных направлениях языкового развития.

Например, у нас есть множество доказательств того, что даже после того, как членораздельный язык приобрел прочную основу, не было различия ни между именительным и родительным падежами существительных, ни между ними и прилагательными, ни даже между какими-либо словами как подлежащими, так и сказуемыми. Все эти три грамматических отношения должны были быть выражены одним и тем же способом, а именно простым сочетанием самих обобщенных терминов. С течением времени, однако, эти три грамматических различия были осуществлены путем обычных изменений положения между употребляемыми словами, в некоторых случаях формой предикации была А В, а формой атрибуции или владения - В А, в то время как в других отраслях языкового развития сложился обратный порядок. В конце концов, однако, “эти примитивные приспособления для различения сказуемого, атрибута и родительного падежа, когда эти три идеи веками развивались в сознании говорящего, постепенно уступили место более позднему и более утонченному механизму суффиксов, вспомогательных слов и тому подобного”. [339]

То же самое происходит и со всеми другими так называемыми “частями речи” в тех языках, которые, выйдя за пределы примитивной стадии, вообще развили части речи. “Это самые общие очертания процесса, посредством которого были определены концептуальные корни, благодаря которому они попали под влияние категорий — стали существительными, прилагательными, наречиями и глаголами или любыми другими именами, которыми можно описать полученные таким образом результаты. Мельчайшие детали этого процесса и полученные с его помощью удивительные результаты могут быть изучены в грамматике любого языка или языковой семьи”. [340] Таким образом, филология способна поэтапно проследить форму предикации в том виде, в каком она встречается в наиболее высокоразвитом, или флективном, языке, до той самой ранней стадии языка в целом, которую я назвал изъяснительной.

Поскольку были приведены ссылки на многие другие авторитетные источники в поддержку этих общих утверждений, а также с целью более детального отслеживания эволюции предикативного высказывания, я перешел к иллюстрациям различных фаз его развития в все еще существующих языках дикарей; и таким образом доказал, что они, не в меньшей степени, чем первобытный человек, неспособны “дать чистую форму суждения” или представить то, что мои оппоненты считают критерием человеческих способностей. Следовательно, единственная политика, которая, возможно, может остаться для этих оппонентов, - это отказ от своей аристотелевской позиции: больше не занимать свою позицию на основаниях *чистоформальной* предикации, как это было развито в индоевропейской языковой ветви; но полностью на основаниях *материальной* предикации, или, как я могу сказать, на значении или субстанции суждения, в отличие от его грамматики или акциденций.

Другими словами, возможно, все еще можно утверждать, что, хотя вопрос теперь перенесен с “пустой формы” предикации, на которую до сих пор опирались мои оппоненты, на непреложный факт самой предикации, этот непреложный факт все еще остается. Хотя я показал, что в отсутствие каких—либо частей речи предикация требует проведения самым неэффективным образом, все же можно сказать, что предикация проводится и *должна* проводиться - ибо, несомненно, речь вообще могла существовать только для того, чтобы ее проводить.

Итак, я показал, что если мои оппоненты не примут это изменение позиции, их аргументации придет конец. Ибо я доказал, что после всех приведенных выше доказательств больше нет

никакой возможности подвергнуть сомнению непрерывность роста между предикативным зародышем в предложении-слове и полностью развитой структурой формального предложения. Но, с другой стороны, затем я показал, что это изменение позиции, даже если бы оно было сделано, не принесло бы никакой пользы. Ибо, если термин “предикация” таким образом распространить на “слово-предложение”, он тем самым лишается того отличительного значения, на котором единственно строится вся аргументация моих противников: признается, что нет различия между говорением и указанием: предикативная фаза языка отождествляется с указательной: человек и животное признаются “братьями”. Иными словами, если утверждать, что указательные признаки младенца или первобытного человека являются предикативными, то не может быть и тени причины для отказа от этого обозначения указательных признаков низших животных. С другой стороны, если отказать в применении этого термина к обоим, то его применение к разговорному языку в его полностью развитой форме следует понимать как обозначающее лишь разницу в фазе или степени, учитывая, что теперь полностью доказано, что один порядок создания знаков является всего лишь генетическим и улучшенным потомком другого. Короче говоря, истина, очевидно, заключается в том, что мы имеем *доказанную непрерывность развития между всеми стадиями способности создавать знаки*; и, следовательно, было показано, что любая попытка провести между одной и другой из них какое-либо различие невозможна.

Выводы, сделанные таким образом в конце главы XIV. в отношении филологии предикации были значительно усилены дополнительными фактами, которые были немедленно приведены в следующей главе, касающейся филологии понятия. Здесь цель состояла в том, чтобы пролить независимый филологический свет на вопрос, который уже рассматривался как вопрос психологии, а именно на переход рецептивного обозначения в концептуальное обозначение. Это момент, который ранее рассматривался только применительно к личности: теперь его нужно было рассматривать применительно к расе.

Сначала было показано, что из-за того, что маленький ребенок окружен уже построенной грамматикой предикативных форм, более ранние фазы эволюции речи значительно укорачиваются в онтогенезе человечества по сравнению с тем, какими, как показывает изучение языка, они были в филогенезе. Жестовые знаки быстро истощаются, когда современный ребенок впервые начинает говорить и, таким образом, осваивает использование грамматических форм. Но древний человек был вынужден разрабатывать свою грамматику на основе своих жестовых знаков - и это в то же самое время, когда он также придумывал свои предложения-слова. Следовательно, хотя усвоение имен и форм речи инфантильным человеком, должно быть, зависело в основном от жестов и гримас, это усвоение инфантильным ребенком активно враждебно обоим.

Далее мы увидели, что филологическая доктрина “предложений-слов” пролила значительный дополнительный свет на мое психологическое различие между идеями как общими и дженерическими. Ибо слово-предложение есть выражение идеи, до сих пор *обобщенной*, то есть *недифференцированной*. Такая идея, как мы теперь знаем, является антиподом мысли, возникшей благодаря тому, что называется *обобщением*, то есть концептуальным синтезом результатов предыдущего анализа. И доктрина предложений-слов признает огромный

исторический интервал (соответствующий огромному психологическому интервалу) между родовым и общим порядками формирования идей.

Опять же, мы увидели, что во всех существенных деталях семиотическая конструкция этого наиболее примитивного способа членораздельной коммуникации, сохранившегося в археологии разговорного языка, имеет точное сходство с тем, что имеет место в естественном языке жестов. Как мы видели, “язык жестов не имеет грамматики в собственном смысле этого слова”; и мы проследили в значительных деталях аналогии — столь необычайно многочисленные и точные — между формами предложений, которые сейчас проявляются в жестах, и теми, которые впервые появились на заре речи. Другими словами, самое раннее свидетельство, которое может дать речь о природе своего собственного происхождения, ясно показывает нам, что это происхождение возникло из еще более примитивного языка интонации и жестов. Ибо это единственное доступное объяснение их близкого семейного сходства в вопросе синтаксиса.

Более того, мы видели, что в языке жестов, как и в формах примитивной речи, ныне сохранившихся в виде корней, целям предикации в значительной степени способствует простое добавление денотативных терминов. Обобщенный термин такого рода (который пока еще не является ни существительным, ни прилагательным, ни глаголом), будучи поставлен в соответствие с другим термином того же рода, служит для передачи идеи взаимосвязи между ними или для того, чтобы выразить что-то об одном посредством другого. Однако приложение такого рода не обязательно предполагает по-настоящему концептуальную мысль. Как мы уже видели, законов чисто чувственной ассоциации достаточно, чтобы гарантировать, что, когда объекты, качества или события, которые обозначаются терминами по отдельности, случайно встречаются в Природе вместе, они *должны* быть, таким образом, приведены разумом в соответствующее соответствие: именно логика событий неизбежно направляет такое предконцептуальное высказывание в утверждение воспринимаемой истины: истина *принимается* разумом, а не *постигается* им. И очевидно, как повторяющиеся утверждения об истине, переданные таким образом в процессе восприятия идей, ведут к концептуальному представлению или утверждениям об истине как истинности.

Итак, если все это имело место, то очевидно, что слова аборигенов могли относиться только к предметам, имеющим чисто рецептивное значение, — *т.е.* “к тем физическим действиям и качествам, которые непосредственно воспринимаются органами чувств”. Соответственно, мы находим во всех самых ранних корневых словах, которые обнаружила филологическая наука, неоспоримые свидетельства “фундаментальной метафоры” или концептуального расширения терминов, которые ранее имели не более чем рецептивное значение. Действительно, как говорит профессор Уитни, “это настолько всеобъемлюще, что мы никогда не считаем себя прочитавшими историю какого-либо интеллектуального или морального термина, пока не проследим его до его физического происхождения”. Не повторяя всего, что я недавно сказал по этому поводу, будет достаточно еще раз настоять на общих выводах, к которым это привело, а именно: психологический анализ уже показал нам психологический приоритет рецепта; и теперь филологическое исследование самым поразительным образом подтверждает этот анализ, фактически находя рецепт в теле каждого понятия.

Наконец, я сделал краткий обзор языков, на которых в настоящее время говорят многие широко разделенные расы дикарей, чтобы показать крайний недостаток концептуального мышления, который представлен таким образом. В результате мы увидели, что то, что архидьякон Фаррар называет “безнадежной бедностью силы абстракции”, настолько удивительно, что самый ярый эволюционист не смог бы пожелать более значительного посредника между доконцептуальным интеллектом *Homo alalus* и концептуальным мышлением *Homo sapiens*.

Завершив таким образом филологию нашего предмета, я перешел в последней главе к рассмотрению возможных этапов перехода от рецептивного мышления к концептуальному у представителей расы.

Сначала я рассмотрел точку зрения, выдвинутую по этому поводу некоторыми немецкими филологами, согласно которой речь возникает из совершенно бессмысленных звуков, которые в первую очередь обусловлены чисто физиологическими условиями. Предполагается, что благодаря повторяющейся ассоциации с обстоятельствами, при которых они были произнесены, эти членораздельные звуки приобрели, так сказать, автоматически семиотическую ценность. Ответ на эту гипотезу, однако, очевидно, состоит в том, что она игнорирует всю проблему, которая требует решения, а именно, происхождение тех способностей мышления, которые впервые придали смысл ранее незначимым звукам. Иными словами, это порождает весь вопрос, требующий решения, и, следовательно, не дает никакого объяснения тому различию, которое возникло между человеком и животным. Тем не менее, принципы, изложенные в этом максимально возможном расширении так называемой теории междометий, я полагаю, сами по себе достаточно здравы: неверна только посылка, из которой в данном случае они исходят. Эта предпосылка состоит в том, что у аборигенов не было зачатков способности создавать знаки, и, следовательно, сама эта способность должна была быть создана *de novo* путем случайных ассоциаций звуков с вещами. Но на самом деле мы видели, что это, должно быть, было очень далеко от истины; и поэтому, признавая такие элементы истины, которые представляет рассматриваемая “чисто физиологическая” гипотеза, я отверг ее как саму по себе даже не приближающуюся к полному объяснению происхождения речи.

Затем я обратился к гипотезе, кратко изложенной мистером Дарвином. Исходя из того, как указывает Гейгер, что предположительно превосходящее чувство зрения, фиксирующее внимание на движениях рта при создании звуковых знаков, должно было дать нашим обезьяноподобным предкам преимущество перед другими видами четвероруких в том, что касается ассоциации звуков с воспринимаемыми идеями; затем мы попытались представить человекообразную обезьяну с социальными привычками, проницательным умом и привыкшую широко использовать свой голос как орган для создания знаков, в манере социальных четвероруких в целом. Такое животное вполне могло дистанцироваться от всех остальных в том, что касается подачи знаков, и даже продвинуться достаточно далеко, чтобы использовать звуки в сочетании с жестами, как “слова-предложения” — т.е. Как указание на такие в высшей степени обобщенные сигналы, как присутствие опасности и т. Д., - Даже если оно не доходило до произнесения обозначающих звуков на манер говорящих птиц. Более того, как указал м-р Дарвин, существует большая вероятность того, что этот обезьяноподобный предок человечества привык использовать свой голос в музыкальных ритмах, “как это делают некоторые из гиббообразных обезьян в наши дни”; и эта привычка могла заложить основу для того семиотического прерывания вокальных звуков, в котором заключается суть артикуляции.

Однако моя собственная теория на этот счет немного отличается от этой. Ибо, принимая все, что составляет суть предположения мистера Дарвина, я думаю, что почти наверняка способность к членораздельному созданию знаков была продуктом гораздо более поздней эволюции, так что существо, впервые проявившее эту способность, должно было уже быть скорее человеком, чем “обезьяноподобным”. Этот *Homo alalus* действительно предстает перед мысленным взором как почти жестокий объект; и все же он держится прямо, обтесывает кремни, чтобы они служили инструментами и оружием, живет племенами или обществами и в немалой степени способен передавать логику своих рецептов с помощью жестов, мимики и интонации голоса. Исходя из такого происхождения, последующую эволюцию способности к созданию знаков в направлении членораздельных звуков было бы еще легче представить, чем это было при предыдущей гипотезе. Проследив вероятный ход этой эволюции с помощью различных аналогий; и остановившись на замечательном значении в этой связи нечленораздельных звуков, которые все еще сохранились в виде так называемых “щелчков” в низкообразованных языках Африки; я перешел к детализации различных соображений, которые, казалось, делали вероятным длительное существование рассматриваемого воображаемого существа, - проследил предполагаемые фазы его последующей эволюции и встретил возражение, которое могло быть выдвинуто на счет того, что *Homo alalus* является *Homo postulatus*.

В заключение, однако, я указал, что какой бы ни была истина относительно времени возникновения способности к артикуляции, ход ментальной эволюции после того, как она возникла, должен был быть таким же. Не повторяя снованабросок, который я дал о том, каким должен был быть этот курс, будет достаточно сказать в самых общих чертах, что, по моему мнению, он начался со слов-предложений в сочетании со знаками-жестами; что они действовали и реагировали друг на друга, приводя к более высокому развитию обоих; что денотативные имена, по большей части звукоподражательного происхождения, быстро подверглись коннотативному расширению; что из-за частого и обязательного использования в приложении возникли зарождающиеся предикации; что в более поздние времена они дали начало грамматическим различиям между прилагательными и родительный падеж, с одной стороны, и предикативные слова, с другой; что аналогично жестовые знаки были в значительной степени связаны с происхождением других грамматических форм, особенно местоименных элементов, многие из которых впоследствии составили материал, из которого были разработаны формы склонения и спряжения; но что, хотя местоимения, таким образом, были одними из самых ранних слов, которые были выделены человечеством в качестве отдельных частей речи, до позднего времени не использовались какие-либо местоимения, специально указывающие на первое лицо. Было показано, что значение этого последнего факта чрезвычайно важно. Мы уже видели, что все различие между человеком и животным заключается в наличии или отсутствии концептуального мышления, которое, в свою очередь, является всего лишь выражением присутствия или отсутствия самосознания. Следовательно, весь этот трактат был посвящен вопросу о том, имеем ли мы здесь дело с различием рода или степени — происхождения или развития. В случае с индивидом не может быть никаких сомнений в том, что это различие степени или развития; и я ранее показал, что в данном случае рассматриваемая фаза развития отмечена изменением фразеологии — отказом от объективных терминов в пользу субъективных, когда говорящий имеет возможность говорить о себе. И теперь я показал, что в рассматриваемом нами факте мы имеем совершенно аналогичное

доказательство: точно так же, как психология отмечает для нас “переход в личности”, филология отмечает для нас “переход в расе”.

В предыдущем *резюме* настоящей части моей работы я стремился лишь в общих чертах обрисовать основные черты. И даже эти основные характеристики были настолько сокращены, что сомнительно, не причинило ли моей аргументации больше вреда, чем пользы столь несовершенно ее изложение. Тем не менее, в качестве общего результата я думаю, что теперь для каждого беспристрастного ума должны стать очевидными две вещи. Во-первых, противники эволюции явно не справились со своим *onus probandi* или не оправдали утверждение о том, что человеческий разум представляет собой великое и уникальное исключение из единообразного закона эволюции, в остальном являющегося единым. Во-вторых, это утверждение не только в высшей степени маловероятно *априори* и не поддается доказательству *апостериори*, но и то, что все доказательства, которые, возможно, могут иметь отношение к предмету, прямо свидетельствуют в пользу его опровержения. Единственное подобие аргумента, который можно привести в его пользу, основывается на различии между представлением как концептуальным и неконцептуальным. Я свободно допускаю, что такое различие существует; но то, что это своеобразное различие, я решительно отрицаю. Ибо я показал, что сравнительно немногие авторы, которые все еще продолжают рассматривать это как таковое, основывали свои аргументы на психологическом анализе, который носит явно несовершенный характер; что никто из них никогда вообще не обращал внимания на действительный процесс психогенеза, как это происходит у растущего ребенка; и что, за исключением профессора Макса Мюллера, то же самое следует сказать относительно их отношения к “свидетельству филологии”. Касаясь психогенеза ребенка, я показал, что есть несомненное проявление постепенный и непрерывный переход от одного порядка мысли к другому; что долго так как интеллект ребенка движется только в концептуальной сфере, это не различимы в какой-то одной психологической особенностью импорт из разведки высшие млекопитающие *mammalia*; что, когда он начинает считать, что атрибуты концептуальных идей, процесс зависит от развития истинного самосознания из материалов, поставляемых по этой форме уже существующих или *receptual* самосознание которого младенец делит с низших животных; что условием для этого заранее в психической эволюции задается заметно прогрессивное развитие этих полномочий денотативный и коннотативный высказывания, которые находятся, как далеко вниз, в психологическом масштаба, как говорящие птицы; что растет интеллект ребенка таким образом, мы как завершить историю “онтогенез,” в своем отношении к “филогенез”, как ту, на которую эмбриолог привык полагаться, когда он читает морфологические истории вида, в воплощение которой является развитие личности; и, таким образом, что те, кто без уважительной причины, принятие других принципов эволюции, безвозмездно проигнорировал прямое доказательство психологическое превращение, которое, таким образом, обстановка в жизни-истории каждого человека.

Опять же, что касается независимого свидетеля филологии, то, если бы мы полагались только на авторитет, противоречивые мнения, которые время от времени высказывал профессор Макс Мюллер по нашему предмету, значительно перевешивали бы мнения всех его собратьев-филологов. Но, ни в коем случае не апеллируя к авторитету дальше, чем к принятию фактов, в отношении которых все филологи согласны, я намеренно отвел профессору Макс Мюллеру еще более представительное место, чем любому из других, полностью изложил природу его

возражений и дал, как мне кажется, вполне достаточные ответы. Насколько я могу понять причины его несогласия с выводами, которые его собственная замечательная работа существенно помогла подтвердить, они, по-видимому, вытекают из следующих оснований. Во-первых, отсутствие ясности в отношении принципов эволюции в целом: [341] во-вторых, неспособность четко или постоянно признавать, что корни арийской речи явно очень далеки от примитивности в смысле аборигенности: в-третьих, отсутствие различия между идеями как общими и непатентованными, или синтетическими и неаналитическими: в-четвертых, неспособность четко или постоянно признавать, что корни арийской речи явно очень далеки от примитивности в смысле аборигенности. необоснованное и явно ложное предположение о том, что для того, чтобы дать имя, разум должен сначала постичь. Из этих нескольких оснований, на которых, по-видимому, проистекает его несогласие, последнее, пожалуй, самое важное, поскольку именно на нем он наиболее недвусмысленно выдвигает свои возражения. Но если я что—то и доказал, так это то, что существует способность прикреплять вербальные или другие знаки как знаки чисто рецептивных ассоциаций, и что эта способность *неизменно* предшествует происхождению концептуального высказывания в единственном случае, когда это происхождение допускает прямое наблюдение — *т.е.*, в психогенезе ребенка. Опять же, в случае с доисторическим человеком, поскольку палеонтология речи предоставляет свидетельства по этому вопросу, это в целом свидетельствует в пользу точки зрения, что у расы, как и у индивида, обозначение предшествовало наименованию как предшествующее, так и последующее. Более того, я сомневаюсь, что сам Макс Мюллер не согласился бы с Гейгером, когда последний кратко говорит в отрывке, до сих пор не цитировавшемся: “Почему так получается, что чем дальше мы прослеживаем слованазад, тем меньше смысла они представляют? Я не знаю другого ответа, кроме того, что чем дальше они уходят в прошлое, тем меньше концептуальности они демонстрируют”. [342] Он также не может отказаться признать с той же авторитетностью, что “концептуальная мысль (*Бегриф*) позволяет проследить себя назад по все сужающемуся кругу и неизбежно стремится к точке, где больше нет ни мысли, ни речи”. [343] Но если сам Макс Мюллер не может отрицать эти вещи, я не понимаю, почему он должен разлучаться с другими филологами в вопросе происхождения концептуальных терминов. С их помощью он утверждает, что не может быть понятий без слов (произносимых или иным образом), и с их помощью он утверждает, что когда значения слов прослеживаются настолько глубоко, насколько их может проследить филология, они явно стремятся к точке схода, о которой говорит Гейгер. И все же, просто на том основании, что эта точка схода никогда не может быть фактически достигнута филологическими исследованиями — *т.е.*, что слова не могут записывать историю своего собственного рождения, — он выступает за нарушение принципа непрерывности в том месте, где возникают слова. Столь неудовлетворительную позицию я могу объяснить, только предположив, что он бессознательно впал в ошибочность заключения, что, поскольку все А есть В, следовательно, все В есть А. Обнаружив, что не может быть понятий без имен, он приходит к выводу, что не может быть имен без понятий. [344] И на основе такого вывода он, естественно, считает невозможным объяснить, как имена или концепции могли иметь приоритет во времени: и то, и другое, по-видимому, должно было иметь одновременное происхождение; и, если бы это было так, явно невозможно объяснить естественное происхождение ни того, ни другого. Но вся эта проблема воображаемая. Стоит только отбросить явно нелогичный вывод о том, что, поскольку имена необходимы для понятий, следовательно, понятия необходимы для имен, и трудность устранена. Итак, я доказал, *до тошноты*, что существуют имена: имена денотативные и имена знаменательные; имена рецептивные, а также имена концептуальные. Даже если бы у нас не было случая с растущим

ребенком для фактического доказательства этого процесса — случая, который он, как и все другие мои оппоненты, в этой связи игнорирует, — только на общих основаниях, и особенно на основании наших наблюдений за низшими животными, мы могли бы быть практически уверены, что способность к созданию знаков *должна have preceded that of thinking the signs*,,. И независимо от того, были ли эти предконцептуальные знаки выражены жестом, гримасой, интонацией, артикуляцией или всем вместе взятым, ясно, что никакой разницы не возникло бы, поскольку речь идет об их влиянии на психогенез. На самом деле, мы случайно знаем, что семиотическое искусство артикулирования звуковых тонов в целях обозначения восходит к таким далеким временам, что подводит нас на филологически измеримое расстояние к происхождению наименования или концептуальной мысли — хотя у нас были веские основания заключить, что до этого времени тон, жест и гримаса, должно быть, использовались аборигенами для создания знаков гораздо шире, чем сейчас любым из низших животных. Таким образом, в целом, если не будет показано, что мое различие между обозначением и номиналом несостоятельно — если, например, не будет показано, что младенцу необходимо думать об именах как таковых, прежде чем он сможет научиться их произносить, — тогда я утверждаю, что теория эволюции в области филологии не представляет ни тени трудности. Хотя, с другой стороны, все особые факты, а также все общие принципы, до сих пор открытые этой наукой, полностью позволяют сделать вывод, что доконцептуальное обозначение заложило психологические условия, которые были необходимы для последующего роста концептуального обозначения; и, следовательно, еще раз процитируем высокого авторитета Гейгера: “Речь создала Разум; до ее появления человечество было лишено разума”. [345]

И если это верно для филологии, то, несомненно, не менее верно и для психологии. Ибо “развитие речи - это всего лишь копия той цепочки процессов, которая началась с зарождения [человеческого] сознания и в конечном итоге заканчивается построением самой абстрактной идеи”. [346] Следовательно, если не будет показано, что мое различие между идеей как рецептивной и концептуальной недействительно, я не знаю, как мои оппоненты должны относиться к результатам вышеупомянутого анализа. И все же, если бы это различие было отвергнуто, им не только потребовалось бы заново сконструировать науку психологию; они поставили бы себя в любопытное положение, отвергая само различие, на котором основана вся их аргументация. Ибо я везде старался не подвергать сомнению тот факт, что то, что я называл рецептивным представлением, во всех его степенях идентично тому, что мои оппоненты признают неконцептуальным; и столь же тщательно я везде показывал, что вместе с ними я полностью осознаю психологическую разницу между этим порядком представления и тем, что является концептуальным. Единственный спорный момент, следовательно, заключается в возможности естественного перехода от одного к другому. Они должны показать невозможность. Этого им до сих пор самым очевидным образом не удавалось сделать. С другой стороны, теперь я утверждаю, что установил возможность, выходящую за рамки разумного вопроса. Ибо я утверждаю, что показал, что *вероятность* такого перехода, который ранее происходил в расе, как это происходит сейчас в каждом индивидууме, - это вероятность, которая была возведена в башню благодаря накопленным знаниям девятнадцатого века. Или, варьируя метафору, эта вероятность была подобна потоку, набравшему силу и объем по мере того, как его последовательно подпитывали факты и принципы, вливаемые в него достижениями многих наук.

Конечно, всегда легко отказать в согласии с вероятностью, какой бы сильной она ни была: “Моей веры, - могут сказать, - нельзя добиться; ее можно только навязать”. Действительно,

человек может даже гордиться строгостью своих требований в этом отношении; и в популярных произведениях мы часто находим само собой разумеющееся, что любая научная доктрина имеет право считаться научной только тогда, когда она была продемонстрирована. Но в науке, как и в других вещах, вера должна быть соразмерна доказательствам; и хотя именно по этой причине мы всегда должны стремиться к получению более точных доказательств, научную осторожность такого рода не следует путать с просто невежественным требованием невозможных доказательств. На самом деле, чтобы продемонстрировать переход от неконцептуального мышления к концептуальному в расе, как это каждый день демонстрируется у индивидуума, явно потребовалось бы невозможное условие, чтобы концептуальное мышление обнаружило свое собственное происхождение. Таким образом, требовать каких-либо демонстративных доказательств перехода в расе было бы изначально абсурдно. Но если, как говорит епископ Батлер, “вероятность - это само руководство жизнью”, то, несомненно, в не меньшей степени это само руководство наукой; и здесь, я утверждаю, мы имеем дело с вероятностью, настолько непреодолимой, что отказываться от нее в объятиях убеждения было бы признаком уже не научной осторожности, а научной неспособности. Ибо, если, как я предполагаю, мы уже принимаем теорию эволюции как применимую по всей длине и ширине области органического, мне кажется, что у нас есть определенно лучшие причины для принятия ее как применимой по всей длине и ширине области ментального. Другими словами, рассматривая все, что сейчас было сказано, я не могу отделаться от ощущения, что на самом деле есть лучшие доказательства психологического перехода от животного к человеку, чем морфологического перехода от одной органической формы к другой, в любом из все еще многочисленных случаев, когда промежуточные звенья случайно не сохранились. Так, например, по моему мнению, современный эволюционист, который стремится представить человеческий разум как большое исключение из единообразного принципа генетической преемственности, имеет дело с еще более безнадежным случаем, чем если бы он стал утверждать, что аналогичное исключение следует сделать в отношении строения червеобразного существа *Balanoglossus*.

Если это сравнение, по-видимому, свидетельствует о какой-либо экстравагантной оценке с моей стороны убедительности представленных на данный момент доказательств, я сейчас в заключение попрошу помнить, что мое дело еще не завершено. Ибо до сих пор я почти полностью воздерживался от рассмотрения умственного состояния *дикарей*. Причина, по которой эта важная ветвь моей темы не была затронута, заключается в том, что я оставляю ее для следующей части моей работы. Но когда мы оставим разработку психологических принципов, которыми до этого момента занимались, и перейдем к более широкой области антропологических исследований в целом, мы обнаружим много дополнительных свидетельств более конкретного рода, которые почти всегда имеют тенденцию подтверждать уже полученные выводы. Приведенное таким образом подтверждение действительно, на мой взгляд, излишне; и, следовательно, не будет приводиться в этой связи. Тем не менее, прослеживая принципы ментальной эволюции с самых низших уровней, которые фактически занимают существующие люди, мы обнаружим, что немалый свет случайно проливается на явно еще более примитивный интеллект доисторического человека. Таким образом, мы обнаружим, что непрерывные стадии возвращают нас к состоянию все еще человеческого мышления, которое приводит нас в почти болезненно близкое соприкосновение с высшими обезьянами. Это, действительно, та сторона общего вопроса, которую мои оппоненты склонны игнорировать — точно так же, как они игнорируют параллельную сторону, имеющую отношение к психогенезу ребенка. И, конечно,

когда они таким образом игнорируют и ребенка, и дикаря, чтобы прямо противопоставить взрослую психологию цивилизованного человека психологии низших животных, легко показать огромную разницу. Но там, где вопрос заключается в том, является ли это различием степени или вида, абсурдность игнорирования промежуточных фаз, которые представляются реальному наблюдению, безусловно, слишком очевидна для комментариев. Во всяком случае, я думаю, можно с уверенностью обещать, что, когда мы обратимся к случаю дикарей, а через них и к случаю доисторического человека, мы обнаружим, что в большом промежутке, который лежит между такими ступенями психической эволюции и нашей собственной, мы продвинулись далеко вперед по пути преодоления психологической дистанции, отделяющей гориллу от джентльмена.

СНОСКИ:

[1] *человека в природе*, стр. 59.

[2] Возможно, желательно с самого начала объяснить, что под словами “различие вида”, используемыми в приведенном выше параграфе и в других местах этого трактата, я подразумеваю различие *происхождения*. Это единственное реальное различие, которое можно провести между терминами “различие рода” и “различие степени”; и я вряд ли счел бы нужным давать определение, если бы не путаница, в которой эти термины используются некоторыми авторами —например, профессором Сэйсом, который говорит, говоря о развитии языков из общего источника, “различия в степени становятся со временем различиями рода” (*Введение в науку о языке*, ii. 309).

[3] См. *Ментальную эволюцию у животных*, главу об эмоциях.

[4] *Психическая эволюция у животных*, стр. 159. “Термин является общим, охватывающим все способности разума, которые задействованы в сознательных и адаптивных действиях, предшествующих индивидуальному опыту, без необходимого знания связи между используемыми средствами и достигнутыми целями, но аналогичным образом выполняемых при сходных и часто повторяющихся обстоятельствах всеми особями одного и того же вида”.

[5] Конечно, мои оппоненты не допустят, чтобы это слово можно было должным образом применить к психологии любого грубияна. Но сейчас я использую его не в смысле вопроса: я использую его только для того, чтобы избежать необходимого в противном случае введения нового термина. Какого бы взгляда мы ни придерживались на отношения между психологией человека и животных, мы должны каким-то образом различать различные составляющие каждой из них, а значит, и инстинкт, эмоции и интеллект животного. См. *Эволюция разума у животных*, стр. 335 и далее.

[6] Если кто-то должен быть расположен сделать это, я могу ответить ему только словами профессора Хаксли, который кратко и хорошо излагает дело: “Какова ценность доказательств,

которые заставляют человека поверить в то, что чувствует его ближний? Единственным доказательством в этом аргументе, основанном на аналогии, является сходство его строения и его действий с нашими собственными, и если этого достаточно, чтобы доказать, что чувствует наш собрат, то, несомненно, этого достаточно, чтобы доказать, что чувствует обезьяна” и т. Д. (*Критические замечания и обращения*, стр. 282). К этому изложению дела г-н Майварт, действительно, выдвигает критику, но она носит исключительно слабый характер. Он говорит: “Несомненно, люди общаются друг с другом не благодаря сходству строения или действий, а благодаря языку”. Для этого, по-видимому, достаточно спросить, во-первых, не является ли язык действием; и, во-вторых, не рассматривается ли нами членораздельная речь как выражение страдания, как более “красноречивая”, чем нечленораздельные крики и жесты?

[7] Конечно, там, где термин “Причина” предназначен для обозначения интроспективного мышления, приведенные выше замечания неприменимы, кроме указания на неправильное использование термина.

[8] Я здесь пренебрегаю мнением епископа Батлера и других, кто последовал за ним, о том, что животные могут обладать бессмертным началом так же, как и человек; ибо, если придерживаться этой точки зрения, она служит идентификации, а не разделению психологии человека и животного. Изречением Аристотеля и Бюффона о том, что животные отличаются от человека отсутствием способности к ментальному восприятию, также можно пренебречь; поскольку оно, по-видимому, в достаточной степени опровергается следующим замечанием Дюро де ла Малля, которое я здесь цитирую как представляющее некоторый исторический интерес в связи с теорией естественного отбора. He says: “Si les animaux n’étaient pas susceptibles d’apprendre les moyens de se conserver, les espèces se seraient anéanties.”

[9] Джон Фiske, *Экспедиции эволюциониста*, стр. 42, 43 (1884).

[10] *Естественный отбор*, стр. 343. Впоследствии, как общее следствие нашего исследования психологии дикарей, окажется, что из этих двух противоположных мнений то, которое отстаивает м-р Майварт, лучше всего подтверждается фактами. Но я могу здесь привести одно или два соображения более специального характера, имеющие отношение к этому пункту. Во-первых, что касается структуры мозга, то профессор Хаксли так резюмирует этот случай: “Разница в весе мозга между высшим и низшим человеком гораздо больше, как относительно, так и абсолютно, чем разница между низшим человеком и высшей обезьяной. Последнее, как было замечено, представлено, скажем, 12 унциями мозгового вещества в абсолютном выражении или 32: 20 относительно; но, поскольку самый большой зарегистрированный человеческий мозг весил от 65 до 66 унций, первое различие представлено более чем 33 унциями в абсолютном выражении или 65: 32 относительно. При систематическом рассмотрении церебральные различия человека и обезьяны имеют не более чем общую ценность — семейное различие человека основывается главным образом на его зубном ряду, тазе и нижних конечностях” (*Место человека в природе*, стр. 103). Далее, относительно церебральных функций, м—р Чонси Райт хорошо замечает: “Психологический анализ языковой способности показывает, что даже самое незначительное владение ею может потребовать большей мозговой силы, чем самое большое владение любым другим направлением” (*Североамериканское обозрение*, октябрь 1870 г., стр. 295). Прочитав это, мистер Дарвин замечает о диком человеке: “Он изобрел и способен использовать различное оружие, инструменты, ловушки и т.д., с помощью которых он защищается, убивает или ловит

добычу и иным образом добывает пищу. Он мастерил плоты или каноэ для рыбной ловли или переправы на соседние плодородные острова. Он открыл для себя искусство добывания огня.... Эти несколько изобретений, благодаря которым человек в самом примитивном состоянии стал таким выдающимся, являются прямыми результатами развития его наблюдательности, памяти, любознательности, воображения и разума. Поэтому я не могу понять, почему мистер Уоллес утверждает, что "естественный отбор мог наделить дикаря мозгом, лишь немного превосходящим мозг обезьяны" (Происхождение человека, стр. 48, 49).

[11] Человеческий род, английский перевод, стр. 22.

[12] Различные авторы утверждали, что между человеком и низшими животными существуют различные и еще более особые различия психологического характера, такие как добывание огня, использование бартера, ношение одежды, использование инструментов и так далее. Но поскольку все эти различия являются всего лишь частными примерами или подробными иллюстрациями более разумного порядка мышления, присущего человечеству, нет необходимости занимать место их обсуждением. Здесь также я могу отметить, что в этой работе меня не интересуют популярные возражения против дарвинизма по поводу "недостающих звеньев" или отсутствия ископаемых останков, структурно промежуточных между останками человека и человекообразных обезьян. Это предмет, относящийся к палеонтологии, и, следовательно, его рассмотрение было бы неуместным на этих страницах. Тем не менее, я могу здесь кратко отметить, что предполагаемая трудность не является какой-либо значительной. Хотя для массового сознания кажется почти самоочевидным, что если когда-либо существовала длинная череда поколений, соединявших строение тела человека с высшими обезьянами, то по крайней мере несколько их костей должны были быть найдены сейчас; геолог слишком хорошо знает, как мало можно полагаться на такие чисто отрицательные свидетельства там, где под вопросом геологические данные. Теперь можно привести бесчисленные другие примеры того, что лишь недавно были обнаружены связующие звенья между группами животных, которые зоологически разделены гораздо шире, чем обезьяны и люди. Действительно, это популярное возражение, которое геологи считают настолько лишенным силы, что оно не рассматривается ими как равносильное какому-либо возражению вообще. С другой стороны, близкое анатомическое сходство, существующее между человеком и высшими обезьянами, — каждая кость, мышца, нерв, сосуд и т.д. В чрезвычайно сложном строении одного совпадают друг с другом с не менее чрезвычайно сложным строением другого, — настолько красноречиво говорит в пользу непрерывной преемственности происхождения, что, как уже отмечалось, никто, кто вообще имеет право говорить на эту тему, не осмелился оспаривать эту преемственность в том, что касается строения тела. Все те немногие натуралисты, которые все еще не соглашались с теорией эволюции в ее отношении к человеку, явно основывают свое мнение на тех основаниях психологии, исследование которых является целью настоящего трактата.

[13] В моей предыдущей работе я посвятил главу "Воображению", в которой я рассматривал психологию мышления применительно к животным. Теперь необходимо рассмотреть процесс мышления применительно к человеку; и, чтобы сделать это, далее необходимо в некоторой степени вернуться к процессу мышления животных. Я, однако, постараюсь, насколько это возможно, не повторяться, и поэтому в трех следующих главах я буду исходить из того, что читатель уже знаком с моей предыдущей работой. Действительно, аргументы, проходящие

через три следующие главы, не могут быть полностью оценены, если их прочтению не предшествует прочтение глав ix. и x. о *психической эволюции у животных*.

[14] *Человеческое понимание*, кор. ii., глава ii., 10, 11. На этот отрывок Беркли возразил, что невозможно сформировать абстрактную идею качества отдельно от какой-либо конкретной идеи объекта; например, идею движения, отличную от идеи любого движущегося тела. (См. *Принципы человеческого познания*, Введение. vii.-xix.). Это вопрос, который я не могу полностью рассмотреть, не углубляясь в философию великой дискуссии о номинализме, реализме и концептуализме — вопрос, который вывел бы меня за строго психологические рамки, в которые я хочу ограничить свою работу. Поэтому будет достаточно указать на то, что критика Беркли здесь сводится лишь к тому, чтобы показать, что Локк недостаточно далеко продвинулся в своей философии номинализма. Что сделал Локк, так это увидел и констатировал, что общая или абстрактная идея воплощает восприятие сходства между индивидами определенного вида, игнорируя различия; чего он не смог сделать, так это сделать следующий шаг и показать, что такая идея не является идеей в смысле ментального образа; это просто интеллектуальный символ фактически невозможного существования, а именно качества отдельно от объекта. Интеллектуальный символизм такого рода осуществляется главным образом с помощью вербальных или других условных знаков (как мы увидим позже), и именно благодаря более ясному пониманию этого процесса реализм постепенно был побежден номинализмом. Таким образом, единственное различие между Локком и Беркли здесь состоит в том, что номинализм первого не был столь полным или основательным, как у второго. Я могу заметить, что если в нижеследующем обсуждении мне, по-видимому, не удастся четко изложить доктрину номинализма, я делаю это только для того, чтобы мое исследование могло избежать ненужного столкновения с концептуализмом. Что касается меня, то я номиналист и согласен с Миллем в том, что сказать, что мы мыслим понятиями, — это всего лишь еще один способ сказать, что мы мыслим названиями классов.

[15] Это сравнение ранее использовалось самим мистером Гальтоном, а также мистером Хаксли в его работе о Юме.

[16] Следовательно, единственное действительное различие, которое можно провести между абстракцией и обобщением, — это то, которое было проведено Гамильтоном следующим образом: “Абстракция состоит в концентрации внимания на конкретном объекте или определенном качестве объекта и отвлечении его от всего остального. Представление о *фигуре* на столе передо мной — это абстрактная идея, идея, которая составляет часть общего представления об этом теле и на которой я сосредоточил свое внимание, чтобы рассматривать исключительно его. Эта идея абстрактна, но в то же время индивидуальна: она представляет собой фигуру этого конкретного стола, а не фигуру какого-либо другого тела”. Обобщение, с другой стороны, состоит в идеальном сочетании абстракций, “когда, сравнивая ряд объектов, мы улавливаем их сходство; когда мы концентрируем наше внимание на этих точках сходства.... Таким образом, общее понятие — это то, которое позволяет нам познать качество, свойство, силу, понятие, отношение, короче говоря, любую точку зрения, с которой мы признаем множество объектов как единство”. Таким образом, может существовать абстракция без обобщения; но поскольку абстракция в таком случае имеет дело только с частностями, эта фаза игнорируется большинством авторов по психологии, которые поэтому используют абстракцию и обобщение как взаимозаменяемые термины. Милль говорит: “Под *абстрактным* я всегда, в собственном смысле, буду подразумевать противоположное *конкретному*; под абстрактным

именем - название атрибута; под конкретным именем - название объекта” (*Логика*, i. § 4). Такое ограничение, однако, произвольно — “концентрировать внимание на определенном объекте” - это тот же самый ментальный акт, что и делать это на любом “особом качестве объекта”. Конечно, в этом использовании Милль следует за схоластами, и он явно возражает против изменения, впервые введенного (по-видимому) Локком и с тех пор общепринятого. Но не имеет большого значения, в каком из двух объясненных теперь значений писатель предпочитает использовать слово “абстрактный”, при условии, что он последователен в своем собственном употреблении.

[17] Упомянутый здесь возраст полностью соответствует тому, который приводит М. Перес, который говорит: “В семь месяцев он сравнивает себя лучше, чем в три; и, по—видимому, в этом возрасте у него зрительные восприятия связаны с идеями *рода*: например, он связывает различные вкусы куска хлеба, пирожного, фруктов с их различными свойствами”. формы и цвета” (*Первые три года детства*, английский перевод, стр. 31).

[18] *Книга о добре*, с. 87.

[19] Тэн, *Разведка*, стр. 18.

[20] *Человеческое понимание*, bk. ii., глава ii., §§ 5-7.

[21] Если требуется, доказательства этого факта можно найти в изобилии в главе “Воображение”, *Психическая эволюция у животных*, стр. 142-158. Там показано, что воображение у животных зависит не только от ассоциаций, вызванных чувственными впечатлениями извне, но достигает уровня продолжения цепочки ментальных образов *как таковых*.

[22] *Цит. по.*, стр. 397-399. Здесь также может быть уместен намек на интересное и наводящее на размышления произведение другого французского писателя, М. Бине (*“Психология разума”*, 1886). Его цель состоит в том, чтобы показать, что все процессы рассуждения в корне идентичны процессам восприятия. Чтобы сделать это, он подробно излагает общий факт, что процессы обоих видов зависят от “слияний” состояний сознания. В случае восприятия элементами, слитыми таким образом, являются ощущения, в то время как в случае рассуждения они являются восприятиями — в обоих случаях одинаково задействован принцип ассоциации.

[23] *Психическая эволюция у животных*, стр. 118.

[24] В этой связи я могу процитировать следующие очень ясные утверждения из статьи секретаря Института Виктории, которая направлена против общей доктрины, которую я пытаюсь продвигать, *т.е.* О том, что нет никакого различия между психологией животных и человеческой.

“Абстракция и обобщение становятся интеллектуальными только тогда, когда они используются интеллектом. Быка раздражает красный цвет, а не объект, свойством которого является краснота; но было бы абсурдно утверждать, что бык добровольно абстрагируется от явления красноты этих объектов. По сути, это процесс абстракции, и все же в то же время он по сути автоматический”. И что касается мышления животных в целом, он продолжает: “Определенные качества объекта привлекают его внимание к исключению других качеств, которыми пренебрегают; и таким образом, он абстрагируется автоматически. Образ объекта

запечатлелся в его памяти, чувства, которые он вызвал, также запечатлеваются в его памяти, и при воспроизведении образа эти чувства и вытекающие из них действия воспроизводятся также автоматически: таким образом, он действует на основе опыта, по-прежнему автоматически. Изображение может быть изображением того же объекта или изображением другого объекта того же вида, но эффект тот же, и, следовательно, он обобщает также автоматически”. Наконец, говоря о выводе, он говорит: “Этот метод является общим для человека и животного, и, подобно способностям абстракции и т. Д., Он становится интеллектуальным только тогда, когда мы решаем сделать его таким”. (Э. Дж. Морсхед, в эссе *посравнительной психологии*, журнал. *Vis. Inst.*, т. v., стр. 303, 304, 1870.) В работе М. Бине, на которую уже ссылались, также признается различие, о котором идет речь. Ибо он говорит, что “слияние” ощущений, которое имеет место в акте восприятия, выполняется автоматически (*т.е.* Является рецептивным); в то время как “слияние” восприятий, которые задействованы в акте разума, выполняется намеренно (*т.е.* Является концептуальным).

[25] Более тщательный анализ немецких психологов дал пять порядков вместо трех; а именно: *Wahrnehmung, Anschauung, Vorstellungen, Erfahrungsbegriff* и *Verstandesbegriff*. Но для целей настоящего трактата нет необходимости вдаваться в эти более тонкие различия.

[26] *Очерки психологии*, стр. 342. Курсив мой. Следует отметить, что мистер Салли использует здесь термин “общий” именно в том смысле, который я предлагаю.

[27] *Первые три года детства*, английский перевод, стр. 180-182.

[28] *Исследование философии Гамильтона*, стр. 403.

[29] Макс Мюллер возражает против этого из—за его завуалированного концептуализма, поскольку он представляет “понятие” хронологически предшествующим “имени” (*Наука о мышлении*, стр. 268). Однако эта критика меня не беспокоит. Заслуживают ли “многочисленные образы”, которые ум формирует таким образом и сливает вместе в то, что Локк называет “сложной идеей”, при таком объединении называться “общим понятием” или “концепцией” — это вопрос терминологии, от которого я избегаю, присваивая таким составным идеям термин “рецепты” и оставляя термин “понятия” для составных идей *после того, как они были названы*.

[30] *Logos*, стр. 175, цитируется Максом Мюллером, который добавляет: “Последователи Юма, возможно, рассматривали выцветшие образы нашей памяти как абстрактные идеи. Наша память или, что часто не менее важно, наше забвение, кажется им способными делать то, чего абстракция, как показывает Беркли, никогда не сможет сделать; и под ее безмолвным влиянием многие идеи или группы идей, казалось бы, тают, пока не остается ничего, кроме простой тени. Однако эти тени, хотя они и могут стать очень расплывчатыми, остаются восприятиями; они не являются концепциями” (*Наука о мышлении*, стр. 453). Теперь я говорю, что столь же очевидно, что эти тени *не* являются восприятиями: они являются результатом *слияния* восприятий, ни одно из которых не соответствует их общей сумме. Видя, таким образом, что они не являются ни восприятиями, ни концепциями, и все же такими в высшей степени важными элементами в формировании идей, я даю им особое название рецептов.

[31] *Жизнь Юма*, стр. 96.

[32] Стейнтал и Лазарус, однако, рассматривая проблему, касающуюся происхождения речи, представляют в сжатом виде эту доктрину восприятия идей с особой привязкой к животным. For

instance, Lazarus says, “Es gibt in der gewöhnlichen Erfahrung kein so einfaches Ding von einfacher Beschaffenheit, dass wir es durch *eine* Sinnesempfindung wahrnehmen könnten; erst aus der Sammlung seiner Eigenschaften, d. h. erst aus der *Verbindung* der mehreren Empfindungen ergibt sich *die Wahrnehmung eines Dinges*: erst indem wir die weisse Farbe sehen, die Härte fühlen und den süssen Geschmack empfinden, erkennen wir ein Stück Zucker” (*Das Leben der Seele* (1857), 8, ii. 66). This and other passages in the same work follow the teaching of Steinthal; e.g. “Die Anschauung von einem Dinge ist der Complex der sämmtlichen Empfindungserkenntnisse, die wir von einem Dinge haben ... die Anschauung ist eine Synthesis, aber eine unmittelbare, die durch die Einheit der Seele gegeben ist.” And, following both these writers, Friedrich Müller says, “Diese Sammlung und Einigung der verschiedenen Empfindungen gemäss der in den Dingen verbundenen Eigenschaften heisst Anschauung” (*Grundriss der Sprachwissenschaft*, i. 26). On the other hand, their brother philologist, Geiger, strongly objects to this use of the term *Anschauung*, under which, he says, “wird theils etwas von der Sinneswahrnehmung gar nicht Unterschiedenes verstanden, theils auch ein dunkles Etwas, welches, ohne dass die Bedingungen und Ursachen zu erkennen sind, die Einheit der Wahrnehmungen zu kleineren und grössern Complexen bewirken soll.... So dass ich eine solche ‘Synthesis’ nicht auch bei dem Thiere ganz ebenso wie bei dem Menschen voraussetze: ich glaube im Gegentheile, dass es sich mit der Sprache erst entwickelt” (*Ursprung der Sprache*, 177, 178). Итак, я процитировал эти различные отрывки, потому что они служат для того, чтобы в краткой и поучительной форме изложить различные точки зрения, которых можно придерживаться по сравнительно простому вопросу из-за отсутствия четко определенных терминов. Несомненно, использование термина *Anschauung* вышеупомянутыми авторами неудачно; но мне кажется, что этим они ясно указывают на зарождающееся представление о том, что я подразумеваю под рецептом. Всем трем им не удастся раскрыть эту идею во всей ее полноте, поскольку они ограничивают возможности неконцептуального “синтеза” группировкой простых восприятий, предоставляемых различными органами чувств, вместо того, чтобы распространить его на синтез синтезов восприятий, независимо от того, предоставляются ли они одними и теми же или также различными органами чувств. Но все эти три филолога находятся на правильном психологическом пути, и их критик Гейгер совершенно неправ, утверждая, что не может быть синтеза (неконцептуальных) идей без помощи речи. На самом деле, *эты данкла*, на которые он жалуется, что его предшественники привнесли их в представление о животных, - это *Этвы*, которые, когда их выносят на более ясный свет, обладают высочайшей важностью. Ибо, как мы впоследствии увидим, это не что иное, как необходимое психологическое условие для последующего развития как речи, так и мышления. Термин *Апперцепция*, используемый некоторыми немецкими психологами, также включает в себя то, что я подразумеваю под восприятием идей. Но поскольку она также включает в себя концептуальность, ее принятие здесь ничего не дало бы. Indeed F. Müller expressly restricts its meaning to conceptual ideation, for he says, “Alle psychischen Processe bis einschliesslich zur Perception lassen sich ohne Sprache ausführen und vollkommen begreifen, die Apperception dagegen lässt sich nur an der Hand der Sprache denken” (*loc. cit.* i., 29).

[33] Как указывалось в предыдущем примечании, эту истину хорошо продемонстрировал М. Бине, *цит. по*:

[34] Слово *Logic* происходит от *λόγος*, которое, в свою очередь, происходит от *λέγω* - упорядочивать, раскладывать по порядку, подбирать, связывать воедино.

[35] Термины "Логика чувств" и "Логика знаков" были впервые введены и широко использовались Контом. Впоследствии они были приняты и еще более широко применялись Льюисом, который, однако, по-видимому, думал, что таким образом он использовал их в каком-то другом смысле. Мне кажется, что в этом Льюис ошибся. За исключением того, что Конт здесь, как и везде, опьянен теологией, я думаю, что идеи, которые он намеревался изложить в этих терминах, совпадают с теми, которые отстаивает Льюис — хотя его бессвязность оправдывает замечание его последователя: "Будучи неспособным понять это, я не критикую это" (*Проблемы. о жизни и разуме*, iii, стр. 239). Условия, о которых идет речь, также одобрены Миллом, как показано в приведенной выше цитате (стр. 42).

[36] *Психическая эволюция у животных*, стр. 62.

[37] Однако особое внимание следует обратить на тот факт, что термин "бессознательное суждение" не является метафорическим, а служит для передачи в техническом смысле того, что представляется точной психологией процесса. Ибо отличительным элементом суждения в его техническом смысле является то, что оно включает в себя элемент *веры*. Теперь, как замечает Милль, "когда передо мной лежит камень, я осознаю определенные ощущения, которые я получаю от него; но если я говорю, что эти ощущения приходят ко мне от внешнего объекта, который я воспринимаю, значение этих слов таково, что, получая ощущения, я интуитивно верю, что внешняя причина этих ощущений существует" (*Логика*, i., стр. 58). В случаях, подобных упомянутому в тексте, когда "бессознательное суждение" неверно — т.е. восприятие иллюзорно, — оно, конечно, может быть вытеснено суждением более высокого порядка, и, таким образом, мы не заканчиваем тем, что верим, что чаша - это сфера. Тем не менее, поскольку это зависит от показаний наших органов чувств, ум судит ошибочно, воспринимая чашу как сферу. В своей работе об *иллюзиях* мистер Салли показал, что иллюзии восприятия возникают в результате мысленного "применения правила, действительного для большинства случаев, к исключительному случаю". Другими словами, неконцептуальные способности восприятия выносят ошибочное суждение - это суждение формируется на основе аналогий, полученных из прошлого опыта. Конечно, такой акт чисто перцептивного вывода не является суждением в строгом смысле этого слова; но он явно связан с суждением, и для удобства следует следовать установившемуся обычаю называть его "бессознательным", "интуитивным" или "перцептивным суждением".

[38] *Происхождение человека*, стр. 76.

[39] См. *Интеллект животных*, стр. 465, 466.

[40] Конечно, слова "общая идея" и "концепция" здесь открыты для того психологического возражения, во избежание которого я ввел термины "общая идея" и "recept".

[41] В своих предыдущих работах я уже цитировал факты об интеллекте животных, рассказанные этим автором, но не какие-либо из тех, которые я сейчас собираюсь использовать.

[42] *Интеллект животных*, английский перевод, стр. 20.

[43] Там же., стр. 107. Эта идентичная иллюстрация, по-видимому, независимо пришла в голову как мистеру Дарвину, так и мистеру Лесли Стивену. Все эти авторы используют термины "абстрактный" и "общий", как указано выше; но, конечно, как показано в моей последней главе,

это всего лишь вопрос терминологии — на мой взгляд, однако, вызывающий возражения, поскольку, по-видимому, предполагает без анализа, что представления животных и людей идентичны по своему характеру.

[44] Там же., стр. 43, 44.

[45] Там же., стр. 39.

[46] Там же., стр. 30. В этой связи я также могу сослаться на главу о воображении в моей предыдущей работе, где даны различные иллюстрации этой способности, проявляющейся у животных; ибо везде, где воображение приводит к соответствующим действиям, есть свидетельства Логике Рецептов, которая на более высоких уровнях воображения, характерных для человека, переходит в Логике Понятий.

После публикации только что упомянутой главы я получил дополнительную любопытную иллюстрацию способности к воображению у животных, которая, как мне кажется, заслуживает публикации сама по себе. Конечно, в общих чертах мы можем видеть, что собаки и кошки напоминают детей в их игре “притворяться”, что неодушевленные предметы живые, и это свидетельствует о сравнительно высоком уровне способности к воображению. Случай, который я собираюсь процитировать, однако, по-видимому, показывает, что такого рода игра воображения может распространяться у животных, как и у детей, на еще более высокий уровень, когда неодушевленные предметы не только притворяются живыми, но и “населяют пространство воздушными формами фантазии”. Я приведу факты со слов моей корреспондентки, мисс Брэмстон, писательницы.

“Уотч - собака породы колли, принадлежащая архиепископу Кентерберийскому; но он часто живет со мной, так как Ламбет ему не подходит. Это очень замечательная собака во многих отношениях, о которых я не стану вам рассказывать. Он очень умен, понимает много слов и может выполнять трюки. Однако я упоминаю его потому, что он единственная собака, которую я когда-либо встречал, обладающая драматическими способностями. Его любимая драма - "погоня за воображаемыми свиньями". Время от времени его отправляли выгонять с поля настоящих свиней, и со временем у мисс Бенсон вошло в обычай открывать ему дверь вечером после ужина и говорить: ‘Свиньи!’ - В то время как он всегда бегал вокруг, яростно гонясь за воображаемыми свиньями. Если никто не открывал дверь, он сам подходил к ней, виляя хвостом, напрашиваясь на свою обычную драму. Теперь он достигает следующей стадии, потому что, как только мы встаем после нашей последней трапезы, он начинает яростно лаять, и если дверь открыта, он выбегает гоняться за воображаемыми свиньями, при этом никто вообще не произносит слова "свиньи". Обычно после вечерней молитвы его отправляли гоняться за свиньями, и когда он пришел в мой маленький дом, было забавно видеть, что он признавал функцию молитв, исполняемых под совершенно другой аккомпанемент, такой же, как и в молитвах, исполняемых в епископальной часовне, поскольку он ожидал, что ‘Свиньи’ будут концом и того, и другого. Слово ‘Свиньи’, произнесенное любым тоном, всегда заставит его разыгрывать одну и ту же драму”.

[47] Там же., стр. 125, 126.

[48] Профессор Прейер экспериментально установил количество объектов (таких как дробинки, булавки или точки на листе бумаги), которые допускают одновременную оценку с высокой точностью. (*Sitzungs berichten der Gesellschaft für Medicin und Naturwissenschaft*, 29 Juli, 1881.)

Предполагается, что это число будет в значительной степени увеличиваться с практикой до тех пор, пока при экспозиции в поле зрения продолжительностью в одну секунду оценка не будет признана правильно составленной и составит от двадцати до тридцати объектов. (См. также *Эволюцию разума у животных*, стр. 138.)

[49] *Уроки природы*, стр. 219, 220.

[50] См. *Интеллект животных*, стр. 422-424.

[51] Здесь я могу заметить, что самый ранний возраст младенца, в котором я наблюдал такое осознание причинно-следственной связи, приходится на шестой месяц. Общаясь со своими собственными детьми в этом возрасте, я заметил, что, если я издавал звук стука своей скрытой ногой, они оглядывали комнату с явным желанием установить причину, вызвавшую этот звук. Сравните также, *Ментальная эволюция у животных*, стр. 156-158, об эмоциях, вызываемых у животных ощущением *таинственного—т.е. необъяснимого*.

[52] Читателя отсылают ко всей биографии этой обезьяны (*Интеллект животных*, стр. 484-498) для получения ряда других фактов, показывающих, насколько высокого уровня интеллектуального группирования — или “логических” - приемов можно достичь без помощи концепций. В этой же связи я могу сослаться на главу о “Воображении” в “*Эволюции разума у животных*”, а также на следующие страницы в “*Интеллекте животных*”:—128-40; 181-97, 219-222, 233, 311-335, 337, 338, 340, 348-352, 377-385, 397-410, 413-425, 426-436, 445-470, 478-498.

[53] Тэн, *Об интеллекте*, стр. 16, 17.

[54] *Лекции*, том ii., стр. 290.

[55] *Наука мышления*, стр. 35. Всю его аргументацию смотрите на стр. 30-64.

[56] *Ursprung der Sprache*, с. 91.

[57] *Грунтовая дорога*, i., с. 16. Следует заметить, что существует очевидная аналогия между описанным выше процессом, при котором концептуальное мышление деградирует до рецептивного, и тем, при котором на более низком плане ментальной эволюции интеллект деградирует до инстинкта. В моей предыдущей работе я посвятил много страниц рассмотрению этого вопроса и показал, что условие для того, чтобы разумные приспособления таким образом становились инстинктивными, неизменно определяется частотой повторения. Инстинкты такого рода (“вторичные инстинкты”) можно назвать деградировавшими рецептами, точно так же, как рецепты, о которых говорится в тексте, являются деградировавшими концепциями; ни один из них не мог бы быть таким, как сейчас, если бы не его более высокое происхождение. Любой, кого особенно интересует вопрос, возможна ли мысль без слов, может ознакомиться с перепиской между проф. Макс Мюллер, мистер Фрэнсис Гальтон, я и другие, в *Nature*, май и июнь 1887 г. (с тех пор опубликовано отдельным изданием); между первым и мистером Майвартом, в *Nature*, март 1888 г. Также статья мистера Джастиса Стивена в “*Девятнадцатом веке*”, апрель 1888 г. Проф. У Уитни есть несколько превосходных замечаний по этому поводу в его книге “*Язык и изучение языка*”, стр. 405-411.

[58] Из этого будет видно, что, используя такие термины, как “умозаключение”, “разум”, “рациональный” и т.д., Ссылаясь на психические процессы низших животных, я никоим образом не предпрещаю вопрос о различии между человеком и животным. В высшей области

представлений и человек, и животное в немалой степени достигают восприятия аналогий или отношений: это умозаключение или умозаключение в его наиболее прямой форме, и отличается от процесса, происходящего в сфере концептуального мышления, только тем, что само по себе оно не является объектом познания. Но, рассматриваемый как процесс вывода или умозаключения, я не вижу, чтобы в нашей терминологии имело какое-либо значение, является ли он сам по себе объектом знания или нет. Поэтому я не следую за теми многочисленными авторами, которые ограничивают такие термины высшими проявлениями процесса или рассуждениями, относящимися только к интроспективному мышлению. Возможно, это вопрос перебора соломинок, но я думаю, что лучше всего проводить наши различия там, где они возникают; и я не вижу, чтобы это изменяло процесс вывода как умозаключение, независимо от того, способен ли разум в силу дополнительной способности думать о процессе как о процессе - не больше, например, чем изменяется процесс ассоциации, когда он сам становится объектом познания. Поэтому я надеюсь, что ясно дал понять, что, поддерживая рациональность животных, я не утверждаю ничего большего, чем то, что они обладают способностью, как допускает сам мистер Майварт, делать "практические выводы". Таким образом, до сих пор мое расхождение с мистером Майвартом — и, насколько я знаю, со всеми другими современными авторами, утверждающими иррациональность животных, — сводилось лишь к терминологии.

[59] См. *Интеллект животных*, стр. 158.

[60] *Интеллект животных*, стр. 114-116.

[61] Крепelin, цитируется Бюхнером.

[62] Лучшие примеры выработки знаков у беспозвоночных, кроме перепончатокрылых, с которыми я встречался, - это тот, который я сам наблюдал и уже зафиксировал в *книге "Ментальная эволюция у животных"* (стр. 343, примечание). Животное - это процессирующая гусеница. Эти личинки мигрируют в виде длинной вереницы, ползущей гусеницей, при этом голова одной из них касается хвоста следующей в ряду. Если один участник серии удаляется, следующий участник, находящийся впереди, немедленно останавливается и начинает своеобразно вилять головой из стороны в сторону. Это служит сигналом для следующего участника также остановиться и покачать головой, и так далее, пока все участники, стоящие перед прерывающим, не остановятся, все покачивая головами. Но как только интервал сокращается за счет продвижения задней части колонны, передняя часть снова начинает двигаться вперед, когда виляние головой прекращается.

[63] *Фак. Мент. des Animaux*, tom. ii., p. 348.

[64] Дарвин, *Происхождение человека*, стр. 84, 85.

[65] *Природа*, 10 апреля 1884 г., стр. 547, 548.

[66] Для получения информации по всем этим пунктам см. Дарвин, *Выражение эмоций*.

[67] Цитируется Тайлором, *Ранняя история человечества*, стр. 80.

[68] Бертон, *Город святых*, стр. 151.

[69] *Цит. по.*, стр. 78.

[70] *Язык жестов у североамериканских индейцев и др.*, лейтенант-полковник. Гаррик Маллери (Первый ежегодный отчет Бюро этнологии, Вашингтон, 1881).

[71] Маллери, *цит. по.*, стр. 320. Автор приводит несколько очень интересных записей таких бесед и добавляет, что немые проявляют больше способностей к пониманию индейцев, чем наоборот, потому что для них “”действие, действие, действие” Демосфена - их единственное ораторское искусство, а не усиление его, каким бы ценным оно ни было”.

[72] *Цит. по.*, стр. 39.

[73] См., в частности, Тайлор, *лок. цит.*, стр. 28-30, где приводится интересный отчет о сложных и в то же время говорящих самостоятельно знаках, с помощью которых взрослый глухонемой давал указания по составлению своего завещания.

[74] *Ранняя история человечества*, стр. 24-32.

[75] *Цит. по.*, стр. 54.

[76] Дополнительную информацию, подтверждающую то, что было дано в предыдущей главе относительно языка жестов, можно найти в *Экспедиции Лонга в Скалистые горы* и статье Кляйнпола в *Völkerpsychologie*, & c., vi. 352-375. Впервые этот вопрос был рассмотрен в философском ключе Лейбницем в 1717 году, *Сборник этимологии*, глава ix.

[77] О бессмысленной артикуляции идиотов см. *Замечания Скотта о воспитании идиотов*. На этот факт ссылаются большинство авторов по психологии идиотов, и я часто наблюдал это сам. Но случай с необразованными глухонемыми здесь более уместен. Поэтому я приведу одну цитату в подтверждение приведенного выше утверждения. “Это очень примечательный факт, имеющий отношение к проблеме происхождения языка, что даже прирожденные немые, которые никогда не слышали произносимого слова, сами по себе и без какого-либо обучения издают вокальные звуки, более или менее членораздельные, которым они придают определенное значение, и которые, будучи однажды произнесенными, они продолжают использовать впоследствии в том же неизменном смысле. Хотя эти звуки часто можно записать более или менее точно с помощью наших обычных алфавитов, это воздействие на тех, кто их издает, может, конечно, не иметь ничего общего со слухом, а должно заключаться только в определенных способах дыхания в сочетании с определенными положениями голосовых органов” (Тайлор, *Ранняя история человечества*, стр. 72, где см. Доказательства). Инстинктивные артикуляции Лоры Бриджмен (которая была слепой и глухой) в этой связи являются еще более убедительными (см. *Там же.*, стр. 74, 75).

[78] Авторы по детской психологии расходятся во мнениях относительно времени, когда младенцы впервые понимают слова. Несомненно, она варьируется в отдельных случаях, и всегда ее более или менее трудно определить с точностью. Но все наблюдатели сходятся во мнении — и каждая мать или медсестра могли бы подтвердить, — что понимание многих слов и предложений становится безошибочным задолго до того, как сам ребенок начинает говорить. Наблюдения мистера Дарвина показали, что в случае с его детьми понимание слов и предложений было безошибочным между десятым и двенадцатым месяцами.

[79] См. *Интеллект животных*: для рыб, стр. 250; для лягушек и жаб, стр. 225; для змей, стр. 261; для птиц и млекопитающих в различных частях глав, посвященных этим животным.

Приведенный со ссылкой на авторитет Бингли случай с ручными пчелами мистера Уайлдмена, которых он научил повиноваться словам команды (стр. 189), если бы он был подтвержден, перенес бы рассматриваемую способность в ряд беспозвоночных.

[80] Хотя возраст, в котором начинается собственно разговор, у разных детей сильно различается, можно принять за универсальное правило — как указано в последнем примечании - что слова и даже предложения понимаются задолго до того, как они будут разумно произнесены; хотя, как отмечалось ранее, даже до того, как будут *поняты* какие—либо слова, бессмысленные слоги могут произноситься спонтанно или инстинктивно.

[81] Смотрите, например, "*Способность рассуждать у животных*" Уотсона, стр. 137-149, и "*Совершенствуемые животные*" Менье, глава xii.

[82] *Ursprung der Sprache*, стр. 122.

[83] Зафиксировано несколько случаев, когда собак учили артикулировать. Таким образом, вдумчивый Лейбниц ручается за факт (о котором он сообщил Королевской академии в Париже и в котором, по словам этого органа, они усомнились бы, если бы это не было замечено столь выдающимся человеком), что он слышал, как собака крестьянина отчетливо произносила тридцать слов, которым ее научил произносить сын крестьянина. В *Журнале Дамфриса* за январь 1829 года упоминается собака, жившая в то время в этом городе, которая отчетливо произносила слово "Уильям", которое было именем человека, к которому она была привязана. И снова полковник Маллери пишет: "Некоторые недавние эксперименты профессора А. Грэма Белла, не менее известного благодаря своим работам в области искусственной речи, чем в области телефонов, показывают, что животные физически более способны произносить членораздельные звуки, чем предполагалось. Он сообщил автору, что недавно ему удалось с помощью манипуляций заставить английского терьера произнести ряд звуков наших букв и, в частности, отчетливо выделить из них слова 'Как дела, бабушка'. Поскольку я считаю, что артикуляционный барьер у собак анатомический, а не психологический, я рассматриваю это просто как вопрос наблюдения, нельзя ли в некоторых случаях частично преодолеть этот барьер; но, насколько позволяют доказательства, я думаю, безопаснее заключить, что упомянутые случаи заключались в том, что животные так модулировали тона своих голосов, что они напоминали звуки определенных слов.

[84] Мистер Дарвин пишет: "Несомненно, что некоторые попугаи, которых научили говорить, безошибочно связывают слова с вещами, а людей - с событиями. Я получил несколько подробных отчетов на этот счет. Адмирал сэр Дж. Салливан, которого я знаю как внимательного наблюдателя, уверяет меня, что африканский попугай, долгое время содержавшийся в доме его отца, неизменно называл определенных домочадцев, а также посетителей по именам. Он сказал 'Доброе утро' каждому за завтраком и 'Спокойной ночи' каждому, когда они выходили из комнаты вечером, и никогда не менял эти приветствия местами. Обращаясь к отцу сэра Дж. Салливана, он обычно добавлял к 'доброе утро' короткую фразу, которая никогда не повторялась после смерти его отца. Он яростно отругал незнакомую собаку, которая забралась в комнату через открытое окно, и он отругал другого попугая (сказав: "Ах ты, непослушная полли!"), который выбрался из клетки и ел яблоки на кухонном столе. Доктор А. Мошкан сообщает мне, что он знал скворца, который никогда не ошибался, говоря по-немецки "доброе утро" приходящим людям и 'до свидания, старина' уходящим. Я мог бы добавить несколько других случаев" (*Происхождение человека*, стр. 85). Точно так же Узо приводит несколько

примеров почти того же рода (*Факт. des Anim.*, том ii., стр. 309, и далее.); и миссис Ли в своих *анекдотах* описывает несколько еще более примечательных случаев (которые цитирует Хьюзо), как и М. Менье в его недавно опубликованной работе о *совершенстве животных*. В моей собственной переписке я получил множество писем с подробным описанием подобных фактов, и из них я заключаю, что попугаи часто используют комичные фразы, когда они хотят вызвать смех, жалостливые фразы, когда они хотят вызвать сострадание, и так далее; хотя из этого не следует, что птицы понимают значения этих фраз, более того, они в целом подходят для возбуждения тех чувств, которые они хотят вызвать. Я сам держал отборных попугаев и могу полностью подтвердить все вышеприведенные утверждения своими собственными наблюдениями.

[85] *Журнал психических наук*, июль 1879г.

[86] Этот термин ранее использовался некоторыми филологами для обозначения мужской эякуляции. Следует заметить, что я использую его в более широком смысле.

[87] *Место человека в природе*, стр. 52. Здесь я могу уместно сослаться на документ, который вызвал бурную дискуссию несколько лет назад. Она была прочитана в Институте Виктории в марте 1872 года доктором Фредериком Бейтманом под названием “Дарвинизм, проверенный недавними исследованиями языка”; и ее целью было доказать, что способность к членораздельной речи представляет собой своеобразное различие между психологией человека и психологией низших животных. Этот аргумент доктор Бейтман пытался обосновать, во-первых, на обычном основании, что ни одно животное не способно использовать слова с какой-либо степенью понимания, и, во-вторых, на основании чисто анатомического характера. В тексте я полностью рассматриваю первое утверждение: на самом деле, многие низшие животные понимают значения многих слов, в то время как те из них, которые одни способны имитировать наши членораздельные звуки, нередко демонстрируют правильную оценку их использования в качестве знаков. Но что мне здесь особенно следует рассмотреть, так это анатомическую часть аргументации доктора Бейтмана. Он говорит: “Поскольку нельзя оспаривать замечательное сходство между мозгом человека и обезьяны, если бы местонахождение человеческой речи можно было однозначно проследить до какой-либо определенной части мозга, дарвинист мог бы сказать, что, хотя обезьяна не могла говорить, она обладала зародышем этой способности, и что в последующих поколениях в процессе эволюции “речевой центр” стал бы более развитым, и обезьяна тогда заговорила бы.... Если скальпелю анатома не удалось обнаружить *material locus habitandi* гордой прерогативы человека — способности членораздельной речи; если науке не удалось проследить связь речи с “материальным центром”, не удалось, таким образом, связать материю с разумом, я утверждаю, что речь является барьером между людьми и животными, устанавливающим между ними различие не только в степени, но и в виде; дарвиновская аналогия между мозгом человека и мозгом его предполагаемого предка, обезьяны, теряет всю свою силу, в то время как общепринятая вера в моисеево изложение происхождения человеческого мозга теряет свою силу. человек становится сильнее”. Теперь я не буду ждать, чтобы представить доказательство, которое полностью удовлетворило всех ныне живущих физиологов, что “способность к членораздельной речи” имеет “*материальный locus habitandi*”; ибо пункт, на котором я хочу настаивать, заключается в том, что для “дарвиновской аналогии” не имеет ни малейшего значения, ограничена ли эта способность определенным “центром речи” или ее анатомическое “местонахождение” распределено по какой-либо более широкой области коры головного

мозга. Такое “место” должно быть в любом случае, если допустить (как допускает доктор Бейтман), что кора головного мозга “несомненно является инструментом, с помощью которого это свойство проявляется вовне”. Вопрос о том, велик или мал “материальный орган речи”, никоим образом не может повлиять на вопрос, которым мы занимаемся. С тех пор как доктор Бейтман написал, наступила новая эра в локализации мозговых функций; так что, если бы в его аргументации была хоть капля здравости, можно было бы сейчас в значительной степени усилить “дарвиновскую аналогию”, видя, что физиологи теперь обычно используют мозг обезьян с целью аналогичной локализации “двигательных центров” в мозге человека. Другими словами, было обнаружено, что “дарвиновская аналогия” распространяется как в физиологических, так и в анатомических деталях на всю область коры головного мозга. Но, как я показал, в его аргументации нет здравого смысла; и поэтому я не пользуюсь этими недавними и наиболее удивительно наводящими на размышления результатами физиологических исследований.

[88] Я могу, однако, добавить следующие подтверждающие наблюдения, поскольку они ранее не публиковались. Я обязан ими доброте моего друга мистера А. Э. Стрит, который вел дневник психогенеза своих детей. Примерно в двухлетнем возрасте один из этих детей владел следующим словарным запасом:—

Аф-та (имитируя звук, который издавала медсестра, притворяясь, что пьет) = *питье* или *напиток*, *сосуд для питья* и, следовательно, *стакан* любого вида.

Vy = *муха*.

Vy-’ta = *окно*, *то есть* ‘ta или af-ta (*стекло*), по которому ходит муха.

Удар = *свеча*.

Паяльная шляпа = *лампа*, *то есть* свеча в шляпе или абажуре.

’Нелл = *цветок*, *то есть* запах.

Очевидно, что все эти слова имеют имитационное происхождение. Однако следующее, по-видимому, было чисто произвольным:—

Numby = *еда* любого вида (звукоподражательная).

Монахиня = *платье* любого вида.

Milly = *повязка* и любой предмет, используемый при повязке, *например* булавка.

Ли = *имя ее медсестры*, хотя никто больше не называл эту женщину иначе, чем медсестра.

Бездельничать = *дырка*; отсюда *наперсток*; отсюда *палец*.

Васки = *море*.

Билу-билу = *печатный символ “&”*, придуманный при изучении первых букв ее алфавита и всегда используемый впоследствии.

[89] Касаясь сравнительной скорости, с которой сигналы поступают в глаз и ухо соответственно, можно указать, что существует физиологическая причина, по которой

последнее должно иметь преимущество; ибо, в то время как ухо может различать последовательные ощущения, разделенные только интервалом в 0,016 секунды, глаз не может этого сделать, если интервал не превышает 0,047 секунды. (Wundt).

[90] *Энциклопедия. Брит.*, 9-е изд., ст. *Филология*.

[91] Следует помнить, что в предыдущей главе я доказывал невозможность оценить рефлекторное влияние речи на жест в случае высокого развития последнего у человека. В тексте я сейчас рассматриваю обратное влияние жеста на речь и нахожу, что точно оценить его не так-то просто. Однако не может быть сомнения в том, что взаимное влияние должно было быть велико в обоих направлениях и что сначала оно должно было перейти от жеста к речи, а затем, когда последняя стала хорошо развитой как система слуховых знаков, от речи к жесту. По этому вопросу потребуется сказать больше в одной из следующих глав.

[92] “Замечание Тидеманна об императивном значении слез подтверждается аналогичными наблюдениями Чарльза Дарвина. В возрасте одиннадцати недель у одного из его детей и немного раньше у другого характер их плача менялся в зависимости от того, был ли он вызван голодом или страданием. И это средство общения, по-видимому, очень рано было поставлено на службу воле. Ребенок, казалось, научился плакать, когда ему хотелось, и морщить черты лица в зависимости от случая, чтобы дать понять, что он чего-то хочет. Это развитие воли происходит к концу третьего месяца”. (Перес, *Первые три года детства*, английский перевод, стр. 101.)

[93] Несколько известных авторов обычно использовали слово “Суждение” самым неоправданным образом — Льюис, например, безразлично обозначает акт чувственного определения и акт концептуального мышления. Поэтому я могу здесь заметить, что в следующем анализе я не буду касаться каких-либо подобных необоснованных злоупотреблений этим термином, но буду понимать его в том техническом смысле, который он несет в логике и психологии. Необычные взгляды, которые мистер Хаксли опубликовал по этому вопросу, я могу воспринять только как иронию. Например, он говорит: “Рассуждение сводится к предикации, а предикация состоит в том, чтобы каким-то образом обозначать существование, сосуществование, последовательность, сходство и непохожесть вещей или их идей. Что бы это ни делало, оно рассуждает; и я вижу не больше оснований отказывать ему в способности рассуждать, потому что оно бессознательно, чем отказывать механизму мистера Бэббиджа в титуле вычислительной машины на тех же основаниях” (*Критические замечания и обращения*, стр. 281). Если бы к этому утверждению отнеслись серьезно, то, конечно, ответом было бы то, что двигатель мистера Бэббиджа называется вычислительной машиной только в метафорическом смысле, поскольку он не вырабатывает свои результаты с помощью какого-либо процесса, вообще напоминающего или каким-либо образом аналогичного человеческому разуму. Было бы абсурдным искажением сказать, что машина либо рассуждает, либо предикатирует, *только* потому, что она “некоторым образом отмечает существование, сосуществование, последовательность, сходство и непохожесть вещей”. Восходящий барометр или бьющие часы не являются предикатами, как не ощущается кусок дерева, скрипящий под циркулярной пилой. Называть чисто механическое или бессознательное действие — даже если оно должно происходить в живом существе и быть совершенно вспомогательным — разумом или предикацией означало бы путать физические явления с психическими; и, как я показал в своей предыдущей работе, даже если предположить, что последние являются простыми

“показателями” или “теньями” первых, все же *факт их существования должен быть признан*; и рассматриваемые процессы имеют отношение к ним, а не к их физическим аналогам. Следовательно, утверждать, что счетная машина действительно вычисляет или предопределяет результат своих вычислений, так же неверно, как утверждать, что музыкальная шкатулка сочиняет мелодию, потому что она играет мелодию, или что любовь Ромео и Джульетты была равнобедренным треугольником, потому что их чувства привязанности друг к другу были, подобно углам в основании этой фигуры, равны. Но, как я уже сказал, я полагаю, что профессор Хаксли, должно быть, писал здесь в каком-то ироническом смысле и поэтому намеренно облек свою критику в абсурдную форму.

[94] “Образы, соответствующие соответственно ‘сущему’ и ‘несуществующему’, а также ‘в то же время’ и ‘в том же смысле’, действительно должны быть “расплывчатыми”. Как вообще возможно, чтобы “воображение” могло воспроизводить какие-либо подобные “образы”, помимо “абстрактных идей” “разума”? Такие идеи, как “вещь, не являющаяся” или “сущая в том же смысле” и т. Д., Принадлежат сфере концептуального мышления и вообще не могут иметь никакого существования, кроме как в качестве “абстрактных идей разума”.

[95] *Природа*, 21 августа 1879г.

[96] Утверждение, содержащееся в этом предложении, я не в состоянии понять и поэтому в дальнейшем не буду пытаться критиковать. Если понимать это буквально — а я не знаю, в каком другом смысле это понимать, — мы должны предположить, что автор имел в виду, что “зелень” встречается только в “траве”, или, что то же самое, что только трава зеленая.

[97] *Уроки природы*, стр. 226, 227.

[98] Например, профессор Фрэнсис Боуэн из Гарвардского колледжа в эссе о *человеческом и грубом разуме*, *Princeton Review*, 1880.

[99] Милль, следуя схоластам, использует термины коннотация и деноминация как синонимы. Различие, которое я провел между ними, см. Выше, стр. 162.

[100] Сэйс, *Введение в науку о языке*, i., 115.

[101] Этот взгляд на концепцию как на воплощение идеи существования на самом деле не противоречит взгляду Милля, где он указывает, что если мы произносим только слово “Солнце”, мы не обязательно подтверждаем даже существование солнца (*Логика*, i., стр. 20); ибо, хотя мы и не подтверждаем существование этого конкретного тела, мы должны по крайней мере иметь представление о его существовании *как о возможности*: использование термина несет в себе подразумеваемую идею такой возможности и, следовательно, идею существования — фактического или потенциального — как уже присутствующего в сознании говорящего.

[102] Чтобы избежать неправильного понимания, я могу заметить, что критика, которую Милль высказывает по поводу этого анализа предложения Гоббса (*Логика*, i., стр. 100), не имеет отношения к единственному вопросу, который меня в настоящее время интересует, а именно к функции связки. Действительно, в этом вопросе я полностью согласен с обеими Фабриками. Что касается Джеймса Милля, см. *Анализ человеческого разума*, i. 126, и далее.; Г—н Джон Стюарт Милль пишет следующее: “Важно, чтобы в нашем представлении о природе и назначении связки не было нечеткости; поскольку неясные представления о ней относятся к числу причин,

которые распространили мистицизм на область логики и превратили его спекуляции в логомахию. Склонно предположить, что связка - это нечто большее, чем просто знак предикации; что она также обозначает существование. В предложении "Сократ справедлив", по-видимому, подразумевается не только то, что качество *справедливости* может быть подтверждено за Сократом, но и то, что Сократ *есть*, то есть существует. Это, однако, показывает только, что в слове *есть* двусмысленность; слово, которое не только выполняет функцию связки в утверждениях, но также имеет собственное значение, в силу которого оно само может быть сделано предикатом предложения" (*Логика*, i., стр. 86). В моих главах по филологии мне придется вернуться к анализу предикации, и тогда будет видно, насколько полно вышеупомянутая точка зрения была подтверждена прогрессом лингвистических исследований.

[103] Конечно, концепции могут быть чем-то большим, чем просто рецептами, известными как таковые: они могут быть знанием о других концепциях. Но эта более высокая стадия концептуального мышления меня здесь не касается.

[104] *Природа*, 21 августа 1879г.

[105] Тэн, *Разведка*, стр. 399, 400.

[106] Или, как мы можем теперь более точно определить это, именуемый *recept*. Просто денотатное восприятие (например, название попугая для его восприятия собаки) не является концептуальным, даже в самой низкой степени. Другими словами, названные рецепты просто как таковые не обязательно являются концепциями. Являются ли они концептами или нет, зависит от того, было ли присвоение имени актом обозначения, или только осознанным с точки зрения обозначения, или также *самоосознанным*.

[107] Я использую это слово по образцу, уже представленному термином "предварительное восприятие", который впервые был введен Льюисом и сейчас широко используется психологами.

[108] Что касается способности распознавать графические изображения у животных, то это, несомненно, наблюдается у собак (см. *Интеллект животных*, стр. 455, 456), и есть некоторые свидетельства того, что это также проявляется у обезьян. Ибо Исидор Жоффруа Сент-Илер рассказывает о разновидности Мидаса (*Corinus*), что он различал различные объекты, изображенные на гравюре; и Одуэн "показал ему портреты кошки и осы, при виде которых он пришел в ужас: тогда как при виде фигуры кузнечика или жука он бросался на картину, как будто хотел схватить изображенные там предметы" (Bates, *Nat. на Амазонке.*, стр. 60). Возраст, в котором маленький ребенок впервые учится распознавать графическое сходство, несомненно, варьируется в отдельных случаях. Я не встречал никаких свидетельств по этому поводу в трудах других исследователей детской психологии. Самый ранний возраст, в котором я наблюдал какое-либо проявление этой способности у моих собственных детей, был в восемь месяцев, когда мой сын долго и пристально смотрел на мой собственный портрет в манере, которая не оставила у меня сомнений в том, что он распознал в нем сходство с лицом мужчины. Более того, после того дня, когда его спрашивали в той комнате: "Где папа?", он всегда сразу поднимал глаза и указывал на портрет. Другая моя собственная дочь, которая не видела этого портрета до шестнадцати месяцев, сразу узнала его с первого взгляда, что было доказано тем, что она указывала на него и называла "Папа". Два месяца спустя я заметил, что она также распознала

графическое сходство животных, и в течение многих месяцев после этого ее главным развлечением было просматривать книжки с картинками, чтобы указать на изображенных животных или людей, - кричать “Ба—а-а” овцам, “Му” коровам, хрюкать свиньям и т. Д. Этим различным звукам она научилась как именам. медсестрой. Она никогда не ошибалась в такого рода терминологии и спонтанно называла все изображения мужчин “Папа”, женщин “Мама”, а детей “Ильда” — последнее имя она дала своему младшему брату. Более того, если бы ей дали в руки книжку с картинками вверх ногами, она немедленно заметила бы и исправила ошибку; и всякий раз, когда ей случалось видеть изображение животного — например, на ширме или обоях, — она прикасалась к нему и произносила звук, которым называла это животное. С третьим ребенком, который в свои восемнадцать месяцев все еще был совершенно безмолвен, я попробовал провести эксперимент, разложив несколько фотографических портретов и спросив его: “Кто из них мама? Кто папа?” и т. Д. Без малейших колебаний он указал их все правильно.

[109] Используя слово “суждение” во всех этих случаях, я никоим образом не наношу ущерба аргументации моих оппонентов. Объяснение, которое непосредственно следует в тексте, достаточно, чтобы показать, что определяющие термины “рецептивный” и “предконцептуальный” эффективно защищают от любого злоупотребления этим термином — в той же степени, например, когда психологи говорят о “перцептивных суждениях”, или “бессознательных суждениях”, или “интуитивных суждениях” в связи с еще более низкими уровнями умственной деятельности. И мне кажется, что таким образом лучше квалифицировать существующий термин, чем добавлять к уже большому количеству слов, которые я счел необходимым ввести.

[110] Здесь я могу заметить, что эта возможность рецептивного предиктирования со стороны говорящих птиц не совсем гипотетична: у меня есть некоторые доказательства того, что она действительно может быть реализована. Например, корреспондент пишет о заболевшем какаду: “В тот же день пришел друг и спросил его, как он себя чувствует. Склонив голову набок и бросив на нее один из своих хитрых взглядов, он сказал ей, что ему “немного лучше”, а когда она спросила его, не был ли он очень болен, он ответил: ‘Коки лучше, Коки намного лучше’. ... “Когда я вернулся (после длительного отсутствия), он сказал: “Мама, вернись к маленькому Коки. Мама, вернись к маленькому Коки. Приди, люби меня и хорошенько поцелуй. Никому не жаль бедного Коки. Мальчик избил бедного Коки. Он всегда говорил мне, если Джес ругал или бил его. Он всегда говорил мне об этом, как только видел меня, и таким жалостливым тоном.... Самое замечательное в этой птице то, что она не просто “разговаривает”, как попугаи в целом, но так привычно *говорит с определенной целью*.

[111] Чтобы не возникало какой-либо двусмысленности в отношении многочисленных терминов, которые я счел необходимым ввести, я приведу здесь таблицу определений.

Нижнее восприятие = автоматическая группировка восприятий.

Более высокое восприятие = предконцепция; или степень восприятия идей, которая не встречается ни у одного животного.

Нижняя концепция = именованное восприятие, при условии, что присвоение названия обусловлено рефлексивной мыслью.

Высшее понятие = именованное соединение понятий.

Аналогами этих терминов в вопросе наименования являются:—

Рецептивное именование = обозначение, которое включает в себя предконцептуальное именование.

Концептуальное обозначение = деноминация.

И, что касается суждения, аналогами являются:—

Рецептивное суждение = автоматический, “практический” или бездумный вывод.

Предконцептуальное суждение = более высокие, хотя и все еще бездумные, умозаключения ребенка до возникновения самосознания.

Концептуальное суждение = истинное суждение, независимо от того, выражается ли оно в обозначении, предикации или любом акте вывода, для которого может потребоваться самосознательное мышление.

[112] Смотрите выше, главы II. и IV.

[113] См. *Ментальную эволюцию у животных*, главу “Воображение”.

[114] По мнению Вундта, наиболее важным из всех условий возникновения самосознания является мышечный смысл в актах произвольного движения (*Vorlesungen über die Menschen und Thierseele*, 18 том.). Соглашаясь с ним в том, что это очень важное условие, я думаю, что другие вышеупомянутые условия ничуть не меньше или даже больше.

[115] Смотрите примеры этого, *Интеллект животных*, стр. 410, 443, 444, 450-452, 458, 494.

[116] Следующее является хорошим примером выброса идей у грубияна — возможно, тем лучше, что оно такое знакомое. Я цитирую это из книги Катрефажа *"Виды человека"*, стр. 20, 21: "Здесь я должен попросить разрешения поделиться воспоминаниями о моей борьбе с чистокровным мастифом, который достиг своего полного размера, оставаясь, однако, очень молодым по характеру. Мы были очень хорошими друзьями и часто играли вместе. Как только я принимала перед ним оборонительную позу, он набрасывался на меня со всей видимостью ярости, хватая зубами руку, которую я использовала в качестве щита. Он мог оставить глубокую рану на моей руке при первом натиске, но он никогда не нажимал на нее так, чтобы это могло причинить хоть малейшую боль. Я часто хватал его за нижнюю челюсть рукой, но он никогда не использовал зубы, чтобы укусить меня. И все же в следующий момент те же зубы вгрызались в кусок дерева, который я пытался от них оторвать. Это животное, очевидно, знало, что делало, когда симулировало страсть, прямо противоположную той, которую испытывало на самом деле; когда даже в азарте игры оно сохраняло достаточный контроль над своими движениями, чтобы не причинить мне боли. На самом деле это сыграло роль в комедии, и мы не можем действовать, не осознавая этого”.

[117] Однако это не совсем так. Мистер Чонси Райт четко признал существование того, что я называю рецептивным самосознанием, и присвоил ему принятое выше название - т.е. “внешнее самосознание”. См. его *Эволюцию самосознания*. М-р Дарвин, также, по-видимому, признал это различие в следующем отрывке: “Можно свободно признать, что ни одно животное не обладает самосознанием, если под этим термином подразумевается, что оно размышляет о

таких моментах, как то, откуда оно пришло или куда оно направится, или что такое жизнь и смерть, и так далее. Но как мы можем быть уверены, что старая собака с отличной памятью и некоторой силой воображения, о чем свидетельствуют ее сны, никогда не вспоминает о своих прошлых радостях или страданиях во время охоты? И это было бы формой самосознания” (*Происхождение человека*, стр. 83). Конечно, психолог может сделать техническое исключение из слова “отражает” в этом отрывке; но то, что такого рода рецептивная рефлексия действительно имеет место у собак, мне кажется, определенно доказывается фактами тоски по дому и тоски по отсутствующим друзьям, упомянутыми выше.

[118] In the present connection the following very pregnant sentence may be appropriately quoted from Wundt:—“Wenn wir überall auf die Empfindung als Ausgangspunkt der ganzen Entwicklungsreihe hingewiesen werden, so *müssen* auch die Anfänge jener Unterscheidung des Ichs von den Gegenständen schon in den Empfindungen gelegen sein” (*Vorlesungen über die Menschen und Thierseele*, i. 287). И на возражение, что не может быть мысли без знания о мысли, он отвечает, что прежде, чем будет какое-либо знание о мысли, должен быть тот же порядок мышления, что и порядок восприятия до появления самосознания —*например*, рецептивные идеи о пространстве до того, как будет какое-либо концептуальное знание об этих идеях как таковых.

[119] Салли, *цит. по.*, стр. 376. См. также Wundt, *loc. cit.*, i. 289. Он показывает, что это говорение о себе в третьем лице происходит не из-за “подражания”, а, напротив, противостоит ему. Ибо “тысячу раз ребенок слышит, что старшие так не говорят о себе”. Ребенок слышит, что старшие называют его в третьем лице, и в этом следует за ними. Но такое подражание, которое мы здесь находим, выражает только тот факт, что до сих пор ребенок не проводил различия между “я” как объектом и “я” как субъект. Только позже, когда это различие начинает проявляться, подражание переходит к применению к “я” первого человека в манере, в которой, как слышно, поступают другие “я” (теперь признанные ребенком таковыми).

[120] *Цит. по.*, стр. 377.

[121] *Цит. по изданию*, стр. 435, 436.

[122] *Философские дискуссии*, стр. 256. Смотрите также *Интеллект животных*, стр. 269, 270, о случае с попугаем, который, по-видимому, пытался восстановить в памяти конкретное слово во фразе. В ходе интересного исследования интеллекта пауков (*журн. Morphol.*, i., стр. 383-419), мистер и миссис Пекхэм недавно обнаружили, что память о яйцах, которые были изъяты у матери, сохраняется у нее в течение периода, варьирующегося у разных видов от менее чем одного до более чем двух дней.

[123] Салли, *документальное издание*, стр. 377.

[124] Вундт, *лок. цит.*, ii. 289, 290. Он приводит случаи, когда сохранялось такое четкое воспоминание о моменте, и в другом месте утверждает, что так обстоит дело в его собственном опыте. Обстоятельство, которое здесь было связано с внезапным рождением самосознания, состояло в том, что он скатился по лестнице в подвал — событие, которое, без сомнения, было хорошо рассчитано, чтобы внушить младенческому сознанию, что оно было самим собой, и никем другим.

[125] См. *Ментальную эволюцию у животных*, стр. 161-165. Перес приводит аналогичные факты в отношении младенца, которые безошибочно проявляются на четырнадцатой неделе (*Первые три года детства*, английский перевод, стр. 29).

[126] *Очерки психологии*, стр. 378.

[127] *Vorlesungen, &c.*, i. 289.

[128] В приведенном выше наброске принципов, имеющих отношение к развитию самосознания, я рассматривал этот вопрос только с точки зрения его психологии, и даже с этой стороны лишь постольку, поскольку имею в виду мои собственные цели. Те, кто желает получить дополнительную информацию о психологии субъекта, могут проконсультироваться с Вундтом, *цитата*; Салли, *цитата*, и *Иллюзии*, гл. x.; Тэн, *Об интеллекте*, п. ii., bk. iii.; Чонси Райт, *Эволюция самосознания*; и Вайц, *Lehrbuch der Psychologie*, 58. Что касается физиологии и патологии, то можно сослаться на Тэна, Модсли и Рибо (*Об интеллекте, патологии разума, болезнях памяти*), а также на статью Герцена, озаглавленную "*Изменения совести моей*" (*Bull. Soc. Hand. Sc. Nat.*, xx. 90). Эссе по философии самосознания П. Ф. Фицджеральда написано со стороны метафизики. С этой стороны школа Гегеля и неокантианцы также встречают нас фактическим отрицанием происхождения и развития самосознания во времени. Так, например, Грин прямо говорит: "Следует ли задать вопрос, если это самосознание не происходит от природы, каково же тогда его происхождение? ответ таков, что у него нет происхождения. Это никогда не начиналось, потому что этого никогда не было. Это условие существования такой вещи, как начало или конец. Все, что начинается или заканчивается, делает это для этого или по отношению к этому" (*Прологомены к этике*, стр. 119). На это я могу только ответить, что со своей стороны я чувствую себя столь же убежденным, как и в факте самого моего самосознания, что оно имело начало во времени и впоследствии было предметом постепенного развития. "Das Ich ist ein Entwicklungsprodukt, wie der ganze Mensch ein Entwicklungsprodukt ist" (Wundt).

[129] "Из всех орудий неолита топор был, безусловно, самым важным. Именно с помощью топора человек одержал свою величайшую победу над природой" (Бойд Докинз, "*Ранний человек в Британии*", стр. 274).

[130] Гальтон, *Тропическая Южная Африка*, стр. 213. Автор добавляет: "Однажды, наблюдая за Даммарой, безнадежно барахтающейся в расчетах по одну сторону от меня, я заметил Дайну, моего спаниеля, не менее смущенного по другую. Она не обращала внимания на полдюжины своих новорожденных щенков, которых у нее два или три раза забирали, и ее беспокойство было чрезмерным, поскольку она пыталась выяснить, все ли они на месте или кого-то еще нет. Она продолжала ломать голову и бегать по ним глазами, взад и вперед, но так и не смогла удовлетвориться. Она, очевидно, имела смутное представление о счете, но цифра была слишком велика для ее мозга. Если взять этих двоих в том виде, в каком они стояли, пса и Даммару, то сравнение не оказало большой чести этому человеку". Как говорилось ранее, я научил шимпанзе "Салли" бросать одну, две, три, четыре или пять соломинок по команде.

[131] Мальчика звали Эрнест, и так его называли все остальные члены семьи. Поскольку я не смог найти никакого источника для подражания непохожему имени, использованному его сестрой, это, вероятно, пример спонтанного придумывания имен маленькими детьми, который уже рассматривался в конце моей главы об "Артикуляции". Касаясь употребления прилагательных маленькими детьми, я могу процитировать следующее замечание профессора

Прейера: “Необходимо устранить очень общую ошибку, которая состоит в предположении, что все дети, впервые начиная говорить, используют только существительные, а позже переходят к употреблению прилагательных. Это, конечно, не тот случай”. И он продолжает приводить примеры, почерпнутые из ежедневных наблюдений за своим собственным ребенком, такие как использование слова “хайсс” на двадцать третьем месяце.

[132] Впоследствии мы увидим, что на этой стадии ментальной эволюции нет четко выраженного различия между различными частями речи. Поэтому здесь и в других местах этой главы я использую термины “существительное”, “прилагательное”, “глагол” и т.д. в широком смысле.

[133] Я видел своего собственного терьера (который обычно использовал этот жест-знак так же, как и ребенок Прейера, а именно как выражение желания), усердно, хотя и бесплодно “умоляющего” перед упрямой сукой.

[134] Многие собаки многозначительно лают, а кошки многозначительно мяукают, требуя того, чем они желают обладать или чтобы это было сделано. О том, как часто дети плачут, см. Выше, стр. 158.

[135] О случае обезьяны в этой связи см. Выше, стр. 126. Я взял свою дочь, когда ей было семь лет, чтобы она стала свидетельницей понимания обезьяны “Салли”. Уходя, я заметил ей, что животное, похоже, “такое же разумное, как Джек” — *то есть* ее полуторагодовалый братишка. Она немного подумала, а затем ответила: “Ну, я думаю, что она более разумна”. И я верю, что ребенок был прав.

[136] Или, если бы какой-либо оппонент предложил это, он бы совершил аргументированную капитуляцию. Ибо цитаделью его аргументации, как мы знаем, является способность к зачатию, или присущая исключительно человеку способность объективировать идеи. Теперь всеми признано, что эта власть невозможна при отсутствии самосознания. Можно ли в таком случае предположить, что моя дочь достигла самосознания и интроспективного рассмотрения своих собственных идей до того, как она обрела способность говорить, а следовательно, и *способность* называть свои идеи? Если это так, то из этого следует, что могут существовать концепции без названий, и, таким образом, вся крепость моих противников рухнет.

[137] См. стр. 81-83, где показано, что даже в случаях, когда концептуальное мышление необходимо для первоначального формирования имени, впоследствии имя может использоваться без участия такой мысли — точно так же, как действия, изначально обусловленные интеллектом, могут при частом повторении стать автоматическими. В конце настоящей главы будет показано, что то же самое верно даже для полной или формальной предикации.

[138] В этой связи интересно отметить отсутствие связки. Несмотря на сильные подражательные тенденции детского ума и несмотря на то, что наши английские дети слышат связку, выраженную почти в каждом высказывании, обращенном к ним, их собственные суждения, все еще находясь в предконцептуальной фазе, обходятся без нее (см. Выше, стр. 204). Таким образом, полагаясь только на приложение, не выражая никаких признаков отношения, маленький ребенок передает в устной речи непосредственный перевод ментальных актов, связанных с предикацией. Как отмечалось ранее, мы встречаемся с точно таким же фактом в естественном языке жестов, даже после того, как он был преобразован в сложные

концептуальные системы индейцев и глухонемых. Наконец, в следующей главе мы увидим, что то же самое следует сказать обо всех более примитивных формах разговорного языка, которые все еще существуют среди дикарей. Таким образом, здесь мы снова встречаемся с дополнительным доказательством, если бы оно потребовалось, глупости рассматривать связку как существенный ингредиент предложения.

[139] См. стр. 166.

[140] До сих пор, как можно заметить, случай предикации в точности аналогичен случаю обозначения, упомянутому в примечании на странице 226. Точно так же, как инстинкты могут возникать в результате “утраты интеллекта”, так и первоначально концептуальные названия и даже первоначально концептуальные предложения могут изнашиваться из-за частого использования, пока они, так сказать, не деградируют до доконцептуального порядка формирования идей. Следует, однако, отметить, что абзацы, которые *следуют* в тексте, имеют отношение к совершенно иному принципу, а именно, что могут существовать предложения, строго концептуальные в отношении формы, которые, тем не менее, никогда не должны были быть концептуальными в отношении мышления.

[141] *Логика*, том i, стр. 108.

[142] *Британская энциклопедия*, восьмое издание, 1857, арт. “Язык”.

[143] Конечно, в классические времена, когда не существовало богословских презумпций против теории развития, эта альтернатива получила более полное признание; как, например, у латинских авторов Горация, Лукреция и Цицерона. До этого времени греческих философов сильно волновал вопрос, является ли речь интуитивным даром (сторонники аналогии) или продуктом человеческого изобретения (аномалисты); а еще раньше индийские грамматисты достигли поразительного прогресса в подлинно научном анализе развития языка. Но в тексте я говорю о современном времени; и здесь, я думаю, не может быть никаких сомнений в том, что до середины нынешнего столетия возможность того, что язык был результатом естественного роста, не признавалась в достаточной степени. Среди тех, кто действительно осознал это, Гердер, Монбоддо, сэр У. Джонс, Шлегель, Бопп, Гумбольдт, Гримм и Потт наиболее заслуживают упоминания. В том же году, когда было опубликовано “*Происхождение видов*” (1859), науке был представлен первый выпуск “*Книги Штайнталя*” “*О всеобщей психологии и научных исследованиях*”. С этой даты теория эволюции в ее применении к филологии стала безраздельно господствовать.

[144] *Энцykl. Брит., местный*. Помня, что вышеприведенная статья была опубликована за два года до *Происхождения видов* посредством естественного отбора, это четкое изложение борьбы за существование в области филологии кажется мне заслуживающим внимания.

[145] *Наука о мышлении*, предисловие, стр. xi.

[146] *Дарвинизм, проверенный наукой о языке*, стр. 41.

[147] Среди филологов существуют разногласия относительно того, в какой степени модифицирующие константы сами по себе изначально были корнями. Школа Людвига рассматривает демонстративные элементы как никогда не существовавшие в качестве независимых слов; но, даже в этом случае, они должны были иметь какое-то независимое

существование, иначе невозможно объяснить, как они вообще стали использоваться как постоянно модифицирующие разные корни одним и тем же способом. Более того, как хорошо замечает Макс Мюллер, “предположение, что Хана, Хаин, Ханана, Хайнтра, Хатра и т. Д. Возникли как готовые, без какой-либо синтетической цели, и что их различия были вызваны не чем иным, как неконтролируемой игрой органов речи, кажется мне бессмысленным утверждением.... Однако следует признать, что многие суффиксы и окончания были неправильно проанализированы Боппом и его школой, и что мы должны быть удовлетворены тем, что рассматриваем большинство из них вначале просто как демонстративные и модифицирующие” (*loc. cit.*, стр. 224 и 225). См. также Фаррар, *Происхождение языка*, стр. 100, и последующие; Дональдсон, *Греческая грамматика*, стр. 67-79; и Ховелак, *Наука о языке*, стр. 37. Следует отметить, что этот вопрос не влияет на изложение в тексте.

[148] *Grundriss der Sprachwissenschaft*, I. i. 77. Эта оценка принята профессором Сэйсом, *Введение в науку о языке*, том ii., стр. 32.

[149] Ховелак, *Наука о языке*, английский перевод, стр. 37.

[150] Этот метод репрезентации был разработан Шлейхером, который развивает его дальше, чем я имею возможность сделать в тексте. См. “*Воспоминания Санкт-Петербургской академии*”, т. i, № 7, 1859.

[151] Hovelacque, *лок. цит.*, стр. 130.

[152] Сэйс, *Введение и с.*, i. 126.

[153] *Введение и с.*, том i, стр. 374.

[154] *Там же.*, том i, стр. 375, 376.

[155] *Там же.*, стр. 120. См. также его *Принципы сравнительной филологии*, 2-е изд., стр. ix.

[156] Сэйс, *Введение и с.*, i., 125, 126.

[157] Ховелак, *Наука о языке*, стр. 130.

[158] “Что нам больше всего нужно отметить, так это очень узкую ограниченность наших нынешних знаний. Даже среди соседних семей, таких как алгонкины, трокуа и дакота, чье сходство в стиле построения (полисинтетическом), взятое в связи с соответствующим расовым типом их носителей, запрещает нам рассматривать их как в конечном счете различные, не прослеживается никакого материального соответствия, совпадений в словах и значениях; и в Америке существуют все степени полисинтетизма, вплоть до самой низкой, и даже до полного его отсутствия. В таком случае должно быть очевидно, что все попытки связать американские языки как единое целое с языками Старого Света являются и должны быть бесплодными: фактически, все обсуждения этого вопроса в настоящее время ненаучны” (Профессор Уитни в *Encycl. Brit.*, ст. “Филология”, 1885).

[159] *Введение и с.*, i. 120.

[160] *Там же.*, i. 116.

[161] “Число существующих в настоящее время в мире отдельных семейств речи, которые не могут быть связаны друг с другом, составляет по меньшей мере семьдесят пять; и это число, несомненно, увеличится, когда у нас будут грамматики и словари многочисленных языков и диалектов, которые все еще неизвестны, и лучшая информация относительно тех, с которыми мы частично знакомы. Если мы добавим к ним бесчисленные группы языков, которые исчезли, не оставив после себя даже таких беспризорников, как баски Пиренеев или этруски древней Италии, то сформируется некоторое представление о бесконечном количестве первобытных центров или сообществ, в которых язык зародился” (Сэйс, *Введение* и с., ii. 323).

[162] *Жизнь и развитие языка*, стр. 259.

[163] *Там же.*, стр. 262.

[164] Я могу добавить, что гипотеза допускает подтверждение из источников, не упомянутых ее автором. Ибо архидиакон Фаррар писал в 1865 году: “Заброшенные дети в некоторых канадских и индийских деревнях, которых на несколько дней оставляют одних, могут изобрести и действительно изобретают для себя что—то вроде *языка общения*, частично или полностью непонятного всем, кроме них самих”; и он цитирует мистера Р. Моффата как “свидетельство аналогичного явления в деревнях Южной Африки (*Миссионерские поездки*)”. Он также ссылается на тот факт, что “глухонемые обладают инстинктивной способностью вырабатывать для себя язык знаков”, который, как мы видели в предыдущей главе, включает использование произвольной артикуляции, даже если в этом случае говорящие сами не могут слышать звуки, которые они издают.

Пока эта работа проходила через прессу, доктором Хейлом была опубликована дополнительная статья, озаглавленная “*Развитие языка*”. Это дает дополнительные доказательства в поддержку этой гипотезы.

[165] Вундт, *Ворлзунген и др.*, ii., 380, 381.

[166] Сэйс, *Введение в науку о языке*, ii, 13.

[167] Разница во мнениях, о которой идет речь, по-видимому, возникает из индивидуальных предубеждений относительно скрытого вопроса о том, должны ли коренные корни всех языков быть многосложными. Что касается меня лично и по уже приведенным причинам, я не вижу никаких оснований для утверждения, что все примитивные языки должны были обладать “полисинтетическим гением”.

[168] *История семитских языков*, стр. 138.

[169] *Этимологический словарь*, стр. 746.

[170] См. Макс Мюллер, *Наука о мышлении*, стр. 332.

[171] *Там же.*, стр. 404.

[172] *Ethnologische Forschungen*, ii., с. 73, и далее. Здесь он цитирует Варрона о том, что латинские корни насчитывают около тысячи.

[173] *Язык и изучение языка*, стр. 256.

[174] Сэйс, *Введение в науку о языке*, ii., стр. 4.

[175] Гейгер, *Ursprung der Sprache*, с. 16.

[176] Сэйс, документ. цит. по, ii. стр. 6.

[177] Веджвуд, *Этимология. Диктант*, стр. iii.

[178] Фаррар, *Происхождение языка*, стр. 53.

[179] *Наука о мышлении*, стр. 439.

[180] *Наука о мышлении*, стр. 549.

[181] *Наука о мышлении*, стр. 551, 552.

[182] *Там же.*, стр. 551, 552.

[183] “Арийские языки - это языки цивилизованной расы; на праязыке, к которому мы можем индуктивно проследить их, говорили люди, стоявшие на относительно высоком уровне культуры” (Сэйс, *Введение и с.*, i. 56). “Первобытное племя, говорившее на родном языке индоевропейской семьи, было не только кочевым, но имело оседлые жилища, даже города и укрепленные пункты, и занималось частично разведением крупного рогатого скота, частично обработкой земли. В нем обитали наши главные домашние животные — лошадь, бык, коза и свинья, помимо собаки: медведь и волк были врагами, разорявшими его стада; мышь и муха уже были домашними вредителями.... Ячмень, а возможно, и пшеницу, выращивали для употребления в пищу и перерабатывали в муку. Медовуху готовили из меда как бодрящий и опьяняющий напиток. Использование определенных металлов было известно; вопрос о том, было ли железо одним из них, остается под вопросом. Практиковалось искусство ткачества; использовались шерсть, пенька и, возможно, лен.... Оружием нападения и защиты были те, которые обычны у первобытных народов, - меч, копье, лук и щит. Изготавливались лодки, которые передвигались с помощью весел.... Искусству счета научились, по крайней мере, до ста; общеиндоевропейского слова, обозначающего ‘тысячу’, не существует. Некоторые звезды были замечены и получили названия; луна была главным измерителем времени. Религия была политеистической, поклонением персонифицированным силам природы” (Уитни, *Язык и изучение языка*, стр. 207, 208). Для более подробного рассказа об этом интересном народе см. Poescher, *Die Arier*.

[184] “Unsere Wurzeln sind die Urwurzeln nicht; wir haben vielleicht, von keiner einzigen die erste, ursprüngliche Laut-form mehr vor uns, ebensowenig wohl die Urbedeutung” (Geiger, *Ursprung der Sprache*, s. 65). И это мнение, насколько я знаю, принято как аксиома всеми остальными филологами.

[185] “Невозможно свести эпоху, в которую арийские племена все еще жили в одной местности и говорили практически на одном языке, к дате намного более поздней, чем третье тысячелетие до христианской эры” (Сэйс, *Введение, & с.*, ii., стр. 320).

[186] Одного этого факта было бы достаточно, чтобы избавиться от того, что я не могу не рассматривать с любой точки зрения, а именно от очевидной абсурдности доктрины о том, что “формирование мысли является первой и естественной целью языка, в то время как его

передача является лишь случайной” (*Наука о мышлении*, стр. 40). Такая “цель” подразумевала бы “мысль” как уже сформированную; и, следовательно, доктрина должна предполагать, что цель предшествует условиям ее собственной возможности.

[187] Я использую термин “глаголы” просто ради краткости и ясности. Конечно, не могло быть глаголов, строго так называемых, до того, как появились какие-либо части речи. Более точное утверждение приведено в следующем предложении, и я хочу, чтобы оно было понято ниже в сокращенном выражении “глаголы”.

[188] “Следует иметь в виду, что первобытный человек не проводил различия между явлениями и волевыми действиями, но включал в категорию действий все, не только произвольные действия людей, такие как дыхание, но также движения неодушевленных предметов, восход и заход солнца, ветер, течение воды и даже такие чисто неодушевленные явления, как огонь, электричество, & с.; короче говоря, все изменяющиеся атрибуты вещей были задуманы как добровольные действия” (*Sweet, Words, Logic and Grammar*, стр. 486).

[189] На самом деле, и как мы впоследствии увидим, существует огромное количество чисто филологических свидетельств, свидетельствующих о том, что глаголы на самом деле являются гораздо более поздним продуктом языкового развития, чем существительные или местоимения. Это подтверждается их сравнительной малочисленностью во многих существующих языках низкого уровня развития (их место занимают местоименные предложения и т. Д.), А также прослеживанием происхождения многих из них от других частей речи. (См., в частности, *Эссе Гарнетта "Притчард о кельтских языках"*, *Quart. Rev.*, сентябрь 1876 г.; *Происхождение слов от местоименных и предложных корней*, *Proc. Филол. Соч.* том ii.; и *О природе и анализе глагола*, там же, том iii.) Позже будет показано, что на действительно примитивных стадиях развития языка нет четкого различия ни между одной из частей речи. Архидьякон Фаррар Уэлл замечает: “Изобретение глагола требует большего усилия по абстрагированию, чем изобретение существительного.... Мы не можем принять это как дажевозможное, что от корней, означающих *сиять*, *быть ярким*, образовались названия для *солнца*, *луны*, *звезды* т. Д.... В некоторых местах, действительно, профессор Мюллер, по-видимому, придерживается правильной точки зрения, что сначала “корни” обозначали любую часть речи, точно так же, как это делают односложные выражения детей” (*Главы о языке*, стр. 196, 197; см. Также несколько хороших замечаний по этому вопросу сэра Грейвса Хотона, *Бенгальская грамматика*, стр. 108).

[190] “Standst du dabei, als sich der Brust des noch stummen Urmenschen der erste Sprachlaut entrang? und verstandst du ihn? Oder hat man dir die Urwurzeln jener ersten Menschen vor hundert tausend Jahren überliefert? Sind das, was du als Wurzeln hinstellst, und was wirklich Wurzeln sein mögen, auch Wurzeln der Urzeit, unveränderte Reflexlaute? Sind jene deine Wurzeln älter als sechstausend, als zehntausend Jahre? und wie viel mögen sie sich in den früheren Jahrzehntausenden verändert haben? wie mag sich ihre Bedeutung verändert haben?” (*Steinthal, Zeits. b. Volkerpsych. u. Sprachwiss.*, 1867, s. 76).

[191] *Выше*, стр. 68, и далее.

[192] *Ursprung der Sprache*, s. 74. To the same effect, and from the side of psychology, I may quote Wundt:—“Oft hat man desshalb in der Sprache einen Übergang vom Abstrakten zum Konkreten zu finden geglaubt, weil dieselbe thatsächlich zunächst umfassendere, dann individuellere Vorstellungen bezeichnet und erst zuletzt wieder die Namen individueller Objekte zu Gemeinnamen

stempelt. Aber was am Anfang dieser Reihe liegt ist etwas ganz anderes als was den Schluss derselben bildet: Gemeinnamen sind wirkliche Zeichen für Allgemeinvorstellungen und Begriffe. Jene ersten Vorstellungen, welche das Bewusstsein bildet und die Sprache ausdrückt, sind nicht *Allgemein*vorstellungen sondern *umfassende* Vorstellungen. Beides ist wesentlich aus einander zu halten" (*Vorlesungen, &c.*, ii. 382). Затем отрывок переходит к обсуждению психологии предмета.

[193] Введение ис., ii. 5, 6.

[194] И даже в отношении этого меньшинства (такого как "быть", "думать", "делать" и т.д.), мы должны помнить важное соображение, которому Гейгер посвятил ряд превосходных страниц. Короче говоря, это соображение состоит в том, что повсеместно доказано, что потомки слов постепенно меняли свои значения последовательными шагами и расходящимися линиями: применяя этот общий закон к случаю корней, следует, что древнейшее значение, которое филология способна проследить как выраженное корнем, необязательно должно быть где-то рядом со значением, которое приписывалось его более отдаленным предкам: последнее могло быть гораздо менее концептуальным.

[195] Профессор Макс Мюллер говорит в одном месте: "Наука о языке, исследуя происхождение общих терминов, установила два факта высочайшей важности, а именно, во-первых, все термины изначально были общими; и, во-вторых, они не могли быть ничем иным, кроме общего" (*Наука о мышлении*, стр. 456). Однако в другом месте он говорит: "Хотя в то время, когда развитие языка становится историческим и, следовательно, наиболее доступным для нашего наблюдения, тенденция, безусловно, идет от общего к особому, я не могу удержаться от убеждения, что до этого времени был доисторический период, в течение которого язык следовал в противоположном направлении. В течение этого периода корни, начинавшиеся с особых значений, становились все более и более обобщенными, и только достигнув этой стадии, они снова разветвлялись в особые каналы" (*там же.*, стр. 383, 384). Опять же, в своей более ранней работе по *Науке о языке* (том i, стр. 425-432) он приводит доводы в пользу того, что термины были аборигенно общими. Таким образом, будет видно, что в отношении этого вопроса он не последователен. Касаясь первой из своих доктрин, процитированных выше, Гейгер уместно замечает, что против такого вывода лежит очевидный абсурд, что если бы язык состоял исключительно из общих терминов, он был бы *ipso facto* непонятен своим носителям; "ибо какая надежда может быть на какое-либо взаимопонимание с языком, состоящим только из таких слов, как "связывать", "звучать" и т. д.?" (*Ursprung der Sprache*, с. 16). Очевидно, что трудности профессора Макса Мюллера в отношении этого предмета вполне надуманны и исчезли бы, если бы он принял естественную альтернативу: нет оснований предполагать, что слова аборигенов были исключительно специальными или общими — т.е. родовыми.

[196] Бунзен, *Философия всеобщей истории*, ii. 131.

[197] Профессор Макс Мюллер во всех своих работах; но заметно, что его оппозиция тому, что он называет "теорией боу-вау и пуха-пуха", была более жесткой в его ранних публикациях, чем в более поздних.

[198] Излишне говорить, что можно привести бесчисленные примеры этого метафорического изменения значений слов даже в существующих языках — настолько, что, как говорит Рихтер,

все языки - всего лишь словари забытых метафор. Например, есть единственное еврейское слово из трех букв, которое может иметь любое из следующих значений: смешивать, менять, стоять на месте, давать обещание, вмешиваться, быть знакомым, исчезать, сидеть, делать что-то вечером, быть милым, мухой или жуком, арабом, незнакомцем, тканью, вечером, ивой и вороном. (См. Фаррар, *Главы о языке*, стр. 229. Он добавляет: “Предполагая, что все эти значения в конечном счете выводимы из одного и того же корня, мы сразу видим степень, в которой должна была действовать метафора”. Дополнительные примеры того же принципа см. Там же., стр. 234, 251, 252.)

[199] *Наука о мышлении*, стр. 317, 318.

[200] Или, как выразился Хейзе, многие звукоподражания являются не “старыми плодотворными корнями языка, а современными изобретениями, которые остаются изолированными в языке и неспособны породить какие-либо семейства слов, потому что их значение слишком ограничено и особенное, чтобы допускать разнообразное применение” (*Система*, с. 92, цитируется Фарраром, *Главы о языке*, стр. 152, который также показывает, что слова звукоподражательного происхождения не всегда бесплодны. Когда такое происхождение не настолько отдалено, чтобы полностью затеряться за широким коннотативным расширением, остается возможность проследить его происхождение через области меньшей протяженности).

[201] “Nichtsdestoweniger bleibt es eine wichtige psychologische Thatsache, dass die Laute einen onomatopoetischen Werth haben, dass wir diesen Werth heute noch fühlen. Nur ist dieses Gefühl nicht sicher genug, um als wissenschaftlicher Beweis zu gelten, wie es denn auch bei den verschiedenen Racen verschieden ist. Die Sprachen der mongolischen Race haben zur Bezeichnung von Naturereignissen viele Onomatopöien, welche wir nicht mitfühlen. Und das ist weder zu verwundern, noch ist es ein Beweis gegen die geistige Einheit des Menschengeschlechtes. Das Gefühl wird ja vielfach durch Associationen der Vorstellungen bestimmt. Andere Associationen aber walten im Kaukasier, andere im Mongolen” (*Zeits. b. Volkerpsych. u. Sprachwissen.*, 1867, s. 76).

[202] *Введение и с.*, i., стр. 108. Он указывает, что “*bilbit, glut-glut и puls-* все это попытки передать один и тот же звук”.

[203] *Главы о языке*, стр. 154.

[204] *Имя принца*, 1855.

[205] Компания Steintal's *Zeitschrift*и др.

[206] Профессор Макс Мюллер утверждал, что в индоевропейских языках явно звукоподражательные слова, обозначающие “гром”, происходят от корня *tan*, “растягиваться”, и, следовательно, не имели имитационного происхождения. Но Фаррар удовлетворительно ответил на это возражение, даже в отношении данного конкретного случая, показав, что даже если изначально эти слова не были звукоподражательными, впоследствии они “стали таковыми из чувства необходимости, чтобы они были такими” (*Происхождение языка*, стр. 82). См. также, *Главы о языке*, стр. 178-182; Хейзе, *Система*, с. 93; и Вундт, *Vorlesungen, & с.*, ii. 396.

[207] Смотрите также Нодье, *Словарь звукоподражаний*; и Веджвуд, *Этимологический словарь английского языка*.

[208] Вероятно, объяснение этого очевидного несоответствия следует искать в том факте, что специальная версия звукоподражательной теории Нуаре находится на расстоянии вытянутой руки от гипотезы, которую ранее одобрил сам Макс Мюллер. Эта гипотеза, первоначально выдвинутая Хейзе в его *Системе управления*, заключается в том, что точно так же, как каждое неорганическое вещество в природе издает определенный звук при ударе — металл издает один звук, дерево — другой, камень - третий и т.д., - так и у разных животных есть врожденные тенденции (или “инстинкты”) издавать отличительные звуки. В случае первобытного человека эта врожденная тенденция проявлялась в направлении членораздельной речи. For my own part, I do not see that this theory explains anything; and therefore agree with Geiger, who says of it:—“Die Annahme eines jetzt erloschenen Vermögens der Sprachschöpfung und die damit zusammenhängende von einem vollkommenen Urzustande des Menschen ist eine Zuflucht zum Unbegreiflichen, und nicht weit von dem Eingeständnisse entfernt, dass es uns der Natur der Dinge nach für immer unmöglich sei, den wahren Sinn der Urwurzeln zu erkennen und den Vorgang des Sprachursprunges zu erklären. Wir würden mit einer solchen Annahme auf einen mystischen Standpunkt zurückgeführt sein, da doch schon Herder das ‘Gespenst vom Wort Fähigkeit’ bekämpft und gesagt hat: ‘Ich gebe den Menschen nicht gleich plötzlich neue Kräfte, keine sprachschaffende Fähigkeit, wie eine willkürliche qualitas occulta’” (*Ursprung der Sprache*, s. 24). Сэйс также хорошо комментирует эту гипотезу: “На самом деле она основывается на *априорной* концепции происхождения речи, которая не подтверждается лингвистическими фактами и не поддается легкому пониманию.... Такая теория языка явно мистична” (*Введение в науку о языке*, том i, стр. 66, 67).

[209] *Энциклопедия. Брит.*, ст. “Филология”, т. xviii., стр. 769.

[210] См., например, Фаррар, *Главы о языке*, стр. 184.

[211] См. выше, стр. 138-144.

[212] См. выше, стр. 121, 122.

[213] См. *Vorlesungen*, &c., ii. 394, 395.

[214] См. выше, стр. 132-136.

[215] *Введение в науку о языке*, ii. 302.

[216] См. выше, стр. 138-143.

[217] *Источник энергии*, с. 31. Его собственный ответ на вопрос таков: “Что является верным продуктом естественного порядка в природе? Beides und beides nicht. Kein Wort hat naturnothwendig seine bestimmte Bedeutung; insofern sind sie alle willkürlich: aber keines ist zu seiner Bedeutung durch menschliche Willensthätigkeit gekommen” (*ibid.*, s. 113).

[218] Шеллинг, *Энл. in die Philos. d. Mythologie*, s. 51.

[219] *Anthropologie der Naturvölker*, i., 272. See also, F. Müller, *Grundriss der Sprachwissenschaft*, I. i. 49.

[220] *Наука о языке*, ii. 91, 92.

[221] *Grund. d. Sprachwiss.*, i., 43.

[222] *Египет*, i. 324.

[223] Сэйс, *Введение и с.*, i. 119, 120.

[224] *Наука о мышлении*, 423-440.

[225] Сэйс, *Введение и с.*, i. 111.

[226] *Там же.*, i. 113, 114.

[227] Сэйс, *Введение и с.*, i. 121.

[228] *Наука о мышлении*, стр. 242.

[229] Гарнетт, *Филолог. Очерки*, стр. 87.

[230] *Там же.*, 77, 78.

[231] Фаррар, *Происхождение языка*, стр. 99. Далее в отрывке говорится: “Мы могли бы предположить это на основании уже отмеченного факта, что дети учатся говорить о себе в третьем лице — т.е. Рассматривать себя как объекты — задолго до того, как они приобретают способность представлять свое материальное ”я“ как инструмент абстрактной сущности”. Он также ссылается на “некоторые замечательные замечания на этот счет в превосходной книге мистера Ф. Уолли Харпера о *силе греческих времен*”; и возвращается к этой теме в своих недавно опубликованных *главах о языке*, стр. 62. Я мог бы процитировать других авторитетов, которые прокомментировали эту филологическую особенность ранних местоимений; но добавлю только следующее, чтобы показать, как рассматриваемая особенность может продолжать сохраняться даже в языках, на которых все еще говорят. “Малайское *elun*, ”я“, по-прежнему ”мужчина“ в Лампонге, а кавийское *ugwang*, ”я“, неотделимо от *nwang*, ”мужчина“” (Сэйс, *Введение*, ii. 26). Наконец, Вундт указал, что эта безличная форма речи отличается не только ранними местоименными элементами, но и ранними формами предикации. For instance, “Die ersten Urtheile, die in das Bewusstsein hereinbrechen, *subjektlose* Urtheile sind, und dass die Prädikate derselben stets eine sinnliche Vorstellung ausdrücken. ‘Es leuchtet es glänzt, es tönt,’—solcher Art sind die Urtheile, die der Mensch zuerst denkt und zuerst ausspricht. Jenes Prädikat, dass sogleich bei der Wahrnehmung eines Gegenstandes sich aufdrängt, wird zur Bezeichnung des Gegenstandes selber. ‘Das Leuchtende, Glänzende, Tönende,’—solcher Art find die Wörter, die ursprünglich in der Sprache gebildet werden” (*loc. cit.*, ii. 377).

[232] *Наука о мышлении*, стр. 221.

[233] *Там же.*, стр. 554.

[234] *Там же.*, 241.

[235] Сэйс, *Введение, & с.*, ii. 25; см. также с той же целью, Блик, *Пружина для строительства*, 70-72; Ф. Мюллер, *Grundriss der Sprachwissenschaft*, I., i., с. 40; и Нюаре, *Логос*, стр. 186. Главное основание для такого скептицизма заключается в том, что трудно представить, как слово могло бы когда-либо закрепиться, если бы оно с самого начала не имело какого-то независимого предикативного значения. Но мне кажется, что сила этого возражения снимается, если мы вспомним звуки, которые произвольно выдумывают маленькие дети и необразованные глухонемые, не говоря уже о нечленораздельных щелчках бушменов. Более того, нет ничего

враждебного местоименной теории в предположении, что местоименные элементы, даже самого исконного вида, были пережитками еще более примитивных предложений—слов - предположение, которое, конечно, устранило бы рассматриваемую трудность. Но, как объясняется в тексте, эта трудность, даже если бы ее нельзя было решить таким образом, на самом деле не имела бы никакого значения для моего изложения.

[236] *Введение и с.*, i. 117.

[237] *Введение и с.*, ii. 301. Or, as Wundt puts it, “Die demonstrative Wurzel ist daher eine demonstrierende Pantomime in einen Laut übersetzt” (*Vorlesungen, &c.*, ii. 392).

[238] Сэйс, *Введение и с.*, i. 415. Смотрите также F. Müller, *loc. cit.*, I. i. 2, стр. 2, другое изложение тех же фактов, на которые ссылается Сэйс.

[239] Сэйс, *Введение и с.*, i. 416.

[240] *Сладкие, слова, логика и грамматика*, в переводе. Филон. Соч., 1867, с. 493.

[241] *Наука о мышлении*, стр. 442.

[242] См., в частности, Гарнетта, *О природе и анализе глагола*.

[243] *Наука о мышлении*, стр. 223.

[244] *Там же.*, стр. 442.

[245] *Высказывание, Введение и с.*

[246] Я отсылаю читателя к тому, что говорят по поводу обоих этих аспектов рассматриваемого глагола мои оппоненты (см. стр. 165-167).

[247] Фаррар, *Происхождение языка*, стр. 105, 106.

[248] Гарнетт, *О природе и анализе глагола, Продолжение. Филон. Соч.*, том iii.

[249] Сэйс, *Введение и с.*, i. 415.

[250] Гейгер, *Развитие человеческой расы*, английский перевод, стр. 22.

[251] *Сладкие, слова, логика и грамматика*, в переводе. Филол. Соч., 1876, с. 486, 487.

[252] Sweet, *loc. cit.*, стр. 489, 490.

[253] Блик, *Источник вдохновения*, с. 69, 70.

[254] *Наука о мышлении*, стр. 241.

[255] Стейнтал, *Характеристики и др.*, 165, 173.

[256] Гарнетт, *Филологические очерки*, стр. 310.

[257] *Там же.*, стр. 311.

[258] Там же., стр. 312.

[259] Там же., стр. 314.

[260] См. Главу о речи, стр. 166.

[261] Я могу заметить, что именно Аристотель первым допустил ошибку, отождествив связку с глаголом *быть*, которым она, оказывается, выражается в греческом языке. В течение многих столетий впоследствии эта ошибка была плодотворным источником бесконечных недоразумений; но любопытно обнаружить совершенно новую ошибку, возникшую из нее во второй половине девятнадцатого века. Касаясь подлежащего и сказуемого, Аристотель, конечно, никогда не предполагал никакого более примитивного отношения между ними, чем то, которое существует в единственных формах речи, с которыми он был знаком. Что касается его “категорий”, то стоит процитировать следующие замечания профессора Макса Мюллера:—

“Эти категории, оказавшиеся столь полезными для ранних грамматистов, представляют еще больший интерес для изучающих науку о языке и мышлении. В то время как Аристотель принимал их просто как данные формы предикации в греческом языке, после того, как этот язык овладел всем богатством своих слов, нам придется рассматривать их как представляющие различные процессы, посредством которых эти греческие слова, а также все наши собственные слова и мысли, впервые приняли устоявшуюся форму. В то время как Аристотель принимал все свои слова и предложения как данность и просто анализировал их, чтобы выяснить, сколько видов предикации они содержат, мы спрашиваем, как мы вообще оказались во владении такими словами, как *клошадь*, *белый*, *много*, *больше*, *здесь*, *сейчас*, *я стою*, *я боюсь*, *я режу*, *я порезан*. Любой, кто владеет такими словами, может легко создавать сказуемые, но теперь нам придется показать, что каждое слово само по себе с самого начала было сказуемым и что оно само по себе образовывало законченное предложение. Следовательно, для нас реальный вопрос заключается в том, как возникли эти примитивные предложения, которые впоследствии превратились в простые слова. На самом деле истинными категориями являются не те, которым учит грамматика, а те, которые породили грамматику, и именно к этим категориям мы сейчас переходим к исследованию” (*Наука о мышлении*, стр. 439).

[262] Сэйс, *Введение и с.*, ii. 229. Он добавляет: “Если бы Аристотель был мексиканцем, его логическая система приняла бы совершенно иную форму”.

[263] *Введение и с.*, i, 15.

[264] В этих рассуждениях я обнаружил, что могу в значительной степени примирить то, что всегда считалось противоречием между взглядами профессора Уитни и других филологов на тему слов-предложений. Отчасти следуя Шлейхеру, который придерживается этой доктрины еще более недвусмысленно, он рассматривает слово как исторически предшествующее предложению. Это, конечно, противоречит доктрине о том, что предложение исторически предшествовало слову, которой, как мы видели, в настоящее время придерживаются филологи в целом. Но теперь, к чему на самом деле сводится последняя доктрина, так это к тому, что слова были предложениями до того, как они стали именами, — предикативными до того, как они стали именительными; и, насколько я понимаю, возражение Уитни против этой доктрины действительно основано на психологии. Если это так, то вышеприведенные соображения показывают, что он совершенно прав. Интеллектуально первобытный человек был полностью

способен усвоить использование слов в качестве имен; и, следовательно, с психологической точки зрения, только случайность социального окружения помешала ему сделать это.

[265] *Наука о мышлении*, стр. 432, 433.

[266] Стр. 281, 282, примечание.

[267] *Ursprung der Sprache*, с. 65. В немецком оригинале смотрите отрывок, процитированный ранее, на странице 273, примечание.

[268] Как указывалось в предыдущей главе, этому термину присуща любопытная двусмысленность. Ибо в том виде, в каком оно используется в биологии, оно означает *доселе недифференцированное*, в то время как в психологии и других областях “обобщение” означает *синтетически интегрированное*. Но, поскольку психологи никогда не говорят об идеях как об “обобщенных”, я здесь использую это слово в его биологическом смысле. См. Также выше, стр. 277-280.

[269] *Ursprung der Sprache*.

[270] У Блика нет сомнений на этот счет.

[271] Сравните также конец главы VII. (стр. 138-144), где показано, что дети, упомянутые доктором Хейлом, переняли синтаксис языка жестов в своем спонтанно созданном разговорном языке.

[272] Глава VI., стр. 114-120.

[273] *Язык жестов и с.*, стр. 284. На странице 352 автор далее приводит наиболее интересное сравнение жестов и разговорной речи, поскольку и те, и другие используются североамериканскими индейцами, показывая, что синтаксис в этих двух случаях идентичен.

[274] Уитни, *Энциклопедия. Брит.*, лок. *цит.*, стр. 770. Интересно отметить, что психологическая важность этого принципа была четко сформулирована Локком: “Это может немного подвести нас к истоку всех наших понятий и знаний, если мы заметим, насколько велика зависимость наших слов от обычных чувственных идей; и как те, которые используются для обозначения действий и понятий, совершенно удаленных от смысла, берут свое начало оттуда, и из очевидных чувственных идей передаются более туманные значения и используются для обозначения идей, которые возникают под воздействием наших чувств” (*Человеческое понимание*, iii. i. 5).

[275] Уитни, *Энциклопедия. Брит.*, стр. 770. See also Nodier, *Notions de Linguistique*, p. 39; Garnett, *Essays*, p. 89; Grimm, *Gesch. d. d. Sprache*, s. 56 et seq.; Pott, *Metaphern vom Leben, &c.*, *Zeitschr. fur Vergl. Sprachf. Jahrg.*, ii., раздел 2; Хейзе, *Система и др.*, с. 97; и Фаррар, *Происхождение языка*, 130; *Главы о языке*, стр. 67, 133, 204-246. Он ссылается на вышесказанное и цитирует следующие отрывки из Эмерсона и Карлайла: “Как известняк Континента состоит из бесконечных масс раковин животных, так и язык состоит из образов и тропов, которые теперь, при их вторичном использовании, давно перестали напоминать нам о своем поэтическом происхождении” (*Очерки о поэтах*). “Язык - это телесное одеяние Мысли. Я сказал, что Воображение носит это телесное одеяние; и разве это не так? Метафоры - это ее стихия. Исследуйте язык. Что, если не считать нескольких примитивных элементов

естественного звучания, что это еще за метафоры, признанные как таковые или больше не признаваемые; все еще текущие и витиеватые, или теперь ставшие твердыми и бесцветными? Если те же самые примитивные элементы являются костяными элементами телесного покрова Языка, то метафоры являются его мускулами, тканями и живыми покровами. Неметафорический стиль, который вы тщетно будете искать: разве само *ваше внимание* не является *растяжением*?” (*Сартор Ресартус*, гл. х.).

[276] *Наука о мышлении*, стр. 329.

[277] *Наука о языке*, стр. 123.

[278] *Логотипы*, стр. 258, и далее.

[279] Гейгер, *Речь, произнесенная перед Международным конгрессом археологии и истории в Бонне*, 1868.

[280] Гейгер, *Лекция в Коммерческом клубе Франкфурта-на-Майне* (1869).

[281] Возможно, наиболее интересным разделом фундаментальной метафоры является тот, в котором филологическое исследование обнаруживает, что метафора отсылает не к какому-либо природному объекту, качеству и т.д., а к ранее существовавшему действию или жесту, уже совершенному самим человеком с целью передачи информации, выражения своих эмоций и т.д. Ибо фундаментальная метафора такого рода, очевидно, переносит нас на расстояние видимости в то время, когда слышимые признаки артикуляции родились из видимых признаков жеста и гримасы. В качестве иллюстрации этой ветви нашей темы я процитирую только один отрывок; но читатель сразу поймет, как легко было бы привести множество других примеров из этимологии слов, ныне вошедших в обычное употребление.

“Чем дальше язык развивается от своих исконных корней, которые были искажены до форм, больше не предполагающих никаких причин для их первоначального выбора, и чем больше исчезает примитивное значение его слов, тем меньше точек соприкосновения он может сохранить со знаками. Высшие языки более точны, потому что сознание происхождения большинства их слов утрачено, так что они стали счетчиками, пригодными для любого согласованного смысла и ни для какого другого.

“Однако можно определить включенный жест даже во многих английских словах. Класс, обозначаемый словом *высокомерный*, придет на ум всем читателям, но можно привести один или два примера, не столь очевидных и более непосредственно связанных с жестами наших индейцев. *Imbecile*, обычно применяемое к слабости преклонного возраста, происходит от латинского *in*, в смысле *on*, и *bacillum*, посоха, который сразу напоминает шайенский знак, обозначающий *старика* [упоминавшийся ранее]. Таким образом, *время* кажется более тесно связанным с [греческим: *teinô*], растягиваться, когда информация о знаке дается в течение *длительного времени*, в Речи Кин Чес, в этой статье, а именно, размещение больших и указательных пальцев в таком положении, как если бы между большим и указательным пальцами каждой руки была зажата маленькая нитка, руки сначала касаются друг друга, а затем медленно отходят друг от друга, как будто *растягивают* кусочек резинки” (Маллери, *Язык жестов*, &c., стр. 350). Этот автор также говорит, имея в виду нецивилизованные языки, которые он специально изучал: “В языках Северной Америки, которые не стали произвольными в той степени, в какой они проявляются в языках цивилизованного человека, связь между идеей и

словом лишь менее очевидна, чем все еще неразрывная связь между идеей и знаком, и на них по-прежнему сильно влияют понятия очертания, формы, места, позиции и признака, на которых основан жест, хотя они схожи по своему плодотворному сочетанию радикалов. Индийский язык состоит из ряда слов, которые являются лишь слегка дифференцированными частями речи, следующими друг за другом в порядке, предложенном в сознании говорящего, без абсолютных законов расположения, поскольку его предложения не являются полностью интегрированными. Предложение требует частей речи, а части речи возможны только тогда, когда язык достиг той стадии, когда предложения строятся логически. Слова индийского языка, являясь синтетическими или недифференцированными частями речи, в этом отношении строго аналогичны элементам жестов, которые входят в язык жестов. Поэтому изучение последнего имеет ценность для сравнения со словами первого. Один язык проливает много света на другой, и ни один из них не может быть изучен с максимальной пользой без знания другого”.

[282] Есть определенные авторы, такие как Дюпонсо, Шарлевуа, Джеймс, Эпплярд, Трелкельд, Колдуэлл и др., которые пытались представить, что языки даже самых низших дикарей “в высшей степени систематичны и по-настоящему философичны” и т.д. Но это мнение основывается на радикально неверной оценке критериев системы и философии в языке. В качестве критериев были выбраны изобилие синонимов, запутанность или усложнение форм и т.д., которые на самом деле являются произведениями низкого уровня развития. Ошибочность этого утверждения сейчас признана всеми филологами. Даже Фаррар, который сначала сам впал в эту ошибку (*Происхождение языка*, стр. 28), в своей последующей работе пишет: “Дальнейшее изучение полностью развеяло это убеждение. Ибо это кажущееся богатство синонимов и грамматических форм объясняется главным образом *безнадежной бедностью способности к абстракции*. Это не только не было бы преимуществом, но даже непосильным бременем для языка, необходимого для литературных целей. Транснормальный характер этих языков только доказывает, что они являются работой умов, неспособных к сколько-нибудь тонкому анализу и следующих в одном-единственном направлении ошибочной и частичной линии развития.... Если язык что-либо доказывает, это доказывает, что эти дикари, должно быть, постоянно жили в диких условиях” (Фаррар, *Главы о языке*, стр. 53, 54, который также ссылается на многочисленные авторитетные источники).

[283] Термин “зачатие” здесь, конечно, эквивалентен моему термину “предконцепция”. Когда моя дочь произнесла свое первое обозначающее слово “звезда”, она, действительно, дала имя; но это было название рецепта, а не концепции.

[284] Фаррар, *Главы о языке*, стр. 198, 199.

[285] *Митридат*, iii. 325, 397. См. также Потт, *Этимология*. *Форш.*, ii. 167; и Хейзе, *Система*, 132.

[286] Лэтем, *Расы человека*, стр. 376.

[287] Четверостишия, *Rev. des Deux Mondes*, 15 декабря 1860 г.; Мори, *Земля и человек*, стр. 433.

[288] *Память о системе*. *Грамм. и др.*, стр. 120.

[289] *Грамматика малайского языка*, i., стр. 68, и далее.

[290] *Журнал. Америка. Восток*, Соч., i. № 4, стр. 402.

[291] Казалис, *Грамматика*, стр. 7.

[292] Пикеринг, *Индийские языки*, стр. 26.

[293] *Словарь диалектов некоторых коренных племен Тасмании*, стр. 34.

[294] *Введение и с.*, том ii., стр. 6.

[295] *Там же.*, том i, стр. 379.

[296] *Лекция, прочитанная во Франкфурте*, 1869 г.

[297] *Наука о мышлении*, стр. 245.

[298] *Очерки*, стр. 89.

[299] *Главы о языке*, стр. 133.

[300] Гердер, *Абхандл.*, с. 122.

[301] *Жизнь в Мире*, ii. 47.

[302] *Основные принципы строительства*, i. 35, 36.

[303] См., например, F. Müller, *цит. по:*, i. 36, 37.

[304] Некоторые сторонники теории междометий в этой крайней, чтобы не сказать экстравагантной форме, по-видимому, исходят из предположения, что примитивный и до сих пор лишенный речи человек уже отличался от низших животных представлением концептуального мышления. Это предположение, конечно, объяснило бы, почему только человек начал наделять свои инстинктивные крики и т. Д. Характером имен. Но с психологической точки зрения любое подобное предположение, очевидно, является постановкой телеги впереди лошади. Я делаю это замечание для того, чтобы добавить, что возражение было бы неприменимо, если бы предполагалось, что идея является *доконцептуальной-т.е.* выше уровня, достигнутого любым животным, хотя и не являющимся еще отчетливо человеком. Позже я сам поддержал теорию на этот счет.

[305] Например, г-ном Уордом в его *Динамической социологии*.

[306] Филологи расходятся во мнениях относительно ценности “языка в детском саду”, или “детского лепета”, как руководства к вероятным стадиям развития языка у первобытного человека. Не вдаваясь в аргументы по этому вопросу с обеих сторон, мне кажется, что против приведенной выше ограниченной аналогии не могут возразить даже самые крайние скептики в отношении филологической ценности инфантильного высказывания. И только в этой степени я где-либо использую аналогию.

[307] Примеры см. в Heinicke, *Beobachtungen über Stumme*, с. 137 и с.

[308] *Там же.*, с. 73.

[309] *Психическая эволюция у животных*, стр. 238.

[310] Плотоядные привычки этого животного (которое названо как новый вид) наиболее интересны. Предполагается, что в диком состоянии он должен питаться птицами; но в Зоологических садах обнаружено, что он проявляет явное предпочтение вареному мясу перед сырым. Он ест отварные бараньи отбивные, кости от которых выковыривает пальцами и зубами, а затем тщательно моет руки. Он кладет баранину соломкой в качестве овощей и завершает ужин фруктовым десертом. Но более важным моментом является то, что это животное отвечает своему хозяину голосовыми интонациями — или, скорее, хрюканьем, — когда он говорит с ним, и эти интонации понимаются хозяином как указывающие на различные психические состояния. Я потратил много времени на наблюдение за этим животным, но публичность и другие обстоятельства затрудняют проведение экспериментов или обучение. Что касается обучения ее счету, см. Выше, стр. 58; а что касается ее понимания слов, стр. 126.

[311] “Если когда-то существовали существа выше обезьян и ниже человека, которые были истреблены первобытным человеком как его особые соперники в борьбе за существование или вымерли каким-либо другим способом, нетрудно предположить, что они обладали формами речи, более рудиментарными и несовершенными, чем наши” (Профессор Уитни, *Art. Филология, Энциклопедия. Брит.*, вып. xviii., с. 769).

[312] Узо дает очень любопытный отчет о своих наблюдениях по этому вопросу в своих *умственных способностях животных*, том ii., стр. 348.

[313] *Происхождение человека*, стр. 87.

[314] *Происхождение человека*, стр. 87.

[315] Этот термин используется Геккелем как синоним *питекантропов*, или обезьяноподобных людей, которые, как предполагается, непосредственно предшествовали *Homo sapiens* (*История эволюции*, английский перевод, том ii, стр. 293). В следующей части работы я рассмотрю, что можно сказать в пользу этой точки зрения со стороны моей антропологии. Между тем, достаточно иметь в виду, что, как указывалось ранее, как бы ни были велики психологические различия, вносимые способностью к речи, для достижения этой способности, по-видимому, требовались лишь анатомические изменения, настолько незначительные, что они были незаметны. Аргумент о том, что, поскольку существует огромная разница между интеллектом человека и обезьяны, следовательно, должна быть столь же огромная разница между их мозгами, представляется мне примерно столь же обоснованным, как и рассуждения, с помощью которых следует пытаться доказать, что, поскольку существует "огромная пропасть" между часами, которые показывают точное время, и другими, которые вообще не идут, следовательно, между двумя часами существует большой структурный разрыв. Волосок на балансира, немного ржавчины на шестерне, изгиб зубца спускового механизма, что-то настолько незначительное, что заметить это может только опытный глаз часового мастера, может быть источником всей разницы. И полагая, как и я, вместе с Кьюве, что владение членораздельной речью является главной отличительной чертой человека (независимо от того, является ли это абсолютно свойственным ему или нет), я нахожу очень легким понять, что какое-то столь же незаметное структурное различие могло быть основной причиной неизмеримого и практически бесконечного расхождения человека со степенями обезьян” (Хаксли, *Место человека в природе*, стр. 103).

[316] Здесь я попрошу читателя иметь в виду приведенные выше соображения Гейгера относительно поощрения семиотического использования вокальных звуков, которое должно было быть вызвано привычным вниманием, уделяемым движениям рта в многозначительной гримасе, — такое внимание, естественно, в большей степени уделялось разумным обезьяноподобным существам, которые привыкли полагаться главным образом на свои чувства. зрения, чем это было бы у любого из существующих квадруманов.

[317] О создании знаков у общественных насекомых см. Выше, стр. 88-95.

[318] Здесь, следует заметить, присутствует элемент истины, который принадлежит первой из трех рассматриваемых нами гипотез. Сравните сноску на странице 364: *Homo alalus*, хотя и не является еще концептуальным мыслителем, тем не менее обладает более высокой восприимчивостью, чем когда-либо было достигнуто животным, и, соответственно, более способен использовать в качестве знаков междометия или другие звуки, которые исходят из “чисто физиологических оснований” его собственной организации.

[319] См. Preyer, *loc. cit.*, для подробного описания порядка, в котором развиваются согласные у растущего ребенка. Также профессор Холден, о *словарях детей*, в *Прок. Американский. Филолог. Асс.*, 1877. Не может быть никаких сомнений в том, что гласные звуки должны были иметь раннее происхождение у этой расы; но гораздо более сомнительно, в каком порядке могли следовать согласные. Ибо разные расы в настоящее время демонстрируют большие различия в употреблении — и даже в способности употреблять — согласных звуков; китайцы, например, меняют *r* на *l*, в то время как японцы меняют *l* на *r*. И, конечно, можно сказать, что вся наука сравнительной филологии основана на изучении законов “фонетического изменения”. Но, очевидно, не имеет значения, в каком именно порядке впервые возникли различные членораздельные звуки. По словам принца Люсьена Бонапарта, который очень тщательно исследовал этот вопрос, общее количество этих звуков, которые, возможно, могут издавать человеческие органы озвучивания, составляет 385. Смотрите также, Эллис, о *раннем английском произношении*; и об ограничении согласных в различных языках существующих рас, Ховелак, *Наука о языке*, английский перевод., стр. 49, 61, 81.

[320] “Когда мы вспоминаем нечленораздельные щелчки, которые все еще являются частью языка бушменов, может показаться, что невозможно провести границу между человеком и животным, даже когда язык становится тестом” (Сэйс, *Введение и с.*, ii., стр. 302).

[321] *Ursprung der Sprache*, с. 52.

[322] *Введение и с.*, ii., 302: под “мыслью” он, конечно, имеет в виду то, что я подразумеваю под рекомендациями.

[323] Здесь также сравните первую из трех гипотез, важные элементы истины в которых, как я уже неоднократно отмечал, следует рассматривать как принятые гипотезой мистера Дарвина, а следовательно, и настоящей.

[324] Песня гиббона уже упоминалась в цитате из Дарвина. Я могу здесь добавить, что шимпанзе “Салли” нередко демонстрирует экстраординарное представление аналогичного рода. Песня, однако, ни в коем случае не такая “музыкальная”. Она исполняется без какой-либо нотации, в виде серии быстро сменяющих друг друга завываний и визгов — очень громких и сопровождаемых топотом ног по земле. Таким образом, она “разражается пением” только

после более или менее продолжительного возбуждения со стороны своего сторожа; но чаще всего она отказывается поддаваться на любые усилия с его стороны.

[325] Сравните цитаты немецких филологов в поддержку первой гипотезы, стр. 361, 362.

[326] См. стр. 288-290.

[327] *История и переплетения народов*, с. 255. Эта книга, однако, была опубликована только в 1874 году —то есть через несколько лет после сошествия человека.

[328] Это также точка зрения, которая была умело поддержана Гейгером на филологических основаниях, *Ursprung der Sprache*, 1869; и Геккелем на основе общих рассуждений, *История творения*, английский перевод, 1876.

[329] “Сколько корней языка образовалось таким образом, сказать невозможно; но если учесть, что нет современного слова, которое мы могли бы вывести из таких криков, которые издает моряк, когда тянет веревку, или конюх, когда чистит лошадь, маловероятно, что их могло быть очень много” (Сэйс, *Введение и др.*, i., с. 110).

[330] Что касается прямой позы, мы должны помнить, что, хотя шимпанзе и оранг никогда не принимают ее, единственные другие виды человекообразных обезьян, а именно горилла и гиббон, часто принимают ее, передвигаясь по ровным поверхностям. Действительно, в случае гориллы, хотя передние конечности отрываются от земли и передвижение, таким образом, становится двуногим, тело никогда полностью не выпрямляется; но в случае гиббона можно сказать, что выпрямление является полным, когда животное идет. (Хаксли, *Место человека в природе*, стр. 36-49). Что касается выбора и использования камней в качестве орудий, командер Альфред Карпентер, Р.Н., так описывает *modus operandi* обезьян, населяющих острова у берегов Южной Бирмы: “Скалы при низкой воде покрыты устрицами. Обезьяны выбирают камни наилучшей формы для своей цели из прибрежной гальки и несут их к отметке отлива, где обитают устрицы, которая может находиться на расстоянии до восьмидесяти ярдов от берега. Эта обезьяна выбрала самый простой способ открыть каменную устрицу, а именно, сместить створки ударом по основанию верхней и сломать раковину над прикрепляющей мышцей” (*Nature*, vol. xxxvi., стр. 53. В связи с этим предметом см. также *Интеллект животных*, стр. 481).

[331] См. выше, стр. 220.

[332] См. стр. 220-222.

[333] См. стр. 179-181.

[334] См. выше, стр. 300, 301.

[335] Уитни.

[336] Сказать.

[337] Фаррар.

[338] Гарнетт.

[339] Сказать.

[340] Макс Мюллер.

[341] См., в частности, *Науку о мышлении*, главы ii и iv. Следующих цитат может быть достаточно, чтобы обосновать это утверждение. “Если однажды род был справедливо признан таковым, мне кажется внутренне противоречивым признавать, что он когда-либо мог дать начало другому роду.... Однажды овца всегда остается овцой, однажды обезьяна всегда остается обезьяной, однажды человек всегда остается человеком.... Что мне кажется просто иррациональным, так это искать ископаемую обезьяну в качестве отца ископаемого человека.... Почему именно оседлый или готовый питекантроп стал отцом первого человека, хотя повсюду в природе то, что однажды стало оседлым, остается оседлым, а если и меняется, то только в определенных пределах? (стр. 212-215).... Если зародыш человека никогда не разовьется в обезьяну, а зародыш обезьяны - в человека, то почему взрослая обезьяна должна была развиваться в человека? (стр. 117).... Давайте теперь посмотрим, что говорит сам Дарвин в подтверждение своего мнения о том, что человек не относится к тому же периоду, который знаменует начало органической жизни на земле, что у него нет собственного предка, как у других великих семейств живых существ, но что ему пришлось ждать, пока млекопитающие достигнут высокой степени развития, и что тогда он появился на свет молодым или как дитя обезьяны” (стр. 160) и проч., и проч. Насколько можно заключить из этих и других заявлений на тот же счет, не похоже, что профессор Макс Мюллер когда-либо мог полностью понять теорию эволюции, даже в ее применении к растениям и животным. Ибо это не критика данной теории: это неспособность оценить, в чем состоит сама теория.

[342] *Ursprung der Sprache*, с. 84.

[343] *Ursprung der Sprache*, с. 119.

[344] Было бы неверным ответом сказать, что под “именами” он подразумевает только знаки идей, которые представляют концептуальную ценность, или, другими словами, что он отказался бы признать именем то, что я назвал денотативным знаком. Ибо вопрос здесь не в терминологии, а в психологии. Меня не волнует, какими терминами мы обозначаем эти различные виды знаков; вопрос в том, отличаются ли они друг от друга по своему характеру. Если термин “имя” специально зарезервирован для знаков концептуального происхождения, то на основе этого определения не было бы аргументом утверждать, что не может быть имен без понятий; ибо, с точки зрения определения, это было бы просто констатацией трюизма: это означало бы просто сказать, что без понятий не может быть ни понятий, ни, *тем более*, их знаков. Короче говоря, вопрос ни в коем случае не сводится к определению терминов; это простой вопрос о том, является ли неконцептуальный знак предшественником концептуального. И это тот самый вопрос, с которым я не могу найти адекватного ответа у Макса Мюллера.

[345] *Ursprung der Sprache*, с. 91. The exact words are, “Die Sprache hat die Vernunft erschaffen: vor ihr war der Mensch vernunftlos.” Нет необходимости отмечать, что слово, которое я передал его английским эквивалентом “Reason”, здесь используется в смысле концептуального мышления.

[346] Вундт, *Ворлзунген и др.*, ii. 282.